

ИВАНОВ-РАЗУМНИК

---

КНИГА  
О  
БЕЛИНСКОМ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЫСЛЬ“  
ПЕТРОГРАД — 1923



ИВАНОВ-РАЗУМНИК

КНИГА  
О  
БЕЛИНСКОМ.

---

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЫСЛЬ“  
ПЕТРОГРАД — 1923

Главлит № 5420.

Тираж 3.000 экз.

Военная Типография Штаба Раб.-Кр. Красной Армии. (Площадь Урицкого, 10).

# КНИГА О БЕЛИНСКОМ

Жизнь и творчество Белинского нераздельно связаны с его литературной работой: собрание сочинений, не освещенное фактами жизни—раздроблено, жизнь вне литературной работы—бедна фактами.

Две части настоящей книги подходят к жизни и творчеству Белинского с этих двух сторон. Внешняя жизнь и внутреннее творчество—первая часть; изучение с этими данными в руках его собрания сочинений—вторая. Первая дает общую связующую нить, соединяющую все статьи второй—литературную работу Белинского—в одно неразрывное целое.

Жизнь Белинского в огне неустанных исканий; появление в его сознании новых и новых вопросов; зарождение новой веры на развалинах старой; развитие философских, критических, историко-литературных суждений, в свете обстоятельств, сопровождавших появление его статей; новые вопросы и новые ответы; мучительный путь падений и восстаний; итоги жизни и творчества: все это—составляет одно неразрывное общее, одну нераздельную и цельную книгу о Белинском.

1923 г.

I

# ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

...„Знаете ли вы, что такое ревность по Господе, сжигающая человека? Что человек без Бога? — Труп холодный. Его жизнь в Боге, в Нем он и умирает, и воскресает, и страдает, и блаженствует. А что такое Бог, если не понятие человека о Боге?...“.

(Из письма Белинского к  
Н. А. Бакунину, от 28 ноября  
1842 года).

„Бог был моей первой мыслью,  
Человечество — второй, Чело-  
век — третьей и последней“.

(Фейербах).

## I.

### Детство и юность.

„Благо тому, кто, отлученный Зевеса любовью, неугасимо носит в сердце своем прометеев огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идее и никогда не покоряясь оцепеняющему времени или мертвящему факту, — благо ему: ибо эта божественная способность нравственной подвижности есть столько же редкий, сколько и драгоценный дар неба, и немногим избранным ниспосылается он!“

Так говорил Белинский в одной из своих статей начала сороковых годов. Думал ли он, знал ли он, что, говоря так, он говорит о самом себе? Вероятно, знал; во многих и многих письмах к друзьям он не один раз отмечал в себе эту божественную способность нравственной подвижности. И он был прав: да, это — редкий и драгоценный дар, немногим избранным ниспосылается он. И в высшей степени был одарен этим даром именно Виссарион Белинский, неподвластный оцепеняющему времени, враг мертвящего факта, провозвестник свободной идеи, вечный борец, подвижник и искатель.

Искатели истины! Много их у нас было, есть и будет. Но как часто все эти искания оставляют нас, зрителей и свидетелей, совершенно равнодушными. Часто мы видим людей, которые то с поразительной быстротой, то с методической постепенностью проделывают и проделывали эволюцию от одного полюса к другому. От народо-вольчества к катковству, от марксизма к идеализму, от социал-демократов к мирно-обновленцам, от Канта к Тихону Задонскому, от атеизма к церковности — примеров такой быстрой и шумной эволюции у нас непочатый угол. Искания, очень часто искренние, тут налицо; не хватает мелочи, пустяка — той страстности, той любви и ненависти, того мучительного горения, как же только и могут создать великие искания. Тут и разница между этими „эволюционистами“ всех времен и Белинским. Они, я уверен, по большей части с полным душевным удовлетворением смотрят на свою „эволюцию“: вот-де тот путь развития, каким мы дошли до настоящей точки, психологически и исторически необходимой... Белинский же не умел судить себя с такой завидной удо-



влетворенностью, с такой холодной объективностью. Он всегда—как впоследствии и М. Толстой—мучительно ненавидел себя в прошлом; в прошлом для него была только ложь, истина—только в настоящем. „Я теперешний—писал он как-то раз своему другу Боткину—болезненно ненавижу себя прошедшего, и если бы имел силу и власть, то горе бы тем, которые теперь то, чем я был назад тому год“... <sup>1)</sup>). Так страстно ненавидел он то, что считал ложью; так же мучительно ненавидел и любил он и живых людей, и отвлеченные идеи.

Белинский часто применял к себе стих Пушкина:

Ты любишь горестно и трудно.

„Пушкин для меня написал этот стих“,—говорил не один раз Белинский <sup>2)</sup>. Горестно и трудно любил он Бакунину; горестно и трудно любил он друзей; горестно и трудно искал и любил он истину... Его искания истины были тяжелые, горестные, мучительные, трагические, в них великая любовь переплеталась с великой ненавистью; и именно потому эти страстные искания—великие искания.

Часто великие люди, не говоря уже о малых, останавливаются на одной истине, посвящают ей всю свою жизнь. Истина найдена, закреплена в цельном учении, развивается в стройную систему: в этом есть свое величие. Другая крайность—вечно искать и никогда не находить, вечно стремиться и никогда не достигать: в этом есть своя трагедия. Но вечно искать и вечно находить истину, всегда достигать и никогда не удовлетворяться, всегда стремиться в новые просторы, горестно и трудно любить, мучительно и страстно ненавидеть, восторженно верить и надеяться—это величие исканий удел слишком немногих, вечных мучеников истины, вечных искателей правды. И именно такие искания были уделом великого и неистового в гневе и в любви Виссариона Белинского. До сих пор живы—и вечно будут живы—те великие искания, которыми горел и пламенел Белинский. И лучший способ убедиться в вечной жизненности этих исканий, это—шаг за шагом пройти за Белинским весь его тяжелый, крестный жизненный путь.

В последней четверти XVIII века в селе Бельныи, Пензенской губернии, был священником некий о. Никифор, по позднейшим семейным преданиям—праведник, аскет, подвижник. Сын его, Григорий Никифорович, получил в семинарии фамилию Белинский; окончив впоследствии петербургскую медицинскую академию, он служил (с 1809 по 1816 год) в балтийском флоте врачом. Он женился там на дочери флотского офицера; в Свеаборге у них родился сын—Виссарион. Через три с половиной десятка лет после этого события, В. Г. Белинский писал своему другу Боткину в марте месяце 1846 года: „мая 30-го... стукнет мне тридцать шесть лет“; таким образом, сам Белинский считал днем своего рождения 30 мая 1810 года. Он ошибался и в дне и в годе своего рождения: в настоящее время документально установлено, что Белинский родился 1 июня 1811 года <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> См. письмо к Боткину от 1 марта 1841 года.—Большинство приводимых ниже отрывков из писем Белинского впервые было напечатано мною по материалам архива А. Н. Пыпина в первом издании настоящей книги и в отдельных работах о Белинском, вошедших позднее в эту книгу (см. „Русское Богатство“, 1911 г., № 5; „Русские Ведомости“, 1911 г., №№ 122—124).

<sup>2)</sup> Из письма к М. Бакунину, без даты; повидимому, письмо относится к концу июля 1838 г.

<sup>3)</sup> См. письмо Д. П. Иванова к А. Н. Пыпину от 16 июня 1876 года (в книге Пыпина „Белинский, его жизнь и переписка“, изд. 2-е, 1908 г.); см. также статьи Б. А. Марковича („Саратовский Дневник“ 1898 г., № 113), А. С. Архангельского („Русская Старина“ 1899 г., № 4) и В. Е. Рудакова („Новое Время“ 1910 г., № 12395). Все эти свидетельства и изыскания устанавливают неопровержимо год рождения Белинского: день—30 мая или 1 июня—не может считаться установленным окончательно, хотя церковная запись указывает вторую из этих дат.

Когда маленькому Виссариону минуло пять лет, отец его перешел на службу в свои родные края—в захолустный (хотя и уездный) город Пензенской губернии Чембар. Здесь Виссарион Белинский провел свои детские годы; здесь, в 1820 году, он поступил в чембарское уездное училище и пробыл в нем до 1825 года, когда его отправили в пензенскую гимназию. Нерадостным было детство Белинского и оно во многих отношениях наложило свою печать на некоторые черты его характера... Тридцать лет спустя сам он объяснял свою робость, свою конфузливость и свою боязнь людей—впечатлениями своего раннего детства. „Вспомнил я рассказ матери моей,—писал Белинский Боткину:—она была охотница рыскать по кумушкам, чтобы чесать язычек; а я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятою девкою; чтоб я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била... Впрочем, я не был грудным: родился я больным при смерти, груди не брал и не знал ее... Потом: отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и площадно—вечная ему память. Я в семействе был чужой“<sup>4)</sup>. В юности Белинский платил за это отцу ненавистью, и будучи уже гимназистом, „декламировал свою ненависть к отцу отчаянно-восторженными возгласами героев Шиллера“<sup>5)</sup>. Вряд-ли эта ненависть была вполне заслужена: отец Белинского был, повидимому, незаурядный человек, стоявший значительно выше окружающей его уездной среды. В этой среде его не любили за резкость и прямоту, за его „вольтерианские“ мнения и суждения; позднее, в 1834 году, один из молодых родственников Виссариона писал ему из Чембара об его отце: „человек благороднейший в высшей степени, с чувствами высокими, рожденный с отличными способностями, но убитый мелочною жизнью в Чембаре, заброшенный в дикий бурьян, в круг людей, между которыми тщетно ты будешь искать следов истинного человечества. Я часто был свидетелем благороднейших поступков его, которые восхищали меня и в минуту рассеивали все мои предубеждения“. Эти же родственники указывают, что тяжелую семейную обстановку семьи Белинских во многом усложнял характер матери Виссариона: она отличалась „неистово-бешеным нравом“, „своенравною независимостию“ и вообще „неумеренным темпераментом“... Я не останавливался бы на всех этих частности, если бы они не были так важны для понимания характера „неистового Виссариона“. Действительно, темперамент матери, резкость и прямота отца и, наконец, религиозный экстаз подвижника-деда—все это в новых формах и с новой силой воскресло в „неистовом“, прямодушном, вечном подвижнике, вечном искателе истинной религии Виссарионе Белинском.

В одной из статей Белинского 1839 года (о „Милорде Англинском“) мы встречаем интересное автобиографическое отступление, якобы заимствованное из „рукописных мемуаров“ некоего „доброего приятеля“; этот alter ego Белинского вспоминает „золотые годы своего детства“: „я снова—пишет он—становлюсь ребенком, и вот уже, с бьющимся сердцем, бегу по пыльным улицам моего родного городка, вот захожу на двор родимого дома с тесовою кровлею, окруженного бревенчатым забором... Вот от ворот до крыльца треугольный палисадник, с акациями, черемуховым деревом и купою розанов... Вот и огород, которому со двора служат оградю погреб и другие службы, с небольшими промежутками частокола, а с остальных трех сторон—плетень... Вот и маленькая баня при входе в огород, даже и среди белого дня пугавшая мое детское воображение своею таинственною пустотою... А вот, возле нее, и стог сена, ва ко-

<sup>4)</sup> Из письма к Боткину от 16 апреля 1840 г.—После слов „груди не брал и не знал ее“, Белинский прибавляет в скобках: „зато теперь люблю ее вдвое“... Подобными шутливыми и еще более „не для печати“ выходками Белинского переполнены все его письма; но обыкновенно биографы его стыдливо замалчивали эту сторону натуры „неистового Виссариона“. А между тем его „неистовая чувственность“—это такой важности штрих, вне которого Белинский перестает быть Белинским, а становится какой-то иконописной фигурой. В настоящей книге я не замалчиваю этой чрезвычайно важной стороны жизни Белинского, но освещаю ее, насколько это возможно в печати.

<sup>5)</sup> Воспоминания о Белинском родственницы его, г-жи П.; помещены в „Дорожных Записках“ М. Погодина в газете „Русский“, 1868 г., № 15.

тором я часто воображал себя то Александром Македонским, то Ерусланом Лазаревичем... А в доме—там нет ни комнаты, ни места на чердаке, где бы я не читал, или не мечтал, или позднее не сочинял"... Читать и мечтать—вот в чем, очевидно, находил спасение от семейной обстановки не по возрасту задумчивый и (по впечатлению Лажечникова) не по летам умный ребенок. Из той же автобиографической статейки видно, какие книги прежде других попались под руку маленькому Виссариону, когда он „уже бойко читал по толкам, хотя еще не и не умел писать“: это были „Бова“ и „Еруслан“ гражданской печатью, „Зеркало Добродетели“ с раскрашенными картинками, „Повести и романы господина Вольтера“ и, наконец, возлюбленный „Милорд Англинской“, жадно прочитанный в огороде, между грядками бобов и гороха.

Но вот начинается период школьного учения—в чембарском уездном училище; девятилетним ребенком поступил туда Виссарион Белинский и четырнадцатилетним мальчиком окончил в нем «курс наук». Каковы были в это время литературные вкусы мальчика, что он читал, чем увлекался? Ответ на это опять-таки дают слова самого Белинского в одной из рецензий 1835 года (о стихотворениях некоего Коптева): Белинский снова вспоминает в ней „золотое время детства, когда,—пишет он,—еще будучи мальчиком и учеником уездного училища, я в огромные кипы тетрадей, и мимолетно, и мимо, и днем и ночью, и без всякого разбору, списывал стихотворения Карамзина, Дмитриева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и других, когда я плакал, читая Бедную Лизу и Марьину рошу, и всенял себе в священнейшую обязанность бродить по полям при томном свете луны, с понурым лицом à la Эраст Чертополохов"... Этот же период „неутомимого“ чтения и списывания прочитанного „в огромные кипы тетрадей“ продолжался и в 1825—1828 году, когда юноша Белинский продолжал свое учение в пензенской гимназии; до нас дошла одна из таких тетрадок даже времен студенчества Белинского (1831 г.). В гимназическую эпоху своей жизни Белинский—ему было тогда 14—17 лет—продолжал восхищаться старой русской литературой; сам он впоследствии вспоминает, что в это время знал наизусть „Дмитрия Самозванца“ Сумарокова и вообще восхищался русской литературой XVIII века<sup>6</sup>). Каким образом от этой литературы он перешел к восторженному преклонению пред Пушкиным—об этом сам он подробно рассказал в своем обзоре русской литературы за 1841 год: переход этот был эволюцией от Державина к Пушкину через Жуковского. (Замечу в скобках, что к этому-же времени относится сильное влияние на юношу-Белинского сочинений кн. В. Одоевского: чтение их было для Белинского „нравственным ударом“, оставившем в его душе „самые благодатные следствия“)... „Я в детстве знал Державина наизусть,—вспоминает Белинский,—и мне трудно было из мира его напряженно-торжественной поэзии, бедной содержанием, лишенной всякой художественности, всякой виртуозности, перейти в мир поэзии Пушкина... Для моего детского воображения, поставленного державинскою поэзией на ходули, поэзия Пушкина казалась слишком прстой, слишком кроткою и лишенною всякого полета, всякой возвышенности.. Переход от Державина к Жуковскому для меня был очень легок: я тотчас же очаровался этим мистическим миром внутренней, задушевной поэзии, любил ее исключительно; но Державин все-таки оставался, в моем понятии, идеалом истинного поэта. Только постепенное духовное развитие в лоне пушкинской поэзии могло оторвать меня от глубоко вкорененных впечатлений детства и довести до сознания тайны, сущности и значения истинной поэзии“. И разумеется, в пушкинской поэзии на юношу-Белинского наиболее сильное впечатление должны были произвести его первые поэмы и стихотворения; когда в 1827 г. появилась в печати сцена из „Бориса Годунова“ (Пимен и Григорий), то Белинский встретил ее

<sup>6</sup> Однако, уже в 1829 году, только что приехавший в Москву Белинский, описывая отцу университетскую библиотеку и стоящие в ней бюсты „великих гениев“—Ломоносова, Державина, Карамзина, замечает тут же: „жалко, что между помянутыми бюстами великих писателей стоят бюсты площадного Сумарокова, холодного, напыщенного и сухого Хераскова“.

„неприветно“, по воспоминанию тогдашнего наставника Белинского, М. Попова, одного из учителей пензенской гимназии. Этот же учитель (впоследствии видный чиновник знаменитого III отделения) рассказывает, что Белинский и в то время не поддавался на чужие мнения; не соглашаясь с каким-либо из критических мнений, он или отмалчивался, или говорил: „дайте, подумаю; дайте еще прочту“; если же соглашался, то отвечал с страшной уверенностью: „совершенно справедливо!“ С страшной уверенностью:—это удивительно меткое определение остается всецело применимым решительно ко всем критическим суждениям всей деятельности великого критика.

Так развивались литературные взгляды, вкусы и мнения юноши-Белинского. Само собою разумеется, что в это же время он пробовал свои силы и в различных „сочинениях“, прежде всего—в стихотворных опытах. „Еще будучи учеником уездного училища, я писал баллады и думал, что они не хуже баллад Жуковского“,—вспоминал впоследствии Белинский в цитированной выше рецензии 1835 года; но и значительно раньше, в письме к известному нам М. Попову (от 30 апреля 1830 г.), студент Белинский говорит, как о давно прошедшем, о том времени, когда он „бывши во первом классе гимназии (это было в 1826—1827 гг.—И.-Р.) писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского“... К сожалению, из этих ранних опытов Белинского до нас не дошло ни одного <sup>7)</sup>; из позднейшей эпохи его студенчества сохранилось одно очень слабое стихотворение, напечатанное в 1831 году („Русская был“). Белинский пробовал перейти к „смирной прозе“, стал писать повести, тоже не дошедшие до нас; но все это у него „не клеилось“, „шло туго“, по выражению его учителя М. Попова. Белинский, вероятно, вскоре сам сознал бесплодность этих своих юношеских попыток; он сознал, что ему прежде всего нужно „ученье, ученье и ученье“... И вот он бросает в конце 1828 года пензенскую гимназию и едет в Чебар, чтобы там на свободе подготовиться к вступительному университетскому экзамену. А тем временем его уже официально исключают в марте 1829 г. из гимназии „за нехождение в класс“.

Не легко было Белинскому осуществить эту свою мечту о поездке в Москву и поступлении в университет: „с большим грехом удалось мне съехать“,—говорит Белинский в письме к родителям (от начала сентября 1829 г.). Наибольшим препятствием было, разумеется, отсутствие денежных средств у родителей Белинского; обращаясь несколько позднее к отцу с просьбой о высылке 12—13 руб. (54 р. ассигн.), Белинский пишет: „конечно, (эта) сумма для вас немаловажная“ (письмо от 2 окт. 1829 г.). При таких условиях много трудностей надо было преодолеть юноше Белинскому, много унижений испытать; и сам он говорит, что часто в его уме „невольным образом вертелся стих Долгорукова: о бедность, горько жить с тобой!“

Но как бы то ни было, все препятствия были, наконец, преодолены, и Белинскому удалось выехать в Москву в середине августа 1829 года, вместе со своим богатым родственником Владыкиным, за лакея которого Белинскому раз пришлось себя выдавать... Памятником этого путешествия остался веденный Белинским „журнал моей поездки в Москву и пребывание в оной“ <sup>8)</sup>; в нем Белинский рассказывает между

<sup>7)</sup> В интересной статье Н. Рыбкина „Материалы к биографии Лермонтова и Белинского“ („Ист. Вестн.“ 1881 г., № 10) приводится одно стихотворение якобы Белинского из его „Записной Книжки“ на 1828 г., содержащей в себе ряд произведений Батюшкова, Пушкина, Языкова и др; но это стихотворение („Выдь, дохни нас упоением“), подписанное в книжке Б — к и й, принадлежит вовсе не Белинскому, а Баратынскому.

<sup>8)</sup> Впервые напечатан в статье П. Шугаева „Из колыбели замечательных людей“, „Живописное Обозрение“ 1898 г., № 22; см. также „Письма“ Белинского, вышедшие в 1914 году в трех томах под редакцией Е. Ляцкого—т. I, стр. 10—19.—Прибавлю кстати, что все цитаты из писем Белинского, встречающиеся в настоящей книге, взяты не из указанных трех томов „Писем“, а из архивного материала А. Н. Пыпина о Белинском, впервые разработанного мною в 1910—1911 году с любезного разрешения Е. А. Ляцкого и В. А. Ляцкой-Пыпиной.

прочим, что по пути ему встретила цыганка, предложившая „поворожить“, на что он „от скуки и для смеха“ согласился; „между многими глупостями, которые обыкновенно врут сви пророчицы,—пишет Белинский, —меня чрезвычайно удивили следующие слова: люди почитают и уважают тебя за разум, только языком не ошибайся. Ты едешь получить и получишь, хотя и сверх чаяния“... И если Белинский ехал за славой,—а кто из юношей не едет за ней?—то он действительно получил ее, „хотя и сверх чаяния“, так как Белинскому тогда, вероятно, и в голову не приходила ожидавшая его дорога...

## II.

### „Дмитрий Калинин“.

После разных огорчений и недоразумений Белинский, наконец, стал студентом московского университета. „...Я теперь студент,—с восторгом сообщает Белинский своим родителям в сентябре 1829 года,—состою в XIV классе, имею право носить шпагу и треугольную шляпу!“ Через несколько месяцев Белинскому удалось попасть в число „казеннокоштных“ студентов и поместиться в общежитии; в первое время он был в восторге от этого обстоятельства, обеспечивавшего ему жизнь в Москве. Он начинает усердно посещать театр, восторгается Мочаловым в роли Отелло и Карла Моора, восхищается Щепкиным; в ответ на увещательные письма родителей—не ходить в театр, а обойти все церкви Москвы—он пишет (в январе 1830 г.), что, во-первых, „шататься по церквам“ ему некогда, так как у него „чрезвычайно много других, гораздо важнейших дел, которыми должно заниматься“, и что, во-вторых, театр ему необходим: „я пошел по такому отделению, которое требует, чтобы иметь познание и толк во всех изящных искусствах“... Вряд ли он думал при этом о критической деятельности; вероятнее, что он мечтал о лаврах автора, произведения которого, быть может, будут исполняться на подмостках того же театра... И действительно, в конце этого же 1830 года Белинский, под обаянием „лестной сладостной мечты о приобретении известности“, пишет „драматическую повесть“ в пяти действиях—„Дмитрий Калинин“.

Не одно „стремление к славе“ побудило Белинского взяться за перо драматического писателя; он питал надежды „разжиться казною“ через свою трагедию и благодаря этому „сорваться с казенного кошта“, который уже к концу 1830 года стал ненавистен Белинскому. „Ежели моя трагедия будет иметь успех,—писал Белинский в начале января 1831 года,—то вырученные за оную деньги употреблю на освобождение себя от проклятого, адского казенного кошта... Ежели первая моя надежда не сбудется, то я погиб без возврата!.. Лучше соглашусь живой провалиться в ад и достаться на завтрак чертям, нежели страдать на казенном коште“... И вот в конце 1830 года Белинский заканчивает свою трагедию, пачатую, повидимому, значительно раньше. В это время в Москве свирепствовала холера, университет был закрыт и „казеннокоштные“ были заперты в нем с сентября по декабрь в строгом карантине. „Для рассеяния от скуки,—рассказывает в том же письме Белинский,—я и еще человек с пять затворников составили маленькое литературное общество. Еженедельно было у нас собрание, в котором каждый из членов читал свое сочинение. Это общество, кончившееся седьмым заседанием, принесло мне ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедию, которая без этого едва ли бы когда-нибудь была написана“... Но теперь Белинский ее закончил, прочел своим товарищам; с их помощью трагедия была переписана начисто и представлена автором в цензуру. С самыми радужными надеждами ожидал Белинский цензурного разрешения, чтобы немедленно напечатать эту пьесу; он рассчитывал, что публика „расхватает в месяц“ его трагедию, что это даст ему „тысяч шесть“ денег, что произведение его „наделает шуму“; его тешила „лестная, сладостная мечта о приобретении известности“... Действительно, трагедия его была напе-

чатана, но не в 1831 году, а ровно через шестьдесят лет, в „Сборнике Общества Любителей Российской Словесности“ 1891 года.

Причина этого—в совершенной „нецензурности“ пьесы по николаевским временам. „В этом сочинении—говорит Белинский в письме к отцу (от 17 февр. 1831 г.),—со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранство людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных“... Но этого мало: вся пьеса испещрена самыми „безнравственными“ (с точки зрения николаевской цензуры) сентенциями, вроде того, что „права происхождения, предки, суть не что иное, как предрассудки, постыдные для человечества“; что церковный брак есть „ничтожное условие, изобретенное людьми для собственного своего мучения“, что любовь пренебрегает „пустыми обрядами“, что „когда законы противны правам природы и человечества, правам самого рассудка, то человек может и должен нарушать их“... Чего стоило, по николаевским временам, хотя бы одно последнее оправдание всякой „революции“! Все второе действие посвящено довольно яркому изображению помещичьего „тиранства“; на сцену выведена помещица Лесинская, которая говорит сама о себе: „не больно люблю баловать проклятое хамово поколение; у меня всякая вина виновата“; стоя в церкви, она озабочена „житейскими“ мыслями: „то нужно достать хорошую плетку для девок, то надо отпороть кого-нибудь из лакеев“... <sup>9)</sup> Она нехотя оказывает скудную помощь бедной „благородной и достойной лучшего приема женщине“, и тут же щедро одаряет и оставляет гостить у себя двух монахинь. Она твердо убеждена, что „богатые князья не могут быть низкими людьми“ и что с хамами надо „тиранствовать“, а не то они „на шею сядут да поедут“... Ее „тиранства“, подробно описываемые в пьесе, вызывают гневный монолог героя драмы, Дмитрия Калинина: „Кто дал это гибельное право—одним людям поработать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище—свободу? Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба; может продать его, как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!.. Милосердный Боже, Отец человек! ответствуй мне: Твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?..“

Достаточно этих немногих цитат, чтобы убедиться, что не только пьеса эта не могла в свое время попасть в печать, но даже должна было так или иначе повредить молодому автору: ведь несколькими годами ранее отдали же в солдаты Полежаева за его „безнравственную“ поэму „Сашка“. В драме Белинского мы тоже находим достаточное количество „безнравственных“ (хотя и в другом смысле) сентенций и положений, а резкое обличение крепостного права, „тиранства“ господ и вообще все „протестующее“ настроение этой драмы делали ее совершенно „нецензурной“ в 1831 году.

Но этого мало: „Дмитрий Калинин“ имеет не одно только общественное значение; его замысел гораздо глубже. Дело в том, что „протест“ этой пьесы шел значительно дальше обличения „тиранства“ помещиков или отрицания внешних форм и обрядов, стоящих на пути свободного чувства человека. Смысл драмы неизмеримо шире, неизмеримо глубже—он заключается в тяжелой расправе человека с Богом, в „прении живота со смертью“, как гласит заглавие известного апокрифа. Это настолько характерно для всего дальнейшего хода развития Белинского, что нам необходимо несколько подробнее остановиться на этой стороне его драмы.

Белинскому не было еще двадцати лет, когда он, „волнуясь и спеша“, высказал свои самые заветные упования, выразил свои самые мучительные сомнения в этой не увидевшей тогда света трагедии. Впервые опубликованная шестьдесят лет спустя,

<sup>9)</sup> В обрисовке типа Лесинской заметно влияние Фонвизина (Простакова и Екатерины II („О, время!“—Ханжанина).

трагедия эта единогласно была признана замечательной попыткой протеста против крепостного права. И это, действительно, яркий и резкий протест и против самого института рабства, и против „тиранов-помещиков“, — „этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы“... Эти социальные мотивы юношеской трагедии Белинского, действительно занимающие в ней, как мы могли убедиться, видное место, почему-то заслоняли собою от глаз исследователей другие параллельные мотивы, не менее важные и составляющие весь смысл, весь „пафос“ этого юношеского произведения. Наряду с мотивами социальными мы найдем в этой драме не менее яркие мотивы философские и религиозные. Юноша Белинский решал в этой своей трагедии вопрос не только о социальном зле, но и о „мировом зле“, он ставил вопрос не только о „тиране-человеке“, но также о „тиране-Боге“. Как может существовать, зачем существует—если существует—„Премудрая Благость“, „Божественный Промысел“ наряду с социальным и индивидуальным злом? В этом вопросе—главный „пафос“ юношеской трагедии Белинского, а быть может и трагедии всей его жизни.

Содержание этой драмы очень несложно и в общих чертах заключается в следующем. Дмитрий Калинин—пылкий и „неистовый“ юноша, „с душою возвышенною, со страстями благородными“, как говорит он сам о себе; „человек пылкий, со страстями дикими и необузданными“—как рекомендует его сам Белинский в цитированном выше письме к отцу. Этот Дмитрий—сын дворовых людей, но с детства воспитывавшийся в семье своего „владельца“, помещика Лесинского, и пользующийся за это ненавистью всех других членов семьи, жены Лесинского и двух его сыновей,—этот Дмитрий любит дочь своего приемного отца Лесинского, Софью, и любим ею. „Воспламененные любовью“, они не думали о „пустых обрядах“ и отдались друг другу; осталось соединиться в глазах света, путем „пустых обрядов“. Дмитрий собирается „упасть к ногам“ отца Софьи, своего приемного отца: „я упаду к его ногам, признаюсь ему в моей вине, и он, тронутый моим раскаянием, моими просьбами, соединит мою руку с рукою дочери“; но эти его мечтания прерываются известием о смерти его приемного отца, об уничтожении „отпускной“ Дмитрия семьей умершего и о приказании Дмитрию вернуться из Москвы в деревню Лесинских, так как Софья будто бы выходит замуж за князя, „и так как... недостает лакеев для служения при свадебном столе“. Дмитрий, в отчаянии и бешенстве, появляется на балу у Лесинских и в происшедшей ссоре убивает за оскорбление—за слово „раб“—одного из братьев Софьи, жестокого и злого мучителя крепостных. Заключение в тюрьму, Дмитрий бежит, чтобы еще раз повидаться с Софьей; она уговаривает его умереть вместе с нею. После колебания, он закалывает ее; но перед тем, как убить себя, он узнает из оставленного ему приемным отцом письма, что этот „приемный отец“ был его родным отцом, что он, Дмитрий,—побочный сын Лесинского. И вот Дмитрий Калинин, кровосмеситель, братоубийца, убийца своей сестры-супруги—проклинает память своего отца, проклинает весь мир и закалывается.

Уже из этого краткого изложения драмы ясно, что сущность ее—вовсе не в обличении „тиранства“, что драма эта ставит не столько социальный, сколько этический, философский и религиозный вопрос. Этот вечный вопрос: кто виноват? Ответ отчасти намечается Белинским уже в эпитафии ко всей драме:

II всюду страсти роковые,  
II от судеб защиты нет.

Но, разумеется, это не ответ, это не решение: пусть от судеб защиты нет—это оправдывает человека; но оправдывает ли это Бога? И вот мы видим, как в душе юноши-Белинского борются два решения, две мысли, две веры: вера в правосудного Бога и мысль, что „милосердный Бог наш отдал свою несчастную землю на откуп дьяволу“, как говорит герой драмы, Дмитрий Калинин. Вот два ответа на вопрос „кто виноват“, два решения, которые проходят через всю драму. Первое решение: преступле-



ния Дмитрия Калинина объясняются „злонравием“ самих людей. Удар судьбы падает на семью отца Дмитрия—и этот отец первый, хотя и невольный, виновник всех преступлений сына. „...Я проклинаю тебя, низкий сластолюбец!—воскликает Дмитрий по адресу давно умершего отца:—проклинаю тебя и этот бедственный дар, эту преступную жизнь, которою тебе обязан! Я убийца, я кровосмеситель!.. Я осужден на позорную казнь—и всем этим одолжен тебе, мой отец!“ И он спрашивает себя: „неужели я был орудием Божьего мщения отцу моему?“ Итак—вот первый виновник всего: отец Дмитрия; второй виновник—сам Дмитрий, „человек пылкий, с страстями дикими и необузданными; его мысли вольны, поступки бешены, и следствием их была его гибель“ (из письма Белинского к отцу от 17 февр. 1831 г.). Вот первый ответ, первое решение: кто виноват?—виноват человек, а, следовательно, Бог оправдан. Вторая вера, второе решение: виноват Бог, и, следовательно, оправдан человек. Виноват Бог, ибо он есть рок, судьба, а „от судеб защиты нет“. И Дмитрий Калинин готов проклясть за это Бога: „...Ты, Существо Всевышнее, скажи мне—насытилось ли моими страданиями, натешилось ли моими муками, навеселилось ли моими воплями, упилося ли моими кровавыми слезами?... Кто сделал меня преступником? Может ли слабый смертный избежать определенной ему участи? А кем определяется эта участь? О, я понимаю эту загадку!“ Что-же понимает Дмитрий Калинин? Мы уже знаем это: он думает, что миром правит не Бог, а дьявол... „Вот как играет беспощадная судьба слабыми смертными!—воскликает Дмитрий:—нет, видно, милосердный Бог наш отдал свою несчастную землю на откуп дьяволу, который и распоряжается ею истинно по-дьявольски!“ А отсюда—„хула на Бога, как на тирана, который утешается воплями своих жертв, который упивается их слезами“. Но ведь это буквально то самое, что несколько выше говорил Белинский о тиранах-помещиках! И в области социальной, и в области религиозной Белинский видел перед собою „крепостное право“, тиранство человека человеком и тиранство человека Богом. Правда, в последнем вопросе он еще колебался и заставил добродетельного „резонера“ трагедии сказать много хороших слов о „доверенности к Промыслу“, о Премудрой Благости. Значительная часть третьей картины драмы посвящена столкновению этих двух точек зрения на Бога, на мир и на жизнь; Сурский, резонер драмы, добродетельный товарищ Дмитрия, доказывает, что „хотя земля и есть поприще страданий большей части людей, однако в этом виноват не Бог, а сами люди“, что „ежели они (люди) претерпевают горести, то для того, чтобы живее ощущать радости“, и что, наконец, истинно благородные и великодушные люди должны „терпеть здесь, чтобы вечно наслаждаться там“. В ответ на все это Дмитрий, предвосхищая мысли и слова Ивана Карамазова, „с бешенством“ восклицает: „терпеть... терпеть здесь, чтобы вечно наслаждаться там! Вот истинно-превосходная и вместе прутешительная философия!... Как!... Неужели вечное блаженство непременно покупается ценою ужаснейших страданий? Дорого же оно приходит!“ („...Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход!“—воскликнет через полвека Иван Карамазов). И в ответ на все другие доводы Сурского Дмитрий упорно отвечает отрицанием „доверенности к Промыслу“ и даже „хулою на Бога, как на тирана, который упивается их слезами“... Но такой Бог, очевидно, уже не Бог, а дьявол, которому мир отдан на откуп Богом...

Но как же решает эту вечную тяжбу между человеком и Богом сам юноша-Белинский? Кто он—Сурский или Калинин? И кто же виноват—Бог или человек? Калинин так и не решил этого вопроса; он идет с этим вопросом о вине Бога на суд к самому Богу. Но Калинин—не Белинский, хотя Белинский и придал своему неистовому герою целый ряд черт своего характера; Белинского, очевидно, тоже мучили „мрачные сомнения“, но все же, повидимому, он еще склонялся оправдать Бога и обвинить человека в вечной тяжбе между ними. К проклятиям Богу в „революционных“ монологах Калинина Белинский делает следующее подстрочное примечание: „так говорит дерзкое безумие, неистовое отчаяние человека, не упитанного чистыми струями религии и нравственности“... Эту простодушную оговорку вызвали, разумеется, цензурные соображения, но не они одни: Белинский действительно, как я уже сказал, скло-

дядя к „оправданию Бога“, т.-е. к признанию в мире вечной истины, вечной правды, вечной справедливости. Он с чистым сердцем мог заявить (в цитированном письме к отцу), что это его сочинение „не может оскорбить чувства чистейшей нравственности, и что цель его есть самая нравственная“; Белинский не сказал бы этого, если бы считал „дерзкое безумие“ своего героя не побежденным в самой драме. И в предисловии к драме Белинский прямо говорит читателям, что автор взялся за перо только „из чистого, бескорыстного побуждения выразить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием этой чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой он обитает, назначением, судьбою человека, сознанием его нравственного величия“... А если так, то ясно, кто такой сам Белинский в этой драме: по характеру, по темпераменту он Калинин, по взглядам на жизнь и на мир он—Сурский или хочет быть им... Но не менее ясно, что и „дерзкое безумие“, и „мрачное отчаяние“ и „преступные сомнения“ Калинина были порою очень и очень знакомы Белинскому.

Я так подробно остановился на юношеской драме Белинского потому, что вижу в ней удивительно яркое и полное предвосхищение всех трех основных взглядов Белинского тридцатых и сороковых годов на мир, на жизнь, на человека. Мы увидим еще, что в первом периоде своей критической деятельности, в „московском периоде“ (1834—1839 г.г.)—Белинский все более и более, все ревностнее и горячее отстаивал веру в благодать Промысла, веру в гармоничность мира и жизни, и тем самым „оправдывал Бога“, признавая разумным все существующее. Но затем, в начале „петербургского периода“ своей жизни и деятельности (1840—1842 г.г.) Белинский потерял эту свою веру, впал в „мрачное отчаяние“ и стал повторять с гораздо большей силой то, что некогда вложил в уста Дмитрия Калинина. И если в 1830-31 г. Белинский заставлял этого своего героя утверждать, что „мир на откуп у дьявола“, то десять лет спустя, в знаменитом письме к Боткину от 1 марта 1841 г., Белинский заявляет почти дословно это же самое уже от своего имени: „я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола—и это, кажется, мое последнее мирозерцание, с которым я и умру“... В последнем Белинский ошибся: еще долго продолжал он на многом видеть „хвост дьявола“, но вместе с этим в душе его скоро зародилась новая вера в нового Бога—в „социальность“, в новые, свободные формы общественного устройства; эта новая вера была только широким развитием тех социальных мотивов, которые впервые прозвучали у Белинского в его юношеской драме. И, как видим, социальные, философские и религиозные мотивы этой драмы являются поистине „лейт-мотивами“ драмы всей жизни Белинского; удивительно, что до сих пор на это не обращали достаточного внимания и не видели, что „Дмитрий Калинин“ является тем зерном, в котором *in potentia* заключено все дальнейшее развитие мировоззрения Белинского.

### III.

## В поисках пути.

Возвратимся однако к юноше-Белинскому и к судьбе этой его драмы, отправленной в начале января 1831 г. в московский цензурный комитет... О последовавшем надо рассказать словами самого Белинского из цитированного выше письма к отцу: „Что же вышло? Прихожу через неделю в цензурный комитет и узнаю, что мое сочинение цензуровал Л. А. Цветаев, заслуженный профессор, статский советник и кавалер. Прошу секретаря, чтобы он выдал мне мою тетрадь; секретарь, вместо ответа, подбежал к ректору, сидевшему на другом конце стола, и вскричал: Иван Алексеевич! Вот он, вот г. Белинский! Не буду много распространяться, скажу только, что... мое сочинение... признано было безнравственным, бесчестящим университет, и о нем составили журнал!.. Но после это дело уничтожено, и ректор сказал мне, что обо мне ежемесячно будут подаваться особенные донесения“... И, разумеется, это было еще сравнительно благополучным окончанием наивной юношеской затеи и надежды провести через николаевскую цензуру такую пьесу, как „Дмитрий Калинин“, — пьесу, насквозь пропитанную „революционным“, протестующим настроением ее главного героя. Из других источников нам известно, что профессора-цензоры порядком распекали Белинского и пригрозили ему лишением прав состояния, ссылкой в Сибирь, а может быть даже каторгой или солдатчиной<sup>10)</sup>; это так потрясло Белинского, что он в тот же день слег в университетскую больницу. Через немного лет Белинский сам радовался, что его юношеская драма не увидела света; в 1836 году в рецензии на „сочинение С. Темного“ („Ночь“), Белинский выразился так: „заметно, что эта Ночь есть произведение молодого человека с душою, с пылом, но еще не созревшего для мысли, еще не умеющего отдавать самому себе отчет в своих мыслях, а уже сторающего желанием написать и издать в свет что-нибудь, непременно написать и издать... О, если бы каждый молодой человек, не лишенный чувства и сторающий желанием печататься, издавал все плоды своей фантазии, сколько бы дурных книг бросил он в свет и сколько бы раскаяния приготовил себе в будущем!.. Мы говорим это от чистого сердца, говорим даже по собственному опыту, потому что имеем причины благодарить обстоятельства, которые помешали нам приобрести жалкую, эфемерную известность мнимыми произведениями искусства и занять место в забавном ряду литературных рыцарей печального образа“... И, разумеется, говоря так, Белинский был прав; драма его имеет теперь для нас громадное значение для понимания внутренней борьбы мировоззрений, происходившей в юноше-Белинском, но как литературное произведение эта „драматическая повесть“ крайне слаба. Написана она в приподнятом стиле псевдо-романтических произведений Марлинского, переполнена трескучими монологами, патетическими диалогами; художественное творчество не было доступно Белинскому. Восемь лет спустя он еще раз попытался написать пьесу для театра — на этот раз попавшую на театральные подмостки, дважды исполнявшуюся в московском театре и напечатанную в „Московском Наблюдателе“

<sup>10)</sup> Воспоминания Н. Аргилландера, „Русская Старина“ 1880 г., № 5.

1839 года; пьеса эта—пяти-актная драма „Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь“—окончательно убедила Белинского в том, что художественное творчество—не его область.

Дело о „Дмитрии Калинине“ кончилось для Белинского сперва сравнительно благополучно; „невзгода на меня, кажется, проходит, и я начинаю дышать свободнее,—сообщал Белинский родителям в письме от 24 мая 1831 г.:—начальство обо мне забыло и думать“... Но тут же он прибавлял: „Правда, при первом случае оно не уедлит напомнить мне, что знает меня“... Говоря так, Белинский оказался пророком; действительно, университетское начальство „не уедлило напомнить“ Белинскому о себе: полтора года спустя, воспользовавшись первым удобным предлогом—долговременной болезнью Белинского и пропуском экзаменов,—начальство это, в сентябре 1832 года, исключило Белинского из университета „по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей“... Мог ли университетский инспектор Щепкин, обессмертивший свое имя этой характеристикой, мог ли он предполагать, как ядовито посмеется над ним будущее!

Исключенный „по ограниченности способностей“ из университета, в тисках нужды, без поддержки и опоры, Белинский все-таки не пал духом. Сообщая отцу об этом исключении, Белинский просил отца не торопиться судить и осудить своего сына: „конец венчает дело, говорят умные люди,—писал Белинский:—только тогда при плесках вызывают или освистывают актера, когда совсем разыграет он свою роль; только тогда можно произнести суд человеку, когда он совсем окончил свое поприще“... (письмо от 21 мая 1833 г.). „Я нигде и никогда не пропаду“,—писал Белинский отцу четырьмя месяцами позднее; и он имел право на все эти дышащие силою и уверенностью заявления. Немедленно после исключения из университета, Белинский лихорадочно начал искать занятий, работы; с сентября по декабрь 1832 года он, „не слезая с места“, переводил с французского роман, надеясь продать свой перевод рублей за триста, но удалось ему продать его только за 25 рубл. серебр.—три месяца усидчивой работы! По этому примеру можно видеть, как нуждался Белинский и как он работал. Весною 1833 года Белинскому удалось познакомиться с издателем „Телескопа“ и „Молвы“—известным Надеждиным; в этих журналах Белинский стал помещать сперва свои переводы с французского, а затем, вероятно, и небольшие рецензии. В 1834 году, благодаря этим переводам и полученным частным урокам (между прочим, один из этих уроков—Кавелину), дела Белинского уже настолько поправляются, что он зарабатывает в месяц около 15—20 рубл. серебр. (64 р. асс.), и сумма эта кажется ему громадной... Наконец, осенью 1834 года он печатает в „Молве“ свои знаменитые „Литературные Мечтания“, составившие эпоху в русской критике—и после этого становится главным критиком и рецензентом „Телескопа“ и „Молвы“, получая за это от Надеждина по 60 рублей в месяц (3000 р. асс. в год): это уже целое богатство! „И на моей улице настал праздник; терпел, терпел, да и вытерпел!“—воскликает Белинский в одном из писем 1834 года.

Каким образом однако совершилось это чудесное превращение: „недоучившийся студент“, исключенный в 1832 году „по ограниченности способностей“ из университета, сразу становится в 1834 году самым выдающимся русским критиком своего времени—и не только своего времени?—Университет ничего не мог дать Белинскому. Об анекдотической профессуре той эпохи незачем много говорить: стоит вспомнить яркую главу из „Былого и Дум“ Герцена. Из многочисленных профессоров только Каченовский и Надеждин могли оказать некоторое влияние на Белинского; но Каченовский преподавал историю, которою студент Белинский не очень интересовался, а Надеждин читал „теорию изящных искусств и археологию“ только начиная с 1831—2 г., когда Белинский кончал свое пребывание в университете. Однако он несомненно был сторонником „скептической школы“ Каченовского, боровшегося с теорией „норманства“, доказывавшего южно-азиатское происхождение Руси и баснословность летописных известий до XIII—XIV вв. Эти взгляды Каченовского и его школы отразились в „Литературных Мечта-

ниях": Белинский говорит там об „Азиатце-Руссе“ и в обширном примечании присоединяется к историческим мнениям Каченовского.

Что же касается Надеждина, то его влияние на Белинского было несомненным—но это было не влияние лекций профессора Надеждина, а влияние критических статей журналиста Надеждина, „экс-студента Никодима Надоумко“—таков был его псевдоним. Впрочем, вопрос о степени влияния Надеждина на Белинского—вопрос до сих пор спорный; все доводы против этого влияния сконцентрированы С. Венгеровым в I томе его издания сочинений Белинского (там же и краткая литература этого вопроса); возражения на эти доводы высказаны П. Милюковым в его статье „Надеждин и первые критические статьи Белинского“ (в книге „Из истории русской интеллигенции“). Я полагаю, что в статье П. Милюкова вполне доказана идеологическая зависимость эстетических воззрений Надеждина и Белинского. Отсутствие этой зависимости было бы непонятно, если иметь в виду, что Белинский не только слушал лекции Надеждина в 1831—1832 г., но и сотрудничал в его журнале, начиная с 1833 года, близко сошелся с ним и даже одно время жил в его квартире и пользовался его библиотекой. Белинский был тогда еще слишком юным, начинающим литератором, а Надеждин—уже опытным и достаточно авторитетным журналистом и бесспорно умным человеком, чтобы можно было а priori предполагать несомненное влияние его на Белинского<sup>11)</sup>.

Но все-таки не этим влиянием объясняются „Литературные Мечтания“ Белинского; все-таки не Надеждин был для Белинского тем „университетом“, в котором будущий великий критик сформировал свое мировоззрение. Университетом этим для Белинского был, как известно, кружок Станкевича, хотя нельзя не заметить, что очень часто влияние на Белинского этого кружка сильно преувеличивают. В 1829—1832 годы—годы пребывания Белинского в университете—вместе с ним там начинали или кончали курс учения будущие друзья по кружку: Станкевич, Константин Аксаков, поэты Ключников и Красов, Ефремов, Петров, Неверов и др.; в это же время в университете был и Герцен, вокруг которого группировался другой кружок, вскоре подвергшийся преследованию правительства. Ближе всего Белинский сошелся с К. Аксаковым и со Станкевичем; несколько позднее, в 1835—1836 году, в кружок вошли В. Боткин, впоследствии близкий друг Белинского, и М. Бакунин, ставший в 1837—1840 году главою кружка, вместо уехавшего за границу и вскоре умершего Станкевича. Бакунин внес в этот дружеский кружок некоторые черты специфической „кружковщины“, о чем я еще скажу ниже; что же касается до кружка Станкевича первой половины тридцатых годов, то это был просто дружеский кружок молодежи, объединенной страстной любовью к искусству, к поэзии, музыке театру и совокупными силами выработывавшей себе „мировоззрение“. Сущность этого мировоззрения была заранее predetermined: Станкевич находился в близком знакомстве с профессором Павловым, у которого он жил; а Павлов был одним из наиболее видных представителей русских „любомудров“, двадцатых годов, сторонников немецкой натурфилософии вообще и учения Шеллинга в частности. Напомню также, что выше уже указывалось на сильное влияние произведений кн. В. Одоевского на юношу Белинского; а кн. Одоевский был единомышленником Павлова и верным учеником Шеллинга. Таким образом, почва была уже подготовлена. Станкевич тоже сделался шеллингистом; в письмах 1833 года он излагает свой взгляд на жизнь и на мир („Моя философия“), и взгляд этот является вариациями на шеллингистские темы. Несколько позднее, в 1836 году, Станкевич перешел к Фихте и увлек его учением Бакунина; а еще через год Бакунин перешел к Гегелю и нашел союзника в Каткове, в то время студенте, и других членах кружка<sup>12)</sup>.

<sup>11)</sup> Об основных воззрениях Белинского этой эпохи подробно сказано в статьях №№ 1—5 второй части настоящей книги. В дальнейшем ссылки на такие №№ привожу без всяких оговорок.

<sup>12)</sup> Подробно обо всем этом—в первом томе моей „Истории русской общественной мысли“.

Какое же положение занимал в этом кружке Белинский?—Кружок этот несомненно сыграл для него роль университета, ввел Белинского в круг философской мысли Запада, дал фундамент его эстетическим построениям; Белинский не знал немецкого языка и воспринимал философию Шеллинга, Фихте и Гегеля только от Станкевича, позднее—от Бакунина, еще позднее—от Каткова. В кружке он был учеником, другие были учителями; поэтому отношение к Белинскому было хотя и дружелюбное, но покровительственное, что не один раз прорывается в письмах даже мягкого Станкевича, не говоря уже о Бакунине. Но кроме того, равенства отношений не могло быть еще и потому, что Белинский был единственным бедняком-разночинцем в кругу обеспеченных дворян-помещиков; в трудные минуты ему приходилось обращаться к ним за денежной поддержкой, как это ни было для него мучительно. К тому же Станкевич довольно пренебрежительно относился к журналистике, считая себя стоящим выше этого поля деятельности; и это снисходительно-пренебрежительное отношение впоследствии передалось даже мягкосердечному Грановскому, который уже в 1842 году пишет Белинскому покровительственное письмо, с заключением: „читай, Виссарион, а не то через год тебе трудно будет писать“... Известен также факт, что в 1838 году Бакунин, К. Аксаков и Боткин заявили Белинскому, что он не имеет права писать и печататься—по недостатку „объективного наполнения“... Известно также, что, уже много времени спустя после смерти Белинского, его друг и товарищ Боткин заявил, что каждый из членов кружка „клат свою посильную лепту в общую сокровищницу, которою была критика Белинского“.

Целый ряд подобных фактов дал возможность некоторым историкам литературы переоценить влияние кружка Станкевича на Белинского, в котором главной стороной им кажется „великое сердце“, а не пытливые искания разума (С. Венгеров). Такое мнение представляется крайне односторонним, так как сильное влияние кружка заметно только в одном, очень непродолжительном, периоде жизни и критической деятельности Белинского; „великое сердце“ остается при Белинском, но не в этом главное значение деятельности великого критика. Необходимо отметить прежде всего упорную самостоятельность юноши-Белинского при выработке своего мировоззрения. Еще в университете сошелся он с кружком Станкевича, в 1833 году он уже был близок со всеми его членами, что видно из переписки Станкевича; осенью 1833 года Белинский пишет брату о своей дружбе и связи со многими „отборными по уму, образованности, талантам и благородству чувств молодыми людьми“; и однако Белинский не спешил примкнуть к основной вере Станкевича и его друзей—к шеллингизму. Я уже приводил меткое наблюдение его гимназического учителя, Попова, что Белинский, вообще говоря, „не скоро поддавался на чужое мнение“, но зато, если с чем соглашался, то выражал свое убеждение „с страшною уверенностию“. Так было и теперь. Уже три или четыре года Белинский был знаком со Станкевичем, который несомненно проповедывал и ему свою философию—шеллингианство; но Белинский не принимал этой новой веры, не поддавался на доводы Станкевича. В чем была тогда вера Белинского—мы теперь не знаем с достаточной определенностью: быть может этой верой была философия энциклопедистов XVIII века, быть может это были отзвуки учения Руссо, как можно заключить по некоторым местам из „Дмитрия Калинина“. Как бы то ни было, но до середины 1834 года Белинский не разделял философской веры Станкевича; как он пришел к ней—нам тоже неизвестно; быть может этому способствовало близкое знакомство в 1833—34 г. с таким сильным умом, как Надеждин, который вырос на системах немецкой философии. Так или иначе, но факт тот, что только перед самыми „Литературными Мечтаниями“ Белинский обратился в новую веру и стал исповедывать ее, как всегда, „с страшною уверенностию“. Он сообщил о своем переходе Станкевичу, и тот отвечал ему в октябре 1834 г.: „не знаю, радоваться ли твоему обращению. Новая система, вероятно, удовлетворит тебя не более старой“... Мы видим, как все это непохоже на обычное толкование идейной зависимости Белинского от кружка Станкевича.

Но вот Белинский обращается в 1834 году в эту новую веру, в „шеллингианство“, и начинает „с страшною уверенностию“ исповедывать и проповедывать его в своих статьях. С этого времени, действительно, начинается для Белинского период

невольной идейной зависимости от членов кружка Станкевича: он не знал немецкого языка и должен был от своих друзей узнавать о тех или иных частностях философских систем. Но и тут Белинский, обладавший (по известному отзыву кн. В. Одоевского) „философской организацией“, преломлял получаемые сведения и своеобразно отражал их в своих статьях. Так совершил он, под руководством друзей, свое философское развитие от шеллингианства через фихтнантизм к гегелианству; но тут, с 1838 года, он решительно пошел по своему пути, дал свою интерпретацию гегелианства, вынес на этой почве борьбу с Бакуниным, отстаивал свои взгляды в письмах к Станкевичу, жестоко поссорился с Герценом: много ли во всей русской литературе примеров такой духовной самостоятельности? Одиноким переехал Белинский в конце 1839 года в Петербург; здесь, год спустя, он перенес жестокий идейный и религиозный кризис, перешел к новой вере, к вере в „социальность“, и быстро подчинил новым своим взглядам почти всех окружающих, а в том числе и того самого Боткина, который позднее желал представить критику Белинского каким-то общим складочным местом мнений всех друзей. Лучшим доказательством фантастичности этой мысли Боткина является переписка между ним и Белинским в 1840—1843 г.г.: слишком чувствуется в ней превосходство Белинского над Боткиным. Если в редких случаях Белинский и брал какую-нибудь мысль Боткина в свою статью, то почти всегда это была мысль самого Белинского—быть может только лучше выраженная. Но гораздо чаще Белинский отвечал своему другу: а о таком-то предмете ты врешь, хотя и мило врешь...

Все предыдущее—не защита самостоятельности Белинского (в такой защите он не нуждается), а простое установление факта, что период влияния кружка Станкевича на Белинского был весьма непродолжителен и длился только с 1835 по 1838 год; но и в этот период такое влияние относилось главным образом к области философии и теории эстетики. Часто указывают на влияние Станкевича и в области чисто литературно-критической: Станкевич отрицательно относился к Бенедиктову, к Кукольникову, к Ершову („Конек-Горбунок“)—и Белинский „разделял“ эти мнения. Не вероятнее ли предположить, что в той области, которая была главной специальностью Белинского, в области критики и истории литературы, не на него оказывали влияние, а сам он оказывал влияние на своих друзей? И уж в крайнем случае такое влияние могло быть только взаимным, обоюдным. Да наконец и сам Станкевич с удивлением отвергал слухи, будто Белинский находится под его литературным влиянием; в этой области—прибавлял Станкевич—я сам рад у Белинского поучиться... И если Белинский вносил что-нибудь „свое“ в кружок Станкевича и его друзей, то это могли быть именно историко-литературные и критические суждения. Часто указывают, что многие из этих суждений были высказаны в печати еще задолго до „Литературных Мечтаний“ Белинского; но дело не в этих отдельных суждениях, а в той общей широкой картине, которую Белинский сделал из истории русской литературы XVIII и начала XIX века. Белинский в сущности был Колумбом этой области, был первым историком этой эпохи русской литературы.

„Литературными Мечтаниями“ началась в конце 1834 года серьезная критическая деятельность Белинского в журналах Надеждина, „Телескопе“ и „Молве“, закончилась она к концу 1836-го года статьей Белинского „Опыт системы нравственной философии“. Впоследствии, уже на исходе „московского“ периода своей жизни, в конце 1839 года, Белинский, сам указывая в письме к Станкевичу на „смешные стороны своего телескопского ратования“, все же подчеркивал, что эти смешные и слабые стороны (главным образом приподнятость и гиперболичность) не могут заслонить собою тех истин, которые находились в этих статьях. „Мне сладко думать,—пишет Белинский,—что я, лишенный не только наукообразного, но и всякого образования, сказал первый несколько истин, тогда как премудрый университетский синедрион порол дичь“<sup>13)</sup>. Белинский с жаром отдался журнальной деятельности, особенно усилившейся

<sup>13)</sup> В этих словах—лишнее доказательство полной идейной самостоятельности Белинского той эпохи: он не подчеркивал бы в письме к Станкевичу свой приоритет, если бы считал себя обязанным за эти истины Станкевичу.

с середины 1835 года, когда Надеждин уехал за-границу и передал на время своего отсутствия ведение своих журналов Белинскому. Станкевич в письме к Неверову сообщал, что Надеждин „отдал нам Телескоп“; но вскоре Станкевич сознал, что это подчеркнутое „нам“ слишком напоминает известное „мы пахали“, и в одном из следующих писем сообщил, что „Надеждин передает свой Телескоп Белинскому“, и что остальные друзья будут только „помогать“ ему. И тут же Станкевич прибавлял: „разумеется, что я не стану тратить времени на Телескоп“... Таким образом, Белинский стал полноправным редактором „Телескопа“ и почти целый год посвящал ему все свои силы. Вернувшийся к 1836 году из-за границы Надеждин остался, повидимому, доволен ведением дела в его отсутствие, дал возможность Белинскому отдохнуть в течение осени, которую Белинский провел в деревне Бакуниных,—и вообще собирался еще энергичнее приступить с помощью Белинского к изданию своих журналов. Но как раз осенью этого года Надеждин поместил в своем журнале знаменитое „Философическое письмо“ Чаадаева, за которое журнал подвергся полному разгрому, а сам Надеждин—ссылке (в феврале 1837 года). Белинский, возвращавшийся из Прямухина, деревни Бакуниных, в Москву (15 ноября 1836 года), был арестован на заставе, „представлен“ в полицию и подвергнут обыску, причем однако в его бумагах „ничего сумнительного не оказалось“, и он был освобожден.

Так закончился „телескопский“ период жизни и деятельности Белинского,—период характеризуемый шеллингианством; начиналась новая полоса развития Белинского, характеризуемая его „фихтианством“, проявление которого мы видим уже в последней статье Белинского, напечатанной в „Телескопе“ („Опыт системы нравственной философии“). Но немедленно вслед за этой статьей литературная деятельность Белинского прервалась на полтора года и возобновилась тогда, когда Белинский стал уже последователем „гегелианства“. Эти три фазиса его развития в лоне немецкой философии объединяются однако единой и глубокой его верой в мир, в жизнь, в Бога. Великие искания Дмитрия Калинина теперь довели его, казалось, до окончательной и пламенной веры, проявления которой мы находим и в статьях и в письмах Белинского. Разбору статей Белинского посвящена вся вторая половина настоящей книги; мы обратимся здесь к его письмам.



## Вера в „Премудрую Благость“.

Начиная свою журнальную деятельность, Белинский твердо стоял на точке зрения резонера из „Дмитрия Калинина“. Еще раз повторяю: удивительно, до чего полно предвосхищены в этом юношеском произведении Белинского почти все мучительные искания его последующей жизни! Драматургию свою он написал в 1830 г. и после нее еще 3-4 года пребывал в муках сомнения и в состоянии неудовлетворенности от своего воззрения на мир. Какое это было воззрение?—Мы этого точно не знаем, а можем строить только более или менее вероятные предположения. Но за то мы наверное знаем, что все это время в душе Белинского непрерывно продолжался процесс искания истины. И к концу 1834 года ему показалось, что он ее нашел навсегда. Он обратился в новую веру, и верой этой, как известно, было шеллингянство. В нем для Белинского соединялось философское и эстетическое оправдание и принятие мира и жизни; мир и жизнь для него теперь не „крепостная система“, а „дыхание единой, вечной идеи—мысли единого, вечного Бога“; Бог для него теперь не „тиран“, отдавший мир на откуп дьяволу, а „Премудрая Благость“, „Божественный Промысел“. Словом, победило воззрение резонера из юношеской трагедии Белинского, и это радостно успокаивающее воззрение росло и ширилось в эпоху и шеллингянства, и фихтианства, и гегелианства Белинского. Самоудовлетворяющее искусство, „как выражение великой идеи Вселенной“, как отблеск божественной силы, целесообразной и разумной—вот истина, к которой Белинский пришел после мучительных исканий; а что искания были действительно мучительны—мы знаем это по „Дмитрию Калинину“, произведению юношескому, незрелому, но поистине написанному „кровью и соком нервов“.

Когда Белинский обратился в эту новую веру и поведал об этом обращении своему другу Станкевичу, то последний—это я уже отметил—скептически отвечал ему: „не знаю, радоваться ли твоему обращению. Новая система, вероятно, удовлетворит тебя не более старой“... Как видим, Станкевич хорошо знал и понимал своего друга, Orlando furioso,—как в кружке друзей называли Белинского. Достигнутая, постоянная, „статическая“ истина не была его уделом; истина в процессе выработки, „динамическая“ истина только и была ему свойственна. И когда, в 1834—1839 г.г., Белинский переживал процесс такого динамического развития истины в лоне абсолютной немецкой философии, то все-же в этом процессе—очень сложном и уже довольно подробно изученном историками литературы—одна истина была для него постоянной, ненарушимой и, казалось ему, прочно и навсегда приобретенной: это была „истина“ о Божественном Промысле, о Премудрой Благости, разумно управляющей миром и жизнью. Мог ли думать тогда Белинский, что пройдет еще два-три года—и истина эта станет для него нестерпимой ложью?

Так случилось в начале сороковых годов; но пока, в тридцатых годах, Белинский готов был за эту истину отдать свое счастье, отдать свою жизнь. Да и то сказать, „истина“ эта помогала Белинскому нести груз тяжелой и трудной жизни. Денежная необеспеченность, почти нищета, вечные долги, несчастная любовь к А. А. Бакуниной—

вот жизнь Белинского в тридцатых годах: верить в Разумный Промысел, ведущий к определенной цели, было легче, чем не верить в него. И Белинский верил, старался верить. „Дух вечной истины, молюсь и поклоняюсь тебе и с трепетом, с слезами на глазах отныне предаю тебе судьбу мою: устрой ее по разумной воле своей, и если суждено мне на земле высшее блаженство—от тебя приму я его, или никогда не узнаю его!“ Так восклицает Белинский в одном из писем конца тридцатых годов <sup>14)</sup>.

Вот во что обратились былые вопросы Дмитрия Калинина „Существованию Всевышнему“; прежде Белинский с отчаянием восклицал: „от судеб защиты нет“, а теперь он не один раз повторяет в письмах народную мудрость: „все в воле Божией—я верю этой мысли, она есть догмат моей религии“... <sup>15)</sup>. Прежде Белинский, устами Дмитрия Калинина, обвинял Бога в „тиранстве“ по отношению к людям; теперь он в этом „тиранстве“ видит простую муштровку, необходимую и полезную для человека. „Я солдат у Бога, он командует, я марширую. У меня есть свои желания, свои стремления, которых Он не хочет удовлетворить, как ни кажутся они мне законными; я ропщу, клянусь, что не буду Его слушаться, а между тем слушаюсь и часто не понимаю, как все это делается“...

Вот как все хорошо устроилось! Ядовитые вопросы Дмитрия Калинина умолкли перед этой верой Белинского в Премудрую Благость. А ведь вера в абсолютную истину исключает всякие искания, кроме тех исканий, которые бессознательно и исподволь ведут подкоп „аршином глубже“ этой самой абсолютной истины. И первый признак, что подкоп уже ведется, что в глубине души Белинского идет тайная борьба между абсолютной истиной и новыми исканиями—первый признак этого процесса в том, что Белинский начинает горячо убеждать себя: „я верю, я верую!“ И чем горячее он убеждает себя и других, тем яснее, что вера его накануне жестокого перелома. Тот, кто твердо верит, не нуждается в самоубеждениях.

Огонь вспыхивает перед концом горения, перед тем, как потухнуть. Так было и с последней вспышкой веры Белинского. Осенью 1838 года умерла молодая и прекрасная Л. А. Бакунина, бывшая невестой Станкевича. С семьей Бакуниных Белинский был тогда тесно связан различными нитями и больно почувствовал эту утрату. „Все в воле Божией“, „Бог командует, человек марширует“: этим Белинский себя теперь не утешает. Теперь ему надо понять, теперь ему надо знать, для чего жила, для чего умерла Лидия Бакунина. И Белинский пытается убедить себя, что это разумно, что так надо, что это к благу, к лучшему. Вслушайтесь в эти самоубеждения, в эту пылкую проповедь, и вы услышите в ней новые ноты, почувствуете „подкоп аршином глубже“, который ведется где-то в глубине души Белинского. „Боже,—восклицает он,—не имела ли она всех прав на жизнь, на счастье, на блаженство? Кто же достоин всего этого, если не она? И что же? Она-то и выпила всю чашу страданий и мук. Где же справедливость? Ум оскорбляется, сердце возмущается“... И тут же, непосредственно рядом—самоутешения: „нет, не обманчивы таинственные предчувствия сердца: она живет и блаженствует! Смерть была для нее не прекращением страданий, но наградою за них, новою, лучшею жизнью“... <sup>16)</sup>. И Белинский не устает развивать на все лады эту обычную аргументацию, стараясь убедить себя, что он верит, что этой верою жива его душа; и попрежнему новые ноты звучат в этих самоубеждениях, и попрежнему чувствуется, что это уже одна из последних вспышек веры. „Зачем был на земле этот светлый ангел? Неужели только для того, чтобы научить людей страдать с терпением? Люди от этого в выигрыше, а она? Живет общее, гибнут индивиды. Но что же такое это общее? Сатурн, пожирающий детей? Нет, без личного бессмертия духа, жизнь—страшный призрак. Нет, она жива и блаженна, и мы будем некогда живы и блаженны. Мишель, не думай, что бы я предавался крайности. Нет, понимаю цену здешней жизни. Жизнь везде одна и та же. Вопрос не во времени, не в месте, а в ко-

<sup>14)</sup> Из письма к Боткину, без даты; судя по содержанию—1838 или 1839 г.

<sup>15)</sup> Из письма к М. Бакунину от 12 октября 1838 г.; из него же и следующая ниже цитата.

<sup>16)</sup> Из письма к М. Бакунину от 17 августа 1838 г.

нечности или бесконечности. Если мое *Я* вечно—для меня нет страданий, нет обманутых надежд; не там, но всегда—вот в чем мое вознаграждение... И кто здесь, на земле, исчерпает всю жизнь, по крайней мере в той возможности, какая дана ему? А где мера этой возможности? Бесконечное—бесконечно в буквальном смысле. Нет старца, который бы взял с жизни полную дань. Что же юноша?—Цветок, еще не распустившийся. И будто его жизнь кончилась? *Кончилась!*—ничто не кончается, но бесконечно развивается, бесконечно углубляется в жизнь. Нет смерти! Только мертвые хоронят мертвых. Воскресение Христа не есть же символ чего-нибудь другого, а не воскресения. Наша конечность боится этих вопросов и оставляет их в стороне! Чего мы не постигаем, то для нас—темные места в Евангелии. Нет, там каждая буква есть мир мысли, и скорее преидет земля и небо, нежели одна иота из книги жизни. Я верю и верую!... Чего мы еще не постигли, то должно быть свято: придет время—прозрим, и непонятное будет понятно, и неестественное—естественно. Да, жив Бог—жива душа моя!"<sup>17)</sup>

Во всем этом много увлечения, много страсти, но нет, казалось бы, только одного: возможности дальнейшего развития этой точки зрения. Достигнутая абсолютная истина и искание новой истины—это два полюса: „волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой“... И для того, чтобы пойти вперед, надо отвернуться от старой истины, в ее абсолютности увидеть ложь, в ее неподвижности—приговор над ней. Это почти всегда очень тяжелый внутренний процесс, и бесконечно тяжелым стал он для Белинского, который каждую истину принимал в свое сердце, срастался с нею не умом, а чувством. Голая логическая истина оставляла его всегда холодным. „У меня,—писал Белинский,—все убеждения сильны, потому что я не умею вполнину предаваться им. Иная мысль живет во мне полчаса, но как живет? Так, что, если сама не оставит меня, то ее надо оторвать с кровью, с нервами“<sup>18)</sup>. Что же сказать о той истине немецкой абсолютной философии, соединенной с истиной церковной веры, которая жила в Белинском не полчаса, а больше пяти лет? Не только с кровью и нервами вырвал он ее, но и с частью собственного сердца. Апатия, страдание, отчаяние—вот внутренняя жизнь Белинского в течение долгих месяцев после разрыва с абсолютной истиной немецкой философии и русской церковности. Но именно это страдание, это отчаяние открывало путь новым исканиям неистового и в ненависти, и в любви Виссариона.

Трудно сказать, когда именно сквозь кору абсолютных истин стал снова пробиваться голос Дмитрия Калинина. Казалось, что герой юношеской драмы Белинского навсегда похоронен под грузом абсолютных истин и придавлен сверху верой в Премудрую Благодать. Но в действительности неистовый и протестующий Дмитрий Калинин всегда жил в Виссарионе Белинском. Еще в самом разгаре своей веры в высшую разумность жизни и смерти всякого человека Белинский испытывал вполне не мирящиеся с этим „доверием к Промыслу“ чувства; противоречия терзали его душу. „Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель!—писал как-то раз Белинский своему

<sup>17)</sup> Из письма к М. Бакунину от 16 августа 1838 г.—Несколько выше, в том же письме от 16—17 августа, находим следующую фразу: „явление для меня есть по преимуществу откровение истины; никогда мысль не откроет мне того, что открыли явления. Кто не видел этих явлений, тот мне представляется как будто лишенным духовного крещения и я прощу ему неверие в жизнь“. Явление становилось для Белинского выше (отвлеченной) мысли: он приходил мало-по-малу к „реализму“, а это неизбежно должно было привести его раньше или позже к разрыву с верой в Премудрую Благодать.

<sup>18)</sup> Из письма к М. Бакунину от 13—14 августа 1838 года.—Непосредственно продолжение этой цитаты тесно связано по мысли с отрывком, приведенным в предыдущем примечании: „Нет, друг мой, всякий человек есть явление самобытное и может жить и развиваться только в своих формах. Я много раз принимал истины, по их логической необходимости, но они никогда не входили в меня глубоко, а приставали ко мне снаружи и тотчас отваливались. И потом жизнь наводила меня на них, и тогда я принимал их с убеждением“.

другу Бакунину:—никогда так не стремилась к ней душа моя и никогда так не ужасалась ее. В одно и то же время я вижу в ней и очаровательную девушку, и отвратительный скелет. И хочется жить, и страшно жить, и хочется умереть, и страшно умереть. Могила то манит меня к себе прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тления“<sup>19)</sup>. И подобные противоречия, показатели вечного искания, вечно были уделом Белинского— даже в период его, казалось бы, спокойной и твердой веры. Голос Дмитрия Калинина никогда не был заглушен окончательно в Белинском, „страсти роковые“ всегда роднили Белинского с героем его трагедии.

Кстати сказать: „страсти роковые“, быть может, первые толкнули Белинского в гущу подлинной жизни, столь далекой от теорий и идеалов немецкой философии. Разорвав в начале тридцатых годов с Дмитрием Калининым, Белинский все же оставался „романтиком“ (в ходячем смысле этого слова) до конца этого десятилетия. Общеизвестна та романтическая теория любви, которой держались тогда Белинский и его друзья. Любовь это—религиозный экстаз, заполняющий собою жизнь: женщина это—ангел на земле, которой надо поклоняться, как воплощению красоты, непосредственного чувства, женственности; найдя родную себе душу, надо убедиться, что она предназначена именно тебе, что твое чувство достойно ее. Все это делало любовь романтиков тридцатых годов мучительным процессом анализа, „рефлексии“, сомнения, колебаний, даже в том случае, если „она“ и „он“ глубоко любили друг друга. Так было со Станкевичем и Лидией Бакуниной, так было с Боткиным, так было и с Белинским; но последнему пришлось тяжелее всех: А. А. Бакунина, которую он полюбил—чувством надуманным и вымученным—не отвечала ему взаимностью. Белинский сомневался, надеялся, мучился, приходил в отчаяние, умирал и воскресал и, наконец, измученный и истрадавшийся, „падал“, снова „восставал“,—и снова начиналось повторение *da capo al fine*.

Биографы Белинского обходят эти „падения“ молчанием, говорят о них намеками, вскользь. А между тем именно эти „падения“ были одним из первых протестов неистовой натуры Белинского против узких пут абсолютной философии; „страсти роковые“ доказывали, что Белинский был подлинно живым человеком даже в те годы, когда он тщетно стремился сделать из себя какое-то „абстрактное совершенство“. Нельзя без глубокого волнения читать те письма Белинского, в которых он ярко и откровенно описывает сцены своего „падения“, не бичуя себя за них, а требуя сочувствия и понимания; перед нами встает не бесплотный и иконописный Белинский, а Белинский с кровью и плотью, неспособный удовлетвориться сухим и холодным „абстрактным совершенством“, но предпочитающий лучше упасть в грязь. К сожалению, многое из этих писем никогда, вероятно, не станет достоянием печати; но и по приводимым несколько ниже отрывкам можно видеть, что, по искренности, силе и страсти в русской литературе нет других подобных человеческих документов. „Страсти роковые“ вечно жили в романтике Белинском и из „абстрактного совершенства“ делали его живым человеком.

И сам Белинский хотел, чтобы друзья и знакомые его видели его в истинном свете—не ходульного героизма, а человеческой сущности. Когда Бакунин или Боткин преклонялись пред „великой субстанцией“ души Белинского, последний всегда расхолаживал их, подчеркивая простые человеческие свойства своей натуры и выражая (в конце тридцатых годов) свою глубокую ненависть к бывшему надуманному и искусственному „романтизму“. „Ты—писал он Боткину—становишься на колени перед моими глубокими интересами; я тебе скажу их: жажда блаженства в любви—вот все мои глубокие интересы. Знаю, что есть и другие, столь же сильные, но в них для меня видна какая-то ясность, противоположная таинству жизни“...<sup>20)</sup>. Это еще из эпохи

<sup>19)</sup> Из письма к М. Бакунину без года, но помеченному „20 июня понедельник“. Отсюда определяется и год—1838-й.

<sup>20)</sup> Из письма к Боткину, без даты; судя по содержанию письмо относится к 1838 году.

„романтизма“; года два спустя, в письме к М. Бакунину, Белинский в экстазе самобичевания выражается еще ярче и сильнее: „Меня, Мишель, не умаслишь похвалами моей глубокой субстанции и прочих вздоров; меня не уверишь, что я страдаю от того, что теперь все человечество страдает: что общего между мною и человечеством? Я не сын века, а сукин сын. Я понимаю страдания какого-нибудь Штрауса, которого всякое мгновение было жизнью в общем (не в абстрактном и мертвом, а в конкретном) и было жизнью деятельною: это человек великий, гениальный; моей ли роже тянуться до него—высоко, не достанешь. Я страдаю от гнусного воспитания, оттого, что резонерствовал в то время, когда только чувствуют; был безбожником и кощунном, не бывши еще религиозным; толковал о любви, когда еще у меня и.....; сочинял, не умея писать по линейкам; мечтал и фантазировал, когда другие учили вокабулы, не был приучен к труду, как к святой, объективной обязанности, к порядку, как единственному условию не бесплодного труда, а сделавшись сам себе господин, не приучал себя ни к тому, ни к другому, не развил в себе элемента воли. Ко всему этому присоединилась несправедливость судьбы, глубоко оскорбившая во мне самые священные права индивидуального человека“... <sup>21)</sup>).

За этим сознанием „несправедливости судьбы“ всегда следовало восстание Белинского против всех „абсолютных начал“. Конечно, при этом нельзя буквально понимать и принимать все то, что Белинский говорил о себе в порывах самоосуждения; но порывы эти в высшей степени характерны для души вечно ищущей, никогда не успокаивающейся. Нельзя, например, буквально принять следующий отрывок из письма Белинского к М. Бакунину: „обращаясь назад, я вижу в своей жизни одни страдания, апатию, падение, восстание, грех, покаяние и все это вследствие отвлеченности, идеальности, пошлого шиллеризма, натянутости, претензий на гениальность, боязни быть простым добрым малым. Но я хватился за ум—и теперь за поцелуй, за улыбку охотно плюну на философию, на науку, журнал, мысль и на все. Ощущений, волнования, жизни—это главное; а там можно и пофилософствовать—этак, как выкинется—иногда прозой, а иногда и стихами“... <sup>22)</sup>. Уже одна последняя шутивая цитата из Гоголя заставляет не вполне серьезно отнестись ко всему этому исповеданию в его целом; но сущность его глубоко правдива: Белинскому действительно было душно в надуманном, напускном романтизме, и эстетическом, и философском, и религиозном; он беспрестанно искал выхода в сферу „ощущений, волнования жизни“. Этот выход он долго не умел найти теоретически; его „падения“, его „страсти роковые“ были практическим ответом неистовой натуры, сжатой в несвойственных ей тисках.

Так было в личной жизни Белинского; но тесно и неразрывно переплетена она с его „жизнью в Общем“, с его теоретическими исканиями и метаниями. Вера в Премудрую Благость прошла у Белинского, мы знаем это, ступенями „шеллингианства“, „фихтианства“, „гегелианства“; и чтобы притти за Белинским к его „восстанию против Разума“, надо сперва пройти за ним по этим ступеням. В них—вся история и русской философии, и русской общественности тридцатых-сороковых годов; в них—вся „нравственная подвижность“ Белинского от веры через безверие к новой вере, вся его „ревность по Господе, снедающая человека“...

<sup>21)</sup> Из письма к М. Бакунину от 26 февраля 1840 г.—Точками отмечены слова неудобные в печати, как и везде ниже.

<sup>22)</sup> Из письма к М. Бакунину от 10 сентября 1838 года.—Даже тремя годами позднее Белинский писал Николаю Бакунину: „любите искусство, читайте книги, но для жизни, т. е. для женщины, бросайте и то и другое к чорту“ (из письма от 6 апр. 1841 г.).

## „Философия“ и „кружковщина“.

В шеллингианстве Белинский и его друзья нашли ответ на нравственные, эстетические и отчасти социологические запросы; в „Литературных Мечтаниях“ и последующих статьях Белинского 1834—6 г. мы имеем шеллингианское обоснование и развитие мысли о свободном творчестве поэта, об эстетическом чувстве, как основе добра, о внутренней связи свободно-творящего поэта с народом<sup>23</sup>). Сразу бросается в глаза почти полное отсутствие во всем этом вопросов теоретико-познавательных, гносеологических; а между тем миновать их при знакомстве с после-кантовской философией было невозможно. Знакомство с философией Фихте принудило Станкевича и его друзей вплотную подойти к постановке этих вопросов и заимствовать от Фихте не только его этический пантеизм, но и его субъективный идеализм. Последнее сперва было наиболее трудным; Станкевич, начавший читать Фихте („Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen“) весной 1836 года, сознается, что чтение это сперва произвело в его голове такой сумбур, возможности которого он и не подозревал... Нравственный закон— утверждает Фихте—только тогда является реальным, если внешний мир не есть „вещь в себе“, если между Я и не-Я существует взаимодействие (а не одностороннее действие объекта на субъект). Реальность нравственного закона отрицает, таким образом, точку зрения наивного реализма; более того, она заставляет нас в конце концов прийти к заключению, что внешний мир есть лишь продукт нашего ощущения и мышления, есть только наше представление. Нет „вещи в себе“, есть только „образы“, отображения нашего сознания, объективируемые во-вне; внешний мир призрочен, реальное есть лишь самоосуществление Я. Эти разлагающие мир и личность умозаключения приводят к понятию веры, без которой не может быть построена философская система.

Все это — из той самой книги Фихте, которая произвела такую путаницу в мыслях Станкевича<sup>24</sup>): доводы и выводы субъективного идеализма не могли не поразить реалистически настроенных друзей кружка Станкевича. Но среди этого кружка появилось в 1835—6 г. новое лицо—М. Бакунин, сильный философский ум, легко усваивавший себе все те „философские отвлеченности“, которые смущали даже Станкевича и были совершенно чужды такому типичному „реалисту“, как Белинский. С 1836 г. начинается близкая дружба Белинского с М. Бакуниным, этим будущим родоначальником русского анархизма, а пока—ревностным неопитом фихтианства; время с августа по ноябрь 1836 г. Белинский, как мы уже знаем, проводит в Прямухине, деревне Бакуниных, и поемному сам втягивается в „фихтванскую отвлеченность“. В статье о книге „Опыт системы нравственной философии“ Белинский уже применил эту новую точку зрения и новую терминологию<sup>25</sup>); до этого времени он был знаком только с об-

<sup>23</sup>) Подробно обо всем этом—№№ 1—5.

<sup>24</sup>) Книга эта („Die Bestim. des Menschen“) переведена под редакц. Н. Тосского на русский язык: „Назначение человека“. Спб. 1905.

<sup>25</sup>) См. № 6.

щим шеллингианским воззрением на мир и на жизнь. „Есть два способа исследования истины: а priori и а posteriori, т.-е. из частного разума и из опыта“—пишет Белинский в этой своей статье; а из письма Белинского к М. Бакунину (от 21 ноября 1837 г.) мы узнаем, что даже эти подчеркнутые выражения были новостью для Белинского: „я написал несколько статей, обративших на меня внимание, и никак не подозревал, чтобы развитые в них идеи были идеями а priori“...

И вот теперь Белинский стал проповедывать этические идеи Фихте, обосновывая их на идеалистической теории познания. Характерны в этом отношении начальные страницы все той же статьи, где Белинский заявляет, что „факты и идеи не существуют сами по себе: они все заключаются в нас“, что „внешние предметы только дают толчок нашему Я и возбуждают в нем понятия, которые оно придает им“. Эти два положения взаимно исключают друг друга (так как первое построено на отрицании, а второе на признании „вещи в себе“); если же прибавить к этому, что два эти положения разделены третьим, в котором проводится вовсе не фихтепанское, а платоновское учение об идее, то станет ясным, насколько своеобразно преломлялась фихтепанская теория познания в понятия Белинского и его „философского друга“ и учителя—Бакунина.

Итак, несомненно, что фихтепанство Белинского и друзей было сильно „русифицированным“. Особенно это сказалось в той терминологии, которая под именем „фихтепанской“ создавалась в кружке друзей, и главным автором которой несомненно был Бакунин. „Конкретная жизнь“, „абстрактная жизнь“, „внешняя жизнь“, „призрачность“, „полная жизнь духа“, „объективное наполнение“, „благодать“, „нравственная точка зрения толпы“, „добрые малые“, „прекраснодушные“ и т. п.—вот термины, которыми переполнена переписка Белинского, начиная с 1836 года. Некоторые из этих терминов действительно можно встретить у Фихте (например, „призрачность“, „блаженная жизнь“); но большая часть их несомненно „московского“ происхождения. Иной раз заимствованный термин получал совершенно своеобразное значение: из известного выражения Гёте (а впоследствии и Гегеля)—„Schöne Seele“ Станкевич и Бакунин с друзьями сделали чуть не целую философскую категорию. Под „прекраснодушным“ понималось у них состояние среднее между изменной „нравственной точкой зрения“ толпы и состоянием „благодати“ немногих избранных. (Несколько позднее, уже в эпоху гегелианства, Белинский стал называть „прекраснодушным“ все беспочвенные идеалистические порывы, всякий бессильный протест против действительности). Весь внешний мир был объявлен „призрачным“, а действительною считалась только „жизнь в духе“, только высшие переживания, этические и эстетические.

Белинский добросовестно старался убедить себя в истинности этой новой фихтепанско-бакунинской веры. Одно время он был просто подавлен авторитетом своего „философского друга“ и покорился ему; это совпало с периодом самобичевания Белинского, его признания своей недостойности для состояния „благодати“; в то же время Белинский, живя в Прямухино, влюбился в одну из сестер своего друга, А. А. Бакунину, но не только не встретил взаимности, а наоборот, увидел, что на него смотрят „сверху вниз“... Все это очень повлияло на впечатлительного Белинского, и он то падал духом, то воскресал, стремился к самосовершенствованию, искал спасения в „объективном наполнении“, в области чистой мысли, знания; он продолжал, с редкими вспышками протеста, покоряться авторитету Бакунина; он убедил себя, что окружающая „действительность“ есть „призрачность“, и что истинная действительность заключена только в узком кружке избранных, к которым он не всегда смел причислять себя.

Дорого стоила Белинскому эта борьба с самим собою; „результатом этой борьбы—вспоминал позднее (1838 г.) Белинский—должно было быть отчаяние, оскудение жизни, судорожное проявление жизни, в проблесках, восторгах мгновенных—и днях, неделях апатии смертельной. Я лицом к лицу в первый раз столкнулся с мыслью—и ужаснулся своей пустоты“... Спасение он думал найти, слепо уверовав в „фихтепанство“: „ты первый—писал Белинский Бакунину—упичтожил в моем понятии цену опыта и действительности. втащив меня в фихтепанскую отвлеченность“; „я уцепился за фихтепан-

ский взгляд с энергиею, с фанатизмом"... Крайнее презрение к мещанской толпе, к „добрым малым“; крайнее возвеличение личности немногих избранных; принятие идеалистической, фиктианской теории познания—вот взгляды, которые „с фанатизмом“ исповедывал в это время Белинский. „Прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе,—писал Белинский 16 авг. 1837 года Бакунину,—в первый раз убедил меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота“...

Но Белинский не мог долго оставаться на высотах отвлеченной философской мысли; он был „весь земной“, он был в душе глубочайший реалист, как ни старался уверовать в гносеологические выводы фиктианства. Характерным признаком наступающей перемены философских воззрений было изменение социально-политических мнений Белинского в 1836—7 г. В начальную эпоху своего фиктианства Белинский продолжал держаться „либеральных“ и „радикальных“ социально-политических убеждений, слегка отразившихся уже в „Дмигрии Калинине“; этот радикализм, повидимому, еще более развился к 1836 году. Мы знаем, что Белинский враждебно относился к крепостному праву, вскрывал темные стороны дворянского сословия; еще более ненавистно было ему духовное сословие, на что в свое время Пыпин имел „положительные указания“. Такие же указания дошли до нас и относительно политического радикализма Белинского, особенно в периоде его фиктианства: по собственному его признанию (в письме к Бакунину от 12 окт. 1838 г.), он полюбил фиктианство в радикальном политическом значении. Гости в деревне Бакуниных, Белинский однажды за обедом, в присутствии большого общества, высказал резкое суждение о событиях великой французской революции—повидимому о казни Людовика XVI, относясь к этому факту вполне одобрительно. „Ты помнишь,—писал он впоследствии М. Бакунину,—какую фразу отпустил я за столом, и как подействовала она на Александра Михайловича...<sup>26)</sup>“. И такое суждение было, конечно, не единичным; по крайней мере Белинский впоследствии очень часто вспоминал об „абстрактном героизме“ этого периода своей жизни, о своем увлечении свободолюбивыми монологами героев Шаллера, о своей „прекраснодушной“ борьбе с окружающей действительностью...

Но именно в этой области прежде всего и произошел духовный перелом в Белинском. Как это случилось — пока недостаточно ясно, так как жизнь Белинского в первой половине 1837 года является менее всего известной. Мы знаем, что Белинский очень бедствовал в это время, жил займами у друзей (Боткина, Аксакова, Ефремова), страдал от своей неразделенной любви к А. Бакуниной и, чтобы заглушить неразделенное чувство, предавался чувственности: „во мне умер человек, остался самец“—говорил о себе сам Белинский. Такая жизнь довела его до болезни, и весной 1837 г. ему пришлось ехать лечиться на Кавказ, в Пятигорск—разумеется, на средства друзей. Вот почти все, что известно о жизни Белинского зимою 1836—7 г. Правда, известно еще, что в это время Белинский закончил и издал свои „Основания русской грамматики“, надеясь поправить этой книгой свои денежные обстоятельства—и еще более ухудшил их, так как издавшая в долг грамматика эта туго расходилась; известно также, что в начале 1837 года Белинский вел переговоры с петербургскими издателями, Краевским и Плюшаром, о сотрудничестве в их изданиях („Литературн. Прибавл. к Русскому Швалду“ и „Энциклопед. Словаре“) и одно время собирался даже переезжать в Петербург; план этот не осуществился, так как Белинский увидел, что эти издатели „требуют невозможного“... Можно было бы указать еще на несколько фактов из этой эпохи жизни Белинского, но все они не могут объяснить нам причин резкой перемены взглядов Белинского в 1837 году. Однако перед нами факт, который мы должны принять: к середине 1837 года Белинский совершенно отказался от своего бывшего политического радикализма и этим самым начал свое отторжение вообще от „фиктианства“. В громадном письме из Пятигорска (от 7 авг. 1837 г.) к другу своего дел-

<sup>26)</sup> Хозяин дома, отец М. Бакунина



ства, Д. П. Иванову, Белинский в резких словах осуждает всякую „политику“, восхваляет самодержавие, называет „превосходной и похвальной“ мерой строгую цензуру свободного слова, восклицает „к чорту французов!“, влияние которых ему представляется гибельным. Уже в это время, как видно из письма, Белинский был знаком с философией Гегеля.

Это было началом окончательного разрыва Белинского с кратковременным „фихтианством“; вскоре Белинский отверг не только политический радикализм фихтианства, но и фихтианскую теорию познания: типичный реалист в душе, Белинский насильствовал себя, исповедуя „фихтианскую отвлеченность“. Мало-по-малу в его душе назревал протест против этой несвойственной ему „отвлеченной мысли“; нужен был только последний толчок, чтобы разрыв совершился. Этим толчком и было более близкое знакомство с Гегелем. „Приезжаю в Москву с Кавказа,—вспоминал впоследствии в письме конца 1839 г. к Станкевичу Белинский,—приезжает Бакунин, мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся...—это было освобождение... Слово действительность сделалось для меня равнозначительно слову Бог“... Это было прежде всего реакцией против субъективно-идеалистической философии Фихте: гегельянство было понято Белинским в смысле философского реализма. Белинский впоследствии говорил, что к концу 1837 года он „утомился отвлеченностью“ и „жаждал сближения с действительностью“. „Моя природа враждебна (отвлеченному) мышлению“,—говорил о себе Белинский;—„я ненавижу мысль, как отвлечение“... „Я уважаю мысль,—снова говорит он в одном из писем к Бакунину,—и знаю ей цену, но только отвлеченная мысль в моих глазах ниже, бесполезнее, дряннее эмпирического опыта“... Такой „отвлеченной мыслью“ было теперь для Белинского мнение о „призрачности“ внешне-действительного и о „действительности“ внутренне-идеального; теперь Белинский признал „действительным“ весь окружающий мир, признал внутреннюю „разумность“ этого мира. „Я гляжу на действительность, столь презираемую прежде мною,—пишет Белинский Бакунину 10 сентября 1838 г.—и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ничего нельзя выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть... Действительность!—твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью—и действительность окружает меня, я чувствую ее везде и во всем“...

Так пришел Белинский к знаменитой теории разумной действительности, увидя в ней реалистический оплот против идеалистических отвлеченностей фихтианства: „ты первый—писал Белинский Бакунину—уничтожил в моем понятии цену опыта и действительности, втащив меня в фихтианскую отвлеченность, и ты же первый был для меня благовестником этих двух великих слов“. Гегелианский период жизни и деятельности Белинского очень полно представлен в его статьях 1838—1840 годов: во второй части настоящей книги мы внимательно проследим за развитием гегелианских взглядов Белинского<sup>27)</sup>, и увидим, в чем заключалась существенная ошибка этих взглядов Белинского, отождествившего „разумную действительность“ с окружающей реальной действительностью, с обыденностью и затем с исторической необходимостью.

Такое реалистическое понимание „разумной действительности“ вызвало протест со стороны Бакунина, но Белинский скоро уже перестал подчиняться его авторитету. Пережив фихтианство, Белинский пережил, по его выражению, к а т о л и ч е с к и й период своей жизни, когда он всецело был под нравственным гнетом Бакунина, когда он „был убежден от всей души,—говорит он о себе,—что у меня нет ни чувства, ни ума, ни таланта, никакой и ни к чему способности, ни жизни, ни огня, ни горячей крови, ни благородства, ни чести, что хуже меня не было никого у Бога, что я пошлейшее и ничтожнейшее создание в мире“... Теперь, уверовав в „разумную действительность“ всего сущего, Белинский уверовал и в себя, в свои силы, в свое значение. „С весны (1838 года)—писал он годом позднее Станкевичу—я пробудился для новой жизни, решил, что каков бы я ни был, но я сам по себе“... И „разумную действительность“

<sup>27)</sup> №№ 7—22.

Белинский поэтому понял „по-своему“, — что крайне не понравилось привыкшему властвовать Бакунину. „Ему это крайне не понравилось,—продолжает рассказывать Белинский:—он с удивлением увидел, что во мне есть самостоятельность, сила, и что на мне верхом ездить опасно—сшибу, да еще копытом лягну“... Вскоре между недавними друзьями произошел разрыв, и Белинский навсегда освободился от двухлетней опеки своего „философского друга“. Таким образом, Белинский находился под его влиянием с 1836 по 1838 год, т.-е. именно в тот промежуток времени, когда Белинский не мог напечатать ни одной статьи, за неимением журнала. По этой причине мы должны были подробнее остановиться здесь на этом периоде развития Белинского; о его фиктианстве нам не придется говорить во второй части настоящей книги—в наших заметках о сочинениях Белинского.

Итак, Белинский понял „разумную действительность“ сперва в смысле окружающей действительности, а затем и в смысле исторической необходимости. „...Воля Божия—говорит он в одном из писем к Бакунину—есть предопределение Востока, *factum* древних, провидение христианства, необходимость философии, наконец действительность“. Но необходимость, рассматриваемая как „разумная действительность“, есть не что иное, как целесообразность,—и именно этим последним словом должно быть охарактеризовано все мировоззрение Белинского этой эпохи. Вера в объективную целесообразность бытия, вера в объективную осмысленность мира составляла теперь для Белинского святое святых его мировоззрения. Мятущееся отчаяние Дмитрия Калинина исчезло—и как будто без следа; его место заступила радостная вера в благую целесообразность мира, в благое высшее Провидение, царящее над миром. Вера стала уделом Белинского еще с начала его шеллингианства; с выражением ее мы встречаемся и в „Литературных Мечтаниях“, и в других статьях начала тридцатых годов, и в письмах Белинского той эпохи. „Все к лучшему!“; „И все то благо, все добро!“—воскликает Белинский в своих статьях и письмах. И эту мысль он повторяет даже в то время, когда сам находится в невыносимом положении, когда сам „пьет горькую чашу, которая с каждым днем переполняется через края новыми ядовитейшими зельями“; даже в это время Белинский утешает себя мыслью, что, быть может, „все настоящие несчастья суть не что иное, как зерна, из коих должны некогда вырасти и расцвести благоухающие цветы счастья... Все к лучшему!“ (из письма к брату Константину от 19 июля 1833 г.). Развите этих же мыслей о вере в жизнь и в целесообразность сущего мы найдем и в фиктианском периоде жизни Белинского; но только в гегелианстве эта вера получила для Белинского твердое обоснование, только в учении о „разумной действительности“ увидел Белинский твердую точку опоры.

Мы еще остановимся впоследствии на понимании Белинским „разумной действительности“ как объективной целесообразности всего сущего, то-есть, говоря иными словами, на полном „приятии мира“ Белинским<sup>28)</sup>. Неверие и отчаяние Дмитрия Калинина повидимому окончательно побеждено; над всей жизнью Белинского теперь царит радостная вера в объективную разумность мира и жизни. Страдания и муки отдельных личностей, частных индивидуальностей тонут в этом абсолютно целесообразном развитии мира—саморазвитии и самопознании Абсолютного Духа. „Es herrschet eine Allweise Güte über die Welt“—над миром царит Премудрая Благодать: недаром это было любимой фразой еще Станкевича. И когда тот же Станкевич первый из друзей перешел к изучению философии Гегеля, то в ней и он нашел прочную опору для подобного „приятия мира“. Перед мыслью о развитии Общего, о самопознании Абсолютного Духа—стусшевывались все вопросы о муках и страданиях живой человеческой личности: „я никогда почти не делаю себе таких вопросов,—пишет Станкевич в конце тридцатых годов.—В мире господствует Дух, Разум: это успокаивает меня насчет всего“... Именно такую веру и высказывал Белинский в своих гегелианских статьях 1838-го и следующих годов.

<sup>28)</sup> См. главным образом № 7 и сл.

И однако в это же самое время Белинскому жилось далеко не сладко. Не говоря уже о том, что денежные его обстоятельства продолжали и после 1837-го года оставаться крайне печальными, еще тяжелее, быть может, отражались на нем те недоразумения с друзьями, которые всегда неизбежны во всяком замкнутом кружке. Впоследствии Белинский жестоко бичевал эту кружковщину, в которой друзья замкнулись особенно в эпоху фиктианства, после знакомства с Бакуниным и под его непосредственным влиянием; особенно обрушился он на нее в последней своей большой статье 1848-го года<sup>29)</sup>. Говоря там о молодом Адуеве из „Обыкновенной Истории“ Гончарова, Белинский пользуется случаем свести последние счеты с „романтизмом“ своей молодости и даже с терминологией „кружковщины“ тридцатых годов. Белинский говорит там о юных романтиках, которые с избытком наделены „первическою чувствительностью“, а потому любят копаться в собственных ощущениях и называют это— „наслаждаться внутренней жизнью“ в кругу избранных друзей. „Это они вазывают—иронизирует Белинский—жить высшею жизнью, недоступною для презренной толпы, парить горь, тогда как презренная толпа пресмыкается долу“... Люди эти—продолжает Белинский—„бывают помешаны на трех заветных идеях: это—слава, дружба и любовь“; но и то, и другое, и третье очень дорого им обходится. Слава требует упорного труда—но к нему они неспособны. Дружба никогда не бывает у них естественной и простой, а всегда напряженной и восторженной; они изливают друг перед другом свои души, требуют друг от друга отчета во всех делах и помышлениях; такая дружба скоро превращается во взаимное мучение. Любовь обходится им еще дороже, так как они сперва составляют программу любви, а затем уже применяют эту теоретическую схему к женщине; „им любовь нужна не для счастья, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви“; разумеется, в результате снова взаимное мучение. Вообще же люди эти „не хотят знать законов сердца, природы, действительности, они сочиняют для них свои собственные, они гордо признают существующий мир призраком, а созданный своей фантазией призраком—действительно существующим миром“<sup>30)</sup>.

До сих пор не обращали достаточного внимания на эти замечательные страницы из последней статьи Белинского, направленные не столько против молодого Адуева, сколько pro domo sua, против самого себя второй половины тридцатых годов. А в том, что эта жестокая характеристика относится именно к знакомой Белинскому бывшей „кружковщине“—сомневаться невозможно; слишком часто Белинский в интимных письмах выражал эти же мысли, эти же чувства. Частный пример—та „высокая теория любви“, которая царила в кружке друзей; скоро и сам Белинский уже начал смутно сознавать слабые стороны этой теории, возвышенной, программной и головной; впоследствии, в письме к Боткину от 13 марта 1841 года, вот как вспоминал Белинский об этой кружковой теории любви, любви экстатической и мистической: „понимаешь ли ты теперь, что такая любовь несколько не рифмовала с браком и вообще с действительностью жизни?...<sup>31)</sup>. Отсюда выходили... экзальтированные понятия о брачных отношениях, где каждый поцелуй должен был выходить из полноты жизни, а не из рефлексии, и пр. Признаюсь, это мне всегда казалось страшною дичью, и я потому казался тебе и Мишелю (Бакунину) страшною дичью. Но я был прав. Я понимал, что в жизни не раз придется спросить жену, принимала ли она слабительное; и хорошо ли ее слабило, и не лучше ли вместо слабительного поставить клистир? Эта противоположность поэзии и прозы жизни ужасала меня, но я не мог закрыть на нее глаза, не мог не видеть, что она

<sup>29)</sup> № 55.

<sup>30)</sup> Ср. также рецензию Белинского о „Переводах“ Струговщичковым статей Гете („Отеч. Зап.“ 1846 г.); в ней Белинским высказываются эти же мысли о „кружковщине“.

<sup>31)</sup> Наглядным доказательством этого может служить поразительный контраст между нежной поэзией „любобной“ переписки Герцена с Наташей и суровой прозой их брака... См. эту переписку и „Былое и Думы“ Герцена; это лучшая иллюстрация столкновения с жизнью „романтической теории любви“.

есть. Тебя это часто оскорбляло, и я внутренне презирал себя, видя, что ты по крайней мере не уважаешь меня. Что делать! — тогда ни один из нас не хотел быть собою, ибо каждый хотел быть абсолютным, т.-е. бесцветным и абстрактным совершенством“ (подчеркнуто Белинским).

То же самое было и в дружбе: те же мучения при столкновении романтической теории дружбы с действительностью, и та же узкая нетерпимость по отношению к людям, инако мыслящим, инако чувствующим. Еще в своей „фихтианской“ статье 1836-го года Белинский говорил, что любовь и дружба возможны только при общем уровне сознания между людьми, так что, наоборот, к людям низшего уровня сознания чувствуешь род ненависти: „несносен их вид, тяжела их беседа, словом, мучительно всякое соприкосновение с ними“. И такими „низшими“ людьми для Белинского и его друзей несомненно были почти все люди, стоящие вне их узкого кружка; сам Белинский через несколько лет с поговораем вспоминал про это. В письме от 9 дек. 1841 г. к младшему брату М. Бакунину, Н. А. Бакунину, Белинский говорит: „всякий кружок ведет к исключительности и какой-то странной оригинальности: рождаются свои манеры, свои привычки, свои слова, любезные для кружка, странные, непонятные и неприятные для других. Но это бы еще ничего: хуже всего то, что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка, а все это — им. Я сузу по собственному опыту... Боже мой! Грустно вспомнить об этой ограниченной исключительности, с какою мы смотрели на весь мир...“ Но внутри этого кружка избранных сам Белинский вскрывает напряженную, восторженную, взвинченную дружбу. „Мы любили друг друга, — пишет Белинский 27 июня 1841 г. Боткину о всех членах бывшего кружка, — любили горячо и глубоко... но как же проявлялась... наша дружба? Мы приходили друг от друга в восторг и экстаз, мы ненавидели друг друга, мы удивлялись друг другу, мы презирали друг друга, мы предавали друг друга, мы с ненавистью и бешеною злобою смотрели на всякого, кто не отдавал должной справедливости кому-нибудь из наших, и мы поносили и злословили друг друга за глаза перед другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свидании, настаивали и исходили любовию друг к другу, а сходились и виделись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствие и расставались без сожаления. Как хочешь, а это так. Пора нам перестать обманывать самих себя, пора смотреть на действительность прямо, в оба глаза, не щурясь и не кривя душою. Я чувствую, что я прав, ибо в этой картине нашей дружбы я не затемнил и ее истинной, прекрасной стороны...“

Факты подтверждают эту характеристику „кружковщины“ Белинским; нельзя при этом не указать, что почти все отрицательное в этой характеристике было внесено в жизнь кружка едва ли не исключительно М. Бакуниным. Властный и требующий подчинения („Мишель кроме глубокой натуры и гения требовал еще от удостаиваемых его дружбы одинакового взгляда даже на погоду и одинакового вкуса даже в гречневой каше, условие sine qua non!“ — писал впоследствии Белинский), Бакунин не мог, однако, подчинить себе надолго такую сильную индивидуальность, как Белинского; борьбу между ними мы уже проследили выше. Вообще „кружковщина“ эта царилла среди друзей в 1836—1839 гг.; журнал друзей, „Московский Наблюдатель“, был в сущности ярким проявлением этой „кружковщины“. Выше я привел слова Белинского (из его письма к Н. А. Бакунину) о том, что во всяком кружке неизбежны свои манеры и свои слова, „любезные для кружка, странные, непонятные, неприятные для других“. Именно это и отразилось на „Московском Наблюдателе“, что вскоре признал и сам Белинский. В письме к Станкевичу от конца 1839 года Белинский заявляет, что уже „давно видит“ слабые и смешные стороны этого журнала: „я довольно непосилен и не долго сижу на одном месте, и потому я давно уже дальше Наблюдателя. Умственная и детская сторона его... в этом обилии философских терминов (очень поверхностно понятных), которые и в самой Германии, в популярных сочинениях, употребляются с большою экономиею. Мы забыли, что русская публика не немецкая и, нападая на прекраснотушие, сами служили самым забавным примером его...“ Полугодом позже, в одной из рецензий в „Отеч. Записках“ по поводу издания „Репер-

туар русского театра“, Белинский так вспоминал о „Московском Наблюдателе“: „Н а б л ю д а т е л ь весной 1838 г. вздумал ожить,—и вот поюнул, и позеленел, и заговорил живым языком, восторженною речью, словом, расхотился, как рьяный немецкий студент... С первой же книжки начал он сыпать новыми идеями и новыми словами... Тщетно представлял он и изящную прозу, и изящные стихотворения, и новые идеи; публика видела одни новые, непонятные для нее слова, да неаккуратность в выходе книжек—и бедный юноша не хотел умирать медленною смертию, по-филистерски, но скоропостижно исчез и пропал без вести“...

Белинский был прав: „Московский Наблюдатель“ был характерным проявлением „кружковщины“; и если бы этот кружок Белинского и его друзей был явлением частным, не связанным с предыдущим и последующим развитием русской общественной мысли, то и журнал кружка не имел бы никакого исторического значения. В действительности было иначе: кружок Белинского и его друзей был важным звеном в развитии русской мысли, был тем горнилом, где плавилось и отливалось в новые формы общественное сознание. И каковы бы ни были отрицательные проявления кружковщины, но в кружке этом собралось в 1836—1839 гг. все, что было тогда выдающегося в молодом поколении—если не считать разосланного и разбросанного по России кружка Герцена и немногих отдельных, одиноких личностей (вроде, например, В. Печорина). И сам Белинский, так сурово осудивший кружковщину, в то же время ясно видел и признавал, что в кружке его друзей соединилось все лучшее, молодое, полное веры в жизнь и стоящее на много выше окружающих. „Есть люди,—писал Белинский Боткину 8 сент. 1841 года,—которых жизнь не может проявиться ни в какую форму, потому что лишена всякого содержания; мы же—люди, для необъятного содержания жизни которых ни у общества, ни у времени нет готовых форм. Я встречал и вне нашего кружка людей прекрасных, которые действительнее нас, но нигде не встречал людей с такою ненасытимой жаждою, с такими огромными требованиями на жизнь, с такою способностью самоотречения в пользу идеи, как мы. Вот отчего все к нам льнет, все подле нас и з м е н я е т с я...“ Герцен в „Былом и Думах“ (глава XXV) с еще бóльшей силой высказал это же мнение о кружке Станкевича, Бакунина и Белинского.

Однако Белинский уже в начале своего гегелланства стремился отрешиться от кружковой исключительности и узости, стремился войти в „действительную“ жизнь—и это было очевидным следствием проповедывавшейся им теории „разумной действительности“. В цитированном выше письме 1841-го года к Н. Бакунину он говорит: „у всякого человека должен быть свой уголок, куда бы он мог укрываться от ненастья жизни;... но уголок и должен быть уголком, а не миром, жизнь же должна быть в мире...“ Но еще гораздо раньше, в письме к М. Бакунину от 10 сент. 1838 года, Белинский отказывался от кружковой исключительности, разрывал с нею: „нет ничего идеальнее, т.-е. пошлее—пишет Белинский (характерное „то-есть“, выпад против „прекраснодушца“!)—как сосредоточение в каком-то круге, похожем на тайное общество и не похожем ни на что остальное и враждебное всему остальному...“ И тут же Белинский, как „человек экстремы“ (по слову Герцена), переходит в другую крайность: не желая быть „как никто“, он хочет теперь быть „как все“: разумную действительность Белинский понял здесь как обыденность. Свое письмо к М. Бакунину он продолжает следующим образом: „всякая форма, поражающая людей своею резкостью и странностью и пробуждающая о себе толки и пересуды—пошла, т.-е. идеальна. Надо во внешности своей походить на всех... Теперь единственное мое старание, чтобы всякий, знающий меня по литературе и увидевший в первый и во сто первый раз, сказал: это-то Белинский? да он к а к в с е!“ Разумеется, Белинский не мог осуществить такого своего стремления; но оно является характерным показателем того, как стремился Белинский выйти из замкнутого кружка на поле „действительной“ жизни. Он нашел это поле деятельности в Петербурге.

## Восстание против „Разума“.

Первые годы жизни в Петербурге были для Белинского годами тяжелого идейного кризиса, но кризиса этого жаждал сам Белинский, лишь бы выйти из того романтического тупика, в который завели его искания абсолютной истины, абсолютного совершенства. Еще в 1837 году Белинский восклицал в одном из писем к М. Бакунину: „Как прежде просил или желал я блаженства счастливой любви (увы! не заслуживши его), семейного счастья и пр. и пр., так прошу и жажду я теперь страдания. В Петербург, в Петербург—там мое спасение! Мне надо войти в себя, разлучиться со всем, что мило, и страдать“<sup>32</sup>). Два года спустя этот план осуществился: Белинскому пришлось переехать в Петербург, перенестись в самую гущу жизни из замкнутого дружеского кружка и перенести тяжелые духовные страдания, которые были в сущности только процессом роста новых исканий, новых верований и убеждений. Но старые верования, старые убеждения Белинскому пришлось вырывать из своего сердца с кровью и нервами, и когда он начал вырывать их—им овладело отчаяние, то застывавшее в апатии, то вспыхивавшее в „оргиях“, по слову самого Белинского. К тому-же и внешняя сторона его жизни была далеко не налажена: нищета, долги, болезнь—продолжали давить и изнурять великого искателя.

Сама жизнь заставила Белинского покинуть кружок московских друзей: „Московский Наблюдатель“, издававшийся этим кружком под редакцией Белинского в 1838—1839 г., прекратился, и Белинский в середине 1839 года опять остался не у дел, обремененный долгами, без журнала, без работы. А между тем в Петербурге Краевский уже второй год издавал „Отечественные Записки“, не имея никого для ведения критического и библиографического отдела. Несмотря на это, он не приглашал Белинского в свой журнал и пробовал обойтись „своими средствами“, предоставив место первого критика в „Отеч. Записках“ бездарному Межевичу, впоследствии сотруднику „Северной Пчелы“. Еще в 1838 году Краевский говорил Кольцову про Белинского, что это „большой негодяй“, „пишет чорт знает что“... „Он мне прислал две статьи,—передает слова Краевского Кольцов,—просил поместить в журнал, и чтоб участвовать сотрудником. Но его статьи никуда не годны. Человек начал писать о том, повел речь вовсе о постороннем, потом завлекся, что и не поймешь. Сделал мне предложение, чтобы в журнале быть вроде панибрата. Я ему пишу, что в этом журнале хозяин я,—а другого нипочему не надобно, и я, брат, в тебе не нуждаюсь“... (Письмо Кольцова к Белинскому от 21 февр. 1838 года).

Вскоре, однако, Краевский увидел, что дальше дело не может так идти. На журнале его было уже около десяти тысяч рублей долгу (39.000 р. ассигнациям), и если что могло поднять „Отеч. Записки“ над конкурирующей с ними „Библиотекой для Чтения“ Сенковского, то это только выдержанный, цельный и серьезный критиче-

<sup>32</sup>) Это письмо к М. Бакунину написано в конце 1837 года, судя по различным признакам—между 15 и 21 ноября.

ский отдел. Умный, ловкий и оборотливый Краевский понял, наконец, что все спасение и вся надежда его журнала—в „негодяе“ Белинском. Но и для Белинского—все спасение было в „Отеч. Записках“, иначе грозила либо жизнь на хлебах у друзей, либо сотрудничество у Сенковского и Булгарина, либо голодная смерть; разумеется, Белинский выбрал бы последнее. „Отеч. Записки“ были выходом, спасением; и как ни хотелось Белинскому остаться в Москве, как ни угнетала его мысль о переезде в чуждый Петербург, однако, избежать этого было невозможно. Напечатав в „Отеч. Записках“ несколько небольших рецензий и статей, начиная с августа 1839 года, Белинский получил от Краевского предложение постоянного сотрудничества—и стал собираться в Петербург. В начале октября 1839 года Белинский писал Станкевичу: „Недели через две после отправления этого письма еду в Питер на житье. Зачем?

Горе мыкать, жизнью тешиться,  
С злою долей переведаться.

...Знаю, что только теперь наступила пора полного развития (духовных сил), и что еще долго они будут идти возрастая... Чтобы привести в исполнение (намерения), мне надо оторваться от своего родного круга, мне—робкой, запертой в самой себе натуре—надо перенестись в сферу чуждую, враждебную; страшно подумать, а время близко!.. Москва погубила меня, в ней печем жить и нечего делать, а расстаться с нею—тяжелый опыт“...

И вот, в конце октября Белинский уже в Петербурге. Краевский встретил его как избавителя: свидетель первой их встречи, Изм. Срезневский (впоследствии известный профессор) рассказывает, что еще до приезда Белинского Краевский говорил, что „вся его надежда на Белинском“. „Белинский приехал из Москвы и явился к Краевскому при Срезневском,—записал со слов последнего впоследствии Добролюбов, в своем дневнике от 7 янв. 1857 г.:—Краевский побежал к нему навстречу с восклицанием: наконец-то, спаситель!—и при нем опять повторил, что только Белинский может поднять и поддержать его журнал“...<sup>33)</sup> Началась работа Белинского в журнале Краевского; не прошло и двух-трех лет, как „Отеч. Записки“ стали первым по распространности русским журналом. Работа эта продолжалась более шести лет; за это время Краевский стал богатым издателем, а Белинский надорвал и окончательно погубил свое здоровье „каторжным“ трудом подневольного журналиста..

Начался „петербургский период“ жизни Белинского—и начался окончательным сведением счетов с бывшим „москводушником“, с бывшей „кружковщиной“; для того, чтобы войти в „действительность“, нужно было отказаться от многих бывших грез и мечтаний. Белинского радушно встретили в Петербурге новые друзья—Панаев и его знакомые; его „обласкал“ кн. В. Одоевский, радостно встретил Краевский—и все же Петербург произвел на Белинского самое тяжелое впечатление. Дело в том, что Белинский слишком сжился с кружком своих московских друзей и в новой обстановке чувствовал себя, как рыба, вынутая из воды; кроме того житейская „обыденность“ предстала перед ним во образе Греча, Булгарина и К<sup>о</sup>, предстала с такой стороны, которую Белинский уже не в силах был отождествить с „разумной действительностью“.

Целый ряд писем Белинского конца 1839-го и начала 1840 года показывает нам, как тяжело ему было тогда; и нет сомнения, что именно эти мелкие петербургские впечатления впервые поколебали в Белинском психологические основы его веры в разумную целесообразность всего окружающего. „Питер навел на меня апатию, уныние и чорт знает что,—писал Белинский в начале 1840 года другу своего детства, Д. Иванову,—счастлив, кто может жить в Москве и особенно не жить в Петербурге“... Темным петербургским впечатлениям Белинский хотел противопоставить веру в объективную разумность всего, веру в саморазвитие Абсолютного Духа, веру в бессмертие души—вообще „религию“, которой можно было бы спасти свое мировоззрение от ударов

<sup>33)</sup> „Юбилейный сборник Литературного Фонда“, 1909 г., стр. 299.

окружающей жизни. „В Питере только поймешь,—пишет Белинский Боткину 22 ноября 1839 года, — что религия есть основа всего, и что без нее человек—ничто, ибо Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя—человек он, полу-человек или скотина: если будет страдать в нем—человек, если Питер полюбится ему—будет или богат, или действительным статским советником“... И в письме от 3 февр. 1840 г. Белинский снова возвращается к вопросу о бессмертии, заявляя, что „объективный мир страшен“ (а ведь еще недавно он был для Белинского объективно разумен и целесообразен!), и что „Петербург имеет необыкновенное свойство обращать к христианству“... Тяжело, видно, приходилось Белинскому. В письме от 1 марта 1840 г. он снова убеждает себя и Боткина, что „Евангелие—абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень... Да, надо читать чаще Евангелие—только от него и можно ожидать полного утешения“; а когда Боткин ответил, что к вопросу о личном бессмертии он равнодушен, то Белинский снова пишет: „погоди, придет время, не то запоешь. Увидишь, что этот вопрос—альфа и омега истины, и что в его решении—наше искупление“ (5 сент. 1840 г.). К этому времени Белинский узнал о смерти Станкевича—и это еще сильнее ударило по его колеблющейся вере в объективную разумность мира. „...Меня теперь всего поглотила—придет Белинский Боткину 4 окт. 1840 г.—идея достоинства человеческой личности и ее горькой участи—ужасное противоречие! М. Бакунин пишет, что Станкевич верил личному бессмертию, Штраус и Вердер верят. Но мне от этого не легче; все так же хочется верить, и все так же не верится“...

Как видим, в душе Белинского происходит тяжелая борьба. Спасаясь от своих петербургских настроений и впечатлений, Белинский пытается схватиться уже не за философскую доктрину русского гегельянства об объективной целесообразности сущего, а за религиозную веру; это значит, что философская доктрина перестала или переставала быть для него религиозной верой. „Действительность“ показала свое лицо—и Белинский в ужасе стал в первый момент искать спасения от открывавшейся перед ним истины; истина же эта состояла в том, что объективная целесообразность сущего, в которую верил московский кружок друзей Белинского, есть миф, что для человека мир является объективно бессмысленным или, по крайней мере, неосмысленным.

Вот борьба, происходившая в душе Белинского; и вскоре он сумел отчетливо сознать ее и попытался взглянуть прямо в лицо суровой истине. Тяжело ему было. „Я не знаю светлых минут,—писал он Боткину 3 февраля 1840 г.;—самое страдание посещает меня в редкие, очень редкие минуты. В душе моей сухость, досада, злость, желчь, апатия, безнравство и проч., и проч. Вера в жизнь, в Духа, в действительность—отложена на неопределенный срок, до лучшего времени, а пока в ней—безверие и отчаяние... отчаяние и ожесточение... Петербург был для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекрасное сердце. Это было необходимо, и лишь бы после стало лучше—я буду благословлять судьбу, загнавшую меня на эти гнусные финские болота. Но пока это невыносимо, выше всякой меры терпения... Пас губн. китаизм... Мы весь божий свет видели в своем кружке... (а) китаизм хуже прекраснотворения... Вообще, если бы я побывал у вас, вам показалось бы, что я похнул петербургского духу и захватил его холодку, но вы ошиблись бы: я только поумнел, хотя от этого стал не счастливее, а несчастнее. Самая убивающая истина лучше радостной лжи; я глубоко сознаю, что неспособен быть счастливым через ложь, какую бы ни было, и лучше хочу, чтобы сердце мое разорвалось в куски от истины, нежели блаженствовало ложью“... Малые причины рождают, как известно, большие следствия; так и здесь, мелкая пошлость и подлость некоторых петербургских литературных кругов была для Белинского поводом пересмотреть уже поколебавшуюся в его душе былую веру в „разумную действительность“.

В этом отношении Петербург был для Белинского действительно скалою, о которую разбилась его московская кружковая теория. В Москве Белинский жил „на необитаемом острове“ кружковщины, а „в Петербурге, с необитаемого острова я—пришел



Боткину Белинский—очутился в столице, журнал поставил меня лицом к лицу с обществом,—и Богу известно, как много перенес я! Для тебя еще не совсем понятна моя вражда к москводушию, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обе. Меня убило это зрелище общества, в котором властвуют и играют роли подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии на необитаемом острове“ (13 июня 1840 г.). И как ни тяжело было Белинскому, но все же мало-по-малу он примирялся с Петербургом именно за то, что жизнь в этом городе открыла ему, Белинскому, глаза на жизнь вообще. В этом же письме к Боткину он заявляет: „к Питеру притерпелся. Спасибо ему. Я уже не узнаю себя и вижу ясно, что надо в себе бить: это его дело“... А три месяца спустя (5 сентября 1840 г.) Белинский снова восклицает: „Как немного времени и как много я изменился! А все Питер—спасибо ему! Без него я и теперь был бы восторженным дураком“... Наконец, три года спустя, в письме от 1 октября 1843 г. к своей будущей жене, М. В. Орловой, Белинский уже противопоставляет „петербургских жителей“— „москвичам, татарам и калмыкам“ и замечает: „я слово человек употребляю, как аптитез москвичу“... Еще несколько позже Белинский в особой статье развил свои мысли о Петербурге и Москве; в статье этой много отзвучков из приведенных выше писем<sup>34)</sup>.

Вероятно читателю ясно, что „Петербург“ и „Москва“ являлись во все это время для Белинского символами определенных душевных переживаний, определенных философских построений. „Москва“—это „романтизм“, прекраснодушие, блаженная вера в Премудрую Благость, в философию благодушного Сурского (вспомните юношескую пьесу Белинского); „Петербург“—это суровая действительность, неверие в объективную осмысленность мира, нахождение всюду „хвоста дьявола“, философия Дмитрия Калинина. В 1840—1841 г.г. снова столкнулись в душе Белинского эти два миропонимания—и ему уже не удалось отделаться от мучительных вопросов Калинина утешительной философией Сурского; а ведь место Сурского занимал теперь в душе Белинского не кто иной, как „великий диалектик“ Гегель! Самопознание Абсолютного Духа; развитие Общего; Премудрая Благость, царящая над миром; разумная действительность сущего; объективная осмысленность жизни:—все это не могло в душе Белинского выдержать тяжести одного маленького вопроса,—вопроса о муках и страданиях реальной человеческой личности. Зачем, за что страдает человек? и не человек „вообще“, а именно „вот этот“, определенный, реальный человек, чувствующая боль и муку индивидуальность? Где оправдание этих страданий? В чем их объективный смысл? Неужели же в „развитии“ Общего? Но не слишком ли дорого окупается тогда это развитие? Не дорого ли платит человечество за вход в мировую гармонию?

Эти и подобные им вопросы снова проснулись в душе Белинского; а ведь, казалось, как твердо были они придавлены идеалистической немецкой философией! С тех пор, как Белинский, в конце 1834 года, „уверовал“ в шеллингянство, а затем перешел через Фихте к Гегелю—с этих пор Белинский, как мы знаем, стал верным рыцарем Премудрой Благости, „разумной необходимости“. И вдруг—старые вопросы и сомнения снова оживают, снова возвышают голос, требуют ответа у Премудрой Благости за каждую страдающую человеческую личность! Это был явный „бунт“—и Белинский сперва испугался. Мы видели, как он пробовал найти спасение в нерассуждающей вере в „бессмертие индивидуального духа“: это было ответом на вопрос о смысле мук страдающей личности. Мы помним, что уже Сурский этим же утешал Дмитрия Калинина, но вспомним также и негодующий ответ Дмитрия: „неужели вечное блаженство непременно покупается ценою ужаснейших страданий? Дорого же оно приходит!“ И теперь, в 1840 году, Белинский уже всецело присоединился к дерзкому негодованию своего бывшего героя.

Правда, он попытался бороться с ним; он попытался отстоять „разумную действительность“ сущего в области не только личной, но и общественной жизни. В „Отече-

<sup>34)</sup> № 43.

ственных Записках“ конца 1839 и начала 1840 года он поместил ряд блестящих статей, защищающих „разумную действительность“ даже русской действительности того времени <sup>35</sup>); яростная защита Белинским „разумной действительности“ в области социальной и общественной была только отчаянный попыткой отстоять вообще объективную осмысленность мира. Но ни то, ни другое не удалось Белинскому, ему не удалось заглушить того скептического голоса, который заговорил в нем о мучениях реальной человеческой личности. И Белинский вскоре перестал бороться; более того—он посмел взглянуть прямо в лицо представшей пред ним суровой истине; и еще более того—он сделался пылким ее провозвестником.

Все это мы найдем почти исключительно в письмах, а не в статьях Белинского 1840-го и ближайших следующих годов. Правда, и в статьях мы находим яркую проповедь прав личности <sup>36</sup>), но мы не найдем в них характерного теперь для Белинского неверия в объективный смысл жизни, отрицания разумной целесообразности мира. Этого мало: в статьях своих Белинский продолжает проповедь тех „святых истин“, в которые он больше не верит! Этот удивительный факт, на который до сих пор так мало обращали внимания, настоятельно требует объяснения. А факт неопровержим: мы сейчас увидим, как отзывался Белинский о жизни и о мире в своих письмах 1840—1841 г.г., и пусть читатели сравнят с этим проповедь Белинского из его статей той же эпохи! <sup>37</sup>). Все письма Белинского за это время—сплошной вопль отчаяния человека, теряющего веру, веру в мир и жизнь; а в статьях своих он продолжает восхваление „разумной действительности“, принятие жизни, оправдание мира. Умирает после долгих страданий черкешенка Вэла („Герой нашего времени“),—и Белинский в своей статье признает эти страдания „разумными“ и объективно осмысленными: „диссонанс разрешился в гармонический аккорд!“. И полугодом позже Белинский снова повторяет в статье, что „в музыке гармония обуславливается диссонансом, в духе—блаженство обуславливается страданием“. Убит удалой боец Кирибеевич, погиб „смертью лютою, позорною“ купец Калашников, а Белинский возглашает осанну этим человеческим страданиям: пусть погибли люди, но зато остался подвиг, осталась великая могила, вдохновившая поэта... „И потому, да переменится печаль ваша на радость, и да будет эта радость светлым торжеством победы бессмертного над смертным, общего над частным! Благословим непреложные законы бытия и миродержавных судеб“... Все это в статьях; а в письмах...—мы сейчас увидим, что в это же время говорил в письмах к Боткину Белинский о „диссонансах“ жизни, о страданиях человеческих, о частном и об общем... <sup>38</sup>).

В письмах Белинского—особенно со времени его переезда в Петербург—все больше и больше проявляется полная потеря Белинским веры в былую объективную осмысленность жизни. „Жизнь ловушка, а мы—мышь; иным удастся сорвать приманку и выдти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве понюхает... Глупая комедия, чорт возьми! Будем же пить и веселиться, если можем; нынешний день наш—ведь нигде на наш вопль нету отзыва <sup>39</sup>). Живет одно общее, а мы—китайские тени, волны океана; океан один, а волн много было, много есть и много будет, и кому дело до той и другой?“ (9 февраля 1840 г.). Здесь еще нет разрыва с абсолютной немецкой философией; здесь просто—горькое признание факта, с которым нет возможности бороться. И в ответ на самоутешение, на попытки веры в трансцендентное будущее, Белинский сам же с горечью отвечает: „в жизни—щи..., помучусь, поколочусь, как собака, а там издохну, т. е. погружусь в мировую субстанцию, и в ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди!“ (16 апреля 1840 г.). Однако, несмотря на все свое парастающее безверие и отчаяние, Белинский все же чувствовал, что переживаемый им душевный процесс приводит его к чему-то новому, что это про-

<sup>35</sup>) №№ 12—21.

<sup>36</sup>) № 21.

<sup>37</sup>) Такое сравнение отчасти сделано в № 24.

<sup>38</sup>) Все нижеследующие неоговоренные цитаты—из писем Белинского к Боткину.

<sup>39</sup>) Подчеркнутые слова—из „Крейслерьяны“ Гофмана.

цесс не омертвления, а перерождения: „в душе холод, апатия, лень непобедимая. И не люблю, и не страдаю. Однако ж внутри что-то дестя само собою“...•(ibid). Тяжел и мучителен был однако этот процесс.

А тут еще пришло известие о смерти Станкевича — и было последней каплей, переполнявшей чашу. Куда девалась провозглашаемая им в статьях вера в значение „великой могилы“, вера в значение вечной памяти о герое, вера в разумно-осмысленную трагедию человеческой жизни! Белинский больше не хочет верить в эти утешения — довольно с него! Он поднимает теперь знамя восстания против былой своей „преуспевающей философии“, против абсолютных философских систем, против Общего; в замечательном письме от 12 августа 1840 года Белинский горько высмеивает былую веру в грядущее блаженство на лоне мировой субстанции. Счастливы были веровавшие: они „плакали и взывали“, но они же и надеялись, — „а теперь молча и гордо, твердым шагом идут в ненасытимое жерло смерти и с улыбкой отрывают от сердца лучшие его стремления и чистейшие привязанности. Трагическое положение! — воскликнешь ты с улыбкой торжества. Дитя, полно тебе играть в понятия, как в куклы! Твое трагическое — бессмыслица, злая насмешка судьбы над бедным человечеством...“

И далее Белинский с горькой прощией говорит о том, что для осуществления „трагического“ избирается самую жизнью „герой, благороднейший сосуд духа, как самый жирный баран для заклания“; для осуществления „нравственного закона“ герою этому приходится либо принести свое сердце в жертву „долгу“, а значит страдать, либо быть побежденному своей страстью, — т.-е. опять-таки страдать под гнетом „нравственного закона“<sup>40)</sup>. „Стоит ли жить в том и другом случае! Я, Боткин, я не герой, но люблю героев, и в иные минуты мне кажется, что я пожертвовал бы тысячью жизнями в ознаменование моей бесконечной любви и бесконечного умиления к благородной жертве долга, всегда предпочту ее безмолвное страдание беззаконному, хотя и божественному, блаженству; но закон-то, осуждающий на страдание повинующегося ему, так же, как и не повинующегося, закон-то этот, о, Боткин! я и ненавижу... и презираю... Общее — это палач человеческой индивидуальности. Оно опутало ее страшными узами: проклиная его, служишь ему невольно“... Впоследствии Белинский изменил свой взгляд на „трагическое“, признав его субъективную осмысленность<sup>41)</sup>, но теперь он ясно видел всю объективную бессмысленность всякой „трагедии“ человеческого духа. „Я не понимаю, — продолжает он в том же письме, — к чему все это и зачем: ведь все умрем и сгнием — для чего ж любить, верить, надеяться, страдать, стремиться, страшиться? Умирают люди, умирают народы, умрет и планета ваша, Шекспир и Гегель будут ничто. Известие о смерти Станкевича только утвердило меня в этом состоянии. Смерть Станкевича показалась мне тем более естественна и необходима, чем святее, выше, гениальнее его личность:

Все великое земное  
Разлетается, как дым;  
Ныне жребий выпал Трое,  
Завтра выпадет другим.

Все вздор — калейдоскопическая игра китайских теней. О чем же жалеть!..“

Заметьте: смерть Станкевича Белинский готов оправдать „разумной действительностью“, ибо смерть эта „естественна и необходима“ — но необходима только в нашем мире объективной бессмысленности; а потому сама „разумная действительность“, которую можно все оправдать, — сама она не имеет оправдания. И когда Боткин, в ответ на это письмо, попробовал отстаивать „разумную действительность“, то Белинский грустно ответил: „Друг, это все слова и фразы, это тот дым, которым испарилась наша молодость. Ты переживаешь себя, заживо умираешь, а все по старой привычке кричишь о разумности жизни“... И снова возвращаясь к смерти Станкевича, Белинский восклицает: „нет, я так не отстану от этого Молоха, которого философия назвала Общим, я буду

<sup>40)</sup> Наглядный пример первого — Кориолан, второго — Макбет.

<sup>41)</sup> См. № 29.

спрашивать у Него: куда дел ты его, и что с ним стало? Ты говоришь—страшна потеря любимого человека! А почему страшна она? потому что она—потеря, потому что уже нет и не будет больше потерянного. А должно ли в жизни быть что-нибудь страшное?“ Заканчивается это письмо новым выпадом против разумной действительности: „бедный Кольцов, как глубоко страдает он. Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страдает—одни скоты блаженствуют, но и те, и другие равны умрут: таков вечный закон Разума. Ай да Разум!“ (5 сентября 1840 г.).

## VII.

### Потеря путей. Отчаяние.

Такое настроение, такое мировоззрение абсолютного нигилизма глубоко захватило Белинского; все его письма 1840—41 гг. говорят все об одном, об одном и том же. „Мое теперешнее состояние—пишет Белинский Ефремову 23 августа 1840 г.—можно характеризовать так: веры нет, знания и не бывало, а сомнения превратились в убеждения“... Вера в „разумную действительность“ исчезла—Белинский увидел, что нет объективной осмысленности в жизни: а вместе с этим рухнула и вера его в разумность „русской действительности“: так тесно была связана у Белинского перемена его общественных и философских взглядов<sup>42</sup>). Интересно в этом отношении письмо Белинского к К. Аксакову от 23 августа 1840 г.: „Мне все кажется,—пишет Белинский,—что жизнь слишком ничтожна для того, чтобы стоило труда жить; а между тем и живешь, и страдаешь, и любишь, и стремишься, и желаешь. Станкевич умер—и что после него осталось? труп с червяками. Одним словом, так или иначе, только результат один и тот же:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,  
Такая пустая и глупая шутка.

Да и какая нам жизнь-то еще? В чем она, где она? Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество! У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах—вот наша жизнь... Гадко, гнусно, ужасно! Нет больше сил, нет терпения“... Не будем останавливаться на праздном вопросе, что было причиной и что следствием в мучительном отрицании Белинского—философия или общественность; мы знаем, что поводом, последним толчком были во всяком случае петербургские впечатления Белинского. Полагаю, однако, что повод этот оказался бы совершенно недостаточным, если бы в душе Белинского не начинался уже мучительный процесс сомнения и отрицания былого „приятя жизни“.

Как бы то ни было, но к концу 1840 года в душе Белинского погасла уже всякая вера в разумность „действительности“ и в социальном, и в философском смысле. В письме к Боткину от 26 декабря 1840 г. читаем: „жизнь страшно надула меня, бессовестно и предательски: назади—фантазии, в настоящем—медленная смерть, впереди—гниение и смрад. Гадко! Зачем не умер я хоть за полгода перед этим, когда еще мог мечтать—и о чем же?—о действительности!“ Но теперь уже никаких мечтаний, никаких иллюзий в его душе не осталось, теперь он готов был вернуться к горькому пессимизму своего былого героя, Дмитрия Калинина, который десятью годами ранее провозгласил, что мир отдан Богом на откуп дьяволу. „Я из числа людей,—пишет Белинский Боткину 1 марта 1841 г.,—которые на всех вещах видят хвост дьявола—и это, кажется, мое последнее мирозерцание, с которым я и умру“... В последнем Белинский ошибался—ему суждено было пережить еще одну полосу новой веры; но пока он действительно видел в жизни только одну черную сторону, видел на всем „хвост дьявола“ и боялся только одного—быть обмороченным жизнью (по позднему выра-

<sup>42</sup>) См. № № 12—15.

жению Ренана). В письме к Боткину от 13 марта 1841 г., говоря о бывших кружковых терминах и теориях добровольного отречения от жизни и смирения перед жизнью, Белинский заявляет: „у меня теперь нет ни Entsagung, ни Resignation,—и я не хочу ни того, ни другого, не видя в них нужды. То и другое есть отрицание себя для общего, а я ненавижу общее, как надувателя и палача бедной человеческой личности. Но я думаю, что человеку надо быть себе на уме насчет жизни, и больше всего опасаться придавать ей важность... Одинаковая причина иногда рождает различные следствия: ежели, с одной стороны, минуты нашего бедного существования так кратки и подвержены надувательству, что нам надо быть осторожными в сколько-нибудь важных случаях, то, с другой стороны, жизнь наша так коротка и дрянна, что если мы будем гадать—чет или нечет, то она пронесется мимо носу, а мы останемся с четом или нечетом“...

Весь этот мучительный и сложный процесс неверия в жизнь вместе со страстной любовью к жизни, процесс разрыва с былой верой, былыми убеждениями—часто приводил Белинского к тем „оргиям“, о которых пришлось уже упомянуть выше.

В этих „оргиях“ Белинский искал не выхода, а только минутного забвения: отчаяние было слишком тяжело. Кружковщина, „китаизм“, романтическое прекраснотушие, пошлость окружающей жизни, отсутствие женской любви, одиночество—вот что видел Белинский в своей жизни, потеряв свою былую успокоительную веру в Премудрую Благодать. В результате—„это свыше сил; глубоко оскорбленная натура ожесточается, внутри что-то ревет зверем и хочет оргий, оргий и оргий, самых бесчинных, самых гнусных: ведь нигде на наш вопль нету отзыва“<sup>43)</sup>. И с напускным беззаботным цинизмом Белинский уже через два года снова повторяет в письмах к тому же Боткину эти мысли о трагическом распутстве: „трагическое распутство! Звучите бокалы и стаканы, раздавайтесь нестройные клики пьяной радости, буйного веселья—ведь нигде на наш вопль нету отзыва! Эй, ты, милая—..... скорее, да ну, без нежностей,....., ведь нигде на наш вопль нету отзыва“<sup>44)</sup> И снова рассказывая с напускным цинизмом о своих частых „приключениях то на Невском, то на улице, то на канаве, то чорт знает где“, Белинский прибавляет: „я об этом никому не говорю, и не люблю, чтобы меня об этом спрашивали. Это разврат отчаяния. Его источник: ведь нигде на наш вопль нету отзыва“.

Только бескровный, засушенный моралист может с легким сердцем осудить Белинского за эту одну сплошную „оргию отчаяния“. И сам Белинский в одном из писем к Боткину, цитированных выше, бравурно и с деланной беззаботностью рассказывая своему другу о своих приключениях и похождениях, совершенно невозможных для печати, заканчивает свой рассказ горестным воплем: „Боткин, Боткин! не сердись и не презирай, но пойми“... А когда другой его друг, М. Бакунин, „не понял“ и осудил такое падение Белинского в грязь „пошлой действительности“, то Белинский ответил ему сильным и ярким письмом, резко отрицая в нем свое „примирение“ со всякой действительностью. „С чего ты взял, что моя действительность — пошлая, повседневная, грязная, и до того несчастная, что над нею даже мальчишки подсмеиваются? Правда, моя действительность—не твоя, но из этого еще не следует, чтобы она была такая, какую ты ее описываешь. Раны моего сердца, истекающего живою, горячею кровью, свидетельствуют, что ты—лжесвидетельствуешь на близ него... Ты говоришь, что в оргиях я ищу выхода. Тут две неправды: в оргиях я ищу не выхода, а минутного самозабвения, ищу отрешения не от страдания, а от отчаяния, от сухой, мертвящей апатии. Потом—я не способен возвыситься даже до оргии—судьба и в этом отказала мне“<sup>45)</sup>.

Так мучительно проявлялся в жизни Белинского кризис былой веры; но, даже тогда, когда Белинский говорил о своей апатии, в душе его попрежнему горел огонь

<sup>43)</sup> Из письма к Боткину от 16 декабря 1839 года.

<sup>44)</sup> Из письма к Боткину от 14 марта 1842 года; следующая ниже цитата—из письма от 31 марта 1842 года.

<sup>45)</sup> Из письма к М. Бакунину от 26 февраля 1840 года.—„Мальчишки подсмеиваются“—намек на младшего брата М. Бакунина, Павла, который был тогда еще очень юн и иронически отзывался о статьях Белинского этого времени.

исканий, не находящий себе исхода, попрежнему он „горестно и трудно“ любил, попрежнему неистово ненавидел. Но теперь он начинал любить то, что ненавидел раньше, и ненавидеть то, что раньше любил. И прежде всего ненависть эта проявлялась к „расейской действительности“, к общественному и социальному порядку, который еще не так давно восхвалялся Белинским. В интереснейшем письме к Кетчеру (от 3 авг. 1841 г.) Белинский обрушивается на эту „расейскую действительность“ всею тяжестью едких сарказмов. „Литература наша—иронизирует Белинский—процветает, ибо явно уклоняется от гибельного влияния лукавого Запада, делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну. Уваров торжествует и, говорят, пишет проект, чтобы всю литературу и все кабаки отдать на откуп Погодину. Носятся слухи, что Погодин (вместе с Бурачком, Ф. Н. Глинкою, Шевыревым и Загоскиным) будет произведен во святители российских стран... Одним словом, будущность блестит всеми семью цветами радуги“... Продолжая в таком же духе горько шутить над „расейской действительностью“, Белинский заканчивает: „вообще, душа моя. Тряпичкин, много жизни—не изжить; возблагодарим же Создателя и подадим друг на друга доносы. Алилуйя!“

В письме этом—все что угодно, кроме апатии: с ней несовместима эта жгучая ненависть. Но дело не в этом, а в резком контрасте с былым умиротворенным взглядом на окружающую действительность, так еще недавно восхвалявшуюся Белинским. Теперь, в этот период кризиса,—не то: теперь Белинский ненавидит „глупцов“, составляющих опору „действительности“, и ненависть эта принимает те „неистовые“ формы, которые так дороги в Виссарионе Белинском: „в иные минуты,—пишет он, например, однажды про представителей „расейского общества“,—хотелось бы потонуть в их крови наслать на них чуму и тешиться их муками. Ей Богу, это не фраза, бывают такие минуты“<sup>46)</sup>. А так как старые, отживающие формы „действительности“ находят себе защитников чаще всего в отживающем поколении, то именно на него обрушивается вдруг поистине неистовый в вспышке своего чувства Белинский: „Когда читаю в газетах, что такой-то действительный статский советник в преклонных летах отыде ко праотцам—мне становится отраднo и весело. Всех стариков перевешать!“.

Как видим, это уже бесконечно далеко от бывшего преклонения перед „Премудрой Благостью“, а потому кризис, происходящий в Белинском, имеет далеко не один общественный смысл: это, повторяю, прежде всего кризис философской и религиозной мысли, неудовлетворенной прежней умиротворяющей верой в высшую абсолютную разумность и справедливость. Голос Дмитрия Калинина, воскресшего и возмужавшего, все сильнее и сильнее звучит в письмах Белинского 1840—1842 гг.; с ненавистью разрушает теперь Белинский, где только может, „блаженное счастье непосредственности“—слепую, некритическую, успокоительную веру. Прежде Белинский считал святотатством усомниться в „Премудрой Благости“ Абсолютного Духа, правящего миром и жизнью; теперь он с жаром проповедует противоположное. „Я ругал тебя—пишет он 8 сент. 1841 года Боткину—за Кульчицкого, что ты оставил его в теплой вере в мужичка с бородакою, который, сидя на мягком облачке, б...т под себя, окруженный сонмами серафимов и херувимов, и свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами. Мне было отраднo, в глазах Кульчицкого, плевать ему в его гнусную бороду“... Прежде Белинский, узнав о смерти Лидии Бакуниной, старался убедить себя в разумности этого факта, восторженно взывая: „я верую и верю!... Жив Бог, жива душа моя!“ Двумя годами позднее, при известии о смерти Станкевича, Белинский написал замечательное письмо к Боткину (от 12 авг. 1840 г.), в котором выражал уже свою ненависть к „закону“ Абсолютного Духа, присуждающему к казни и покорного и непокорного, и правого и виноватого. Прошло еще полтора-два года, умерла молодая

<sup>46)</sup> Из письма к Боткину от 16 апреля 1840 года.—Белинский заканчивает эту фразу еще резче: „что касается до Полевого, Греча, Булгарина—бывают минуты, хотелось бы быть их палачом“.—Следующая ниже питата—из того-же письма.

женщина, жена Краевского—и с удесятеренной ненавистью отзывается Белинский о Премудрой Благости, о мировом Разуме: „велик Брама—ему слава и поклонение во веки веков. Он порождает, он и пожирает, все из него и все в него — бездна, из которой все и в которую все! Леденеет от ужаса бедный человек при виде его! Слава ему, слава: он и бьет-то нас, не думая о нас, а так—надо ж ему что-нибудь делать. Наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли—он слушает их с цыгаркою во рту, и только поплевывает на нас, в знак своего внимания к нам“. Вслушайтесь и сравните: не то же ли самое говорил когда-то Дмитрий Калинин о Боге-тиране и рабовладельце?

Мысль Белинского завершила свой круг: в начале сороковых годов он без колебаний и оговорок высказал то, что десятью годами ранее заставлял говорить героя своей юношеской драмы. Но на этом пути дальше двигаться некуда: отказавшись от былой веры в Премудрую Благость, надо строить свою жизнь на иных основаниях, надо идти иными путями. Бессознательные поиски, инстинктивные порывания и искания беспрерывно свершались в душе Белинского в эти тяжелые годы его духовного кризиса; мало-по-малу создавался и обозначался тот новый путь, по которому теперь можно было идти.

Но—пока солнце взойдет, роса очи выест. В муках искания, в муках отчаяния задыхался Белинский в своем, казалось бы, безнадежном нигилизме, прорывался в письмах, тайл черную правду от читателей. В двух письмах 1841 года к Николаю Бакунину как бы подводятся итог всем переживаниям Белинского этих двух последних лет его жизни, двух первых лет жизни в Петербурге. „Я—пишет Белинский 6 апр. 1841 года—уже не та экста-тическая „прекрасная душа“, которая, обливаясь кровавыми слезами, избиваемая внутренними и внешними бедами, оскорбленная в самых законных и святых стремлениях и желаниях, клялась и уверяла всех и каждого, а вместе и себя, что жизнь—блаженство, и что лучше жизни нет ничего на свете. Опыт сорвал покров с жизни—и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление,—противоречие. Она хороша для тех, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимиам, как Дон-Кихот своей Дульцинее. Теперь полно быть дюпом...“ Во втором письме (от 9 декабря 1841 года) Белинский снова говорит, что для него ужасна мысль „остаться у жизни в дураках, быть ее дюпом“, но что, несмотря на это, он еще пробует верить в жизнь, оправдать ее. „Сердце мое еще не отказалось от веры в жизнь, ни от мечтаний; ...но сознание мое покоряет сердце...; для моего же сознания жизнь равна смерти, смерть — жизни, счастье—несчастью и несчастье—счастью, потому что все это призраки, создаваемые субъективную настроенностью нашего духа в ту или другую минуту, а сами мы—исчезающие волны реки, тени преходящие. Я не верю моим убеждениям и не способен изменить им; я смешнее Дон-Кихота: тот, по крайней мере, от души верил, что он рыцарь, что он сражается с великанами, а не мельницами, и что его безобразная и толстая Дульцинея—красавица; а я знаю, что я не рыцарь, а сумасшедший — и все-таки рыцарствую, что я сражаюсь с мельницами—и все-таки сражаюсь, что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и гнусна—а все-таки люблю ее, на зло здравому смыслу и очевидности“...

В последних словах—ключ к разгадке противоречия между письмами и статьями Белинского 1840—41 гг. Причины этого противоречия лежали глубоко в душе Белинского, но он их не высказывал, тайл их про себя. Первая сокровенная причина заключалась в определенном понимании Белинским своего нравственного долга как журналиста, своего писательского призвания: это призвание, этот долг—„будить высокое“ в сердцах читателей, учить добру, открывать глаза на истину. Но как быть, если для писателя „высокое“ пало в грязь, „добро“ стало злом, а „истина“ явилась в образе скелета с оскаленными зубами? А ведь так это было для Белинского 1840—41 гг. Неужели проповедывать эти новые, страшные истины? Белинский предпочел бы совсем бросить писать, если-бы он даже и мог провозглашать эти тяжелые истины на страницах журнала. И дело тут вовсе не в цензурных затруднениях: мог же Пушкин напечатать своего „Фауста“, „Дар напрасный“ и другие подобные стихотворения, а Лермонтов—целый ряд еще более определенных в этом направлении; нет, Белинский нравственно



не считал себя в праве, если бы даже и мог фактически, печатать в статьях то, что он писал для одного себя, что он поверял только ближайшим друзьям.

Противоречие между своими подлинными чувствами и проповедью статей Белинский сам сознавал и не скрывал его. В письме к Боткину от 9 февр. 1840 г., говоря о своем отчаянии, о потере веры в жизнь, о пустоте своей души, Белинский прибавляет: „а дня через два надо приниматься за статью о детских книжках, где я буду говорить о любви, о благодати, о блаженстве жизни, как полноте ее ощущения, — словом, обо всем, чего и тени, и призрака нет теперь в пустой душе моей“<sup>47)</sup> Но почему же надо говорить о том, чего нет в душе, чему не веришь?—Потому, что писатель должен „будить высокое“, а не соблазнять „малых сих“ отрицанием разумности мира и жизни; и если он сам для себя дошел до такого взгляда, если он даже пишет об этом своим ближайшим друзьям, то все же он не должен, он не смеет обращаться с проповедью этих взглядов к жаждущим „поучения“ людям. Ведь писатель—„учитель“, он должен „будить высокое“ в душах читателей; если даже—думает он—горькие строки срываются с моего пера, то—

. . . . . этих горьких строк  
Неприготовленному взору  
Я не решуся показать...

Писатель не хочет,—

Чтоб тайный яд страницы знойной  
Смутил ребенка сон покойный  
И сердце слабое увлек  
В свой необузданный поток...  
О, нет!—преступною мечтою  
Не ослепляя жизнь мою,  
Такой тяжелою ценою  
Я вашей славы не куплю...

Так говорил Лермонтов—так думал Белинский. И вот почему, горько издеваясь в письмах над всем „идеальным“ и „высоким“, Белинский в то же самое время считает за „великое счастье“—своими статьями „пробудить полет к высокому в иной дремлющей душе“; вот почему, яростно восставая в своих письмах против „Общего“, отрицая объективную осмысленность жизни из-за ее „диссонансов“—в статьях того же времени Белинский продолжает проповедь принятия „жизни“, подчинения Общему; в письмах своих он „вопит“, как раненый зверь, а в статьях он продолжает учить и проповедывать приятие мира. „Писатель подобен раненой тигрице, прибежавшей в свое логовище к детенышам. У нее стрела в спине, а она должна кормить своим молоком беспомощные существа, которым дела нет до ее роковой раны“,—говорит именно по поводу Белинского Л. Шестов, впервые подчеркнувший это противоречие между письмами и статьями Белинского (Л. Шестов, „Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше“, предисловие). Прошло три четверти века со времени скрытых мук „отрицания“ и явной проповеди „утверждения“ жизни и Бога Белинским; теперь писатели уже не считают своим долгом „учить“ или „молчать“; мы видим, как в современной литературе многие из них „вопят“, точно раненые звери... Но это не мешает нам понять психологию Белинского и, не разделяя ее, преклониться перед его высоким (хотя и ошибочным) пониманием призвания и обязанности писателя<sup>48)</sup>.

<sup>47)</sup> См. № 18.

<sup>48)</sup> Иногда Белинский высказывал в своих письмах на первый взгляд иные суждения. Вот, например, что он однажды писал Боткину: „Разум и сознание—вот в чем достоинство и блаженство человека; для меня видеть человека в позорном счастье непосредственности—все равно, что дьяволу видеть молящуюся невинность: без рефлексий, без раскаяния разрушаю я, где и как только могу, непосредственность—и мне мало нужды, если этот человек должен погибнуть в чужой ему сфере рефлексии, пусть погибнет“... (1841 г.). Но ведь и здесь Белинский хотел разрушать „непосредственность“ и проводить человека через „рефлексию“ только для того, чтобы ввести его в „достоинство и блаженство“ разума и сознания; а значит задачей своей Белинский попрежнему считает—„будить высокое“...

Была однако и другая причина, по которой Белинский не решался высказывать в своих статьях то, что говорил в своих письмах, о чем думал „наедине с своей душой“ Дело в том, что всю свою мучительную „рефлексию“ 1840—41 г.г., Белинский все время считал только переходом к некоторому еще неизвестному ему „высшему синтезу“; о том, что такое состояние может быть постоянным, что ему может не быть исхода—Белинский боялся и думать: характерным доказательством этого является отношение Белинского к типу Печорина, в котором Белинский хочет видеть тоже воплощение „мучительной рефлексии“, которую надо преодолеть<sup>49)</sup>. И в своих письмах этой эпохи он не раз подчеркивает эту веру в преходящность своей „мучительной рефлексии“, своего отрицания объективной осмысленности мира и жизни. Я уже сказал, что отчасти Белинский был в этом прав: действительно, скоро пришла новая вера, пришел „синтез“; но и после него Белинский не избавился всецело от своей „мучительной рефлексии“... Кто раз увидел наложенную на мир „лапу дьявола“, тот никогда не вернется больше к былой беспечальной и радостной вере.

Но все это осталось глубоко скрытым в душе Белинского под слоем нового „синтеза“, новой веры; Белинский, повторяю, был прав, надеясь, что на смену отчаянию и неприятию мира придет снова вера в мир и жизнь. А потому и в статьях своих 1840—41 г.г. он продолжал учить и проповедывать, чему он теперь уже не верил, но на что еще надеялся верить в будущем. И, наконец, ключем ко всему этому противоречию является уже приведенное выше признание Белинского, что противоречие это лежало в самой глубине его души; он видел все ужасы, все неоправданные страдания жизни—и все же любил эту самую жизнь, он отвергал ее—и принимал ее. „Знаю, что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и гнусна, а все-таки люблю ее, на зло здравому смыслу и очевидности“,—говорит Белинский Н. Бакунину и прибавляет: „но вы не поймете этого“... Но это необходимо понять—так как без этого непонятны все душевные переживания Белинского в эти тяжелые для него 1840—42 годы. Белинский возненавидел безобразную и гнусную действительность—русскую действительность в частности и всю мировую действительность вообще, так как увидел в ней только неоправданные муки, только бессмысленные страдания, только безжалостное подавление частного, индивидуального Общим; но в то же время он страдальчески любил эту индивидуальность, эту обреченную на погибель человеческую личность, любил обреченную, осужденную, но многообразную жизнь. Так он отвергал—и принимал, ненавидел—и любил. И любовь эта действительно стала ступенью к его новой вере: через любовь к отдельной индивидуальности, реальной человеческой личности, Белинский пришел к социальности, которая и стала его новой страстной верой.

<sup>49)</sup> См. №№ 20—21.

### VIII.

## Религия жизни и человека. „Социальность“.

„Жизнь — ловушка, а мы — мыши: — глупая комедия, чорт возьми! Будем же пить и веселиться, если можем, нынешний день наш, ведь нигде на наш вопль нету отзыва!“ Так восклицал Белинский в разгаре своего отчаяния. Два года спустя, снова говоря о своем отчаянии, о своем „трагическом распутстве“, снова повторяя излюбленную цитату из „Крейслерианы“ Гофмана о вопле без отзыва, Белинский колеблется в своем ответе на вечный вопрос: „неужели же жизнь и в самом деле ловушка? Неужели она до того противоречит себе, что дает требования, которых выполнить не может? Не довели ли мы своего байронического отчаяния до последней крайности, с которой должен начаться перелом к лучшему? Все это вопросы, которые я могу тебе предложить, но не разрешить. По крайней мере, мне становится как-то легче — может быть, оттого, что в Питере теперь часто светит весеннее солнце, и небо часто безоблачно“. Но дело было не в петербургской весне: весна расцветала в измученной исканиями душе Белинского, солнце новой горячей веры разгоняло сумрак тяжелого кризиса. Место абсолютной, совершенной, безличной, объективной истины понемногу занимала в душе Белинского реальная человеческая личность, великая в своих несовершенствах, в своей субъективности.

Подняв знамя восстания против обезличивающего „Общего“, Белинский провозгласил взамен этого права личности. Можно было думать, что личность и станет тем новым „синтезом“, который воскресит душу Белинского, вырвет его из пут „мучительной рефлексии“: пусть в мире нет для человека никакой объективной ценности, целесообразности, осмысленности, но сама человеческая личность является такой ценностью, а мир и жизнь являются для нее субъективно осмысленными, субъективно целесообразными. И Белинский был близок к этому: именно на почве провозглашения прав личности и произошел разрыв Белинского с гегелианством, с верою в „Общее“, в Премудрую Благость. Прежде Белинский верил в „разумную действительность“ мира, в целесообразность человеческих гекатомб для саморазвития Абсолютного Духа, „Общего“; а теперь он восклицает: „о, пропадай это ненавистное Общее, этот Молох, пожирающий жизнь!“ И еще: „проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью!... Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества“... „Для меня — так человеческая природа есть оправдание всего. Событие — вздор, чорт с ним... Важна личность человека, надо дорожить ею выше всего“ (письма к Боткину от 4 и 25 октября 1840 г.). И притом — я это уже подчеркивал — важна не личность вообще, не человек вообще, а „вот эта“ личность. „вот этот“ каждый реальный, чувствующий, страдающий человек. На этой почве, разумеется, был неизбежен разрыв со всякими теориями „разумной действительности“ мира, которые всегда строятся на костях реальных страдающих людей; прежде всего это был, конечно, разрыв с Гегелем<sup>50</sup>). В знаменитом письме к Боткину Белинский с громадной силой и страстью высказывает эти:

<sup>50</sup>) Подробнее см. в №№ 13—21.

свои новые взгляды—одновременно и „неприятя мира“, оправдываемого абсолютной философией, и признания человеческой личности „выше общества, выше человечества“... „Я давно уже подозревал,—пишет Белинский,—что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов—ни к ..... не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними... Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь к мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем. Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это Общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны... Ты, я знаю, будешь надо мною смеяться, о, лысый!—но смейся как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора (т.-е. гегелевской Allgemeinheit). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься—падай—чорт с тобою—таковский и был сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорыч <sup>51)</sup>—кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития,—я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии“...

Эти удивительные слова Белинского (в письме к Боткину от 1 марта 1841 г.) слишком общеизвестны, они слишком часто повторяются и треплются; и несмотря на это—до сих пор не утратили они всей своей глубины, всего своего неизмеримого значения. Ведь что, в сущности, значит весь этот бурный протест Белинского? в чем его главный смысл?—в резком отказе удовлетвориться когда бы то ни было какой бы то ни было теорией „оправдания мира“, признания „разумной действительности“ мира и жизни; это *mutatis mutandis* тот самый „бунт“, который за десять лет до этого был детски начат Дмитрием Калининым и был возобновлен с громадной силой; тридцать-сорок лет спустя Иваном Карамазовым. Белинский заявляет, что он останется гордо и навсегда непримиримым: не нужно ему „дыма фантазий“ и утешений в абсолютном значении человеческой муки; человеческие муки не имеют оправдания. А если нет им оправдания, то нет оправдания и Премудрой Благодати; „не мира я не принимаю, а Творца этого мира не принимаю и не могу согласиться принять“,—так бы мог перевернуть Белинский слова Ивана Карамазова. Но разве может человек жить без Бога? „Что человек без Бога?—писал Белинский 28 ноября 1842 г. Н. Бакунину, и писал (заметьте это) уже в эпоху ясно выраженного своего „атеизма“:—что человек без Бога?—Труп холодный. Его жизнь в Боге, в Нем он и умирает, и воскресает, и страдает, и блаженствует“... И Белинский заключает ряд этих мыслей типично-фейербаховской фразой: „а что такое Бог, если не понятие человека о Боге?“ Когда Белинский верил в „абсолютную философию“—его Богом была *eine Allweise Güte*, мировая объективная разумность; когда вера эта погибла—Белинский поставил выше всего („выше истории, выше общества, выше человечества“) человеческую личность, в которой для него теперь было и воскресение, и смерть, и страдание, и блаженство. Если бы Белинский остановился на этом, сделал бы своим Богом человеческую личность—это значило бы, что он принимает мир, прекрасно сознавая в то же время отсутствие в нем всякой объективной целесообразности, наличность только субъективного смысла <sup>52)</sup>.

<sup>51)</sup> Т.-е. Гегель (Георг-Вильгельм-Фридрих).

<sup>52)</sup> Об этом, в связи с Белинским, см. мою книгу „О смысле жизни“.

Это было бы тяжело, мучительно; Белинский жаждал „объективного“ Бога—и потому незаметно переходил от Бога к личности, а от личности—к „человеку“, „гражданину вселенной“...

Процесс этот—процесс замены Бога человеком—совершался в Белинском мало-помалу, постепенно, незаметно. Десятки мест из писем Белинского могли бы служить иллюстрацией этого медленного и постепенного процесса; я ограничусь немногими, до первого издания этой книги не бывшими в печати. Еще в пору своего преклонения перед „мировым разумом“ Белинский верно и метко охарактеризовал сам себя, подчеркивая свою неспособность удовлетвориться „чем-нибудь“ от милостей свыше. „Человек, которому природа, как проклятие, дала слишком большие требования на жизнь, чтобы их могло удовлетворить что-нибудь легко получаемое, и который из всех сил рвался к счастью—и знал одно горе, одно страдание. Это история моей жизни“... И несколько ранее: „до сих пор я говорил—лучше хоть немножко чего-нибудь, чем совсем ничего; теперь я говорю: лучше совсем ничего, чем немножко чего-нибудь. Да, я теперь ясно вижу, что я не понимал себя, не был к себе справедлив—нет, что-нибудь никогда не удовлетворит требований моего духа. Нагибаясь до чего-нибудь, я сам всегда делался ничем“<sup>53</sup>). И Белинский сознал, что таким он делался, когда заставлял человека (и самого себя) довольствоваться крохами со стола „Общего“, Абсолютного; он сознал, что субъективное „все“ бесконечно превышает объективное „что-нибудь“, слабое отражение общего в жизни личной. „Героем новой трагедии стал человек, как субъективная личность,—замечает Белинский и прибавляет:—смешно и досадно: любовь Ромео и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное (так следовало по руссифицированному гегелианству Белинского и его друзей). Жизнь в книгах, а в жизни—ничто. Вот тут Грановский улыбнется и скажет, что я поумнел; а я ему скажу на это, что он дурак: не хочу немецкой жизни в книге, но французской, которая бы параллельна была немецким книгам, или совсем никакой...“

Иначе говоря, Белинский жаждал кипучей личной жизни, построенной на твердом базисе строгого и определенного мировоззрения. Ненависть его к „немецкой книге“, к голым абстрактным умозаключениям, к теоретической „субстанцииальности“—неуклонно возрастала с начала сороковых годов. С каким неподражаемым сарказмом, например, высмеивает Белинский (в письме к Боткину от 3 апр 1843 года) одного второстепенного гегелианца, Ретшера, который и всю жизнь, и все искусство сводил к мертвым словесным схемам. „Не было человека пишущего,—воскликает в этом письме Белинский,—который бы так глубоко оскорбил меня своею пошлостью, как этот немецкий Шевырев! Если бы Ретшер нашел у Шекспира или Гете драму, состоящую в том, что бл.и прибили „честную женщину“, а полиция передрала бы за это бл.ей—он так бы написал о ней: субстанциальное право бл.овства, оскорбленное субстанциальной стихией честности, разрешилось в коллизию драки, которая, оскорбив субстанциальную власть полиции, была наказана розгами, после чего все пришло в гармонию примирения...“

Эта меткая пародия на вербальные мертвые схемы „гегелят“ (по презрительному выражению Белинского) завершает восстание Белинского против „немецкой книги“; но, повторяю, еще гораздо раньше, в начале своего кризиса, он не менее ярко высказывал новые мысли, выступая апологетом и проповедником прав живого личного человека против всякой схемы и идеи, против всякого „Общего“, как бы оно там ни называлось. В том же письме, в котором Белинский требовал жизни в жизни, а не жизни в книгах, он уже выступил за права личного человека: „кто говорит,—писал он,—что надо стремиться к Общему, надо страдать, и трудиться, и бороться, чтобы почитать себя в праве на личное блаженство,—того я буду слушать, перед тем я обвиню себя в тяжких грехах, в совершенном недостойнстве; но кто бы стал дока-

<sup>53</sup>) Из письма к Боткину, без даты; судя по содержанию, письмо относится к 1838—1839 году.

зывать мне, что жить должно только в Общем, презирая личное и субъективное—я сказал бы тому, что он поросенок, которого мне, старому борову, слушать неприлично и смешно...“<sup>54</sup>). Несколькими неделями позже (в письме к Боткину от 24 февраля—1 марта 1840 года) Белинский снова возвращается к мысли о величии человека, как человека; он вспоминает, как, в период своего романтического прекраснотушия, он и его друзья боялись видеть в себе только людей, и старались быть еще кем-то или чем-то. „К чорту героизм и ходули!—воскликает теперь Белинский:—я уверен, что и великие люди казались себе совсем не великими: так нам ли смотреть на себя свысока, прикидываться героями и искать для своих знакомств и дружбы только героев. Для меня поэт и герой выше человека, но объективно, а когда он захочет со мною сблизиться, я попрошу его сбросить с себя поэзию и героизм и прежде всего быть просто человеком. Святое и великое титло!...“ Прошло еще немного времени, и Белинский стал признавать величие этого „титла“ без всяких оговорок; в душе его с неуклонной постепенностью происходил процесс замены Бога человеком.

Белинский сам не ясно сознавал, как это случилось, как это могло случиться; но факт тот, что именно в разгар этого мучительного кризиса, в эпоху отчаяния, апатии, безверия—Белинский увидел себя обладателем новой веры, новой ценности: место Бога занял человек. „Странное дело!—воскликнул как-то Белинский (28 июня 1841 года):—жизнь моя—сама апатия, зевота, лень, стоячее болото, но на дне этого болота пылает огненное море. Я все боялся, что с годами буду умирать—выходит наоборот. Я во всем разочаровался, ничему не верю, ничего и никого не люблю, и однако-ж интересы прозаической жизни все менее и менее занимают меня, и я все более—гражданин вселенной. Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимает и не мое. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума...“

Гражданин вселенной и апологет прав личности человеческой—так вполне верно определил теперь себя сам Белинский; „gentilhomme russe et citoyen du monde civilisé“—связзвит впоследствии Достоевский... Уже с давних пор требовал Белинский для личности всего и высоко ценил эту полную несовершенство и горя жизнь человеческую; еще в конце тридцатых годов Белинский именно в „несовершенствах“ жизни видел ее величие. „Право существования—писал он (М. Бакунину, 17 авг. 1838 года)—должно купить дорогою ценою (страдания). В этом я вижу доказательство того, что жизнь есть великое благо. Что достается легко, то ничего и не стоит...“ С жизнью этой надо бороться, надо брать от нее ту полноту, которую она не всем дает добровольно. „В самом деле,—писал он тогда же,—если скупая жизнь не дает ничего—надо вырвать у нее хоть что-нибудь, насладиться хоть чем-нибудь... (Мы знаем, что почти в то же время Белинский сознал, что человек должен требовать от жизни все, а не что-нибудь). И самая чувственность, выходящая из полноты жизни, представляется мне таинством, от которого трепещет душа моя, жадная упоения. Богата жизнь, много сокровищ скрывает она, да не всем дает их,—так отнимем же у нее хоть что-нибудь. А результаты, а раскаяние?—А, чорт возьми! все, все давай сюда, все возьмем на себя, все понесем, только бы жить, чорт возьми, жить!..“<sup>55</sup>). Как видим, полноту жизни Белинский проповедывал еще задолго до своего кризиса; но только теперь, к 1841—1842 году, он окончательно пришел к сознанию, что эта полнота жизни человеческой личности недостижима вне элемента общности, социальности; сознав это, он сознал себя гражданином вселенной: начался период его „социальности“, вскоре принявшей формы социализма. Белинский понял, что полнота жизни человека возможна только в человечестве, когда человек одновременно сознает

<sup>54</sup>) Из письма к Боткину от 16 декабря 1839—10 февраля 1840 года.—В переписке этого времени Белинский шутливо называл „поросенком“ молодого Каткова. Об отношениях между ними—ниже.

<sup>55</sup>) Из письма к М. Бакунину без даты; судя по содержанию, письмо относится ко второй половине июня 1838 года.

себя и самоцельной личностью, и гражданином вселенной. Так Белинский от Бога пришел к человеку, тесно связанному с человечеством; это был новый великий путь после великих и трудных исканий.

К признанию человека „гражданином вселенной“ Белинский подходил так же медленно и постепенно, как к признанию его самоцельной личностью. В эпоху своего гегелианства Белинский с пренебрежением относился ко всякой политической и социальной деятельности; в знаменитых статьях 1839 г. о „Бородинской годовщине“ и „Очерках бородинского сражения“ Белинский выступил с пламенным панегириком самодержавию, как явлению мистического порядка. Однако, в последней статье главная цель Белинского, по его собственному заявлению, была иная: „хотелось мне в ней, главное, наметнуть пояснее на субстанциальное значение идеи общества“,—говорит он. Статья эта, как известно, вызвала осуждение среди читающей публики того времени, и Белинский негодовал и удивлялся этому: „досадно, что люд божий ею недоволен, писал он по этому поводу Боткину:—зарылись, свиньи, как будто у нас хороших статей—есть, не хочу; а где они, в каких журналах? Для них и эта должна быть объяденьем...“<sup>56)</sup>. И в связи с этим Белинский обрушивается на наших российских либералов, которые-де все „ужасные подлецы: они не умеют быть подданными, они холопы; за углом любят побранить правительство, а в лицо подличают не по нужде, а по собственной охоте. Так, холоп за глаза только и делает, что ругает барина, а при нем не смеет взглянуть смело...“ Белинский был прав: всегда были и до сих пор есть такие „либералы“, увековеченные в свое время Салтыковым; но не одни они относились с осуждением к статьям Белинского, логическим выводом из которых был застой, квиетизм, отрицание социального и политического развития.

Как известно, Белинский сам очень скоро это понял и от провозглашения „субстанциального значения идеи общества“ перешел к идее общества, исторически развивающегося; выражениями этой идеи переполнены все письма Белинского даже 1840—1842 годов. Через год после статьи об „Очерках бородинского сражения“ Белинский уже с горечью осуждает „дичь, которую изрыгал в неистовстве, с пеною у рта, против французов—этого энергического, благородного народа, дьющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны *au drapeau tricolore*“; прошло еще несколько месяцев, и Белинский восклицает: „хорошо прусское правительство, в котором мы мнили видеть идеал разумного правительства! Да что и говорить—подлецы, тираны человечества! Член тройственного союза палачей свободы и разума. Вот тебе и Гегель!.. Разумнейшее правительство в Соед. Амер. Шт., а последних в Англии и Франции...“ Наконец, еще годом позднее Белинский следующими словами заканчивает одно, к сожалению, не дошедшее до нас, но, повидимому, громадного интереса письмо к Боткину: „тут нечего объяснять: дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор, и что тысячелетнее царство Божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснотушной Жиронды, а террористами—обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сенжюстов...“<sup>57)</sup>.

Последний отрывок относится к апрелю 1842 года. Интересно заметить, что как раз в апрельской книжке „Отеч. Записок“ этого же года появилась статья Белинского по поводу книги Лоренца „Руководство к всеобщей истории“,—статья, в которой мы найдем целый ряд тех же мотивов о человеке и человечестве, но только высказанных в форме, безобидной для николаевской цензуры. Статья эта до сих пор была совершенно неизвестна; а между тем она представляет значительный интерес, как первое и одно из наиболее ярких печатных выражений новых социальных и уже социалистических воззрений Белинского<sup>58)</sup>.

<sup>56)</sup> См. №№ 12—13.

<sup>57)</sup> Письмо это написано, повидимому, между 13 и 20 апреля 1842 года; две предыдущие цитаты—из писем к Боткину от 10—11 дек. 1840 года и 1 Марта 1841 г.

<sup>58)</sup> Статьи этой нет даже в полном собрании сочинений Белинского редакции С. Венгерова; принадлежность ее перу Белинского доказывается целым рядом мест из переписки Белинского. Подробно об этой статье—см. № 33.

Из этой статьи мы убеждаемся, что, разорвав с общим в смысле абсолютной и объективной истины, Белинский снова нашел „общее“—в человечестве, гармонически совмещающем в себе полноту жизни всех отдельных людей. Белинского занимают „не интересы сословия, но интересы общества, не интересы государства, но интересы человечества—словом, общее в идеальном и возвышенном значении слова...“ („Отеч. Зап.“, 1842 г., т. XXI, отд. V, стр. 36). Белинский указывает, что „чувство общности теперь везде сильнее, чем когда-либо прежде было. Каждый живет чувствует себя в обществе и общество в себе, и каждый, по крайней мере, претендует служить обществу, служа себе самому“... (ibid). Но этого мало: каждый чувствует себя не только в обществе, но и в человечестве, которое само есть не что иное, как „идеальная личность“ (стр. 37); история развития этой идеальной личности и есть всемирная история. В истории этой Белинский снова готов видеть объективный смысл, разумный промысл, премудрую благодать—но уже не персонифицируя все это и относя это не к личности реальной, человеку, а к личности идеальной—человечеству. „Без исторического созерцания, без веры в разумный промысл, вечно торжествующий над произволом и случайностью—нет истинного и живого знания в наше время“—воскликает Белинский. (Ему еще не приходило в голову, что понятие „прогресса“ может быть субъективным, а не объективным определением). И это понятие „прогресса“ и движения позволяет Белинскому с глубокой верой и надеждой ожидать лучшего будущего и человека, и человечества. С восторженной верой убеждает читателей Белинский, „что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития, что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу и—будет новая земля и новое небо“... (стр. 39). Конечно нельзя было яснее, под дамокловым мечом цензуры, высказать свою веру в социалистический идеал хилиазма, „тысячелетнего царства Божия на земле“, о котором Белинский писал в цитированном выше письме к Бакунину (в том же апреле 1842 года).

Так завершились пока искания Белинского, его муки и сомнения. Белинский жаждал объективного Бога—и нашел его в Человечестве: от человеческой личности он перешел к „социальности“, а потом и к социализму. В 1842—1846 гг. это было „понятием Белинского о Боге“. К „социальности“ Белинский подошел именно потому, что жаждал счастья „каждого из своих братьев по крови“... Через полгода после приведенного выше замечательного письма к Боткину от 1 марта 1841 года, Белинский сделал этот шаг в не менее замечательном письме от 8 сентября. „Социальность, социальность—или смерть!—вот девиз мой!—воскликает Белинский:—что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто—мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможностей?.. Прочь же от меня блаженство, если оно—достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая услышать шелеста собственных шагов своих<sup>59)</sup>. И это жизнь: сидеть на улицах в лохмотьях, с идиотским выражением на

<sup>59)</sup> В одной рецензии 1836-го года („Молва“ № 11) Белинский—тогда еще полный веры в разумность всего сущего—писал: „...вот стоит нищий! подойдем к нему, скажем ласковое слово, подадим копейку—он наш брат во Христе, узнаем, почему он



лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела!.. И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности!.. И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании! Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека. Отрицание—мой Бог“...

Мы действительно знаем, что отрицание овладело в эти два года душою Белинского. Но тут же, в этом же письме Белинский, сам того не сознавая, открывает нам, что теперь его Бог—не отрицание, что теперь в его душе растет новый „синтез“, новая вера—вера в „социальность“, вера в социализм. Подчеркивая свое „отрицание“, Белинский восторгается веком отрицания—XVIII-ым веком, когда отрицание претворилось в жизнь, когда „рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам Бога, разума и человечности“... И вдруг, немедленно вслед за этими строками—восторженное, убежденное исповедание новой светлой веры в социальность, в социализм, в грядущий золотой век на земле! „И настанет время — я горячо верю этому — настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы; и когда любовница придет к любовнику и скажет: я люблю другого—любовник ответит: я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь, но ступай к тому, кого ты любишь,—и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но подобно Богу скажет ей: милости хочу, а не жертвы... Женщина не будет рабою общества и мужчины, но, подобно мужчине, свободно будет предаваться своей склонности, не теряя доброго имени, этого чудовища—условного понятия. Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и по глаголу апостола Павла, Христос даст свою власть Отцу и Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новой землею“... Тогда наступит золотой век на земле, царство „социализма“; тогда жизнь станет разумно осмысленной, тогда мир будет „разумно действительным“, тогда воцарится Отец-Разум... И религиозно веря в это грядущее счастье человечества, Белинский побеждает этой верой свое мучительное отрицание; вера эта согрела его жизнь, дала ему нового Бога.

---

нищий, зачем он нищий“... И Белинский готов найти был оправдание и разумность во всяком случае—будь то нищий, падший под бременем несчастья, или нищий от гордости и презрения к людям, или юродивый, или лицемер и дармоед.. Теперь, по прошествии пяти лет,—совсем не то; теперь Белинский уже не задается вопросом, как дошел человек до последнего падения,—теперь он спрашивает, а ч е м существует человеческое горе, человеческая мука. Это сопоставление, думается мне, ярко освещает всю глубину пропасти, образовавшейся в душе Белинского, между былым утверждением и настоящим отрицанием разумности мира и жизни.

## Вера в Человечество. Социализм.

Итак, великие искания привели к великому выводу: Белинский стал проповедником мирового учения, которому принадлежало будущее. Начался новый период жизни Белинского, период его „утопического социализма“; чтобы охарактеризовать его вообще, остановлюсь сперва на одном частном вопросе, крайне существенном в утопическом социализме Белинского. Это вопрос о женщине, о любви, о браке,—вопрос, которому так много внимания уделяли Белинский и его друзья еще в „романтическую“ эпоху московской кружковщины.

Не будет преувеличением сказать, что именно вопрос о женщине, о ее роли в обществе, о ее значении в современном браке, о ее правах и обязанностях—первый натолкнул Белинского на путь социализма от неопределенной „социальности“. Еще в одном из писем к Бакунину конца 1840 года (11 декабря) Белинский, возражая на мысли „гегеленка“ Ретшера о браке и верности в нем хотя-бы и без любви, убежденно восклицает: „для меня баядерка и гетера лучше верной жены без любви, так же, как взгляд сенсимонистов на брак лучше и человечнее взгляда гегелевского (т. е. который я принимал за гегелевский). Что мне за дело, что абстрактным браком держится государство? Ведь оно держится и палачем с кнутом в руках, однако-ж, палач все гадок“... И тут же Белинский называет такой брак без любви „собачьим склеиванием с разрешения церкви“... Через несколько месяцев (1 марта 1841 года) Белинский снова возвращается к вопросу о женщине и браке, по поводу того же Ретшера, в гегелианстве которого он видит филистерство. „Его уважение к субстанциальным элементам общества (родству и браку) для меня омерзительно...—пишет Белинский:— а брак, как видим мы его ежедневно? Им держится государство, но в лице толпы презренной, черни подлой. Как же он, сукин сын, хочет, чтобы я, не смеясь и не плюя в его филистерскую рожу, слушал, как он рассыпается в гимнах родству и браку? Все, что есть, действительно, и все, что действительно есть, разумно; да не все то есть, что есть. Мой ... и моя з.....а—суть, но я о них не говорю не только человечеству,—даже расейской публике, хотя с нею только о подобных предметах и можно говорить. Твои и мои родители были обвенчаны в церкви божией, но мы с тобою тем не менее—незаконные дети, тогда как всякий сын любви есть законное дитя. Одним словом, к дьяволу все субстанциальные силы, все предания, все чувства и ощущения, да здравствует один разум и отрицание. Французы—молодцы: у них брак—контракт в конторе нотариуса; квакеры—молодцы: у них священнослужение—проповедь в комнате; С. А. Штаты—идеал государства. Да здравствует разум и отрицание! К дьяволу предание, формы, обряды! Проклятие и гибель думающим иначе!“.

Это страстное и неистовое отрицание старой истины и провозглашение новой— вечные этапы на пути великих исканий Белинского. Теперь, в начале 1841 года, искания эти вели его, как мы знаем, к социализму в его утопической форме; выше мы слышали уже похвалу Белинского взгляду сенсимонистов на брак. Но в то время Белинский знал об учении сенсимонистов только по наслышке; по крайней мере, уже в одном из последующих писем середины 1841 года (28 июня) он восклицал: „чорт

знает, надо мне познакомиться с сенсимонистами; я на женщину смотрю их глазами“... И непосредственно за этими словами следует бурная, страстная, неистовая тирада — объяснение того, как смотрит теперь на женщину Белинский. Тирада эта была в свое время изложена своими словами А. Н. Пыпиным: „мы не могли—замечает Пыпин—передать всей резкой силы, с какою говорил здесь Белинский. Довольно сказать, что он не щадит лицемерия существующих обычаев и несправедливости, наносимой ими женщине. Взгляд, выраженный здесь, остался его последним мнением о женщине, браке и пр.“ (А. Н. Пыпин, „Белинский, его жизнь и переписка“, изд. 2-ое, стр. 378). Но именно потому необходимо с возможной полнотой привести эту удивительную по силе и страсти тираду, пожертвовав только отдельными словами.

„Женщина—воскликает Белинский—есть жертва, раба новейшего общества. Честь женщины общественное мнение относит к ее ....., а совсем не к душе, как будто бы не душа, а тело может грязниться. Помилуйте, господа, да тело можно обмыть, а душу ничем не очистишь. Замужняя женщина любит тебя от мужа, но не [отдается] тебе—она честна в глазах общества; она [отдалась] тебе—и честь запятнана: какие киргиз-кайсацкие понятия! Ты имеешь право иметь от жены сто любовниц—тебя будут осуждать, но чести не лишат, а женщина не имеет этого права. Да почему же это, ... .., подлые и бездушные резонеры, мистики, пиеетисты поганые, г...о человечества?! Женщина тогда б...ь, когда продает тело свое без любви, и замужняя женщина, не любящая мужа, есть б...ь; напротив, женщина, которая в жизнь свою [отдавалась] 500-м человекам не из выгоды, а хотя бы по сладострастию, есть честная женщина и уж, конечно, честнее многих женщин, которые, кроме глупых мужей своих, никому не [отдаются]. Странная идея, которая могла родиться только в головах ка-нибалов—сделать ..... престолом чести: если у девушки ..... цела—честна, если нет—бесчестна. И это калмыцкое понятие хотят освящать христианством! Боже, отпусти им—не ведут бо, что творят!—А брак, это что такое? Это установление антропофагов, людоедов, патагонов и готтентотов, оправданное религиею и гегелевскою философию. Я должен всю жизнь любить одну женщину, тогда как я не могу любить ее больше году. Впрочем, религия позволяет мне и не любить ее,—она требует только, чтобы я исполнял в отношении к ней мои супружеские обязанности—т. е. одевал, поил, кормил и ... ее. Чистое, духовное, идеальное воззрение на таинство сочетания душ! Я скован и не могу принадлежать той, которую люблю, вся жизнь моя погибла, а жизнь и без того так коротка, так глупа, так полна горем и муками. Но что я—я могу изменять моей жене, но женщина—что она? раба моя, вещь моя, ..... моя; ее душа, ее лицо, ее красота—все это только дополнения к ..... Наша святая православная церковь лучше других поняла таинство брака: она и не скрывает, что тут все дело в ..... Святтейший правительствующий синод не разведет тебя с женою за несходство нравов, за отсутствие любви, за любовь к другой; но если ты докажешь, или жена твоя докажет, что.....<sup>60)</sup>—вас разводят. Далее, я знакомлюсь, ухожу, делаю все, что хочу и как хочу; жена должна все делать с моего согласия: почему это? Превосходство мужчины? Но оно тогда законное право, когда признается сознанием и любовью жены, выходит из ее свободной доверенности ко мне, иначе мое право над нею—кулачное право. Нет, брат, женщина в Европе столько же раба, сколько в Турции и в Персии. И мы еще можем фантазировать, что человечество стоит на высокой степени совершенства!...“

Многие из этих мыслей, в настоящее время такие элементарные и общеизвестные, в то время были поистине новым откровением; не приходится удивляться, что именно отсюда Белинский начал подходить к идеалам утопического социализма: мы видели, что уже дважды Белинский выражал свое сочувствие сенсимонистам, только по наслышке зная их учение; в этом же письме он восхищается Жорж Занд, называя ее „вдохновенной пророчицей, энергическим адвокатом прав женщины“. Прошло еще два-три месяца—и Белинский уже познакомился с учением социализма и стал неистовым и ря-

<sup>60)</sup> Пропускаю здесь две строчки, неудобные к печати.

ным его сторонником; от прав женщины он перешел к правам человека вообще, и социализм стал для него мирообъемлющим учением. С этих пор настал для Белинского период новой светлой веры, которою он вдохновлял и всех своих друзей; так, например, из одного письма Белинского той же эпохи (13 апреля 1842 года) мы узнаем, что известный И. Панаев „восхищается Леру и бредит: *égalité, fraternité et liberté...*“ Но знаменем и пророком будущего „тысячелетнего царства Божия на земле“ для Белинского еще долго была Жорж Занд. „Эта женщина—восторженно восклицал Белинский в письме к Николаю Бакунину (от 7 ноября 1842 года)—решиительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего...“. А месяцем позднее, 5 декабря 1842 г., прочитав жорж-зандовского „Мельхиора“, Белинский тотчас же пишет восторженную записку Панаеву: „мы счастливы—очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою; мы дождались пророков наших—и узнали их, мы дождались знамений—и поняли, и уразумели их...“

Так пришел Белинский к социализму,—и мы видели, что подошел он к нему именно со стороны вопроса о женщине, о ее значении, правах и участи; особенно подчеркиваю это потому, что до сих пор этой стороне вопроса уделялось слишком мало внимания. А между тем это очень важно: к социализму, к первым ступеням его, Белинский пришел не внешне, а от глубин своей личной жизни; я уже говорил выше о том большом значении, какое в жизни Белинского играл вопрос о женщине: сперва это была романтическая теория любви, затем резкое отрицание ее и, наконец, реалистическая постановка вопроса, придвинувшая Белинского вплотную к проблемам социализма. А когда Белинский подошел к этим проблемам, то увидел, что они решают и те мучившие его вопросы „общественности“, которые он, начиная с 1840 года, все ставил и не мог решить. Так, с конца 1841 года стал Белинский прозелитом нового мирообъемлющего учения. Великие искания вывели его на мировую дорогу.

„Итак, я теперь в новой крайности—это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания... Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию“... Так восклицает Белинский в конце 1841 года. Начинается восторженная, пылкая, неистовая вера Белинского в будущее устройство человечества, в грядущий золотой век на земле. Пусть это будет еще через много-много лет, пусть—но все же и теперь „мы счастливы;... мы отпущены с миром владыкою; мы дождались пророков наших—и узнали их, мы дождались знамений—и поняли, и уразумели их...“ И эта вера в будущее дает Белинскому силу жить в настоящем. „Мне стало легче жить,—пишет Белинский Н. Бакунину 7 ноября 1842 г.:—... в душе моей есть то, без чего я не могу жить, есть вера, дающая мне ответы на все вопросы. Но это уже не вера и не знание, а религиозное знание и сознательная религия...“

Грядущее счастье человечества на земле, вера в него—согрела душу Белинского; остается только узнать, как теперь относится Белинский к человеческим страданиям каждой данной минуты, к мучениям „каждого из своих братьев по крови...“ Ведь мы слышали от Белинского, что он с верхней ступени лестницы развития бросится вниз головою, если не получит от своего Бога „отчета во всех жертвах условий жизни и истории“; мы слышали проклятия Белинского „Обществу“, этому „Молоху, пожирающему личности“. Теперь у Белинского—новая светлая вера, сознательная религия и религиозное знание о блаженном будущем Человечества; как же относится эта вера в будущее блаженство человечества к мучению личностей в настоящем? Ответ на это дает сам Белинский в письме к Боткину от 28 июня 1841 г., когда от провозглашения прав личности Белинский стал мало-по-малу переходить к „социальности“, а затем и к социализму: „личность человеческая—пишет Белинский—сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечем истребил бы остальную...“

Итак, во имя блаженства человечества санкционируются муки, страдания и гибель остальных „братий по крови“, за каждого из которых Белинский так еще недавно требовал отчета у судьбы; и таким образом „Человечество“ становится тем самым „Общим“, тем самым Молохом, для которого личность—только средство, который является палачем индивидуальности и который строит развитие на костях страдавших людей. У этого нового Молоха Белинский уже не требует отчета за страдания каждого из своих братий по крови; он все прощает ему—за будущее счастье людей на земле, за грядущий золотой век; „социальность“ приведет нас к этому золотому веку,—а с неизбежностью жертв нужно помириться. „...С нравственным улучшением—пишет Белинский Боткину в том же 1841 году—должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается через социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же: fiat justitia—pereat mundus!“ От Молоха философии Белинский пришел, таким образом, к социальному Молоху; вера в него стала опорной точкой жизни и деятельности Белинского в 1842—1846 г.г. <sup>61)</sup>).

Так совершился, так заключился в душе Белинского мучительный кризис 1840—1841 гг. Обычно его называют кризисом гегелианства, крушением гегелианской системы в понимании Белинского; но мы видели, что вопрос необходимо поставить гораздо шире: дело было не в одном гегелианстве, а во всяком абсолютном понимании мира. С болью и с усилием отказавшись от такого понимания, воплощенного и в гегелианстве, Белинский сперва впал в абсолютный нигилизм, в отрицание, в мучительную „рефлексию“, преодолеть которую ему удалось с трудом, с мучением—путем признания вершиной мира человеческой личности. А от этого признания Белинский вскоре перешел к „социальности“ и социализму—и это стало его новой верой, его высшим „синтезом“—синтезом былого утверждения разумности мира с недавним отрицанием его. Эта вера оставалась непоколебленной до 1846 года.

<sup>61)</sup> В статьях №№ 29 sqq. мы подробно остановимся на целом ряде частных вопросов, решавшихся в то время Белинским с точки зрения его новой веры: тут и вопрос об искусстве, тут и отношение Белинского к „гнусной расейской действительности“, тут и проблема личной трагедии и т. д., и т. д. Читатель найдет там в применении к русской жизни и русской литературе все то, о чем в более общей форме говорилось словами Белинского на предыдущих страницах.

## Личная жизнь.

Мучительная борьба происходила в душе Белинского; мы видели, что особенно обострилась борьба эта со времени его переезда в Петербург,—а с внешней стороны жизнь Белинского протекала в это время в однообразном русле, спокойном и размеренном. Мы сейчас увидим, как эта тусклая петербургская жизнь угнетала Белинского, несмотря на его новую светлую веру, а может быть именно вследствие контраста с этой светлой верой... Как бы то ни было, но Белинский освободился от былой нищеты, освободился от долгов; „Отечественные Записки“ давали ему сперва 3500 р., а позднее около 5000—6000 рублей ассигнациями в год (около 1500 р. сер.).

В Петербурге он жил одиноко, хотя и окруженный друзьями и почитателями; но среди этих новых друзей не было человека, в котором Белинский мог бы видеть равного себе. „Многих людей я от души люблю в Петербурге,—писал Белинский Боткину 31 октября 1840 г.,—многие люди и меня любят там больше, чем я того стою; но, мой Боткин, я один, один, один! Никого возле меня!...“ Эти новые друзья Белинского—И. И. Панаев, М. А. Языков, Н. Н. Тютчев, М. Т. Кульчицкий, И. И. Маслов, И. И. Ханенко, А. С. Комаров, Зиновьев и др.—были все очень милые люди, „добрые малые“; но в обществе „добрых малых“ Белинский, разумеется, должен был чувствовать себя одиноким. К этому же кружку принадлежал и К. Д. Кавелин<sup>62)</sup>—в юные годы ученик Белинского, а теперь, в 1842 году, магистрант, работавший над своей диссертацией, которую Белинский оценил позднее; теперь же Белинский только подтрунивал над „молодым глупырем“, как он называл Кавелина. В кружке этом,—рассказывает Кавелин,—Белинского „не только нежно любили и уважали, но и побаивались“: „это было действие человека, который не только шел далеко впереди нас,... не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для (передовых) идей и стремлений,... отдавался им страстно, наполнял ими свою жизнь. Прибавьте к этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, беспощадность к самому себе при большом самолюбии—и вы поймете, почему этот человек царил в кружке самодержавно“...

Но это „самодержавие“ было такое, от которого Белинский рад был бы отказаться. Когда он познакомился в 1843 году с И. С. Тургеневым, то с видимым удовольствием он писал про него (31 марта 1843 года) своему другу Боткину: „это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом,—и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сближаясь с твоим, извлекает искры...“ И самому Тургеневу Белинский вскоре (8 июля 1843 г.) писал то же самое: „если бы вы уехали из Питера, я не знал бы, куда и деваться; с вами я отводил душу—это не гипербола, а сущая правда...“ Но Тургенев вскоре уехал за границу, где он через несколько лет и встретился с Белинским; впрочем

<sup>62)</sup> См. „Воспоминания о В. Г. Белинском“, К. Д. Кавелин, собр. сочин. т. III стр. 1086; о позднейших отношениях Белинского к Кавелину—см. №№ 54—55.

к тому времени, а особенно после заграничной поездки Белинского, между ним и Тургеневым произошло некоторое охлаждение. Другие знакомства завязались у Белинского; он сблизился с Некрасовым, с Анненковым,—но и в дружбе с ними не было равенства между сторонами, Белинский был попрежнему одинок.

Только два человека могли „померяться главами“ с Белинским в эпоху первых лет его жизни в Петербурге; это были Герцен и Катков. Герцен еще в 1839 г. восстал против практического приложения Белинским теории „разумной действительности“ мира к русской политической и общественной жизни. Отрицание Герценом „разумности“ российской действительности в частности и разумности мира вообще—привели Белинского в негодование, в ярость; в ряде статей он обрушился на взгляды и убеждения Герцена<sup>63</sup>); в то же время в письмах к Боткину конца 1839 и начала 1840 года Белинский резко отзывался о Герцене и его кружке. Эти люди—воскликает Белинский—„глубоко оскорбляют Дух, о котором хлопчут и которому они не родня“; а что касается Герцена, то ему (иронически продолжает Белинский)—„эх, заняться бы статистикою-то: славная наука!“ (30 декабря 1839 г.). Пусть Герцен и его друзья занимаются агрономией, статистикой, математикой, но пусть оставят в покое общие проблемы философии...

Так негодовал тогда Белинский. Но годом позднее, переживая свой мучительный душевный кризис и уже с ужасом отвергнув свое бывшее примирение с „гнусной расшейской действительностью“, Белинский сознал свою неправоту и оценил Герцена, который к тому времени тоже переехал в Петербург; с ним Белинский отдыхал душою от своего вынужденного „самодержавия“ среди „добрых малых“, петербургских своих знакомых и друзей. „Я начинаю замечать,—с некоторым удивлением отмечает Белинский,—что общество Герцена доставляет мне больше наслаждения, чем их: с теми я или говорю о вздоре, или тщетно стараюсь завести общий интересный разговор, или проповедую, не встречая противоречия, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения, я с ним спорю и даже, когда он явно врет, вижу все-таки самостоятельный образ мыслей“... „Врал“ Герцен, по мнению Белинского, в вопросах искусства; „об искусстве я с ним говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, но о жизни не наговорюсь с ним“<sup>64</sup>). И чем дальше, тем больше сходилась с ним Белинский: „этот человек мне все больше и больше нравится. Право, он лучше всех: какая восприимчивая, движимая, полная интересов и благородная натура!... Мне с ним легко и свободно. Что он ругал меня в Москве за мои абсолютные статьи—это новое право с его стороны на мое уважение и расположение к нему“... (11 декабря 1840 г.). Так завязывался узел новой крепкой дружбы Белинского с человеком, который, во многом уступая Белинскому, во многом и превосходил его; а это взаимное превосходство в разных областях—главное условие равенства в дружбе. Но недолго пришлось Белинскому „отводить душу“ с Герценом: в середине 1841-го года Герцена постигла ссылка в Новгород, откуда, годом позднее, ему разрешено было переехать в Москву. Белинский снова остался один.

Почти одновременно с Герценом, в середине 1840-го года, приехал из Москвы в Петербург старый московский знакомый Белинского, Катков, и вскоре, поздней осенью того же года, уехал из Петербурга (за границу). Все это время, в 1840 году, Катков усердно сотрудничал в „Отечественных Записках“; журнал этот издавался тогда „трудами трех человек—Краевского, Каткова и меня“,—говорит Белинский в письме к Боткину (4 октября 1840 г.). Белинский был очень высокого мнения о литературных дарованиях молодого Каткова: „эх, если бы мне занять у Каткова его слог!“—воскликает Белинский, впрочем прибавляя:—„я бы лучше его воспользовался им“... С Катковым в Петербурге Белинский сошелся быстро, хотя впоследствии и признал,

<sup>63</sup>) См. № 13—14.

<sup>64</sup>) Белинский продолжал думать так и много лет спустя; в письме к Герцену от 6 апреля 1846 г., признавая всю громадную умственную силу Герцена, Белинский говорит: „Я глупее тебя на много раз, (а) искусство, если не ошибаюсь, мне сроднее, чем тебе“... Об отношении Белинского к Герцену см. еще в № 55.

что дружба эта была только взвинченная, мнимая; однако Белинский сам указывал кроме этого и на тот факт, что Каткову он многим обязан, что Катков оказал на него кратковременное, но сильное влияние. Уже после отъезда Каткова Белинский, вполне разочаровавшийся в этом своем друге, все же писал про него (15 января 1841 г.) Боткину, что „это натура сильная и голова, крепко работающая. Он многое разбудил во мне, и из этого много большая часть воскресла и самодеятельно переработалась во мне уже после его отъезда... Чем больше думаю, тем яснее вижу, что пребывание в Питере Каткова дало сильный толчок движению моего сознания. Личность его проскользнула по мне, не оставив следа; но его взгляды на многое—право, мне кажется, что они мне больше дали, чем ему самому“... <sup>65)</sup>

Здесь речь идет однако не о частных вопросах, а о влиянии Каткова на все мировоззрение Белинского. Мы видели, что еще с конца 1839 года Белинский переживал мучительный кризис—продолжал признавать разумность действительности, в то время, как все его существо возмущалось от сознания гнусности и „неразумности“ окружающего. Процесс этот неудержимо развивался в душе Белинского и окончательно созрел ко времени приезда в Петербург Каткова. „Ты помнишь,—писал 11 декабря 1840 г. Белинский Боткину,—ты помнишь мои первые письма из Питера: ты писал ко мне, что они производили на тебя тяжелое впечатление, ибо в них слышался скрежет зубов и вопли нестерпимого страдания. От чего же я так ужасно страдал?—от действительности, которую называл разумною и за которую ратовал... Странное противоречие! К приезду Каткова я был уже приготовлен—и при первой стычке с ним отдался ему в плен без противоречия. Смешно было: хотел спорить—и вдруг вижу, что уж нет ни сил, ни жару, а через четверть часа вместе с ним начал ратовать против всех, сбитых с толку мною же“... В своей известной биографии Белинского А. Н. Пылин замечает по поводу последней фразы: „в чем именно Белинский был приготовлен к его (Каткова) приезду, и какой был предмет их стычки—не совсем ясно“ (стр. 342). Полагаю, что после подробного анализа сущности душевного перелома Белинского читателю должна быть вполне ясна роль Каткова в этом переломе и предмет „стычки“ его с Белинским. Предметом этим была человеческая личность и „неразумность“ окружающей эту личность действительности; Белинский хотел-было отстоять права „Общего“, разумность окружающего мира—и не мог: он был уже „подготовлен“; в его душе уже созрело отрицание „абсолютных теорий“ немецкой философии. А Катков приехал под впечатлением критической и пессимистической брошюры Фрауэнштета, вполне подтверждавшей муки и сомнения Белинского; кроме того, Катков ставил на первый план „человеческую личность“, в чем опять-таки сошелся с Белинским, о чем последний и сообщает Боткину.

Из всего этого видно, какую роль сыграл Катков в развитии воззрений Белинского: он был тем внешним толчком, который ускорил разрыв Белинского с уже пережитой им точкой зрения. Катков был, несомненно, очень умный человек; его влияние на Белинского (в указанных выше размерах) тоже несомненно и признавалось самим Белинским. Но отъезд Каткова за границу (осенью 1840 года) прервал всякие отношения между ним и Белинским, который к тому же скоро понял неблестящие нравственные качества этого своего мнимого друга. В письме к Боткину от 15 января 1841 года Белинский дал исчерпывающую и чуть ли не пророческую характеристику Каткова: „натура сильная и голова, крепко работающая“ вместе с „бездной самолюбией и эгоизма“. „Самолюбие поставит его в такие положения, что от случайности будет зависеть его спасение или гибель, смотря по тому, куда он повернется“; самолюбие действительно сделало впоследствии Каткова властным реакционным публицистом шестидесятых—восьмидесятых годов. Белинский вскоре стал отзываться о Каткове все отрицательнее; когда Катков вернулся в 1843 г. из-за границы и посетил Белинского, то последний увидел в нем только „пузырь, надутый самолюбием и готовый ежеминутно лопнуть“ (так передает слова Белинского Кавелин). „Катков—писал 6 февраля 1843 г.

<sup>65)</sup> См. №№ 22, 23 и след.



Белинский Боткину—знатный субъект для психологических наблюдений. Это Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза... Мы все славно повели себя с ним: он было вошел на ходулях, но наша полная презрения холодность заставила его сойти с них“...

Так остался Белинский „самодержавствовать“ в кругу своих друзей и знакомых, „добрых малых“, среди которых он был „один, один, один“... Это гнетущее одиночество делало то, что даже в разгар своей новой светлой веры, в разгар восторженной проповеди о блаженном будущем человечества—Белинский продолжал ясно видеть „хвост дьявола“ на всей своей личной жизни. И если иногда он пытался оправдать свои муки настоящего светлой верой в блаженство будущего, говоря, что „судьба налагает на нас схи́му, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить“<sup>66</sup>),—то другой раз его возмущала эта бесчеловечная теория. „Будешь видеть на всем хвост дьявола,—воскликает с горечью Белинский,—когда видишь себя живого в саване и в гробе, с связанными назади руками. Что мне в том, что я уверен, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы? Что мне в том, что мои или твоим детям будет хорошо, если мне скверно, и если не моя вина в том, что мне скверно? Не прикажешь ли уйти в себя? Нет, лучше умереть, чем быть живым труном!“<sup>67</sup>).

И вот рядом с радостной верой в грядущее блаженство человечества у Белинского идет жгучее отчаяние, горе о муках личной своей жизни: „в Общем для меня есть еще надежды, и страсти, и жизнь; для себя—ничего. Скучно, холодно, пусто; на какое-либо личное счастье—никакой надежды. Горе! горе! Жизнь разоблачена!“ (20 апреля 1842 г.) Оставалась одна литература, одна журнальная деятельность, но и в ней Белинский чувствовал себя связанным по рукам и ногам. „Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велют мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисы“,—говорит Белинский в одном из писем к Боткину. Белинский чувствовал себя „трибуном“, политическим деятелем, он чувствовал в себе силу глаголом жечь сердца людей, проповедуя им свою новую веру в социализм, в разумное устройство человечества; а обстоятельства принуждали его ограничиться областью истории русской литературы. Правда, и в этой области он был трибуном, был апостолом новой веры, разума, добра и человечности—насколько это было возможно при „кнутобойной“ цензуре того времени; горькие жалобы Белинского на эту цензуру сплошь да рядом встречаешь в переписке Белинского. Но и задавленный, задушенный николаевской цензурой, он был и оставался в литературе пророком, будившим мысль, пробуждавшим сознание.

„Статьи Белинского—рассказывает Герцен—судорожно ожидалась молодежью в Москве и Петербурге, с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли Отечественные Записки; тяжелый номер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?“—„Есть“<sup>68</sup>)—и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырёх верований, уваженьи как не бывало“... („Былое и Думы“, гл. XXV). Белинский знал об этом, он сознавал значение своей журнальной деятельности; но цензурное кнутобойство, а позд-

<sup>66</sup>) Эти слова (из письма к Боткину от 14 марта 1840 г.) Белинский заключает следующим характерным „практическим выводом“: „Делай всякий не что хочет и что бы должно, а что можно. Чорта ли дожидаться маршальского жезла—хватай ружье, нет его—берись за лопату да счищай с рассейской публики г...о“...

<sup>67</sup>) Тираду эту (из письма к Боткину от 1 марта 1841 г.) Белинский заканчивает воплем: „О, горе, горе, горе!“ Эти вопли раненого и истекающего кровью слышны во всей переписке Белинского—и тридцатых, и сороковых годов.

<sup>68</sup>) Надо заметить при этом, что ни одна статья Белинского в „Отечественных Записках“ не была с его подписью; в отделе критики и библиографии все статьи были безыменные, отчего журнальные враги Белинского и звали его „безыменным критиком“ (см., напр., № 30).

нее и подневольность журнального труда, подчинение Краевскому, необходимость рецензировать всякий вздор—„все эти и другие причины огадили мне русскую литературу и вранье о ней сделали пыткой“, говорит сам Белинский (6 февраля 1843 г.). Таким образом, и литературная деятельность не спасала его от того „хвоста дьявола“, который Белинский видел на всех проявлениях своей личной жизни.

И чтобы уйти от этого мучительного сознания, чтобы уйти от невыносимого одиночества, чтобы создать себе хоть иллюзию личной жизни с ее страстью, счастьем, горем, радостью—Белинский обратился к карточной игре в кругу „добрых малых“, своих знакомых и друзей. В конце 1842 года Белинский научился играть в преферанс и стал дни и ночи отдавать этой „благородной игре“... Видно, велико было отчаяние, велика душевная пустота, если Белинский мог, в разгар своей радостной веры в грядущее блаженство людей, предаваться этой „благородной игре“, чтобы хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь заглушить свое сверлящее горе. Это сопоставление на первый взгляд смешно: чуть ли не „мировая скорбь“ с одной стороны и „благородная игра“ в преферанс—с другой; но Белинскому, сознававшему причины своей страсти к картам, было не до смеха. „Дую себе в преферанс,—пишет Белинский Боткину 6 февраля 1843 года,—ставлю ремизы страшные, ибо и игру знаю плохо, и горячусь, как сумасшедший,—на мелок я должен рублей около 300, а переплатил месяца в два (как начал играть в преферанс) рублей полтора—благородная, братец, игра преферанс! Я готов играть утром, вечером, ночью, днем, не есть и играть, не спать и играть. Страсть моя к преферансу ужасает всех; но страсти нет: ты поймешь, что есть... Надежд на жизнь никаких, ибо фантазия уже не тешит, а действительность глубоко понята“.

Кавелин в своих воспоминаниях подробно рассказывает об этой карточной игре Белинского в кругу своих друзей; он и не подозревал, что преферанс был для Белинского своего рода гашишем, которым тот опьянял себя, чтобы забыться от сверлящего душу горя и найти в игре хоть иллюзию жизни. Кавелин и не подозревал, что стоит за страстью Белинского к карточной игре; этого Белинский ему—да и никому—не рассказывал. И только в письмах к Боткину Белинский изливал свою душу, скорбел, мучился и попрежнему „вопил“ от нравственной боли, задыхаясь в окружающей его „расейской действительности“. Грядущее счастье человечества—это хорошо и утешительно, следует работать во имя его; но не может эта мысль уврачевать боль Белинского в настоящем. Новая светлая вера не уничтожила едкого отчаяния Белинского; веря в радостное будущее людей—себе самому он иногда готов пожелать только смерти. Он завидует Боткину, в то время увлеченному своей трагикомической сердечной историей (так красочно описанной впоследствии Герценом в очерке „Базиль и Арманс“, из „Былого и Дум“), ибо переживание самого острого, мучительного чувства есть все же жизнь, а не прозябание.

„Питать какое бы то ни было чувство, какой бы то ни был интерес—пишет Белинский Боткину—все же лучше, чем в тоске, апатии, с холодным отчаянием убивать время на преферанс, ставить ремизы, проигрывать последние деньжонки, беситься, дойти до мальчишеского малодушия, сделаться притчею во языцех... Есть же такие несчастные люди,—продолжает Белинский,—над которыми от рождения тяготеет проклятие, и которым нет удачи ни в деле, ни в пустяках, и нет надежды на какое-либо счастье в жизни. Устал я, брате, и мысль о смерти как-то чаще приходит на ум и как-то меньше прежнего леденит сердце, „где так бесплатно, так напрасно с враждой боролась любовь“, а ум с глупостью... Ждать уже нечего, и в душе распространяется холод, сырость и смрад могилы. Я держался глупостью—подпора упала—и я падаю с нею...“ (31 марта 1843 года). Какою это „глупостью“ держался Белинский? „Глупость“ эта—очевидно та самая былая вера в жизнь, вера в мир, которою когда-то жил Белинский. Вера эта упала—и не может заменить ее новая вера Белинского в будущую разумную жизнь, в будущий золотой век на земле, потому что Белинский сам жаждет жизни, любит эту нелепую, мучительную человеческую жизнь. И если в минуты усталости и апатии он иногда думает о смерти, то в другие минуты он дорожит своею жизнью, как бы тяжела она ни была.

А между тем тяжелая журнальная работа и еще более тяжелый мучительный душевный кризис уже окончательно подорвали жизненные силы Белинского; чихотка прогрессировала медленно, но верно. Еще в конце 1839 года Белинский писал Боткину, что „грудь физически здорова,—против обыкновения,—я даже не кашляю“; значит, уже довольно давно в Москве началась в нем эта болезнь. К началу 1843 г. болезнь приняла уже серьезные формы; Белинский начал лечиться „гидропатией“,— „прею в паровой ванне, а потом леденею в холодной, а там костенею под дождем и душею“,—еще больше ускоряя этим течение своей болезни. „Я болен и крепко болен“—сознает сам Белинский. „Журнал губит меня. Здоровье мое с каждым днем ремизится, и в душу вкрадывается грустное предчувствие, что я скоро останусь без шести в сюрках, т.-е. отправлюсь туда, куда страх как не хочется идти. Жизнь ничего мне не дала, но люблю жизнь; смерть сулит мне вечный покой, но не люблю смерть...“ (17 апреля 1843 года). И, точно оправдываясь, Белинский прибавляет: „не упрекаю себя за малодушие—такая натура моя, и в ее любви к жизни я вижу живое начало“. Еще бы!

Московские друзья Белинского были встревожены этой его болезнью; они видели, что Белинскому необходим отдых в дружеском кругу—без преферанса, без журнальных корректур, без журнальной спешки; да и сам Белинский знал это. „Я болен и крепко болен; душа моя угнетена трудом, заботою и тоскою—мне нужен отдых, свобода, бездействие...“ (11 мая 1843 г.). Ему удавалось иногда на короткое время вырваться из своего журнального плена в Москву, к своим друзьям: в декабре 1841 и в январе 1842 года он провел недели две-три в Москве<sup>69)</sup>, а на обратном пути в Петербург заехал в Прямухино, имение Бакуниных. Михаил Бакунин в это время был уже за границей, но в Прямухине был его младший брат, Н. А. Бакунин (к которому письма Белинского я несколько раз цитировал выше), и сестра Александра Александровна Бакунина, когда-то—в 1836 году—отвергнувшая былую любовь Белинского. Теперь знакомство возобновилось, прежнее чувство вновь вспыхнуло в Белинском—и ему страстно хотелось еще и еще побывать в Прямухине и Москве, отдохнуть в кругу близких людей, дать созреть воскресшему чувству. Уже месяца через два после своей поездки Белинский писал Боткину: „летом я опять в Москве, во что бы то ни стало, и притом не меньше, как от одного до двух месяцев. Зимняя поездка меня переродила—я поздоровел и помолодел...“ (14 марта 1842 года). Но лето 1842 года Боткин сам провел на даче около Петербурга, в Павловске—быть может, вместе с Белинским.

Следующею зимою 1842—3 г. Белинский снова собирался поехать в Москву и Прямухино, но ему не удалось осуществить эту поездку отчасти из-за журнальных завятей, а отчасти и из-за денежных обстоятельств<sup>70)</sup>. Эта неудача привела Белинского в „страшное сухое отчаяние“ и стоила ему „нравственной горячки“ (письма к Боткину от 6 февраля и к А. А. Бакуниной от 8 марта 1843 года); тогда московские друзья его, Боткин и Герцен, прислали ему денег, чтобы дать ему возможность приехать провести лето в Москве. Белинский с восторгом мечтал об этой своей поездке: „если зимняя поездка в Москву, продолжавшаяся с проездом взад и вперед каких-нибудь три недели, оживила меня и физически, и нравственно, то как же должен я поправиться, проведя лето вдаль от чухонских болот, без труда и заботы?... О, да я воскрес бы!“ (17 апреля 1843 г.). Он уехал из Петербурга в первых числах июня 1843 г., побывал в Прямухине у Бакуниных (собираясь заехать к ним и на обратном пути в Петербург) и провел все лето в Москве у Боткина, побывав и

<sup>69)</sup> См. № 30.

<sup>70)</sup> Белинский никогда не умел „откладывать“ денег и сам признавал в себе склонности к „мотовству“. Характерно следующее шутовское признание его Боткину в цитированном выше письме от 14 марта 1842 г.: сообщая, что с начала года им уже забрано в редакции „Отечественных записок“ 3500 рубл. ассигнациями, Белинский прибавляет: „увы! страшно подумать—3500 р.! Где ж они?—спросишь ты:—  
. . . . все исчезло без следов,  
Как легкий пар вечерних облаков:  
Едва блеснут—их ветер вновь уносит—  
Куда они? зачем? откуда?—Кто их спросит!..“

в подмосковной усадьбе Герцена. Герцен записал 30 июня 1843 года в свой дневник: „Белинский не переменялся ни на волос; вечно в экстреме; но глубоко вникающий и симпатичный, резкий до цинизма в словах, но верный в смелости и не трус, конечно, в консеквентности. Я люблю его речь и недовольный вид, и даже ругательства...“

Только к сентябрю месяцу (30 августа 1843 г.) вернулся Белинский в Петербург, не захав на обратном пути в Прямухино и холодно уведомив А. А. Бакунину, что его намерение снова посетить Прямухино— „не может сбыться...“ Дело в том, что в эти летние месяцы 1843 года Белинский пережил в Москве вторую „весну своих дней и чувств“—и уехал из Москвы уже „женихом“ Марии Васильевны Орловой.

Уже давно стремился Белинский заполнить любовью одиночество и тоску своей личной жизни. Еще в 1836 году в Прямухине он полюбил глубоко и мучительно (иначе он не умел чувствовать) А. А. Бакунину, но встретил с ее стороны только пренебрежение, взгляд „сверху вниз...“ С отчаянием в душе, потеряв надежды на взаимность, Белинский, по его же выражению, „упал совершенно и лежал в грязи... Во мне умер человек—остался самец...“ И в резких выражениях бичует Белинский свою „чувственность“, следствием которой отчасти была необходимость поездки на Кавказ летом 1837 года. Но годом позднее, летом 1838 года, когда семья Бакуниных приехала в Москву—любовь Белинского к А. А. Бакуниной вспыхнула с новой силой и еще более разгорелась после приглашения посетить Прямухино, где Белинский и гостил в июле этого года. Однако и на этот раз А. А. Бакунина, под влиянием своего брата М. Бакунина, бывшего в то время с Белинским в очередной „кружковой“ ссоре, отнеслась к Белинскому почти что враждебно,—и он уехал с тяжелым сердцем, отказавшись от всякой надежды. Через год Белинский уехал в Петербург. В Петербурге, так же как и раньше в Москве, были у него мелкие увлечения—вроде той „истории с гризеткою“, которая упоминается и в переписке Белинского и в воспоминаниях о нем; впрочем, слова „мелкие увлечения“ трудно применимы к „неистовому Виссариону“: он и в мимолетные увлечения вносил всю неистовость, всю страстность своей натуры. Так, например, осенью 1840 года с ним случилась „маленькая история: простая девушка, не красавица, а только что недурная, не грациозная, но и не без грации—будь в ней побольше идеальных элементов, побольше стремления к очарованиям внутренней жизни, побольше понимания поэзии,—и я жил бы теперь весело и видел бы хорошие сны...“ Так пишет Белинский Боткину 10 декабря 1840 года. Казалось бы—простая история, одна из самых обычных, обыденных; но Белинский и в нее внес всю „неистовость“ своей натуры, и ее пережил мучительно. Вот что писал он Боткину двумя месяцами раньше (4 октября 1840 г.), еще под свежим впечатлением пережитого: „недавно со мною (с месяц назад) случилась новая история, которая до основания потрясла всю мою натуру, возвратила мне слезы и бесконечное, томительное, страстное порывание—и кончилось ничем, как и прежде. Долго ли это продолжится!.. Всякому своя доля, но, право, скверней моей ничего нельзя вообразить. Натура страстная, любящая—танталова жажда, вечно остающаяся без удовлетворения!...“

Неудивительно, поэтому, что, получив от Боткина (еще в начале 1840 г.) письмо, в котором говорилось, что „некая достойная девица, дочь бедных, но благородных родителей“, любит читать статьи Белинского и заочно интересуется автором—Белинский, по собственному признанию, „безумствовал“: „голова моя... ходила кругом три дня“. В конце этого же года Белинский снова получил сообщение от Боткина, что „известная (Белинскому) дама“—быть может М. В. Орлова, с которою однако Боткин тогда еще не был знаком,—„жадно“ читает статьи Белинского и делает из них выписки; Белинский узнал это с удовольствием, хотя и без особого энтузиазма. „Энтузиазма уже нет во мне... А все Питер, спасибо ему; без него я и теперь был бы восторженным дураком и не знал бы, что все—дым...“ (5 сентября 1840 г.). Обстоятельства, однако скоро показали, что в любви Белинский попрежнему остался, говоря его словами, „восторженным дураком“: стоило ему в конце 1841 года получить снова приглашение в Прямухино, чтобы голова пошла у него кругом от воскресших надежд. „Я все тот же, что и был,—воскликает Белинский в ответном письме к Бакуниным,—все та же

прекрасная душа, безумная и любящая; сердце мое еще не отказалось от веры в жизнь, ни от мечтаний...“ (9 декабря 1841 г.). Через месяц после этого Белинский, как мы уже знаем, был проездом в Прямухине, снова виделся с А. А. Бакуниной; последняя в 1840—1841 г. пережила тяжелый неудачный „роман“ с другом Белинского, Боткиным, а теперь, повидимому, готова была ответить взаимностью на старую любовь Белинского.

Однако не с нею показал себя Белинский прежнюю „прекрасною душою“ („восторженным дураком“). Правда, он попрежнему, „когда говорил с нею—пьянел без вина, из глаз сыпались искры“; однако тут же он прибавляет: „но нет ее—и все кончено. Да, не надуешь: полюби-ка сама сперва, да дай это знать—так, пожалуй, сойду с ума и сделаюсь таким дураком, какого другого и не найти; но без этого—слуга покорный... А из сего, о, Боткин, следует ясно, что пора... ай! ай! святители!—ничего, ничего, молчание!“ (17 марта 1842 г.). Ясно, что пора жениться,—подразумевает Белинский; но дело в том, что, говоря о женитьбе, он имеет в виду (это ясно из контекста) не А. А. Бакунину, а М. В. Орлову, с которой был знаком еще с 1835 года и с которой, очевидно, виделся в Москве во время зимней поездки 1841—1842 г., когда он был и в Прямухине. И хотя еще весною 1843 года он стремился в Прямухину и пытался „сухое отчаяние“ оттого, что не попал, но в то же время его влекло все более и более к М. В. Орловой, которой он и сделал предложение во время своего пребывания в Москве летом 1843 года. Оттого он и не заехал, на обратном пути в Петербург, в Прямухину, к ожидавшей его А. А. Бакуниной.

В любви своей к М. В. Орловой Белинский попрежнему показал себя восторженной „прекрасною душою“; он безумствовал, как юноша, несмотря на опыт годов, на холод сознания. Он сознавал, что женится, спасаясь от одиночества, от преферанса, от пустоты личной жизни, от гнетущей тяжести ее. „Жить становится все тяжелее и тяжелее,—писал Белинский Боткину 9 декабря 1842 г. (т.-е. именно в разгар своей светлой веры в социализм, подчеркиваю это еще и еще раз):—не скажу, чтобы я боялся умереть с тоски, а не шутя боюсь или сойти с ума, или шататься, ничего не делая, подобно тени, по знакомым. Стены моей квартиры мне ненавистны; возвращаясь в них, иду с отчаянием в душе, словно узник в тюрьму, из которой ему позволено было выйти погулять. Это ты от меня уже слышал; но сколько бы я ни повторял тебе этого, никогда не буду в силах выразить всей действительности этого страшного могильного ощущения“...

Семейная жизнь была для Белинского единственной надеждой, единственным спасением от этого холода одиночества; и он спокойно и обдуманно делал этот шаг, останавливая своей выбор на одной из двух обративших его внимание женщин, подготавливая почву. Он переписывает лермонтовского „Демона“ в „заветную тетрадку в сафьяновом переплете с золотым обрезаем“ и посылает ее, через Боткина, М. В. Орловой: „будь, что будет,—пишет он Боткину,—а надо завязать узел, и пусть судьба развязывает его, как хочет—хуже не будет“... И тут же он хладнокровно прибавляет, говоря о М. В. Орловой, что „субъект шевелит мне душу, и будь у него тысяч десять на первую обзаведенцию—я летом же бы женился, право. Но выходи она за другого—если он порядочный человек,—первый благословлю ее на радость и на счастье“... (31 марта 1842 г.). Как видим, все это—спокойное взвешивание, холодный расчет на почве любви, симпатии. Но все это—только в теории. Лишь только дело дошло до применения теории к жизни, как все холодные расчеты исчезли, и Белинский снова кипит, неистовствует, снова является „восторженною душою“. Стоит только прочесть его письма к „невесте“ от сентября-октября 1843 года, чтобы воочию увидеть перед собою прежнего „неистового Виссарiona“.

А между тем жизнь больно ударила его, задолго до свадьбы выяснив ему нерадостную картину его будущей семейной жизни. М. В. Орловой было в то время уже 32 года; она была классной дамой в московском Екатерининском институте. Повидимому, она выделялась из общей среды, из обычного „институтского“ типа дам и девиц—иначе Белинский не мог бы обратить на нее внимание, увидеть в ней и ум, и сердце; но все же, хотя она и читала „жадно“ статьи Белинского, влияние окружаю-

щей среды было сильнее влияния этих статей. Белинский просил ее возможно скорее приехать обвенчаться с ним в Петербурге, а она настаивала на том, чтобы он приехал (в октябре 1843 г.) в Москву: прежде всего „принято“, что „жених“ приезжает к „невесте“ („какие гнусные термины!“—воскликает Белинский), а не наоборот; затем необходимо сделать визит m-me Charpiot, начальнице института; необходимо, чтобы при венчании было человек 30—40 родных и знакомых; необходимо присутствие на парадном обеде у дядюшки невесты; необходимо сделать послесвадебные визиты, чтобы не „подпасть анафеме“ родственников; необходимо, чтобы все обрядовые и бытовые условия свадьбы были исполнены „женихом“ („подлое слово, чтоб чорт пришил к тому, кто его выдумал!“—снова восклицает Белинский).

Белинский пришел в ужас от писем своей „невесты“, в которых излагались подобные мнения: „письмо ваше, Marie,—ответил он ей,—заставило меня перегореть в жгучем жупельном огне таких адских мук, для выражения каких у меня нет слов. Мне хотелось броситься не на пол, а на землю, чтобы грызть ее. Мой доктор говорил на стороне, что если бы я не послал к нему..., я или бы умер к утру от удара в голову, или сошел бы с ума“... (12 окт. 1843 г.). Невеста вздумала утешить его тем, что она вполне разделяет его мысли о любви, о браке, о семье, высказанные Белинским ad hoc в сентябрьском номере „Отеч. Записок“<sup>71)</sup>; но Белинский грустно ответил: „что касается до моей статьи, то взгляды мои в ней вы разделяете только теоретически; ваше письмо доказывает, что на практике мы разно понимаем вещи“... И Белинский яростно обрушивается на все доводы своей „невесты“, высказывая всю свою ненависть к так называемому „быту“ (что крайне характерно для „первого русского интеллигента“, как иногда называют Белинского): „покориться обычаям шутовским и подлым, профанирующим святость отношений, в какие мы готовы вступить с вами, обычаям, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натуре моей! У дядюшки обед! Будь прокляты все обеды, все дядюшки, все тетюшки и все чиновники с их гнусными обычаями!“ (1 окт. 1843 г.). Белинского приводило в отчаяние, что любимая им женщина трепещет перед тем, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна: „меня убивает мысль, что вы, кого считал я лучшею из женщин, что вы, в руках которой теперь счастье и бедствие всей моей жизни, что вы, которую я люблю, вы—раба московских кумушек, салопниц и тетюшек. Вот чем Бог-то наказал меня за грехи, а не тем, что вам 32 года, и что вы больны! И тяжка наказующая меня Десница!“ (12 окт. 1843 г.).

„Какое разочарование, Боже великий, какое разочарование!“—воскликает Белинский в другом письме того же времени к М. В. Орловой. От семейной жизни с нею Белинский „никогда не ожидал восторгов“ („да и Бог с ними, с этими восторгами“,—прибавляет он), но он ждал мирного, ясного, спокойного существования, охоты к труду и любви к своему углу. „Союз с вами сулил мне тихое и спокойное счастье. Но, увы!—мы еще не соединены, а я уже глубоко несчастен и страдаю таким страданием, которого и возможности прежде не подозревал. Я получил удар с такой стороны, с которой никогда не ожидал его“... Получив изложенное выше письмо от своей „невесты“, Белинский, по его словам, „с облаков упал на землю и больно ушибся. Самолюбие мое было страшно поражено, и мне как бы невольно лезли в голову все эти стихи Пушкина:

Смирились вы, моей весны  
Высокопарные мечтанья—  
И в поэтический бокал  
Воды я много подмешал...

<sup>71)</sup> Это вторая из так называемых „пушкинских статей“ Белинского; в ней ряд страниц посвящен „женскому вопросу“, любви, „романтическим воззрениям“ на любовь и воззрениям „современным“—цензурно излагающим суть приведенного выше нецензурного письма Белинского от 28 июля 1841 года. Позднее, в 1845 году, в девятой из „пушкинских статей“, Белинский еще раз вернулся к вопросу о любви и о браке. Подробнее об этом см. № 45.

Но любовь к вам победила все... (13 окт. 1843 г.). Несмотря на все эти удары, Белинский продолжал любить свою „Marie“ попрежнему „неистово и страстно“... Но и удар произвел свое действие: Белинский уже начисто отказался от всех иллюзий, всех „высокопарных мечтаний“ о своей будущей семейной жизни; яснее, чем когда бы то ни было, сознал он, что женитьба для него—не светлое счастье молодой любви (какой была когда-то его любовь к А. А. Бакуниной), а только средство против одиночества, против тоски и пустоты личной жизни. И если бы его свадьба даже и состоялась—он не умер бы с горя: „этого не бойтесь,—писал он М. В. Орловой;—но меня может постигнуть иная смерть: мною овладеет апатия, уныние, лень, преферанс, я опущусь до последней степени“ (4 окт. 1843 г.). Брак по любви—но в то же время брак, как спасение от одиночества, и в этом смысле—брак по расчету: так вступал Белинский в свою семейную жизнь... И хотя „невеста“ в конце концов решилась приехать в Петербург, где и состоялась свадьба 12-го ноября 1843 г.,—однако вся эта история была для Белинского нерадостным предуказанием будущего. Иллюзий быть не могло.

И он хорошо делал, что не обольщал себя иллюзиями: много страданий принесла ему семейная жизнь. После трех лет этой жизни он говорил (в письме к Боткину, в марте 1846 г.), что за эти три года он „пережил да передумал—и уже не головою, как прежде — право, лет за тридцать...“; и в это же самое время, в статье о Кольцове, он с горечью замечал: „всем известно, какова вообще наша семейственная жизнь“... Но это были только редкие вспышки, когда Белинский говорил о семейной жизни вообще и о своей семейной жизни в частности; вообще же он замкнулся в себе и ничего никому не говорил о своей семейной жизни. Были и светлые минуты в этой жизни: много радости принесло Белинскому рождение дочери Ольги (13-го июня 1845 года): из писем Белинского 1846—7 гг. видно, как он любил этого ребенка. Любил он и жену—по крайней мере заботился и беспокоился о ней в разлуке. Быть может даже, в разлуке он любил ее больше, чем дома <sup>72)</sup>... К тому же дома поселилась у него и сестра жены, Агриппина Васильевна Орлова, доставлявшая ему, заодно с женой, не мало тяжелых минут своим характером. Кавелин в своих воспоминаниях о Белинском называет этих двух сестер „женщинами очень посредственными, чтобы не сказать больше“...

Переписка Белинского с женой в 1846—47 гг. бросает свет на эту сторону семейной его жизни. Мы узнаем из этой переписки, как жена жаловалась, что Белинский с ней „дурно обращается“, что он уехал лечиться (за два года до смерти) „без причины“, а значит, не любит жену и ребенка; как сестра ее, Агриппина, заявляла в письмах, что она „плюет“ на Белинского; как обе они мучили Белинского своей мелочной раздражительностью и так далее, и так далее. „Видно, вам не суждено понимать меня,—грустно отвечал на все это Белинский:—... ни житье вместе, ни отдаленные разлуки, ничто не научило вас понимать мой характер“... (30 июля 1846 г.).—Полвека спустя Агриппина Васильевна Орлова, в своих воспоминаниях о Белинском, хотела представить семейную жизнь его каким-то домашним раем, а жену его—понимающей и ценящей своего мужа женщиной; она передает также, что когда Белинский в предсмертном бреду жаловался, что читатели и слушатели не понимают его, то жена утешала его словами: теперь тебя не понимают, но зато после поймут... Все это слишком явно придумано и обращает в мелодраму душевную трагедию Белинского, которого не понимали самые близкие ему люди, которого не понимал самый близкий ему человек—жена.

Так смирились „высокопарные мечтанья“ юности Белинского, так были погребены иллюзии и надежды его молодости. От одиночества он искал спасения в семейной жизни; быть может, он был бы рад потом найти спасение от семейной жизни—в былом одиночестве...

<sup>72)</sup> „Странные мы с тобою, братец ты мой, люди: живем вместе—не уживаемся, а врознь—скучаем... Поэтому я думаю, что для поддержания супружеского благосостояния необходимы частые разлуки“... (Из письма Белинского к жене от 7 мая 1846 года). В этой шутке для Белинского было много серьезного.

## Журнальная работа.

А тяжелая, подневольная журнальная работа шла своим чередом. Над целым рядом статей этой эпохи (1841—1845 гг.) Белинский работал с увлечением. Оценка крупных фактов текущей русской литературы; решение вопросов об искусстве и жизни; война с „братьями-разбойниками“ русской журналистики, Булгариным и Гречем, а также и Сенковским; усиливающаяся борьба со славянофильством; глубокое изучение истории русской литературы, приведшее Белинского к знаменитым статьям о Пушкине: проповедь—в рамках николаевской цензуры—новой веры в „социальность“ и ответственность: вот чем жил Белинский этой эпохи.

И в первое время своего сотрудничества в „Отеч. Записках“ Белинский был совершенно удовлетворен своей журнальной деятельностью; в конце 1840 года он писал Боткину, что в России теперь есть только две возможности действовать—кафедра и журнал, лишь бы только аудитория и в том и в другом случае была достаточно велика. „О, если бы у Отечественных Записок нынешний год зашло тысячи за три (подписчиков),—воскликает он:—тогда было бы за что забыть даже (и Москву), и женщину, и свою краткую безотрадную жизнь, и поратовать, и костыми лечь, если нужно будет. О, если бы при этом можно было печатать хоть то, что печаталось назад тому десять лет в Москве! Тогда бы я умер на дести бумаги, и если бы чернила все вышли, отворил бы жилу и писал бы кровью“... Часть этих скромных мечтаний вскоре исполнилась: благодаря Белинскому, „Отеч. Записки“ вскоре получили гораздо больше трех тысяч подписчиков, влияние его росло, он имел многочисленную и внимательную аудиторию, которая, по словам Герцена, судорожно ждала статей Белинского и с лихорадочным сочувствием читала их. Белинский знал про это, хотя и не сознавал всей величины своего влияния; впоследствии, в 1846 году, уже разорвав с „Отеч. Записками“ и узнав, какое впечатление это произвело на широкие круги читающей публики, Белинский писал Герцену: „...я просто изумлен тем, как имя мое везде известно, и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось“... Годом позднее Белинский, во время своей заграничной поездки, встретился в Кельне с каким-то неизвестным русским путешественником, который, говоря о русской литературе, между прочим, сказал: „А вот у нас драгоценный человек!“—„Кто?“—„Белинский!“—после чего Белинский сконфузился и „постыдно обратился в бегство“... Однако и раньше, еще в 1841 году, Белинский без ложной скромности готов был признать себя фактом русской жизни, как называл его Боткин; но тут же Белинский называет себя „уродливым фактом“, изломанным русской действительностью. „Мне кажется—воскликает, Белинский,—дай мне свободу действовать для общества хоть на десять лет и потом, пожалуй, хоть повесь, и я, может быть, в три года возвратил бы мою потерянную молодость“...

Итак, аудитория у Белинского была, было и большое влияние, но не было „свободы действовать“—и это приводило Белинского в отчаяние. Как „кнутобойничала“ цензура, и как отзывалось это на Белинском—это достаточно известно. „Чорт возьми все наши статьи, да и всех нас с ними!—с отчаянием восклицал Белинский после одного из геройств этой „варварской и татарской цензуры“. Но не одна цензура за-



гемняла литературную деятельность Белинского; не меньшую отрицательную роль по отношению к великому критику сыграл и Краевский, издатель „Отечественных Записок“. Этот умный литературный предприниматель сумел, как мы видели, понять ту пользу, какую мог принести Белинский его журналу; он вполне подчинился Белинскому в вопросе о направлении журнала. Когда в Белинском произошел душевный перелом 1840—1 г., когда он от преклонения перед разумной действительностью вообще и перед российской действительностью в частности перешел к резкому осуждению этой действительности и стал, в своих статьях, врагом восхвалявшейся им в тех же „Отеч. Записках“ художественности и проповедником осуждавшейся им раньше социальности—то Краевский был очень сконфужен, но постарался скрыть свое смущение и будто бы по доброй воле принять новое направление журнала, которого он был единственным хозяином и распорядителем... „В этом журнале хозяин я, а другого нипочему не надобно, и я, брат, в тебе не нуждаюсь“—мы слышали уже эти слова по адресу Белинского, сказанные Краевским в 1838 году; мы видели, что уже годом позднее положение изменилось, и что Краевский видел в Белинском свое единственное спасение.

Белинский стал единственным идейным хозяином „Отеч. Записок“, в то время как фактическим хозяином оставался Краевский. „Отечественные Записки,—вспоминал впоследствии Белинский,—начались плохо, без всякого направления; я спас их, дав им направление,—нелепое и дикое, но направление. С третьего (1841 года) начали они поправляться денежно; на четвертый (1842 г.) Краевский был в барышах“... (письмо к Боткину от 5 ноября 1847 г.). Эти барыши еще более укрепляли Краевского в решении воздерживаться от вмешательства в направление журнала; идейным хозяином „Отеч. Записок“ он не мог не признавать Белинского, но тем более ревниво оберегал он свои права фактического хозяина, „директора“,—если и не направления журнала, то по крайней мере его составления. Как редактор журнала, он марал и „выправлял“ (!) стиль и слог в статьях Белинского; этого мало—он считал себя в праве требовать от Белинского обязательных ежемесячных рецензий на целую кучу всяких макулатурных книжонок. И Белинский почему-то подчинялся этому требованию, ежемесячно убивая не мало времени на рецензии всякого литературного хлама. Стоит хоть бегло просмотреть библиографические статейки Белинского в „Отеч. Записках“ 1841—1845 гг.: чего только тут нет! „Леонора, или Мщение Италианки, драматическое представление Павла Ильина“; „Гуак, или непреоборимая верность“; „Физиология влюбленного“; „Последний Хеак, поэма В. Зотова“; „Супружеская истина в нравственном и физическом отношении“; „Книга судьбы, или Чародей гостинных“; „Средство выдавать дочерей замуж“; „Жила-была одна собака, водевиль“; „Союз Любопытства с Пользою, или способ к устройству порывов страстей—вновь изобретенное гадание в семидольные карты“; „Азбука Русская Новейшая, или Букварь для обучения малолетних детей чтению“; „Новые Детские Поздравления, в стихах, с Праздниками“; „Маленький Фокусник, поучительные и занимательные домашние фокусы для детей“—и так далее, и так далее...

В рецензии на одну из этих книжонок Белинский еще в 1842 году желчно говорил, что иногда и живые могут позавидовать мертвым, „которые — счастливы!—не прочтут (этого изделия) и не пожалеют о нас, его прочитавших... Из этого следует, что смерть не совсем зло, и что в ней есть своя хорошая сторона... По крайней мере, жизнь—величайшее зло для тех, подобно нам, не только должен читать между прочим все выходящее на заднем дворе российской словесности, но еще и писать о прочитанном“... Лучшей иллюстрацией к этим словам Белинского является известный рассказ Панаева о том, как он, придя однажды к Белинскому, застал его ходящим по комнате в волнении и с усилием махающим правою рукою: „рука отекала от писанья.—объяснил ему Белинский. — Я часов восемь сряду писал, не вставая. Говорят, я сам виноват, потому что откладываю писанье свое до последних дней месяца. Может быть, это отчасти и правда, но взгляните, Бога ради, сколько книг мне присылают... и какие еще книги—посмотрите: азбуки, грамматика, сонники, гадальные книжонки! И я должен непременно хоть по несколько слов писать об каждой из этих книжонок“...

Наконец, сам Белинский, решившись порвать с Краевским, так писал Герцену о своем положении в „Отечественных Записках“: „он (Краевский) дает мне разбирать немецкие, французские, латинские буквари, грамматики; недавно я писал об итальянской грамматике. Все это не потому только, чтобы ему жаль было платить другим за такие рецензии, кроме платы мне, но и потому, чтобы заставить меня забыть, что я закваска, соль, дух и жизнь его пухлого, водяного журнала (в котором все хорошее — мое, потому, что без меня ни ты, ни Боткин, ни Тургенев, ни многие другие ему ничего бы не давали), и заставить меня увериться, что я просто — чернорабочий, который берет не столько качеством, сколько количеством работы. Святители! о чем не пишу я ему, каких книг не разбираю! И по части архитектуры (да еще какой: византийской!), и по части медицины... Он сделал из меня враля, шарлатана, свою собаку, осла, на котором он въезжает в Иерусалим своих успехов“... (14 января 1846 г.).

Во всем этом несомненно есть доля преувеличения, но еще больше горькой правды: во всяком случае, Белинский хорошо понял, что „Отечественные Записки“ губят его — выматывают силы, заставляют исписываться, не дают „ни отдыха, ни срока“. Еще в период своего увлечения журналом Краевского, в 1840 году, Белинский (в полу-шутливом письме к Боткину) выражал опасение, что постоянная работа „боюсь, скоро и мою действительно отменно-плодородную (как свинья, которая приносит в год ста по три поросят) натуру обесплодит“... А Белинскому действительно приходилось в иной год писать для „Отечественных Записок“ ста по три статей, заметок и рецензий; да притом и писать приходилось наспех, не имея возможности обработать статью — и это тоже мучило Белинского. „Дай мне написать в год три статьи, дай каждую обработать, переделать, — писал 22 января 1841 года Белинский Боткину: — ручаюсь, что будет стоить прочтения... Хорошо какому-нибудь Ретшеру издать в год брошюрку, много две. А тут напишешь пять полулистов, да и шлешь в типографию, а прочие дуешь, как Бог велит; а тут еще Краевский стоит с палкою да погоняет“... И месяцем позднее, снова рассказывая о том, что „второй лист (статей) пишется, когда первого уже правится корректура“, Белинский с горечью прибавляет: „рассуди сам, Боткин, какого чорта на это станет?“

И чем дальше, тем больше все эти цензурные и издательские условия угнетали Белинского: „все это и другие причины огадили мне русскую литературу и вранье о ней сделали пыткой“, — пишет он. И еще: „работа журнальная мне опостылела до болезненности, и я со страхом и ужасом начинаю сознавать, что меня не надолго хватит“ (письмо к Боткину от 6 февраля 1843 года). А Краевский требовал определенного количества „критики и библиографии“ для каждого номера своего журнала: „глядь, уж и 15-ое число на дворе, — Краевский рычит, у меня в голове ни пол-мысли, не знаю, как начну, что скажу; беру перо... Отработался, и два-три дня у меня болит рука — вид бумаги и пера наводит на меня тоску и апатию“... (ibid.). „Журнальная срочная работа, — писал позднее Белинский Герцену — высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь. Обыкновенно, я две недели в месяц работаю с страшным, лихорадочным напряжением, до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно патаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности. Здоровье видимо разрушается“... (2 января 1846 г.). И чем дальше, тем больше нарастало сознание, что надо так или иначе разорвать связывающие цепи, спасти здоровье, спасти способность работать... „Я — Прометей в карикатуре, — горько шутит Белинский: — Отечественные Записки — моя скала, Краевский — мой коршун. Мозг мой сохнет, способности тупеют“... (6 февраля 1843 г.).

И Белинский сделал попытку летом 1843 года разорвать свои отношения с Краевским и „Отечественными Записками“. Мы знаем, что лето этого года Белинский провел в Москве; он выехал из Петербурга 2-го июня, а уже 8 июня написал из Москвы Краевскому письмо, в котором сообщал, что отказывается от отдела „критики“ в „Отечественных Записках“. Поводом послужило, повидимому, то, что Краевский отказался выплатить Бе-

линскому должную ему за статьи сумму (1727 р. асс.), предпочитая сперва расплатиться с другими своими долгами. „Критик я не могу писать, — читаем мы в письме Белинского к Краевскому от 16 июня 1843 г., — потому что хочу, в надежде денег, составить историю Робинзона Крузо, переделать в книгу статью мою о детских книгах и т. п. Бога ради, поймите проще и правдивее мое решение: ваше несостояние заплатить мне известную сумму следуемых мне по 1-ое апреля денег и цензурный гнет делают для меня критики ярмом невыносимым, а необходимость заняться другим для денег лишает меня и времени заниматься ими“... Как раз в это время Белинский получил заманчивое предложение от одного богатого человека, Коссиковского, поехать с ним на два года за границу, причем, кроме бесплатной поездки, Коссиковский предлагал за это Белинскому 6000 р. асс. „Предложение было соблазнительное, и часа два я был в лихорадке от него“, — говорит Белинский. Но тут-то и выяснилось, как дорога была Белинскому журнальная деятельность, проклинаясь им; тут сам он увидел, что для него такая русская литература... „Этот случай — пишет он Краевскому (8 июля) — послан мне судьбою в насмешку надо мною — видит око, да зуб неймет; хороша клубничка, да жена сторожит. А жена эта — старая, кривая, рябая, злая глупая старуха, — словом, расейская литература, чорт бы ее съел, да и подавился бы ею. Другой на моем месте, чтобы только от нее убежать, бросился бы хоть в киргизские степи, а я — Дон-Кихот нравственный, отказываюсь от поездки в Италию, Францию, Германию, Голландию, на Рейн и пр., отказываюсь от чудес природы, искусства, цивилизации, от здоровья и может быть еще чего-нибудь большего. Такова уж моя натура“.

Краевский испугался: заменить Белинского ему было нечем, без Белинского журнал его погиб бы. А потому, еще не зная о предложении Коссиковского, он отдал Белинскому свой долг, хотя и с выражением крайнего своего неудовольствия. Деньги пришли к Белинскому как нельзя более кстати, а на неудовольствие Краевского он не обратил внимания, хотя тон письма Краевского его и „кольнул“; „а что вы бранитесь в письме, это — ваше благородие, ангел вы мой — уж такой обычай у вас — собачья натура, которая коли не лает, так рычит“, — отвечал Белинский и, решившись остаться в „Отечественных Записках“, оригинально утешал Краевского: „я душу вас часто несвоевременными просьбами насчет денежной клубнички — это правда, но зато я в вере тверд и хожу в Отечественные Записки .... и в будни, и в праздники“... Еще больше испугался Краевский, узнав о предложении Белинскому заграничной поездки; он немедленно написал Белинскому „доброе и искреннее“ письмо, отговаривая его от этой поездки... Но Белинский в это время уже сделал предложение М. В. Орловой, а потому и ответил Краевскому, что не только не поедет за границу, но даже „если бы Европа сама приехала ко мне в гости, я бы не принял ее теперь“ (22 июля 1843 г.). Теперь не могло уже быть и речи о разрыве с „Отечественными Записками“ — и Краевскому в этом отношении женитьба Белинского была как нельзя более на руку; он повысил гонорар Белинскому до 6000 р. асс. в год <sup>73)</sup> и был уверен, что, связанный семьей, Белинский уже не уйдет из его журнала. „Видно нас сам чорт связал веревочкой, как Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и нам, видно, не развязаться“, — писал Краевскому Белинский, решившись остаться в „Отечественных Записках“. И вернувшись в Петербург, Белинский продолжал деятельно работать в журнале Краевского, с отвращением рецензируя азбуки, сонники, гадальные книжки — и в то же время отдыхая душою на таких статьях, как широко задуманные им статьи о Пушкине. „...Труд мне не опротивел, — писал впоследствии (в 1846 г.) Белинский Герцену: — я большой писал большую статью о Жизни и сочинениях Кольцова и работал с наслаждением; в другое время я в три недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и бодрым духом“... Но журнальная, подневольная работа, работа из-под палки — попрежнему осталась невыносимой для Белинского.

<sup>73)</sup> Последний факт нуждается еще в подтверждении: есть версия, что Краевский, наоборот, отказался повысить гонорар Белинскому до 6000 р. в год, и что это послужило новой причиной охлаждения между ними (см. „Истор. Вестн.“ 1876 г. № 2).

Здесь кстати будет внести некоторую поправку в жалобы Белинского на эту подневольную работу. Казалось бы, тут перед нами явное противоречие: Белинский рассказывает, с каким трудом и отвращением берется он за перо, чтобы к сроку написать для журнала статью, а мы, читая эту самую статью, поражаемся легкостью и блеском формы, прочувствованностью, глубиной содержания. Но противоречия тут нет. Белинский с отвращением брался, понукаемый Краевским, за подневольную работу; но стоило ему только приступить к работе, как он преображался, он овладевал темой, он „весь уходил в нее,—справедливо говорит Пыпин,—работал быстро, с увлечением, забывая все окружающее; это был импровизатор, преображавшийся в минуту вдохновения,—хотя бы оно вызывалось привычкой и необходимостью“ (ор. cit., стр 430). Сам Белинский в письме к Боткину от конца февраля 1847 года, отвечая на упрек, что статья его о „Переписке“ Гоголя написана „без довольной обдуманности и несколько сплеча“, делает крайне характерное и ценное признание: „как ты меня мало знаешь!—воскликает он:—все лучшие мои статьи нисколько не обдуманы. Это импровизации; садясь за них, я не знал, что я буду писать. Если первая строка хватит издали—статья болтлива, о деле мало сказано; если первая строка ближе к делу—статья хороша. И чем больше я ее запущу, чем меньше мне времени писать ее, тем она энергичнее и горячее. Вот как я пишу!...“ Конечно, признание это надо понимать cum grano salis: у Белинского есть великолепные „обдуманные“ статьи, да и, например, знаменитые его статьи о Пушкине, растянувшиеся на четыре года, не могли быть только „импровизацией“; но это не устраняет признания Белинского, касающегося не столько внутренней сущности, сколько способа писания его статей. Мы видели, что сам Белинский называл свою ежемесячную срочную работу—„двухнедельной оргией“, „лихорадочным напряжением“; напряжение это было губительно для его здоровья, но именно оно придавало статьям Белинского ту энергию, бурность, горячность, которыми статьи эти до сих пор увлекают читателей.

Но Белинскому хотелось большего, ему хотелось досуга и возможности обработать те блестящие импровизации, которые выливались из-под его пера. В письме к Кавелину от 7 декабря 1847 года он говорит: „я вам прочту иную живую и горячую, но сплеча написанную статью мою — она вам понравится, может быть, приведет вас в восторг. Но дайте мне время обработать эту импровизацию — вы не узнаете ее: живость и теплота в ней останутся, а силы ума и таланта прибавится...“ И далее — новое интересное признание: „знаете ли, какие лучшие мои статьи? Вы их не знаете—это те, которые не только не печатаны, а никогда не были и написаны, и которые я слагал в голове моей во время поездок, гуляний, — словом, в нерабочее мое время, когда ничто извне не понуждало меня приняться за работу. Боже мой! сколько ярких неожиданных мыслей, сколько страниц живых, страстных, огненных! И многое, что особенно хорошо в моих печатных статьях, большею частью удержанные в памяти, ослабленные урывки из этих на свободе слагавшихся в праздной голове статей... Я знаю, что моя сила не в таланте, а в страсти, в субъективном характере моей натуры, в том, что моя статья и я— всегда нечто нераздельное...“ И именно в этой нераздельности кроется ответ на то, как мог Белинский совмещать в своей душе и страстную любовь и ненависть к литературе, к своей журнальной деятельности. Как ни тяжело приходилось ему от подневольной журнальной работы, как бы ни проклинал он в письмах свой рабский труд, но всегда в душе своей сознавал он ту великую общественную миссию, которая была возложена на его плечи; всегда он мог бы повторить слова, сказанные им еще в 1840 году: „умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку Отечественных Записок. Я литератор—говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь...“

Только два года спустя после своей женитьбы Белинский твердо решил уйти из журнала Краевского. Краевский продолжал свою политику фактического хозяина журнала, заваливал Белинского всяческой макулатурой для рецензий (чтобы Белинский, первый критик его журнала, „не зазнавался“) и под шумок говорил своим приятелям: „Белинский выписался, и мне пора его прогнать...“ Это он говорил в 1845 году, когда Белинский писал такие статьи, как „Тарантас“ или девятую и десятую из своих

статей о Пушкине! Существует версия, будто Краевский был недоволен именно этими „пушкинскими статьями“ Белинского, которые якобы никого не интересовали и оставались в журнале неразрезанными <sup>74)</sup>; но этот вздорный слух, противоречащий всем другим дошедшим до нас сведениям (например, приведенному выше свидетельству Герцена), явно придуман *ad hoc* и *post hoc*, чтобы показать, что Белинский не сам ушел, а Краевский „прогнал“ выписавшегося и неинтересного критика... В действительности дело произошло иначе. Белинский, заручившись временной денежной поддержкой Герцена, 6-го февраля 1846 года заявил Краевскому, что „спасая здоровье и жизнь, бросает работу журнальную“ и перестает сотрудничать в „Отеч. Записках“ с 1-го апреля этого года, — чем Краевский „явно был смущен“.

Так Белинский в начале 1846 года навсегда распротился с „Отеч. Записками“ и Краевским, начавшим еще усиленнее распускать слухи о том, что Белинский „исписался“. Вздорность этих слухов вскоре доказали новые статьи Белинского, вышедшие в начале 1846 года отдельными книгами; впоследствии статьи 1847 и 1848 года показали, что и умиравший Белинский, уже через силу диктовавший их, остался душою и талантом все тем же прежним энергичным и бодрым „неистовым Виссарионом“.

Бросив журнальную деятельность, Белинский имел в виду получить на первое время средства к жизни изданием громадного альманаха „Левиафан“, в который московские и петербургские друзья тотчас же предложили и прислали ему целый ряд статей. Однако издание этого альманаха Белинский решил отложить на осень 1846 года („выпущу в октябре“), так как московские друзья его, — главным образом, Герцен, — обеспокоенные состоянием здоровья Белинского, пожелали дать ему возможность отдохнуть летом этого года от всякой работы. А болезнь Белинского сильно обострилась — и сам он сознавал свое положение, хотя и думал, что есть еще надежда оттянуть надвигающуюся смерть. „Ах, братцы, плохо мое здоровье — беда! — писал Белинский Герцену 14 января 1846 года; — ...не могу поворотиться на стуле, чтобы не задохнуться от истощения. Полгода, даже четыре месяца за границею — и, быть может, я лет на пяток или более опять пошел бы как ни в чем не бывало...“ Поездку за границу друзья не могли ему устроить, но устроили ему поездку по России с мая по октябрь 1846 года: знаменитый актер М. С. Щепкин, старый московский знакомый Белинского, ехал на летние гастроли в Калугу, Харьков, Николаев, Херсон, Одессу, Крым — и брал Белинского под свою опеку. Денежные дела Белинского устроил Герцен — и Белинский пустился в полугодовое путешествие. Вряд ли поездка эта могла принести пользу Белинскому; от журнальной работы он отдохнул и даже соскучился по ней, но сама поездка его измотала: лето было дождливое и до Харькова путешественники дрожали от сырости и тонули в грязи, а в Харькове и других южных городах задыхались от пыли. Во всяком случае, Белинский вернулся еще более больным, чем уехал.

Пока Белинский путешествовал, петербургские его друзья (Панаев, Некрасов) совершенно неожиданно задумали приобрести журнал „Современник“, основанный еще Пушкиным, а теперь влачивший жалкое существование под редакцией Плетнева. Таким образом, когда Белинский вернулся — он получил возможность стать во главе своего журнала и не искать себе заработка неверным путем издания альманаха. Еще разрывая с „Отеч. Записками“, Белинский предвидел возможность создания нового журнала: „я надеюсь, что буду издавать журнал... Я уверен, что не пройдет двух лет, как я буду полным редактором журнала“, — писал Белинский Герцену еще до своего путешествия (6 апр. 1846 г.), когда о приобретении „Современника“ не было еще и речи. Надежды Белинского оправдались раньше, чем он думал: не через два года, а через полгода получил он возможность снова работать в журнале; не осуществилась только надежда — стать полноправным редактором журнала. Издателями „Современника“ стали Панаев и Некрасов, официальным редактором они пригласили А. Никитенко, а Белинский снова остался сотрудником на жалованьи...

<sup>74)</sup> Слух этот пушен, вероятно, самим Краевским; см. статью А. Старчевского в „Историч. Вестнике“, 1876 г. № 2.

Как это случилось — теперь уже достаточно выяснено; главную и в некоторых случаях не совсем красивую роль во всем этом сыграл Некрасов. Этот великий поэт был большой „дипломат и политик“; он понял, что официальное редакторство Белинского может оказаться весьма неудобным для журнала: во-первых, Белинский явно был на пороге смерти, а смерть официального редактора могла быть для николаевских жандармов предлогом вмешательства в дела журнала (так было с тем же „Современником“ после смерти Пушкина); во-вторых, на редакторство Белинского косо взглянули бы эти самые жандармы, знаменитое Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, у которой Белинский и без того был на примете. Гораздо безопаснее было пригласить редактором „либерального“ профессора А. Никитенко, который в то же время был и цензором, и бесцветный „либерализм“ которого был вполне терпим даже в николаевское время...

Причины эти были, быть может, и уважительные, но они тяжело отразились на Белинском, тем более, что в это же время (в конце 1846 и начале 1847 года) на его голову свалился ряд ударов — усиление болезни, болезнь и смерть новорожденного сына и т. д. „Мне эта история (с Некрасовым) обошлась дорого“, — признавался годом позднее Белинский в письме к Кавелину (7 дек. 1847 г.); а вскоре после этой истории Белинский так писал Тургеневу: „при объяснении со мною, он (Некрасов) был нехорош: кашлял, заикался, говорил, что на то, что я желаю<sup>75)</sup>, он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать<sup>76)</sup>. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин — и сказал мои условия. Он повеселел...“ (19 февр. 1847 г.). А между тем Белинский был единственной надеждой „Современника“, Белинский дал возможность этому журналу сразу обратить на себя общее внимание — хотя бы одним тем, что он передал в этот журнал все выдающиеся вещи, собранные им для „Лезиафана“; нечего уже говорить о том, насколько привлекло читателей к этому журналу одно имя Белинского. И вот он принужден был снова только „сотрудничать“ в журнале своих друзей. Правда, здесь его положение было более свободно, чем в журнале Краевского: правда, и здесь он был единственным идейным хозяином журнала, — но все же и здесь фактические хозяева, издатель Некрасов и редактор Никитенко, проявляли над ним свою власть. Никитенко марал и „исправлял“ статьи Белинского, а Некрасов наложил свою руку на самую первую статью Белинского в „Современнике“<sup>77)</sup>, требуя, чтобы Белинский изменил в ней свое мнение о повести Григоровича, которая очень нравилась Белинскому, но не нравилась Некрасову... И, повидимому, Белинскому пришлось подчиниться, так как отзыв его о „Деревне“ Григоровича, которая ему так нравилась, является слишком сдержанным, а отчасти и противоречивым... И если устранение Белинского от редакторства могло еще быть оправдано разными тонкими дипломатическими соображениями, то этот последний поступок Некрасова, несмотря на всю свою незначительность, навсегда останется темным пятном на его памяти... Повидимому, Белинский вскоре потребовал от Некрасова, чтобы тот не вмешивался в отдел критики; во всяком случае, он с горечью говорил обо всех этих неудовольствиях своим московским друзьям (письма к Боткину от 29 янв. и 6 февр. 1847 г.). Впрочем, говорил он об этом не часто: слишком тяжело ему было разочароваться в былых надеждах и, освободившись от ига Краевского, попасть под власть Некрасова и Никитенко.

И однако Белинский, забывая обиды, горячо принялся за новый журнал, идейным руководителем которого был все-таки он. Целый год он вел жестокую войну со своими московскими друзьями, которые были возмущены устранением Белинского от редакторства и поступками Некрасова, а потому не желали оказывать исключительную поддержку „Современнику“. Белинский возмущался, негодовал, выходил из себя, упрекая своих московских друзей (главным образом, Боткина, Грановского и Кавелина) за их

<sup>75)</sup> Очевидно, редакторство Белинского в „Современнике“.

<sup>76)</sup> Эти причины указаны выше.

<sup>77)</sup> См. № 51.

поддержку Краевского и „Отеч. Записок“, — но впоследствии признал отчасти основательность их доводов. „Итак, дело вот в чем, — писал Белинский (7 дек. 1847 г.) Кавслину: — вы остаетесь при том дурном мнении о Некрасове, при той недоверчивости к нему, о которой вы писали мне великим постом нынешнего года. Я, с моей стороны, вполне сознавая несправедливость и неделикатность поступка со мною Некрасова, тем не менее не вижу в нем дурного человека...“ Но тут же Белинский признается, что история с Некрасовым обошлась ему дорого, и что он старался поскорее ликвидировать ее: „я признаюсь, у меня не доставало духа взглянуть на дело прямо. Да и то сказать, болен, близок к смерти, без средств, я должен был, волею или неволею, ухватиться за Современник, как за надежду и спасение...“ Так или иначе, но Белинский поставил крест над всей этой неприятной историей; он стал энергично ратовать за „Современник“, добывать для него статьи, искать новых сотрудников. Сам он собирался дать этому журналу целый ряд критических статей; в конце 1847 г. он писал Боткину: „в первой книжке („Современника“ за 1848 г.) будет моя большая статья — обзор русской литературы в 1847 году. Мне хочется разобрать „Кто виноват?“ и „Обыкновенную историю“. Эти две вещи дают возможность поговорить обо многом таком, что интересно и полезно для русской публики, потому что близко к ней. Во втором номере — о Лермонтове, благо кстати вышло новое его издание. Затем о Ломоносове, Державине и других изданных теперь писателях русских, а там о Гоголе. Таким образом „Современник“ сделается по преимуществу критическим журналом; лишь бы только здоровье мое позволило...“

Но здоровье не позволяло. Не успел Белинский вернуться к ноябрю 1846 г. из своего путешествия по России, не успел дать в „Современник“ несколько статей, как доктора уже в январе 1847 года стали посылать его на воды за границу, в Силезию. И Белинский хотел верить, что „за границую можно закрепить готовый развязаться и расплзтись узел жизни“... Но средств на поездку не было, а снова обращаться к помощи друзей Белинский не хотел: „скажу тебе откровенно, — писал он Боткину 29 янв. 1847 г.:—эта жизнь на подавниках становится мне невыносимой“... Однако сами друзья Белинского — главным образом Боткин — позаботились достать нужную для поездки Белинского сумму, так что Белинский мог осуществить эту заграничную поездку. Выехал он из Петербурга 5 мая, а вернулся 24 сентября 1847 года; путешествовал он с Анненковым и Тургеневым. Сперва его повезли на воды в Зальцбрунн, где Белинский пробыл с 22 мая по 3 июля; здоровье его становилось все хуже и хуже. Но в хилом теле была душа гладиатора — это давно уже сказано о Белинском; больной, умирающий, он нашел в себе силы написать из Зальцбрунна знаменитое письмо к Гоголю, горящее негодованием, проникнутое одушевлением и силою<sup>78)</sup>. Зальцбрунн не помог; решено было ехать в Париж. В Париже Белинский очутился в обществе близких своих друзей — семьи Герценов, М. Бакунина и др. Друзья видели, что перед ними — умирающий человек, дни которого сочтены. К осени Белинский вернулся в Петербург — и вернулся уже почти умирающий. Ему оставалось еще только полгода жизни...

И вот в это самое время, в последние два-три года своей жизни, Белинский — изнуренный, медленно умирающий — продолжал свой прежний, мучительный путь — путь вечного творчества, вечной неудовлетворенности достигнутым, путь великих исканий. В душе его происходил новый мучительный процесс переоценки старых ценностей, разрыв со старой верой, рост новых взглядов. „Вечная подвижность“ — эти слова самого Белинского характеризуют сущность натуры Белинского.

<sup>78)</sup> См. № 53.

## Кризис „веры в социализм“. Последние годы.

Около пяти лет Белинский оставался верен своей вере в социализм и проповедывал ее с обычной своей страстностью, увлечением, неистовством; себя в прошлом — он ненавидел за „романтическое прекрасодушие“, за подчинение человека „Общему“ как бы оно ни называлось; былую свою веру в „Премудрую Благость“ — презирал. В письме к Герцену (от 26 янв. 1845 года), рассказывая о впечатлении от книжки „парижского Ярбюхера“, Белинский, между прочим, говорит: „два дня я от нее был бодр и весел... Истину я взял себе — и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре“... Эту свою новую истину Белинский мог проповедывать только устно, друзьям; на головы всех противников своей новой веры он слал яростные проклятия и насмешки. Он сознавал эту свою нетерпимость — и справедливо видел в ней одно из лучших качеств своей натуры. Умеренному оппортунисту Боткину он, в одном из позднейших писем (от 28 февр. 1847 года), метко указал: „вообще ты с твоею терпимостью доходишь до нетерпимости, именно тем, что исключаешь нетерпимость из числа великих и благородных источников силы и достоинства человеческого“... Это была боевая натура благородно нетерпимая и неспособная ни к каким компромиссам. И как раз в эпоху начала своего социализма Белинский писал одному из своих друзей: „многда мне бывает досадно на себя за эту тяжесть и негибкость моей натуры; но что мне делать с собою: я рожден, чтобы называть вещи их настоящими именами, я в мире б'о с'ц, и за то меня искренно любят человек десять, и ненавидят сотни людей“... (Из письма к Николаю Бакунину от 9 дек., 1841 года). Таким благородно нетерпимым бойцом, страстным апостолом новой веры прошел Белинский и стадию социализма — и подошел, в конце своей жизни, к новым сомнениям, новым исканиям, новым разочарованиям и надеждам: „вечная движимость“, повторяю, была вечным уделом Белинского<sup>79)</sup>.

Прежде — мы видели — Белинский хотел „французской жизни, параллельной немецким книгам“; ставши социалистом, он сделался рьяным поклонником французского гения и в литературе (Жорж-Занд, Луи Блан), и в политической жизни (Леру). И именно в этой области постигло его первое разочарование: мало-по-малу он стал замечать в своих героях и теневые стороны, а затем, по вечной крайности и благородной нетерпимости своей натуры, стал ненавидеть то, чему раньше поклонялся. Есть основания предполагать, что еще в 1846 году, после своей поездки по России, Белинский разочаровался в близком практическом осуществлении идеалов утопического социализма. После поездки в 1847 году за границу, он разочаровался и в деятельности самой партии французских утопистов; наконец, около этого же времени разочаровался он и в значении научно-литературных трудов представителей французского социализма.

Эта новая переоценка основ мировоззрения началась, повидимому, еще во время путешествия Белинского по России летом 1846 года. С начала весны и до конца

<sup>79)</sup> „... Оставь свою мысль, как ложную и несправедливую, что во мне когда-нибудь окончится движение“, — писал когда-то Белинский М. Бакунину (12 октября 1838 года).



этого года Белинский не писал статей, так как путешествовал и не имел в своем распоряжении журнала; письма же этого времени адресованы им главным образом жене, с которой он не стал бы говорить о происходящем с ним новом переломе. А что перелом совершился именно в это время—это как нельзя яснее показывает нам первая же статья Белинского в первом номере „Современника“ за 1847 год; и перелом этот коснулся не частных, а главного стержня всего мировоззрения Белинского. Правда, в новом журнале Белинский изменил и некоторые частности своих критических взглядов, изменил тон отношения к некоторым лицам и некоторым вопросам, для того, чтобы сразу разорвать с традицией журнала Краевского; но на этих частностях я не буду останавливаться<sup>80</sup>). Гораздо важнее оценить сущность того глубокого внутреннего перелома, который определяется словами — потеря Белинским веры в социализм.

Мы внимательно следили за душевным переломом Белинского в 1840—1841 гг., когда он от признания „разумной действительности“ мира и жизни пришел к отчаянию, к неверию в жизнь, к признанию бессмысленности ее; мы видели, в чем тогда Белинский нашел спасение—он нашел его в новой вере, в признании „разумной действительности“ не мира и жизни вообще, а только будущей земной жизни человечества. Для Белинского начался период „социальности“, веры в социализм — и продолжался с 1841 по 1845 год; во второй половине 1845 года Белинский, по словам познакомившегося с ним тогда Достоевского, был еще ярким приверженцем утопического социализма и с жаром проповедывал его своему новому знакомому. А годом позднее Белинский пишет статью, в которой уже ясно выражается потеря веры в социализм<sup>81</sup>); еще годом позднее, в письмах к друзьям, он уже крайне резко отзывается о социалистах, как мы это еще увидим. В указанной выше статье Белинский определенно отказывается от „мечтаний“ утопического социализма: он говорит, что Европу теперь занимают „новые великие вопросы“, интересоваться которыми и следить за которыми необходимо всем; но в то же время „для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы, как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам... У себя, в себе, вокруг себя — вчужде должны мы искать и вопросов, и их решения“...

Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что одной из главных причин этого разочарования в общеприменимости и всеспасительности принципов утопического социализма и коммунизма—могло быть продолжительное путешествие Белинского по всей России летом 1846 года. Хорошо было Белинскому верить в близкое осуществление коммунизма и жертвовать на это осуществление фиктивные миллионы (см. воспоминания Гончарова), сидя в своем кабинете на Невском проспекте, у Аничкина моста, в доме Лопатина, кв. № 43 (там жил Белинский в 1845 г.<sup>82</sup>); но стоило ему уйти на полгода от своего книжного и кружкового уединения, стоило проколесить по России тысяч пять верст, чтобы убедиться, как бесконечно далеки от николаевской России идеалы утопического социализма. Славянофилам (а после них—родоначальнику народничества, Герцену) казалось, что русская поземельная община есть уже отчасти осуществление идеалов коммунизма; но Белинский скептически относился к этой вере и видел в ней отражение влияний утопического социализма: „лучшие из славянофилов—писал он Анненкову 15 февр. 1848 г.—смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг<sup>83</sup>); они высосали эти понятия из социалистов“... Белинский

<sup>80</sup>) Подробно об этом см. №№ 48, 51, 54.

<sup>81</sup>) „Взгляд на русскую литературу 1846 года“; см. № 51.

<sup>82</sup>) См. ниже Приложение: „Дома Белинского“.

<sup>83</sup>) „Верующим другом“ Белинский стал называть Бакунина после своей встречи с ним в Париже летом 1847 г. (см. в письме к Анненкову от 29 сент. нов. ст. 1847 г.) Бакунин „верил“ в народ, в его скорое самоосвобождение, в близкое торжество социалистических идеалов. В другом письме Белинский называет М. Бакунина— „немцем, который родился мистиком, идеалистом, романтиком и умрет им, ибо отказаться от философии еще не значит переменить свою натуру“...

видел, что в русской действительности того времени на очереди стояло вовсе не осуществление коммунистических идеалов, а уничтожение крепостного права; в проблемах и решениях европейского социализма „нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам... У себя, в себе, вокруг себя—вот где должны мы искать и вопросов, и их решения“,—приведу еще раз слова Белинского. Потеряв веру в утопический социализм, Белинский тем сильнее ухватился за неотложные проблемы русской действительности.

Но действительность эта не радовала; и в то же время без веры Белинский жить не мог. Тяжело отозвалась на нем эта потеря веры в самоосвобождение народа, в ближайшее счастье человечества; в письмах 1846—1847 г. мы снова встречаем глубоко пессимистические ноты былого неверия в жизнь. Жить не стоит. Не из-за чего хлопотать. „Жизнь наполнена ужасного юмора“. „Тяжело и грустно! Чорт возьми, иной раз, право, делается легко и весело от мысли, что жизнь—фантасмагория, что, как мы ни волнуемся, а придет же время, когда и кости наши обратятся в пыль“... (письмо к Кавелину от 7 дек. 1847 г.). Но и этот удар и эту потерю веры вынес и выдержал Белинский; о нем можно было бы повторить то, что сам он в начале 1846 года сказал в одной из своих статей: „как ни жесток был удар, поразивший его в самое сердце, но он вынес его, не закрыл глаз своих на природу и жизнь. не оглох к их обаятельным призывам, не ушел внутрь себя, не забился в какие-нибудь сладковато-мистические утешения, как это делают после несчастия нравственно-слабые натуры. Нет, он взял свое горе с собою, бодро и мощно понес его по пути жизни, как дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь в то же время от жизни и ее радостей“... Белинский понес с собою тяжелую ношу сознания, что грядущее счастье человечества—только мечта, которою он обманывал себя и которая так же мало оправдывает горе и муки настоящего, как и всякая „сладковато-мистическая“ вера в будущее земное или небесное блаженство. И подобно тому, как в 1840—41 гг., отказавшись от веры в абсолютную, „разумную действительность“ мира и жизни, Белинский пришел к признанию прав единичной личности, так и теперь, в 1846 году, отказавшись от мысли оправдывать мир и жизнь грядущим разумным устройством человечества, Белинский снова вернулся к признанию самодовлеющего значения за человеческой личностью. Уже в первой статье своей в „Современнике“ Белинский возвращается к вопросу о личности и подробно говорит о том, о чем не говорил лет пять, с тех пор как „личность“ была для него заслонена „человечеством“. В целом ряде писем 1847—1848 гг. Белинский снова и снова разрабатывает вопрос о личности и с этической, и с социальной точки зрения.

„Человек—сам себе цель“: так говорил Белинский в письме к М. Бакунину еще десятью годами ранее (21 ноября 1837 г.) Мысль эту он особенно часто повторял и подчеркивал в своих статьях 1841 года<sup>84</sup>); теперь он снова возвращается к ней. Человек—самоцель: это признание может стать новой верой, новым Богом Белинского, ибо, по его же известным нам словам, человек без Бога—труп холодный, жизнь человека в Боге, в Нем он и умирает, и воскресает, и страдает, и блаженствует... И этим Богом снова становилась теперь для Белинского реальная человеческая личность, страдающий и блаженствующий человек, человек-самоцель. Где оправдание этих человеческих страданий?—объективного оправдания им нет, но субъективное оправдание лежит в самой жизни: так теперь стал думать Белинский. Объективная целесообразность, разумность мира и жизни, совершенство его *sub specie aeternitatis*—все это, когда-то признавшееся Белинским, теперь ненавистно ему: „совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма,—пишет он Боткину 17 февраля 1847 г.,—и потому оно—подлейшая вещь в мире. Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою—это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила, и дорога ему жизнь его...“

<sup>84</sup>) См. особенно №№ 20, 26, 27.

Такова этическая сторона вопроса о личности в понимании Белинского; но, не меньше внимания уделяет он и социальной стороне этого вопроса. Белинский берет не изолированную личность, а личность, связанную с настоящим, прошлым и будущим; немедленно вслед за только что приведенными фразами из письма 17 февраля 1847 г., он говорит об „историческом прогрессе, живой связи, проходящей живым нервом<sup>85</sup> по живому организму истории человечества...“ И второе не противоречит первому — индивидуализм и общественность для Белинского не только не противоречат, но даже и обуславливают друг друга; мы видим это и из статей Белинского в „Современнике“ 1847—1848 гг., и из его писем этой эпохи<sup>86</sup>).

В конце 1847 года Белинский совершил, таким образом, еще один, последний этап на пути своей „вечной движимости“: этим последним шагом был окончательный отказ от былой „веры в народ“ и признание исключительной роли личности в будущем освобождении народа.

Нас не должен удивлять этот быстрый, но неизбежный поворот во взглядах Белинского: ведь мы знаем, что развитие его взглядов всегда совершалось, по его же словам, „зигзагами“, мы знаем, что Белинский всегда был „человеком экстремы“, по выражению Герцена. „Мне не суждено попадать в центр истины, откуда в равном расстоянии видны все крайние точки ее круга: нет, я как-то всегда очутюсь на самом, краю“... „Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеп. • Я с трудом и болью расстаюсь со старою идеею, отрицаю ее до-нельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита“, — так говорил о себе в письмах сам Белинский (к Боткину, от 28 июня и 8 сентября 1841 г.). Интересно отметить, что в статьях своих Белинский крайне резко отзывался о людях, способных стоять только на „крайних“ точках зрения: „крайность есть нелепость, плод ограниченности ума и мелкости духа“; „только посредственность и ограниченность способны фанатически предаться какой-нибудь односторонности и упрямо закрывать глаза на весь остальной Божий мир, противоречащий исключительности их тесного убеждения“... И это Белинский убежденно высказывал тогда, когда, сам того не сознавая, с головою сидел в односторонности ошибочно истолкованного гегелианства<sup>86</sup>)... Уже отсюда видно, что Белинский был не прав: односторонность и крайность совместимы с широтою ума, с глубиною духа, с ярким талантом, с горячим убеждением; и тем ценнее тогда та доля истины, которая заключена в этой крайности...

Уйти от „крайностей“ Белинский не мог, и в последние месяцы своей жизни подошел к новой „односторонности“ в своем взгляде на общество и его ближайшие задачи. Разочаровавшись в социализме, Белинский перешел к обсуждению реальных задач современной ему русской действительности — главным образом крепостного права; он тщательно следит за проблесками движения в этом направлении и правительства и общества: он отмечает попытки правительства (например, указ 2 апреля 1842 г. об обязанных крестьянах), собирает слухи об отношении к этому вопросу Николая I, восхищается направленной против крепостного права статьей Заблоцкого-Десятовского (в №№ 5—6 „Отечественных Записок“ 1847 г.) — и заявляет в письме конца 1847 г. к Анненкову, что „видно по всему, что патриархально-сонный быт весь изжит, и надо взять иную дорогу“...<sup>87</sup>).

Эта новая вера оживляла Белинского — вера не в далекое грядущее блаженство и разумное устройство всего человечества, а в ближайшее освобождение от рабства русского народа. Но как совершится это освобождение? Белинский долгое время думал и надеялся, что народ „сам освободит себя“, это убеждение было в нем сильно еще летом 1847 года, во время его заграничной поездки. В Париже Белинский встретился с М. Бакуниным, вера которого в народные силы доходила до фанатизма; но именно

<sup>85</sup>) См. №№ 51, 54, 55.

<sup>86</sup>) Впрочем, и позднее не раз Белинский в своих статьях осуждал „фанатическое увлечение, эту болезнь односторонних умов“.

<sup>87</sup>) Ср. № 55.

эта фанатическая вера и поколебала убеждение Белинского. „Странный я человек!—воскликнул полугодом позднее Белинский:—когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удастся выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, педантами и фантазерами, помешанными на той же мысли,—тут я и назад“... И он прибавляет: „мой верующий друг <sup>88)</sup> и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности“... (письмо к Анненкову от 15 февраля 1848 г.). К этому в другом месте он прибавлял, что всегда и все делалось через средний слой общества—буржуазию.

Буржуазия—вот на кого возложил свои реальные надежды Белинский в последние месяцы своей жизни; это было окончательным проявлением его разрыва с утопическим социализмом. Прежде, веря в социализм, веря в силы самого народа, Белинский был ярким врагом буржуазии и вполне соглашался со своим „верующим другом“, М. Бакуниным, который доказывал, что „избави-де Бог Россию от буржуазии“... Теперь, с осени 1847 года, Белинский по-прежнему склоняется к противоположной точке зрения. В это самое время в „Современнике“ были напечатаны „Письма из Avenue Maigny“ Герцена, писавшиеся отчасти во время пребывания Белинского в Париже; в письмах этих Герцен обрушивается на французскую „буржуазию“, разъедающую собою социальное тело Франции, и вообще высказывает ряд положений о мещанстве, которые потом легли во главу угла всего его мировоззрения. Эти мнения Герцена привели в негодование московских друзей Белинского—Боткина, Корша, Грановского, и Боткин в письме к Белинскому назвал взгляд Герцена неоспоримо ошибочным и не стоящим возражения. Белинский восстал против такой оценки взгляда Герцена и в большом письме к Боткину от начала декабря 1847 года высказал свой взгляд на французскую буржуазию. Белинский вполне присоединяется к тому, что „bourgeoisie—сифилитическая рана на теле Франции“, но весь odium этого он хочет возложить только на крупных капиталистов: „не на буржуазию вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и холеру современной Франции“: средняя же буржуазия является всегда великой в борьбе и приносящей во время борьбы пользу всему народу <sup>89)</sup>. „Я не принадлежу—заключает Белинский—к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуазия—зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо. Так думает наш немец—Мишель... Я с этим соглашусь только тогда, когда на опыте увижу государство, благоденствующее без среднего класса... Пока буржуазия есть и пока она сильна—я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность—источник великих зол, но знаю, что она же—источник и великих благ для общества“...

А если так, то и для России можно было только пожелать скорейшего появления и укрепления буржуазии. Бакунин доказывал Белинскому, что „избави Бог Россию от буржуазии“, а Белинский заявляет теперь (в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г.), что „внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию“. Вот почему в последней своей большой статье, писавшейся одновременно с этим письмом <sup>90)</sup>, Белинский с таким сочувствием отзывается о герое Гончарова, дворянине и важном чиновнике Адуеве-старшем, который является в то же время владельцем фабрики—а значит и представителем „буржуазии“... Все эти взгляды крайне характерны для Белинского последних месяцев жизни; и нельзя отказать этим взглядам в глубокой провидительности: действительно, „внутренний процесс гражданского развития России“ шел путем ослабления русского помещичьего дворянства и роста городской буржуазии. Но Белинский сам знал, что это процесс длительный, измеряющийся не годами, а десяти-

<sup>88)</sup> См. выше примечание 83.

<sup>89)</sup> Об этом же см. № 55.

<sup>90)</sup> № 55.

летиями; а потому всю свою надежду на ближайшее будущее, на уничтожение крепостного права, он возложил на отдельные личности.

Народ сам себя освободить не может—это так же невозможно предположить, как и то, что „живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, заведут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику“—писал Белинский все в том же письме к Анненкову. Нужен новый Петр Великий, который сдвинет Россию с „патрархально-сонного“ пути ее николаевского царствования. „Для меня Петр—моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России“,—писал в конце 1847 года Белинский Кавелину: это значило, что, по мысли Белинского, великую реформу освобождения мог произвести только властный человек, стоящий во главе правительства. „Для России теперь нужен новый Петр Великий“,—говорит Белинский в другом письме того же времени. Но Петра I не было—и Белинский готов был возложить свои надежды на Николая I... В письме от декабря 1847 г. к Анненкову Белинский с видимым сочувствием передает ряд слухов о тех или иных поступках и шагах Николая I, направленных к ослаблению крепостного права... И за какие только мелочи ни хватался Белинский, чтобы поддержать в себе эту веру! Меншиков—противник освобождения крестьян, Киселев—сторонник (рассказывает Белинский): „недавно Государь Император был в Александровском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян“...

В связи с этой надеждой на правительство у Белинского растет вражда ко всякому резкому проявлению общественного недовольства. Стоит прочесть, что пишет он на эту тему в этом же письме!—Перед нами прежний „неистовый Виссарион“, ушедший от одной крайности для того, чтобы попасть в другую. В это время был осужден и отдан в солдаты великий украинский поэт Шевченко, за резкие стихотворения, оставшиеся неизвестными Белинскому; но все же Белинский крайне враждебно отнесся к этим „пасквилям“, по его выражению. В Шевченко он видел не мученика свободы, а „осла, дурака и пошлеца, а сверх того горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому“... Нужно прибавить, что Белинский вообще всегда отрицательно относился к литературам отдельных славянских народностей; малороссийский язык он презрительно именовал „наречием“—и это было еще до начала борьбы Белинского со славянофильством. Во время же этой борьбы Белинский доходил до таких крайностей, как, например, утверждение, что черногорцев надо вырезать всех до последнего... Тому, кто знает и любит „неистового Виссариона“, тому дороги все эти крайности Белинского, потому что за ними видна вечно-мятущаяся душа, и потому что всегда за этой „крайностью“ лежит какая-нибудь дорогая для Белинского мысль. Так и теперь—Белинский весь поглощен мыслью об освобождении крестьян, хочет верить, что правительство намерено действовать в этом направлении, а потому с обычной своей неистовостью, яростью и ненавистью относится ко всем преградам на пути. Такой преградой он—автор бесмертного письма к Гоголю!—считал теперь резкое проявление общественного недовольства, и отсюда его ненависть к Шевченко. „Я питаю личную вражду к такого рода либералам,—продолжает пегодовать в своем письме к Анненкову Белинский:—это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ровно ничего, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения...<sup>91)</sup> Вот что делают эти скоты, безмозглые либералишки! Ох, эти мне хохлы!... Либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя: все марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство?“. И Белинский начинает прославлять цензоров—тот самый Белинский, который месяцем раньше горько жаловался в письмах на варварское искажение и „ошельмование“ своих статей!<sup>92)</sup>

<sup>91)</sup> Быть может этим желанием „гусей не раздражить“ объясняются некоторые места в статьях Белинского, слишком расходящиеся с его взглядами. Возможно однако, что это вставки Краевского.

<sup>92)</sup> Подробнее об этом см. № 54.

Все это очень и очень характерно. Белинский, очевидно, быстро приближался к новой „крайности“, к новой вере, которая могла бы дать ему удовлетворение. От былого утопического социализма—к признанию большой и прогрессивной роли буржуазии, от былой веры в народ—к крайнему проявлению теории роли личности в истории, от былой надежды на самоосвобождение народа—к надежде на либеральные реформы правительства: вот путь, свершенный Белинским с 1846 по 1848 г. Это было все большим и большим приближением к политическому, социальному и всяческому иному „реализму“; в области философской мысли мы видели тоже переход Белинского от былых „романтических“ упований на объективную разумность мира вообще и на разумное устройство Человечества в будущем—к признанию только субъективной осмысленности мира и жизни для каждой реальной личности. Смерть не дала Белинскому времени подвергнуть испытанию фактами этот его социальный и политический реализм; но мы теперь можем оценить его, можем посмотреть, как оправдалась бы новая вера Белинского.

Начнем с России. Белинский ждал от Николая I освобождения крестьян и вообще начала „либеральной“ политики—а между тем наступали кошмарные пятидесятые годы (1848—1855). „Вопрос о крестьянах ложнул“—так вскоре после февральской революции отозвался Киселев в разговоре с Милютиним; это стало известно Грановскому, а стало быть, не могло остаться неизвестным Белинскому. Надежда на освобождение крестьян отодвигалась, повидимому, в неопределенную даль; вряд ли бы кто поверил в 1848 и следующих годах, если бы сказали, что падение крепостного права осуществится через десять-пятнадцать лет. Наступила пора необузданного реакционного террора. Испуганное февральской революцией, николаевское правительство приняло ряд мер, иногда самых нелепых; так, например, в Петербурге начали усиленно вооружать Петропавловскую крепость... Умиравший Белинский подтрунивал и говорил: „это из боязни, чтобы я ее не взял“... Но не до шуток ему было в действительности, когда наступила эпоха цензурного и всяческого террора. Издатели „Отечественных Записок“ и „Современника“ в начале апреля 1848 г. были приглашены к начальству, и им было сделано там строгое внушение с требованием „изменить в основании направление журналов“. Сам Белинский получил в марте 1848-г. от важного чиновника III-го Отделения, М. М. Попова (это был когда-то школьный учитель Белинского), письмо с приглашением явиться в III-ье Отделение. Белинский был сильно взволнован этим „приглашением“, не предвещавшим ничего доброго, но не мог подчиниться ему, так как уже „с трудом ходил по комнате“<sup>93)</sup>.

Так перед смертью видел Белинский, как гибнут его надежды на реформы свыше; до разочарования в „буржуазии“, из-за июньских дней 1848 года, он не дожид. — он умер несколькими неделями раньше. А над головой его между тем собирались тучи: правительство начало узнавать о знаменитом письме Белинского к Гоголю, которое уже расходилось по рукам в списках. Трудно представить себе, что сделали бы за это письмо с Белинским, если за одно чтение этого письма приговаривали, в 1849 году, к смертной казни!<sup>94)</sup> Управляющий III-м Отделением, Дубельт, „яростно сожалел“ о смерти Белинского, прибавляя: „мы бы его стноили в крепости“... Смерть избавила Белинского от этого испытания.

Таковы были дела в России. Но и во Франции в это же время Белинский увидел бы мало радостного.

Белинский медленно умирал в то время, когда во Франции разразилась февральская революция, перекинувшаяся вскоре и на другие страны. К революции этой Белинский мог отнестись только восторженно: ведь она была делом рук той самой средней буржуазии, в которой Белинский видел нерв социального и политического прогресса. Но Белинскому не суждено было дожить до июня месяца этого же 1848 года, когда торжествующая буржуазия стала расстреливать тот самый народ, который дал ей по-

<sup>93)</sup> См. статью П. Щеголева: „Эпизод из жизни В. Г. Белинского“ („Былое“, 1906 г., № 10).

<sup>94)</sup> См. № 53.

беду. Теоретически Белинский знал, что это может случиться, что это уже случилось во Франции; в цитированном выше письме к Боткину от декабря 1847 г. Белинский говорил, что средняя буржуазия „удивительно смысленно и ловко действовала во Франции и, правду сказать, не раз эксплуатировала народом: подожжет его, а потом и выпшет Лафайета и Бальи расстреливать пушками его же, т.-е. народ же“... Это—почти пророчество того, что случилось в июне 1848 года; и если Белинский теоретически предвидел возможность июньской бойни, то вряд ли простил бы он ее, если бы сам дождал до этого события. „Вечером 26 июня,—писал тогда Герцен,—после победы (буржуазии), мы слушали правильные залпы с небольшими расстановками и с барабанным боем... Ведь это расстреливают! сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна и молчал; за такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь“... Так чувствовал, так думал умевший владеть собою Герцен: что сказал и почувствовал бы „неистовый Виссарион“? И что стало бы с его упованием на буржуазию. И чем заменил бы он свою веру в „la République universelle et sociale“?

Что стало бы с верой Белинского в буржуазную республику—мы не знаем; но перед нами факт его нового отношения к буржуазии и социализму—и на факте этом надо остановиться.

Познакомившись, еще в начале своего увлечения социализмом, с известной работой Луи Блана „Histoire des Dix Ans“, Белинский восторженно писал Боткину (31 марта 1843 года): „превосходное творение! Для меня оно было откровением. Луи Блан—святой человек; личность его возбудила во мне благоговейную любовь“... Прошло четыре года—и Белинский снова ознакомился с новой книгой Луи Блана „Histoire de la révolution française“ (Paris, 1847). „Прочел я книгу Луи Блана,—писал Белинский Боткину из Дрездена <sup>95)</sup>:—этому человеку природа не отказала ни в голове, ни в сердце, но он хотел их увеличить собственными средствами—и оттого у него вместо великой головы и великого сердца вышла раздутая голова и раздутое сердце. В его книге много дельного и интересного; она могла бы быть замечательно хорошею книгою; но Блашка сумел сделать из нее прескучную и преношлую книгу. Людовик XIV унизил, видишь, монархизм, эманципировавши церковь во Франции от Рима! О, лошадь! Буржуазия у него еще до сотворения мира является врагом человечества и конспирирует против его благосостояния, тогда как по его же книге выходит, что без нее не было бы той революции, которою он так восхищается, и что ее успехи—ее законное приобретение. Ух, как глуп—мочи нет!“

Уже из одной этой цитаты можно вывести заключение о новых взглядах Белинского. Сущность этого нового заключалась в историческом понимании и прошлого, и будущего человечества; в частности—такое отношение появилось у Белинского и к буржуазии и ее прогрессивной роли в некоторые определенные периоды истории народа. Ясно, что после этого утопический социализм не мог остаться руководящим мировоззрением Белинского; уже давно он говорил, что лучше плыть без всякой руководящей нити, чем пользоваться неверным или только кажущимся руководством: „без руля и компаса не годится пускаться в море, но, по моему мнению, лучше пуститься в море совсем без руля и компаса, нежели, по неведению, вместо руля взять в руки утиное перо, а вместо компаса—оловянные часы“... <sup>96)</sup>. Такими „оловянными часами“ стал теперь для Белинского утопический социализм; в своих письмах 1847—1848 г.г. он не один раз обрушивается на представителей этой „добродетельной партии“, как он теперь иронически именуется французских утопических социалистов. Теперь он их называет „только шумливой, а в сущности бессильной и ничтожной партией“, „новыми мусульманами, у которых Руссо—Аллах, а Робеспьер—пророк его“ (в письме к Аннен-

<sup>95)</sup> 7/10 июля 1847 года. Первый и очень характерный отзыв об этой книге мы находим в письме Белинского к Боткину от 6 февр. 1847 года: „святители—что за узколобье! Да это Шевырев!“

<sup>96)</sup> Из письма к М. Бакунину от 12 окт. 1838 года.

кову от 1 марта 1847 года); месяцем раньше, в письме к Боткину, Белинский отзывался о них еще резче, восхищаясь Литтре: „вот человек! От него морщится *Revue des Deux Mondes*, хотя и печатает его статьи; а социальные и добродетельные ослы не в состоянии и понять его. Я без ума о Литтре, именно потому, что он равно не принадлежит ни к вздраченным подлецам и вора-умникам „*Journal des Débats*“ и „*Revue de deux Mondes*“, ни вздраченным социалистам—этим насекомым, вылупившимся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо“... Зная характер и „неистовство“ Белинского, можно было быть уверенным, что это несправедливое презрение к французским утопическим социалистам вскоре распространится и обобщится: характерным примером этого является один отрывок из письма Белинского той же эпохи, в котором он пренебрежительно говорит о „нахальной недобросовестности, свойственной французам“, вспоминая Пьера Леру, „который, обрував Гегеля, восхвалял Шеллинга, предполагая в последнем своего союзника, и оправдываясь, когда его уличили в невежестве, тем, что он узнал все это от достоверного человека“...<sup>97)</sup>.

Не надо думать, что, разочаровавшись во французском утопическом социализме, Белинский стал „либералом“, сторонником умеренного и постепенного прогресса: мы только что видели, что Белинский одинаково резко относился и к социалистам вроде Леру, и к либералам из *J. des Débats*. Если он возненавидел французский гений, то это именно прежде всего за жалкое социальное и политическое положение Франции непосредственно перед назревавшей революцией 1848 года. В одном из своих писем к Боткину из-за границы (от 7/19 июля 1847 года) Белинский, рассказывая новость о проворовавшихся конституционных французских министрах, восклицает: „о, tempo! о, tempo! о, XIX-ый век! о, Франция—земля позора и унижения! Ее лицо теперь—плева-тельница для всех европейских государств!“ Слишком надо было любить „субстанцию“ великой Франции, чтобы с такой едкой горечью высказаться о ее „временном определении“, выражаясь обычными терминами эпохи гегелианства Белинского. Такую же ненависть испытывал теперь Белинский и к немцам—не к великой сущности этого народа, а к тем проявлениям, с которыми чаще всего приходится сталкиваться; именно дух умеренности и постепенства в этом народе был наиболее ненавистен Белинскому—и именно в эпоху его разочарования социализмом. В цитированном выше письме к Боткину из Дрездена мы находим следующее интересное место: „скука—мой неразлучный спутник, и жду не дождусь, когда ворочусь домой. Что за тупой, за пошлый народ немцы—святители! У них в жилах течет не кровь, а густой осадок скверного напитка, известного под именем пива, которое они лупят и наяривают без меры. Однажды за столом был у них разговор о интендах. Один и говорит: „я люблю прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем больше люблю умеренность, чем прогресс“ Когда Тургенев передал мне слова этого истого немца, я чуть не заплакал, что не знаю по-немецки и не могу сказать ему: „я люблю суп, сваренный в горшке, но и тут я больше люблю горшок, чем суп“... Но всего не перескажешь об этом народе, скроенном из остатков и обрезков“...

Во всем этом интересно очень многое,—и прежде всего то, что, уже разойдясь с утопическим социализмом, Белинский никоим образом не приблизился к либеральному, умеренному постепенству. Другая очень важная сторона—разочарование в единоспасающей роли Европы для России. Выходки против Франции и Германии обозначали собою, разумеется, не шовинизм или национализм Белинского, а зарождающееся его народничество,—народничество не в буквальном смысле, а в смысле вообще веры Белинского в великие силы и возможности России. Элемент веры в Россию, в богатые силы и возможности ее, в ее самобытное развитие—элемент, так ярко выразившийся впоследствии у Герцена, этого великого родоначальника народничества, был уже налицо и у Белинского последних двух лет жизни и деятельности. „Я—натура русская,— писал в одном из своих писем последнего времени Белинский:—скажу тебе

<sup>97)</sup> Из писем к Боткину от 6 и 17 февр. 1847 года.



яснее: *je suis un russe, et je suis fier de l'être*“... <sup>98</sup>). Тут же, в этом же письме, Белинский отрекся от „наших квасных патриотов, славянофранков (так он часто называл славянофилов), витязей прошедшего и обожателей настоящего“; он подчеркивал, что все свои надежды возлагает только на будущее. „Русская личность—писал он в том же письме—пока эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость“... Смерть не дала времени Белинскому развить эти свои последние взгляды на значение „русской личности“ в европейском мире; выпавшую из рук Белинского нить поднял Герцен и продолжал ее развитие в пятидесятых и шестидесятых годах.

Итак, неудовлетворенный утопическим социализмом, Белинский, как видим, искал, еще и еще раз искал новых путей. От утопизма он пришел к реализму, искал реальной опоры своим всечеловеческим идеалам. Теперь, в 1847—1848 гг., внимание его направлено не на коммуну и фаланстер, а на возможность уничтожения рабства в России; он не верит в возможность скорого освобождения „снизу“, а возлагает свои надежды на „личность“. Так было с ним в области политической и социальной, так было и в области философской мысли. Снова личность становится центром внимания Белинского (и это опять-таки роднит его с последующим народничеством Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского); снова подтверждает он свой отказ от всяких абсолютных норм, снова возвращается к мысли о великом субъективном значении жизни человека. „Человек смертен,—слышали мы от Белинского,—подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою—это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила, и дорога ему жизнь его. Застрахуй его от смерти, болезни, случая, горя—и он турецкий паша, скучающий в вековом блаженстве, хуже—он превратится в скота“... И этому „несовершенному“ человеку свойственны великие идеалы совершенства, истины, справедливости, красоты; индивидуализм сочетается с общественностью, человек с человечеством; в итоге получается „исторический прогресс, живая связь, проходящая живым нервом по животному организму истории человечества“—как писал Белинский в только что цитированном письме. Одним словом, Белинский разочаровался только в утопическом социализме, но так как тогда иного и не было, то ему казалось, что он отошел от социализма вообще. В сущности же он остался ярким „общественником“, чему несколько не противоречило снова вспыхнувшее в нем преклонение перед реальной человеческой личностью. Выше мне уже приходилось подчеркивать, что именно в статьях Белинского последних лет мы имеем яркий пример сочетания идей личности и общества, что индивидуализм и общественность не только не противоречат, но даже и обуславливают друг друга <sup>99</sup>). Так, повторяю, было в области социальной и политической мысли, так было и в области религиозной и философской. Белинский, в области социальной и политической, все больше и больше приближался к политическому, социальному и всяческому иному реализму; в области философской мысли мы видели тоже переход Белинского от былых „романтических“ упований на объективную разумность мира вообще и на разумное устройство Человечества в будущем—к признанию только субъективной осмысленности мира и жизни для каждой реальной личности.

Остановились ли бы на этой точке великие искания неистового Виссариона? Или снова от человека он перешел бы к Богу—новыми, углубленными путями? Или понял бы, что человек соединяет в себе и Человечество и Бога? Смерть не дала времени Белинскому еще раз поставить и пересмотреть эти вопросы. Но и без того Белинский к концу жизни мог бы повторить о себе знаменитые слова: Бог был моей первой мыслью, человечество—второй, человек—третьей и последней. Все эти три мысли—и религиозные идеи, и общественные тенденции, и индивидуалистические мотивы—мы отметили еще в „Дмитрии Калинин“ двадцатилетнего Белинского. И мы видим теперь, что всю последующую свою жизнь отдал он все

<sup>98</sup>) Из письма к Боткину от 8 марта 1847 года.

<sup>99</sup>) См. выше примечание 85.

тем же великим исканиям—„неугасимо нося в сердце своем прометеев огонь юности, всегда живо сочувствуя свободной идее и никогда не покоряясь оцепеняющему времени или мертвящему факту“.

Белинский умер 26 мая 1848 года, не дожив нескольких дней до полных 37 лет. Он умер сравнительно молодым—и все-таки понятие „молодости“ неприменимо к Белинскому последних лет жизни: слишком много он пережил, слишком много передумал, слишком много перечувствовал, во многое страстно верил, во многом горько разочаровался. Не даром прожил он свою недолгую жизнь—и заслужил этой мятущейся жизнью ненарушаемый „вечный покой“; нам осталась—„вечная память“ о нем.

## Заключение.

Великие искания не умирают, но надолго переживают великих искателей, уже достигших последней истины, уже обретших „вечный покой“. Великие искания неистового Виссарiona: ведь все то, о чем мы говорили выше, изучая Белинского—все это вопросы сегоднешнего дня, которые *sub aspectis novis* продолжают доселе разрабатываться новыми поколениями русской интеллигенции. Идеалистическая вера, мучительные сомнения, мистицизм и реализм, бунт религиозной и философской мысли, индивидуализм, общественность, глубокая вера в социализм и даже „разочарование“ в социализме—не есть ли это история каждого дня жизни русского общества? История повторяется—если не в фактах, то в общественных настроениях.

Каковы бы ни были, однако, эти „общественные настроения“—они мимолетны, а великие искания—вечны. И даже после далекого окончательного осуществления великих—социалистических—реформ, даже после устройства социальной жизни человечества,—всегда останутся в силе, никогда не умрут философские и религиозные искания истины, всегда будут даваться ответы на те вопросы, которые в свое время и юноша-Белинский ставил в своей драме, которыми он мучился всю жизнь, которые поистине составляли трагедию всей его жизни. Мучительность и страстность его исканий, порывы чувства и неутолимые искания слова истины—делают значение Белинского неумирным и вечным. И в области социальной, и в области религиозной мысли знаменем русской интеллигенции вечно будет великий и с к а т е л ь—Виссарion Белинский.

Великий искатель:—ни к кому другому эти слова не применимы с большим правом, чем к самому Белинскому; „вечная подвижность“ была свойством его души, алчущей и жаждущей истины и справедливости. Всю жизнь страстно билось его сердце в поисках за справедливостью; всю жизнь томилась его душа в стремлении к истине. Если бы он был только великий литературный критик и историк литературы—его деятельность была бы почтенна, заслуживала бы глубокого внимания позднейших литературных критиков и историков литературы; но Белинский сверх этого был еще и религиозным искателем,—а потому жизнь и деятельность его имеет до сих пор не только исторический, но и глубокий современный интерес, который жив будет вечно. С ранней юности стали перед ним те вечные вопросы, на которые нет ответа, и на которые каждый человек должен дать свой ответ. Мы видели, какую бурю произвело столкновение этих вопросов в душе юноши-Белинского: в своей юношеской драме „Дмитрий Калинин“ он вплотную подошел к тому, что навсегда стало содержанием всей его жизни, всей его литературной деятельности. Миром правит ли Бог, или отдал Он свой мир на откуп Дьяволу? Этот вопрос отравил сердце юноши; а тому, кто отравлен, кто задался этим вопросом—нет больше спокойствия в жизни, пока не найдет он успокаивающей веры, или не сделает своею верою неверие в мир и жизнь. Все это испытал Белинский. Страстно, мучительно, со всем напряжением мысли и чувства, всю свою жизнь искал он Бога, находил и терял, любил и проклинал, верил и отчаивался. Нет лучшего эпиграфа ко всей жизни Белинского, как библейская фраза, которую сам

он применял к себе: ревность по Господе, снедающая человека. „Читали ли вы когда Ветхий Завет?—писал он, как мы знаем, Н. Бакунину в 1842 году, уже во время своего церковного атеизма:—знаете ли вы, что такое ревность по Господе, снедающая человека? Что человек без Бога? — Труп холодный. Его жизнь в Боге, в Нем он и умирает, и воскресает, и страдает, и блаженствует. А что такое Бог, если не понятие человека о Боге?“

Всю жизнь снедала Белинского ревность по Господе, всю жизнь Белинский умирал и воскресал, страдал и блаженствовал в своем Боге. Сперва это была вера в Премудрую Благодать, правящую миром, вера в Абсолютный Дух, в абсолютную разумную действительность всего сущего. Целое десятилетие, все тридцатые годы жил Белинский этой верою; но на пороге сороковых годов пришел мучительный кризис: вера эта пошатнулась, заколебалась и рухнула. Наступил двухлетний период мятущихся исканий, мучительного неверия в жизнь и в ее силы; мы видели, какую тяжелую душевную трагедию пережил в это время Белинский. Наконец, пришла мало-по-малу новая вера в нового Бога—вера в Человечество, вера в разумность будущего его устройства на земле, вера в „социализм“. Годы четыре, лет пять жил Белинский этой новой верой, объясняя ею всю жизнь в ее целом, счастьем будущих поколений оправдывая несчастье живущих и раньше живших. Но и этой вере пришел конец; в 1846 году в душе Белинского произошел новый кризис, новый перелом; Человечество перестало быть его Богом. Все свое внимание обратил теперь Белинский на Человека, на реальную человеческую личность. Белинский перестал искать абсолютных ответов на вопросы жизни, перестал искать объективного оправдания жизни в Боге или Человечестве; пусть себе правит миром кто хочет, Бог, или Дьявол, или никто; но не может этот Правящий лишить жизнь человека ее великого внутреннего содержания. „Совершенство—повторю еще и еще раз слова Белинского (1847 г.)— есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно — подлейшая вещь в мире. Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою— это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила, и дорога ему жизнь его“... Смерть не дала Белинскому времени твердо притти к этим новым взглядам и развить их; это выпало на долю Герцена, который начал с того, чем кончил Белинский. Герцен— это непосредственное продолжение Белинского в истории русской общественной мысли.

Что же? Бог, Человечество, Человек: — и Герцен тоже шел по этой дороге? И его великие искания тоже можно охарактеризовать этой формулой Фейербаха? Но в таком случае, кто же не шел по этому пути? И не выйдут ли тогда все портреты великих людей на одно лицо?

Да, все мы, сознательно или бессознательно, идем по этой дороге, миновать ее не может никто; но на ней—тысячи тропинок, пересекающихся, переплетающихся, и нет двух человек, которые бы свершили этот жизненный путь по одной и той же тропинке. И если они встречались на пересечении тропинок, то тут же расходились далеко в разные стороны. Есть в русской литературе, кроме Белинского, великий искатель—слава России, мировое имя: Лев Толстой. И он шел по тому же пути, и его великие искания знаменовались словами—Бог, Человечество, Человек. Но много ли общего между исканиями его и Белинского? Надо пройти за Л. Толстым весь его путь, как мы прошли его за Белинским, чтобы убедиться, как могут быть разны великие искания на едином великом пути <sup>100)</sup>.

Мы прошли за Белинским, шаг за шагом проследили душевные муки, духовные скитания и искания Белинского в течение всей его недолгой жизни. Кто не знает и не понимает их — тот не знает и не понимает всего Белинского, не чувствует души его произведений, не сознает смысла его деятельности. Великую историко-литературную работу взял на себя и совершил Белинский в своей журнальной деятельности—и мы тщательно проследим за этой работой во второй части настоящей книги; но сущность этой работы только тогда становится ясной, если понять внутреннюю жизнь Белинского,

<sup>100)</sup> См. мою книгу „Лев Толстой“.

его затаенные переживания, его страстные искания. Громадная умственная сила, соединенная с громадной силой страсти — позволила Белинскому на протяжении десятка лет пережить и переработать в душе своей те мировоззрения, развитие которых выпало на долю последующих поколений русской интеллигенции. Никогда не устареют, никогда не будут забыты, никогда не потеряют цены критические суждения и историко-литературные взгляды Белинского; но с еще большим правом это можно повторить о тех глубоких переживаниях его, которые объясняют нам всю литературную деятельность великого критика. Он был не только критиком, не только литератором; Белинский был всю свою жизнь великим неустанным искателем неведомого Бога — в Нем он и умирал, и воскресал, и блаженствовал, и страдал. Искания эти не умрут никогда — и вечно жив будет Белинский.

II

СОЧИНЕНИЯ

## 1. „Литературные Мечтания“.

(„Элегия в прозе“).

„Литературные мечтания“—первое выступление Белинского в области критики, определившее собою всю дальнейшую дорогу „неистового Виссариона“. Восторженная любовь к искусству, жажда осмысленной и цельной жизни, тонкое понимание художественных произведений, борьба с дутыми знаменитостями, верная оценка прошлого и предвидение будущего, жгучая ненависть и любовь, стремление „к правде вечной“—все отразилось в этой статье, являющейся великолепным „предисловием“ ко всей критической деятельности Белинского. В знаменитых статьях о Пушкине, написанных десятью годами позднее (1843—1846 гг.), в наиболее зрелый период деятельности, Белинский дал нам как бы „послесловие“ к ней (подобно тому, как своим письмом к Гоголю он как бы дал нам свое „завещание“, по выражению Герцена); но, несмотря на все различие философских воззрений и общественных идеалов в эти две эпохи—литературные приговоры Белинского остались по существу прежними и стали с тех пор достоянием учебников словесности. Это, кстати заметить, показывает, что к началу своего выступления на критическом поприще Белинский уже вполне закончил выработку своих литературных взглядов,—что является разительным контрастом его дальнейшему колебанию в области вопросов философских и социальных. Хотя в пылкой „элегии“ юного критика были и ошибки, и увлечения, и неверные суждения, от которых Белинский впоследствии сам отказался, но в целом и основные взгляды „Литературных Мечтаний“—общие наши взгляды; вот почему именно с Белинского и именно с его „элегии в прозе“ ведет свое начало русская критика.

И до „Литературных Мечтаний“ было не мало разных литературных „обзрений“ (каким с внешней стороны является и статья Белинского); в этих обзрениях и до Белинского высказывалось не мало вполне верных критических взглядов. Бестужев-Марлинский еще за десять лет до „Литературных Мечтаний“ высказывал некоторые взгляды, повторенные Белинским; Полевой и еще более Надеждин были замечательными предшественниками Белинского в области критики. Белинский не в пустыне строился: он имел талантливых предшественников, имел и подготовленный материал для постройки; но почему же именно статьи Белинского стали краеугольным камнем здания русской критики? Это зависит, конечно, и от степени таланта, и от упорной работы мысли, и от яркости проявления чувства; но главное здесь—та органическая цельность воззрений, которая так характерна для Белинского. И у Надеждина тоже были „цельные воззрения“ на искусство, на литературу, но они не были органически соединены со всем его существом. Для Белинского же искусство, литература, наука, религия, общество, природа, вселенная—все это было одно органическое целое, с которым он был неразрывно связан, и которое он так ярко проявлял. Начиная именно с Белинского, критика перестает быть узко-литературной и становится выражением и проявлением цельного мировоззрения.

„Литературные Мечтания“ начинают собою ряд статей Белинского 1834—1836 гг.—эпохи конца русского шеллингианства; мысли, высказанные в своей „элегии в прозе“, Белинский развивает и дополняет в последующих статьях: „О русской повести и повестях г. Гоголя“, „Ничто о ничем“, „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“. Все эти статьи построены на одном и том же фундаменте, на одном и том же целом воззрении, которое надо помнить в общих чертах, обращаясь для этого к знаменитой „элегии в прозе“.

Собственно-литературные положения этой статьи Белинского крайне несложны. „Литературные Мечтания“ с внешней стороны представляют из себя не что иное, как краткую историю русской литературы, начиная с петровской эпохи. Реформа Петра привела к резкому разделению „общества“ и „народа“; русская словесность стала с этих пор выражением и отражением исключительно этого „общества“, в то время как истинная литература должна быть типично „народною“, должна быть проявлением национального, народного духа. Следовательно—„у нас нет литературы“: это основная тема всей „элегии в прозе“ Белинского. С такой точки зрения Белинский обзревает всю русскую „изящную словесность“ после-петровского времени,—„от Ломоносова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее гения“... Шаг за шагом разбирая и оценивая литературу этого векового периода, Белинский находит в ней только немногих истинных выразителей народного духа. Их всего четверо: Державин—„великий, гениальный русский поэт“; Крылов—едва ли не равный Державину, „гениальный поэт русский“; Грибоедов—„едва ли не равный Пушкину“, и, наконец, сам Пушкин—о котором „грешно говорить смиренною прозою“... Вот и вся русская литература, „вот все ее представители,—говорит Белинский:—других покуда нет и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время? А потому—„у нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов“...

Такова основная мысль „Литературных Мечтаний“, мысль, которую мы должны и в настоящее время признать верной по существу—если только верны исходные взгляды Белинского. Действительно, вся русская литература была тогда еще в будущем, ибо только с Пушкина проявляется во всей своей силе та „народная“ (в смысле Белинского) литература, литература Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого, которая является „своим словом“ русского народа в мировой культурной жизни. Но этот вывод верен лишь постольку, поскольку верны исходные пункты Белинского, его взгляды на „народность“, его эстетические теории. В этих положениях—сущность „Литературных Мечтаний“, на которой надо особенно внимательно остановиться.

Литературно-критические выводы Белинского основываются на продуманной и глубокой эстетической системе, пользовавшейся в то время большою народностью (так говорили тогда, вместо „популярностью“) — системе русского шеллингианства, проповедником и апологетом которой был Белинский. Это было цельное мировоззрение, духом которого пропитана каждая мысль, каждое положение статьи великого критика; горячее убеждение и цельность воззрений сказываются на каждом шагу—даже в области „полемических ошибок“ с беспринципностью Сенковского, Булгарина, „Библиотеки для Чтения“ и „Инвардных Прибавлений к Литературе“ (так Белинский юмористически именовал журналчик Воейкова—„Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду“). Все у Белинского проникнуто цельным настроением и цельной мыслью; цельное философское воззрение скрывается у него под формой литературной критики. В рецензии (1835 г.) на роман г-жи Монбери „Жертва“ Белинский ярко и определенно высказал главную мысль своего мировоззрения той эпохи: „жизнь человеческая—восхищает Белинский—есть не сон, не мечта, не греза; цель ее не наслаждение, не счастье, не блаженство: нет, она есть великий дар Провидения. Безумный хватается за этот дар, как за игрушку, и легкомысленно играет им, как игрушкой; мудрый принимает его с покорностью, но я с трепетом, ибо знает, что это есть драгоценный залог, который он должен будет некогда возвратить в чистоте и целости, что это есть тяжкий стра-

дальческий крест, наградою которого будет терновый венец и чувство исполненного долга. Выразить достоинство человеческое, проявить в себе идею Божества—вот назначение смертного; и вот почему, вследствие справедливого закона вечной премудрости, сила заключается в слабости, величие в ничтожестве, бесконечность в ограниченности; и вот почему смудельный, волнуемый своекорыстными страстями, сосуд человека может быть жилищем Духа Святого. Без борьбы нет заслуги, без усилий нет победы. Два пути ведут человека к его цели: путь разума и путь чувства, и благо ему, когда они оба сливаются в пути деятельности!

Это исповедание веры кружка Станкевича периода шеллингианства читатели найдут и в „Литературных Мечтаниях“; эти же мысли высказаны там Белинским не только по отношению к человеку, но и по отношению к человечеству: „выразить достоинство человеческое, проявить в себе идею Божества“—в этом назначение не только отдельного человека, но и целого народа. А внутренняя жизнь народа отражается и закрепляется в его литературе: так подходит Белинский от оснований русского шеллингианства к основной идее своей статьи.

Что такое литература? Литература—отвечает по шеллингиански Белинский—есть собрание художественно-словесных произведений гениев искусства, которые выражают в своем творчестве всю внутреннюю жизнь своего народа до ее сокровеннейших глубин и бытий. Это определение и понимание литературы тесно связывает ее с воззрениями, во-первых, философско-эстетическими и, во-вторых—философско-социологическими. Что такое искусство? что такое народ? Белинский понимает, что ответы на эти вопросы являются фундаментом всей его статьи; отвечая на них, он набрасывает контуры цельного философского воззрения, и только уже на этом прочном основании строит свои литературно-критические выводы. Необходимо выяснить эти основные воззрения Белинского, которые он дополнял и развивал во всех последующих статьях 1835—1836 года.

Вот эти воззрения Белинского. Искусство есть „выражение великой идеи Вселенной“, подобно тому, как сама вселенная есть только выражение „единой вечной идеи, проявляющейся в бесчленных формах“. Проявление этой идеи—борьба между добром и злом, светом и мраком, постепенное совершенствование человечества: отражение этой идеи—цель искусства. „Изображать, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни природы—вот единая и вечная тема искусства! Поэтическое одушевление есть отблеск творящей силы природы“. И подобно тому, как эта творящая сила обнимает собою все—и ужасное, и великое, и малое, и простое,—так и поэзия, отблеск этой силы, должна быть всеобъемлюща, „беспристрастна“ (объективна—скажет Белинский позднее). Поэзия не должна ограничивать себя рамками, заранее намеченной целью—„ибо поэзия не имеет цели вне себя“; но в то же время свободный духом и „беспристрастный“ поэт не должен быть „бесстрастным“: поэзия, как отблеск творящей силы в человеке, должна быть пронизана горячим чувством, пламенным сочувствием, должна быть субъективна (по позднему же выражению Белинского). Поэт должен откликаться, подобно эхо, на все: в этом объективизм поэзии; но отклики эти должны пройти через „пламенное сочувствие“, через горнило души поэта: в этом его субъективизм. Сочетание этих двух элементов—вот идеал поэта; такова мысль, проходящая через всю статью Белинского.

Это соединение „объективизма“ с „субъективизмом“ тесно связано с мыслью о бесцельности искусства; за развитием этой мысли нам еще придется внимательно следить. Цель у искусства есть („изображение идеи всеобщей жизни природы“), и в то же время оно бесцельно: не трудно узнать в этих словах вариации на одно из положений эстетики Канта (известное Белинскому хотя бы из критических статей Надеждина). „Красота есть форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается без представления цели“,—говорил Кант; прекрасное целесообразно, не будучи представляемо, как целесообразное: представление цели унижает прекрасное и уничтожает эстетическое действие. Эти же мысли проводил и Шеллинг, находя святость и чистоту искусства в его абсолютной автономности. Вот источник утверждений Белин-



ского, что „творчество бесцельно с целью“; это значит, что поэзия не имеет цели вне себя—в этом ее объективизм, и что в то же время она должна быть „целесообразна“ (соразмерна с целью в самой себе)—и в этом ее субъективизм.

Отсюда борьба Белинского со всякой „намеренностью“ к искусству. „Чувствуешь намерение и теряешь настроенность“—сказал Гете, и слова эти одинаково относятся и к процессу творчества, и к процессу эстетического воспринимания: цель уничтожает эстетическое действие. И хотя проявление единой вечной идеи в нравственном мире человека сказывается в формах борьбы добра и зла, в вечном совершенствовании человечества, однако тот, кто вздумал бы сознательно проводить эти положения в творчестве—тот не поэт. То, что прекрасно—*eo ipso* и нравственно и разумно; „эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности“. „Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, доколе он нравствен, доколе он и поэт; но, как скоро он предположил себе цель, задал тему, он—уже философ, мыслитель, моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование и заставляет меня сожалеть о себе, если, при истинном таланте, имеет похвальную цель, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредных мыслей“. Если вспомнить при этом презрительное отношение русских шеллингианцев кружка Станкевича к „нравственной точке зрения“ или к „морали“ (противопоставляемой „нравственности“ и „полноте жизни“), то эстетические воззрения Белинского обрисуются перед нами во всей своей цельности и последовательности.

Таковы философско-эстетические основания, на которых Белинский строит свое понимание и свое определение литературы; но это только одна половина вопроса: мы видели, что второй половиной его являются положения философско-социологические. Литература есть выражение в художественном творчестве внутренней жизни народа: но что же такое „народ“, в чем его внутренняя жизнь, что такое „народность“? На все эти вопросы отвечало русское шеллингианство тридцатых годов, и ответы эти в следующее десятилетие были развиты в славянофильстве; идеи Белинского, эпохи „Литературных Мечтаний“, очень близко подходят поэтому к основным положениям позднейшего славянофильства.

Народности суть индивидуальности человечества—подробное развитие этого шеллингианского положения занимает много места в статье Белинского. „Каждый народ, сообразно с своим характером... играет в великом семействе человеческого рода свою особенную, назначенную ему Провидением роль, и вносит в общую сокровищницу его успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества“. „Каждый народ, вследствие непреложного закона Провидения, должен выражать свою жизнь какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит“. Все это—основные положения шеллингианской философии истории; славянофильская окраска этих мыслей заключается в подчеркивании не единства человечества, а различия путей составляющих его народностей. Чем более народ самобытен, тем ценнее его вклад „в общую сокровищницу успехов человечества“ (характерен с этой точки зрения эпиграф из „Горе от ума“ к четвертой главке „Литературных Мечтаний“); самобытность же эта заключается главным образом в народных обычаях. Исконный народный быт, соединенный с „просвещением“—вот идеал исторического развития народа. Реформа, или, вернее, революция Петра попыталась искоренить народные обычаи,—но была в состоянии только вогнать клин между „народом“ и „обществом“; русская „изящная словесность“ стала проявлением и отражением именно этого „общества“,—а потому она и не литература. Только четыре гениальных поэта сумели преодолеть это разделение и отразить в своих творческих произведениях внутреннюю жизнь народа до сокровеннейших глубин и бдений.

Мы вернулись к началу статьи Белинского—и видим теперь, какая главная мысль проходит через все „Литературные Мечтания“: это мысль о свободном творчестве поэта, бессознательно проявляющего в своем творчестве внутреннюю

жизнь народа, к которому он принадлежит. Мы видим теперь, что именно эта мысль— за дальнейшей разработкой которой у Белинского мы еще будем следить—позволяет критику закончить свою „элегию в прозе“ бодрым и восторженным пророчеством, что у нас еще наступит „истинная эпоха искусства“, что у нас еще будет литература, достойная великого народа. Во взглядах Белинского на народность и в эстетических теориях его заключена та основная мысль „Литературных Мечтаний“, на которой строятся Белинским его литературно-критические выводы.

На этих критических выводах и блестящих литературных характеристиках, рассыпанных по всей статье, мы не будем здесь останавливаться; нам придется в дальнейшем говорить почти о каждом из более или менее крупных писателей XVIII и XIX века, которых характеризует Белинский в этой своей „элегии в прозе“, и которым он посвящал отдельные критические этюды в течение своей последующей литературной деятельности. Мы увидим тогда, как и в какую сторону менялась критическая оценка Белинским того или иного писателя, какие мнения он изменил, какие приговоры оставил неприкосновенными. Здесь упомяну только об отношении Белинского к Пушкину— к тому самому Пушкину, о котором „грешно говорить смиренною прозою“... Это восторженное восклицание Белинского относится только к Пушкину двадцатых годов: по мнению Белинского, 1830-м годом кончился Пушкин; 1830—1834 гг.—годы упадка его таланта. В некоторых из дальнейших своих статей Белинский еще резче, как мы это увидим, отозвался о Пушкине—и только после смерти его понял, кого в нем лишилась литература. О причинах такой ошибки великого критика у нас еще будет речь; здесь же достаточно напомнить о знаменитых позднейших „пушкинских“ статьях Белинского, которыми он воздвиг достойный памятник и Пушкину и самому себе.

„Литературные Мечтания“ начинающего писателя произвели шум в журнальном мире Москвы и Петербурга. Хотя статья и не была подписана полным именем (подпись гласила:—о н—и н с к и й), но, конечно, в литературных кругах все знали, кто скрывается за этой подписью, а также и за буквами В. Б. (как тоже нередко подписывался Белинский). Из переписки Станкевича известно, как „взбесился“ Шевырев, слегка задетый в „Литературных Мечтаниях“; еще более озлобился Воейков, вскоре осыпавший Белинского целым градом полемических заметок. Булгарин в „Северной Пчеле“—уже через год после появления статьи Белинского—напал на нее с беззубым остроумием в анонимной полемической статье (Белинский отвечал ему короткой, но ядовитой „журнальной заметкой“ в № 47 „Молвы“ за 1835 г.). Наконец, появилась даже целая повесть неизвестного тогда романиста Ушакова, являющаяся прямым пасквилом на Белинского („Пиюша“, в „Библиотеке для Чтения“ 1835 г., № 7). Все это показывает, что значение и силу юного критика сразу оценили—и прежде всего, конечно, во вражеском стане. Но тут же надо упомянуть, что начинающий писатель снискал не только лестную ненависть врагов, но и сочувственное внимание такого человека, как сам Пушкин; об этом факте еще будет, впрочем, речь в одной из следующих заметок.

Несколько слов о тексте „Литературных Мечтаний“. Как известно, статья эта печаталась в „Молве“ 1834 года в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь), в десяти номерах этого еженедельника. Обращает на себя внимание изобильный курсив и не менее изобильное употребление прописных букв—и то и другое заимствовано от Надеждина, при чем последнее характерно только для самых первых статей Белинского. Курсив этот, по верному замечанию С. А. Венгерова, очень часто заменяет кавычки при употреблении имен собственных и при цитировании чьих-либо подлинных выражений. Что же касается до прописных букв, употребляемых к месту и не к месту, то полтора года спустя сам Белинский подшучивал над писателями, которые „кланяются большими буквами“ кому и чему ни попало...

## 2. „О русской повести и повестях г. Гоголя“.

Почти через год после „Литературных Мечтаний“ Белинский написал статью „О русской повести и повестях г. Гоголя“; в статье этой он снова развил основные положения, высказанные им в своей „элегии в прозе“, и применил их к анализу творчества Гоголя,—или, по его собственному выражению, к основным положениям своей эстетики „приложил сочинения г. Гоголя, как факты к теории“.

Теория эта нам уже известна; но формулировка ее в этой статье является новой. В „Литературных Мечтаниях“ Белинский, как мы знаем, проводил мысль о разделении и синтезе „субъективизма“ и „объективизма“ в поэзии—еще не употребляя этой терминологии; в настоящей статье он говорит о таком же подразделении поэзии на идеальную и реальную—что почти совершенно тождественно с позднейшим делением ее на романтическую и реалистическую. „Идеальная“ поэзия является проявлением субъективизма, „реальная“—проявлением „объективизма“ в поэзии: „поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи... или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить... на идеальную и реальную“.

Итак, „идеальная“ поэзия, это—поэзия субъективная; это по мнению Белинского, поэзия древнего мира по преимуществу, отражением и продолжением которой в настоящее время является лирическая поэзия. Наоборот, „реальная“ поэзия есть поэзия объективная, родоначальником которой был Шекспир и которая к XIX-му веку достигла полного развития: это „истинная и настоящая поэзия нашего времени“. Эта реальная поэзия должна быть „спокойным и беспристрастным зеркалом действительности“, в котором „жизнь является как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте“. Ни идеальной, ни реальной поэзии нельзя дать окончательного преимущества, ибо „каждая из них равна другой, когда удовлетворяет условиям творчества, т.-е. когда идеальная гармонирует с чувством, а реальная—с истиною представляемой ею жизни“.

С этой мыслью об объективности реальной поэзии Белинский соединяет и другую уже известную нам мысль—о свободном творчестве, о бесцельности произведений искусства. „Творчество бесцельно с целью“—высказывает Белинский уже отмеченное выше положение: поэт творит целесоразмерно—в этом его субъективизм, но в то же время бесцельно—в этом его объективизм; тот не художник, кто ставит себе какую-либо моральную или утилитарную задачу. „Творчество бессознательно с сознанием“—говорит Белинский: поэт сознает, что творит, но в то же время лишь бессознательно отражает в своем творчестве и всеобщую жизнь природы и жизнь своего народа. Литература должна быть „народной“, а „народность“ проявляется в творчестве поэта только бессознательно. „Разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть народным? Нет, он об этом нимало не думал;... он был народен бессознательно“,—говорил Белинский еще в „Литературных Мечтаниях“. И ту же основную мысль своей „элегии в прозе“ он развивает и в настоящей статье; мы уже знаем, что это мысль о свободном творчестве поэта, бессознательно проявляющего в своем „бесцельном с целью“ творчестве внутреннюю жизнь своего народа. Эта основная мысль применяется теперь Белинским к реальной поэзии вообще и к творчеству Гоголя в частности.

О Гоголе Белинский впервые упомянул еще в „Литературных Мечтаниях“, посвятив ему там мимоходом немного строк. Но через несколько месяцев после этого появились новые книги Гоголя, „Арабески“ и „Миргород“, в которых были помещены такие его вещи как „Тарас Бульба“, „Старосветские помещики“, „Записки сумасшедшего“ и др. Белинский немедленно откликнулся коротенькой рецензией („Молва“, 1835 г., № 15), с обещанием поговорить в ближайшем будущем подробнее о „новых

произведениях игривой и оригинальной фантазии г. Гоголя“. Это обещание он и исполнил в настоящей статье, появившейся через полгода. За эти полгода Белинский значительно изменил свое мнение о Гоголе. В „Литературных Мечтаниях“ он называл его „подающим надежды“; в отмеченной выше рецензии он говорил о том, что надежды эти отчасти исполняются; в одновременной статейке „И мое мнение об игре г. Каратыгина“ Белинский заявлял, что „пока еще не видит гения в г. Гоголе“, и что его повесть „Портрет“ — „решительно никуда не годится“. Это говорилось на страницах апрельских ММ „Молвы“ 1835 г.; статья же „О русской повести и повестях г. Гоголя“ была написана Белинским в августе того же года. В этой статье Белинский провозглашает уже Гоголя „главою литературы, главою поэтов“, ставит его рядом с Пушкиным и „на место оставленное Пушкиным“. Белинский прекрасно понимает, что и „Арабески“ и „Миргород“ только первые шаги Гоголя, что весь он еще в будущем, — и тем не менее по этим первым шагам узнает и предвидит великого писателя. Критическая прозорливость Белинского в этом случае граничит с гениальностью.

Я отметил только-что, что такое окончательное суждение о Гоголе Белинский закрепил на бумаге лишь в августе 1835 г. и что еще в апреле того же года он относился к Гоголю гораздо холоднее. Очевидно, что не один раз перечитывая повести Гоголя летом 1835 года, перед тем как приняться за писание этой своей статьи, Белинский почувствовал громадную силу нарождающегося таланта и понял возможное значение его в будущем. Намеренно подчеркиваю даты этих статей Белинского, чтобы указать на совершенную самостоятельность его суждений. Дело в том, что весной 1835 года Надеждин уехал за границу, а Станкевич в начале лета уехал в деревню; около Белинского не было, следовательно, ни одного из тех двух людей, которые могли бы оказать на него хоть какое нибудь влияние. Статья о Гоголе является поэтому блестящим доказательством (для того, кому нужно доказывать) самостоятельности литературных взглядов Белинского; я уже имел случай заметить, что твердость и устойчивость критических взглядов Белинского является для него, вообще говоря, весьма характерной.

Но Белинский не только первый поставил Гоголя на надлежащую высоту; Белинский — и это гораздо важнее — первый вскрыл в этой же статье „пафос“ гоголевского творчества (по позднему излюбленному выражению Белинского), сущность его гения. „Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния“ — это определение поэзии Гоголя Белинский трижды повторяет на протяжении статьи; „слезными комедиями“ называет он его повести: „они смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете“, — говорит Белинский, в позднейшей статье („О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“, март 1836 года). Смех, побеждаемый слезами — вот „пафос“ гоголевского творчества; и когда впоследствии Гоголь говорил о своем видимом миру смехе сквозь незримые миру слезы, то он был не совсем прав: его „незримые слезы“ сразу узрел Белинский и сделал эти слезы видимыми всему читающему миру.

Осталось еще указать, каким образом Белинский прилагал „сочинения г. Гоголя, как факты, к (своей) теории“, — теории, намеченной выше. Мысли о свободном творчестве, о внешней „бесцельности“ искусства, о бессознательной „народности“ художника — все эти мысли Белинский прилагал к произведениям Гоголя, как теорию к фактам. Он подчеркивал величайшую объективность этого писателя: Гоголь — говорит Белинский — „всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзией описываемого им предмета. Беспристрастие его идол“. И в то же время его творчество лишено всякой внешней цели — нравоучительной, моральной, дидактической. „Правственность в сочинении должна состоять в совершенном отсутствии притязаний со стороны автора на нравственную или безнравственную цель“, — замечает Белинский, и именно потому видит ненамеренную „чистейшую нравственность“ в повестях Гоголя, в их „спокойном гуморе“: „вот настоящая нравственность такого рода сочинений. Здесь автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он

рисует их без всякой цели, из одного удовольствия рисовать“... Это „бесцельное“ творчество Гоголя является в то же время и бессознательным проявлением „народности“: как и все истинные художники, Гоголь народен бессознательно, произвольно, не может не быть народным. „Эта народность—замечает Белинский—очень похожа на Тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нисколько не думает, и она сама напращивается к нему, тогда как многие из всех сил гонятся за нею и ловят—одну тривиальность“...

Так прилагал Белинский свое основное эстетическое воззрение, высказанное еще в „Литературных Мечтаниях“, к творчеству великого представителя „реальной поэзии“. Эта эстетическая теория скоро стала и для самого Белинского и для всего русского общества превзойденной ступенью; через несколько лет Белинский отказался от своей „художественной точки зрения“ и уже не говорил, будто Гоголь „рисует вещи без всякой цели, из одного удовольствия рисовать“... Белинский понял, что такое крайнее эстетическое воззрение не охватывает всей сущности дела—и изменил свои взгляды; но сущность творчества Гоголя была определена им раз навсегда в настоящей статье. В статьях 1842 г., по поводу „Мертвых душ“, Белинский еще раз вплотную подошел к анализу творчества Гоголя, не говоря уже о том, что всегда пользовался случаем в различных своих статьях возможно продолжительнее останавливаться на Гоголе. Так, например, в статье о „Горе от ума“ (см. ниже, № 15), Белинский почти столько же говорит о „Ревизоре“ и о Гоголе, сколько о комедии Грибоедова.

В настоящей статье Белинский, изложив свои теоретические воззрения, прежде чем перейти к повестям Гоголя,—делает краткий исторический обзор русской повести вообще. Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь—вот, по мнению Белинского, „полный круг истории русской повести“. О Марлинском, Одоевском и Полевом Белинский дал впоследствии, в 1840—1847 г., отдельные статьи, что же касается до повестей Погодина и Павлова, то к ним Белинский вполне заслуженно отнесся равнодушно. В то время повести Павлова произвели некоторый шум своим „либерализмом“ (по тогдашнему времени), отрицательным отношением и к „большому свету“, и к крепостному праву, по все это было очень не глубоко, холодно, надуманно, хотя и ловко „сделано“. Белинский сразу почувствовал это. Повести же Погодина были совершенно случайным, хотя и любопытным явлением; Белинский дал им точную и верную характеристику.

Взгляды, выраженные Белинским в этой статье и в „Литературных Мечтаниях“, были повторены и развиты в статье „Ничто о ничем“, появившейся в самом начале 1836 года; говоря о ней, мы еще вернемся к известному уже нам ряду основных положений Белинского (см. ниже, № 4).

### 3. „Стихотворения Владимира Бенедиктова“.

Появившийся в 1835 г. сборник стихотворений Бенедиктова произвел, что называется, фурор и среди массы читателей, и среди поэтов, и среди критиков. Читающая публика в несколько месяцев расхватала все издание стихотворений; из поэтов только один Пушкин (если верить воспоминаниям Панаева) остался равнодушен к новой „восходящей звезде“; среди критиков первый Белинский, при всеобщем негодовании читателей (по воспоминаниям Тургенева), высказал свое резко-отрицательное мнение о поэзии Бенедиктова.

Не прошло и четверти века, как это парадоксальное мнение (ибо парадоксально все, идущее против общепринятых взглядов массы) стало общим местом. Уже в сороковых годах Бенедиктова стали мало-по-малу забывать, а в 1858 г. Добролюбов в своей рецензии на новые стихотворения Бенедиктова только дословно повторил уже общепринятое мнение Белинского. Теперь Бенедиктов забыт окончательно; мало кому известно даже позднейшее собрание стихотворений Бенедиктова 1884 г. В истории раз-

вития внешней формы стихов, версификации—Бендиктов сыграл некоторую роль, это отмечено многими за последнее время; но версификация—еще не поэзия: в развитии этой мысли и состоит вся настоящая статья Белинского. А потому и мнение его о стихотворениях Бенедиктова остается во всей своей силе для настоящего—да и для будущего—времени.

Белинский, кроме настоящей статьи, дал еще три небольшие рецензии о сборниках стихов Бенедиктова—в 1836, 1838 и 1842 гг.; рецензии эти являются по существу вариациями на темы настоящей статьи. В рецензии 1842 года Белинский уже решительно и резко подтверждает оправдавшийся критический диагноз своей первой статьи о Бенедиктове: „о достоинстве и значении поэзии г. Бенедиктова спор уже кончен“, заявляет критик в последней своей рецензии, и великолепно определяет поэзию Бенедиктова, как „поэзию средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга“. Это определение стало классическим и удержалось до самого последнего времени (см. напр. статью Б. Садовского „Поэт-чиновник“, „Русск. Мысль“ 1909 г., № XI). О Бенедиктове см. еще статьи—Я. Полонского (в указанном выше издании 1884 г.), С. Венгерова (в „Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых“, т. II, стр. 398—418), Ю. Айхенвальда (в сборной „Ист. русск. лит. XIX в.“, изд. „Мир“) и др.

Возвращаясь к Белинскому, замечу, что между 1835 и 1842 г. Белинский не упускал случая повторить и подтвердить свое мнение о стихах Бенедиктова: читатели еще не один раз встретятся с выпадами критика против этой поэзии, блестящей по форме, но холодной по чувству и ничтожной по мысли. В статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“, а также в статьях о Лермонтове Белинский мимоходом резко нападал на Шевырева, находившего, что поэзия Бенедиктова проникнута мыслию, и что Лермонтов подражает Бенедиктову...

Из различных частных настоящей статьи Белинского необходимо обратить внимание на следующие: интересно сравнить, во-первых, вступительные строки этой статьи с первыми страницами написанной через несколько месяцев статьи „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“. И тут и там идет речь о том, что такое критика, но во второй статье ответ дается значительно более подробный и даже несколько иной по существу. Во-вторых, необходимо отметить настойчивое повторение Белинским основной своей мысли шеллингианского периода—о первенстве эстетического чувства над этическим, об абсолютной нравственности художественного произведения: „только один истинный талант может быть нравственным в своих произведениях“—пишет и подчеркивает Белинский. Мы встречали эту же центральную мысль в „Литературных Мечтаниях“ и снова встретимся с нею в статьях „Ничто о ничем“ и „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“. В третьих, наконец, заслуживают внимания несколько строк настоящей статьи—об основных идеях поэм Пушкина: в них кратко выражено то самое, что десять лет спустя Белинский развил в цикле своих статей о Пушкине: это лишней раз подтверждает высказанное выше положение о редкой устойчивости и постоянстве литературно-критических воззрений Белинского.

Настоящая статья о Бенедиктове, несмотря на ее небольшой размер—одна из очень ценных в литературном наследстве Белинского; в ней он показал во всем блеске свою критическую пронзительность и тонкость своего эстетического чувства. Для тонкой, художественной организации Белинского „гремячие напевы“ Бенедиктова звучали и черезурезко и фальшиво—особенно после „божественной гармонии“ поэзии Пушкина. И время всецело подтвердило суровое суждение Белинского. „Мы никому не навязываем своего мнения,—писал Белинский во второй рецензии на стихи Бенедиктова (1838 г.):—справедливо оно—нам честь; ложно—тем хуже нам, а не поэту: истина рано или поздно должна оправдаться, а ложь постыдиться“...

#### 4. „Ничто о ничем“.

Начиная с 1841 года и до конца своей литературной деятельности, Белинский ежегодно помещал (сперва в „Отечественных Записках“, а потом в „Современнике“) обзоры литературы минувшего года; настоящая статья является первым опытом Белинского дать такой обзор литературных явлений 1835 года. Но как и в позднейших обзорах, так и в этом Белинский не ограничивается сухим перечнем произведений минувшего года, а дает цельное воззрение на всю русскую литературу. В этой статье „Ничто о ничем“, появившейся в начале 1836 года, Белинский повторяет и развивает взгляды, высказанные им годом раньше в „Литературных Мечтаниях“, а затем в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“.

„Литература есть народное самосознание, и там, где нет этого самосознания, там литература есть или скороспелый плод, или средство к жизни, ремесло известного класса людей. Если и в такой литературе есть прекрасные и изящные создания, то они суть исключительные, а не положительные явления, а для исключений нет правила“... Эти заключительные строки статьи „Ничто о ничем“ резюмируют собою содержание всей статьи и в то же самое время являются главным положением „Литературных Мечтаний“. Теоретическое обоснование этой мысли,—закрывающееся, как мы знаем, в принципе свободного творчества, в первенстве эстетического чувства и в бессознательном проявлении „народности“, — еще и еще раз подтверждается в настоящей статье. „Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности,—снова повторяет Белинский:—... где нет владычества искусства, там люди не добродетельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны“... Истинно нравственным может быть только „бесцельное“ искусство, искусство, не ставящее себе никакой предвзятой моральной цели. И в этом „бесцельном“ искусстве не может не отразиться—но совершенно „бессознательно“ — „народность“ истинного художника. Ибо—„что такое народность в литературе? Отражение индивидуальности, характерности народа, выражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками, красками и родимыми пятнами—не так ли?—спрашивает Белинский, и продолжает:—если так, то, мне кажется, нет нужды поставлять такой народности в обязанность истинному таланту, истинному поэту; она сама собой непременно должна проявляться в творческом создании... Если личность поэта должна отражаться в его творениях, то может ли не отражаться в них его народность?“ Как видим, все это является настойчивым повторением главных положений эстетической теории Белинского: „бесцельное творчество“ и „бессознательная народность“ поэта.

Что касается до собственно критических суждений Белинского о текущей русской литературе, то в настоящей статье особенного внимания заслуживает великолепная характеристика „Библиотеки для Чтения“. Белинский справедливо признал громадное влияние этого журнала на широкую массу читающей публики, влияние, следы которого сказываются еще и в настоящее время: даже орфография „Библиотеки для Чтения“ очень скоро стала общепринятой во всей читающей России, перешла во все остальные журналы и применяется нами до сих пор. Мало кто знает, например, что даже обычное теперь в научных трудах отделение апострофом русских падежных окончаний от иностранных имен собственных (напр.: „явление, открытое Wundt'ом“, „закон Hertz'a“, и т. п.) было нововведением „Библиотеки для Чтения“ и ее редактора Сенковского. Эти характерные мелочи указывают на степень распространенности и влияния (конечно, влияния чисто внешнего) „Библиотеки для Чтения“; недаром сам Белинский признавал, что журнал этот проник даже в такие углы матушки-России, где раньше можно было встретить только букварь да сонники. Это тесно связано с той провинциальностью, в которой Белинский видит причину успехов этого журнала. Вся эта характеристика „Библиотеки для Чтения“ доныне остается классической и блестящей.

Белинский останавливается на одной из повестей, помещенной в этом журнале в середине 1835 года; подробный пересказ этой слабой повести „(Плюша“) был сделан

Белинским по той причине, что в ней под именем „Висяши“, Виссарiona Кривошеина, выведён сам он, Белинский. Сочинитель этого пасквиля, довольно известный тогда Ушаков, автор чрезмерно расхваленного критиками—и Белинским в том числе—романа „Киргиз-Кайсак“, был жестоко оскорблен, во-первых, отзывом о себе Белинского в „Литературных Мечтаниях“, а во-вторых — рецензией Белинского на новую книгу Ушакова „Досуги Инвалида“. Уже в предисловии к этой своей книге Ушаков со скрытой злобою оповещал читателей, что-де он ищет счастье не нравиться некоторым „ученым“ журналам—имея в виду „Телескоп“ и „Молву“. Белинский в своей рецензии проницательно отпелся и к этому заявлению Ушакова и к самой его книге. „Ни одной светлой мысли,— писал Белинский, — ни одного занимательного положения, ни одной хорошей картины нет в его скучном и вялом рассказе; все так обще, истерто, старо, что никак не можешь примириться с мыслью, что читаешь произведение автора Киргиз-Кайсака“.

Эта рецензия Белинского появилась в начале апреля 1835 года („Молва“, № 13); а в июльском томе „Библиотеки для Чтения“ уже была напечатана повесть Ушакова „Шюша“, с подзаголовком: „Карикатура“. В карикатурном виде выводится здесь Виссарion Кривошеин, нахальный юноша, исключенный из университета и занимающийся частными уроками, недоучившийся студент, пленившийся учением Шеллинга и дерзающий судить-рядить обо всем. „Когда вы читаете хорошую книгу и, наслаждаясь ею, в душе говорите спасибо автору, и вдруг вам привносят журнал, в котором та же книга оценена ниже поношенных лаптей—поверьте, что эта оценка сделана Висяшею“. — говорил в своей повести Ушаков; очевидно, что эта „хорошая книга“ — „Досуги Инвалида“ самого Ушакова, а оценка этой книги „ниже поношенных лаптей“, это—рецензия Виссарiona Белинского, переименованного автором в Виссарiona Кривошеина (как известно, Белинский был сутуловат). Этот недостойный пасквиль Ушакова был первым „не-литературным“ выпадом противников Белинского; впоследствии ему не один раз приходилось встречаться с аналогичными позднейшими не-литературными выходками его литературных врагов. Интересно привести для сравнения один из таких позднейших пасквилей, появившийся уже в 1843 году. В романе „Жизнь, как она есть“ одного бездарнейшего графомана той эпохи, некоего Л. Бранта, выводится на сцену в карикатурном виде ряд литераторов—Сенковский, Греч, Краевский, Панаев и др.; в числе их находится и Белинский, к которому Л. Брант питал ненависть за беспощадные отзывы о его произведениях. Вот портрет Белинского (разумеется, не названного по имени): „... тот, что пониже ростом, немного косою, с лицом, свороченным в одну сторону — главный критик энциклопедии, человек не совсем глупый и не без некоторых сведений, но с такими превратными понятиями о вещах и с таким странным, ошибочным направлением ума, что лучше было бы для ближних и для него самого, если-б он был совершенным глупцом и невеждой..“ Далее этот критик именуется „молдчиком“, с которым „стыдятся говорить даже собратия по ремеслу“, и т. п. В этом пасквиле заслуживает внимания только одна черта: „лицо, свороченное в одну сторону“; сопоставляя с этим название „Кривошеина“ из пасквиля Ушакова, написанного почти десятью годами ранее, мы получаем, повидимому, объективную черту наружности Белинского—ту, которую Кавелин смягчал словами: „он был сутуловат“. К слову сказать, к выпадам Л. Бранта Белинский отнесся с таким же спокойным презрением, как и к „карикатуре“ Ушакова: он подробно выписал из обоих „произведений“ все задевающие его места и предоставил их судить читателям.

В заключение необходимо остановиться на выяснении одной обычной ошибки историков литературы, ошибки, связанной с заглавием настоящей статьи, ее начальными фразами и отношением Белинского этой эпохи к Пушкину. Отношение это, как я уже отметил выше (в заметке о „Литературных Мечтаниях“), было двойственным во всех статьях Белинского „телескопского периода“. С одной стороны Пушкин именуется великим поэтом, о котором „грешно говорить смиренною прозою“, а с другой стороны провозглашается, что „1830-м годом кончился Пушкин“; до 1830 года Пушкин — великий художник, после 1830 года он временно или навсегда замер. Еще в 1829-м году Надеждин обрушился на Пушкина за его „Графа Нулина“, заявив, что произведение



это вполне соответствует носимому им имени, что из ничего ничего не бывает, что „Нулин“ есть нуль, совершенное ничто... Обыкновенно предполагается, что начальные строки статьи Белинского „Ничто о ничем“ (а также и самое заглавие) отражают собою влияние этих надеждынских нападений на Пушкина. „Помните ли вы,—спрашивает Белинский, обращаясь к Надеждину,—как один из знаменитейших наших писателей, из первостатейных гениев, угомонил на смерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о н и ч е м и весь вылился в н и ч т о?...“ И далее: „если я не пользуюсь ни тению той лучезарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писатель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся, хотя и к конечной гибели своей репутации, высказаться в ничем на нескольких страницах“. В этом обыкновенно видят резкое нападение Белинского на Пушкина и намеки на его „Графа Нулина“.

Все это сплошное недоразумение. Белинский не мог говорить, что Пушкин „угомонил на смерть свою литературную славу“, не мог говорить о „конечной гибели репутации“ того самого Пушкина, о котором „грешно говорить смиренною прозою“. Белинский говорит здесь вовсе не о Пушкине, а иронизирует над Булгарининым, который в 1833 г. поместил в смирдинском альманахе „Новоселье“ (часть первая, стр. 405 — 416) небольшую статейку под заглавием „Ничто, или альманачная статейка о ничем“. В этой статейке—как и в самом заглавии ее—часто встречается сочетание тех двух слов, которые Белинский взял для заглавия настоящей статьи. Наши модные авторы—говорит, например, Булгарин—„не два и не три часа говорят н и ч т о, но всю жизнь будут говорить и писать н и ч т о и о н и ч е м“ (стр. 410): это буквально заглавие статьи Белинского. И далее Булгарин на протяжении всей статейки склоняет „ничто“ на все лады, занимаясь по пути и самовосхвалением, и самооправдыванием, и разными обычными булгаринскими выходками. Белинский имел полное основание заметить, что этой статейкой о „ничем“ на нескольких страницах Булгарин,—этот „знаменитейший писатель“ и „первостатейный гений“,—„угомонил на смерть свою литературную славу“, ибо журналы того времени (в том числе и „Телескоп“ и „Молва“) очень сурово отнеслись к этой статейке „знаменитого“ писателя; Полевой в „Московском Телеграфе“ 1833 г. ядовито отозвался, что „г. Булгарин весь вылился в Н и ч т о“. Эти слова Полевого Белинский дословно повторяет в приведенной выше фразе, саркастически именуя Булгарина „первостатейным гением“, сияющим „лучезарною славою“ и т. п. Как могли до сих пор относить эти слишком явные насмешки к Пушкину—совершенно непонятно, тем более непонятно, что сам Белинский впоследствии не один раз вспоминал об этой статейке Булгарина и ядовитых словах Полевого („Отечественные Записки“, 1840 г., № 2; id., № 4 и друг.; в „Собр. сочин. Белинского“, ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 166, 234 и др.).

Но зато—и это тоже еще не было замечено—в другом месте этой своей статьи „Ничто о ничем“ Белинский, действительно, косвенно задел Пушкина, рассказывая о том, как русские поэты XVIII века воспевали меценатов и вельмож, как поэты эти „надели на себя ливрея людей богатых и важных, и, за их столами, в восторге радости, запели песни дивные, живые“. Казалось бы, что это не имеет отношения к Пушкину; но дело в том, что когда Пушкин написал свое великолепное послание „К вельможе“ (1830 г.), то Полевой обвинил Пушкина в низкопоклонстве и, пародируя одно из пушкинских стихотворений, писал, что поэт „как орел“ —

С земли далеко улетел,  
В передней у вельможи сел,  
И песни дивные, живые  
В восторге радости запел.

Эти недостойные стихи Белинский теперь повторяет— правда, применяя их не к Пушкину; впоследствии, в своих пушкинских статьях, Белинский восхищался посланием „К вельможе“ и возмущался, что некоторые „крикливые глупцы“ осмелились оскорбить поэта нелепыми полемическими выходками.

Я подробно останавливаюсь здесь на отношении Белинского к Пушкину, так как ниже придется следить за переменой взглядов Белинского на последний период жизни и деятельности Пушкина. Об отношении Пушкина к Белинскому будет речь в следующей заметке. Теперь же несомненно одно: хотя и в заглавии, и в начальных фразах статьи „Ничто о ничем“ Белинский нападает вовсе не на Пушкина, однако, он позволяет себе косвенные (быть может, не намеренные) намеки на мнимо-отрицательные стороны Пушкина, признавая его в то же время великим, гениальным поэтом. Только два года спустя Белинский взглянул более правильно на творчество великого поэта, как мы это еще увидим (см. № 8).

В конце статьи „Ничто о ничем“ Белинский, охарактеризовав петербургские журналы, переходит к характеристике московских, — вернее, одного из них: „Московского Наблюдателя“. „Критика в Наблюдателе так странна, так удивительна, — замечает между прочим Белинский, — что стоит особенного, подробного рассмотрения“. Это „рассмотрение“ читатель найдет в статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“.

## 5. „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“.

„Критика в „Наблюдателе“ так странна, так удивительна, что стоит особенного, подробного рассмотрения“, — говорил Белинский в заключении статьи „Ничто о ничем“. И он действительно дал в ближайших номерах „Телескопа“ подробное рассмотрение критических приемов Шевырева, присяжного критика „Московского Наблюдателя“; этому „рассмотрению“ посвящена настоящая статья Белинского.

В чем заключается „странность“ и „удивительность“ критики Шевырева — это Белинский блестяще вскрыл в этой своей статье, настолько блестяще, что Шевырев стал „сам от себя огрекаться“ (как сообщал Станкевич в письме к Белинскому). Действительно, Белинский шаг за шагом показывал читателям нелепость основных мнений Шевырева о современной литературе, о русской женщине, о сущности таланта Гоголя, о задачах и цели критики, о необходимости просодической реформы, о Бенедиктове, о „светскости“ в литературе и т. п. Удары были настолько меткие, что Шевырев не мог ничего ответить на статью Белинского, а только затаил вражду к „недоучившемуся студенту“, так дерзко нападшему на ученого профессора. В начале сороковых годов вражда эта прорвалась в ожесточенных нападениях „славянофила“ Шевырева на „западника“ Белинского. Мы еще увидим, что Белинский не остался в долгу: ряд заслуженных ударов, нанесенных им Шевыреву в сороковых годах, далеко превзошел по своей силе и резкости довольно мягкие выпады настоящей статьи.

Остановимся на некоторых частностях этой статьи Белинского. Я уже указывал (см. № 3) на интересную параллель между первыми страницами этой статьи и началом разобранной выше статьи о стихотворениях Бенедиктова. И тут и там речь идет о критике, о „законах изящного“, но ответы на эти вопросы даются не вполне тождественные: в статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“ мы имеем дальнейшее, несколько измененное развитие взглядов, высказанных в вышеуказанной рецензии; мы еще будем иметь случай отмечать дальнейшую эволюцию взглядов Белинского на сущность, цель и задачи критики. Отмечу только, что в словах Белинского о „ремесле критика“ слышится речь *pro domo sua*, убеждение в высоте миссии критика: „сколько условий сходится в этом таланте (критика), — говорит Белинский: — и глубокое чувство, и пламенная любовь к искусству, и строгое многостороннее изучение, и объективность ума, которая есть источник беспристрастия, способность не поддаваться увлечению; с другой стороны — какова высота принимаемой им на себя обязанности!“ Белинский говорит здесь о критиках вообще; но мы знаем теперь, что из всех современных ему критиков — только к нему одному можно было применить эти его же слова.

Таким же *pro domo sua* является и первое возражение Белинского Шевыреву — по вопросу о гонораре писателям, по вопросу о „гривенниках“. Как известно, в этом случае близкие друзья Белинского иногда стояли почти что на шевыревской точке зрения; стоит вспомнить письмо Бакунина к Белинскому и ответ Белинского (16 авг. 1837 года): Белинского задело за живое пренебрежительное отношение его обеспеченного друга к „гривенникам“. Возможно, что и раньше у Белинского бывали разговоры на такую тему; по крайней мере в ответе Шевыреву ясно звучат эти мотивы *pro domo sua*: „нет, г. критик, будем радоваться от искреннего сердца тому, что теперь талант и трудолюбие дают (хотя и не всем) честный кусок хлеба“...

Из других частности следует отметить защиту Белинским французской литературы от нападок Шевырева: это очень характерно, как контраст с будущим „французоедством“ Белинского через каких-нибудь полтора-два года (см. ниже статью № 10). Заслуживает внимание также меткая характеристика поэзии Языкова и Хомякова, данная мимоходом, в нескольких строках; Языков — „поэт изящного материализма“, Хомяков — „блистательный поэт выражения и только выражения, поддельвающийся под мысль“: здесь в нескольких словах дана яркая характеристика, которую не трудно было позднее развить в особую статью <sup>1)</sup>.

Но не в этих частности дело; все эти блестящие характеристики, меткие полемические выпады против Шевырева и т. п. не должны закрывать от нас того основания, на котором построена вся статья. Мы все время следили за красной нитью, проходящей через все первые статьи Белинского; мы видели, что „бесцельное творчество“ и „бессознательная народность“ — это те два тесно связанных принципа, на которых Белинский строит все здание своей критики „телескопского“ периода. И в настоящей статье эти принципы тщательно подчеркиваются Белинским. Оспаривая взгляды Шевырева на задачу критики, как на согласование искусства и науки и как на попеременное подчинение первого второй и наоборот — Белинский снова и снова повторяет основную свою мысль о первенстве искусства, снова и снова высказывает главное положение своей эстетики. „Основной закон творчества, что оно сообразно с целью без цели, бессознательно с сознанием, — говорит Белинский, — опровергает все теории и системы, кроме той, которая основана на нем, выведенная из законов человеческого духа и вековых опытов над произведениями искусства... Не наука создала искусство, а искусство создало особенную науку — теорию изящного; следовательно искусство только тогда истинно и изящно, когда верно себе, а не науке... Когда искусство было свободно от науки, оно было полно жизни, истины, красоты эстетической“... И этот примат искусства не только не отрицает собою истины, нравственности, народности, но, напротив, обуславливает их. „Не хлопчите о воплощении идей: если вы поэт — в ваших созданиях будет идея, даже без вашего ведома; не старайтесь быть народными: следуйте свободно своему вдохновению — и будете народны, сами не зная как; не заботьтесь о нравственности, но творите, а не делайте — и будете нравственны, даже на зло самим себе, даже усиливаясь быть безнравственными!“ Все это — вариации на тему, впервые высказанную Белинским в „Литературных Мечтаниях“; мы видели, как повторял и развивал эти мысли Белинский в статьях „О русской повести и повестях г. Гоголя“, „Ничто о ничем“; теперь он повторяет их в настоящей статье. Статья эта „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“ завершает собою таким образом цикл статей, связанных одной общей идеей и относящихся к „телескопскому“ периоду деятельности Белинского. Осенью 1836 года Белинский напечатал в Телескопе еще одну большую статью (о книге „Опыт системы нравственной философии“), но она стоит совершенно особняком в литературной деятельности Белинского и в истории его развития, являясь кратковременным „фихтианским“ переходом между шеллингианством Белинского 1834—1836г. и его гегелианством 1838—1841 годов.\* Цикл крупных статей Белинского эпохи шеллингианства ограничивается четырьмя перечисленными выше и разобранными на предыдущих страницах.

<sup>1)</sup> См. ниже ст. №№ 26 и 40.

Все эти замечательные статьи, начиная с „Литературных Мечтаний“, не могли не обратить самого пристального внимания и читающей публики и литературных кругов на так блестяще начинающего критика. Я уже отметил, как озлобились на Белинского разные Булгарины и Воейковы, как „взбесился“ Шевырев, как Ушаков разразился пасквилем; известно также, как Панаев, Лажечников и другие восхищались „Литературными Мечтаниями“, как на молодого критика обратил внимание сам Пушкин, задумавший пригласить Белинского сотрудником в „Современник“ (тогда только что основанный Пушкиным). В мае 1836 года Пушкин провел около трех недель в Москве,—как раз тогда, когда вышли №№ 5 и 6 „Телескопа“, с помещенной в них статьей Белинского „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“. Хотя в этой статье продолжается холодное отношение к Пушкину тридцатых годов („как будто бы кто-нибудь сомневался в жизни таланта Пушкина!“ — восклицал Шевырев, а Белинский ответил: „а кто-ж, смеем спросить, не сомневался в этом?“), однако Пушкин был выше мелких счетов и ценил в Белинском его критический талант. Вернувшись в Петербург, Пушкин писал Нащокину: „я оставил у тебя два порожних экземпляра Современника. Один отдай кн. Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому (тихонько от Наблюдателей) и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться“ (письмо от 27 мая 1836 года). „Тихонько от Наблюдателей“—это значит в тайне от Шевырева и Погодина, с которыми Пушкина связывало старое знакомство и внешняя дружба... Это показывает, что Пушкин оценил и Белинского вообще, и в частности эту его статью „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“.

## 6. „Опыт системы нравственной философии“.

Небольшая статья Белинского о незначительной брошюрке Дроздова является характерным моментом развития русской мысли тридцатых годов вообще и Белинского в частности: она знаменует собою начало „фихтианского“ периода в жизни Белинского <sup>1)</sup>.

С настоящей статьи начинается период влияния Бакунина на Белинского—влияния в области философской мысли; статья эта, кстати заметить, написана Белинским в Прямухино, деревне Бакуниных. Бакунин „втащил“ Белинского в „фихтианскую отвлеченность“ и познакомил его с философией Фихте в середине 1836 года; можно предполагать, что он имел в руках книгу Фихте „Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen“—ту книгу, которую Станкевич читал весной 1836 года (см. его письма к Неверову от апреля этого же года). Общий дух учения Фихте был схвачен друзьями в общем правильно, хотя в частности они варьировали Фихте на свой лад—так же, как раньше Шеллинга, а позднее—Гегеля; и если от немецких романтиков и Шеллинга они заимствовали основные эстетические положения, то Фихте дал им точку опоры для обоснования учения о нравственности. Интересно однако, что о главном, исходном элементе фихтевской морали—о свободе—Белинский в настоящей статье даже и не упоминает; но зато он особенно подчеркивает, согласно Фихте (и Канту), необходимую связь морали с сознанием. Только тот поступок нравственен, который совершен не по каким-либо сторонним побуждениям, а исключительно по сознательной оценке нравственности этого поступка; можно делать добро случайно или повинувшись авторитету—но такие поступки вовсе не будут нравственно добрыми. Эти мысли Фихте вполне усвоил Белинский, вслед за Бакуниным. „Истинно добр только тот, кто разумен,—говорит Белинский в настоящей статье:—следовательно только те поступки, которые происходят под влиянием сознающего разума, могут назваться добрыми, а не те, которые проистекают из животного инстинкта; иначе верная собака и послушная лошадь были бы существами самыми добродетельными“. Отсюда объясняется отрица-

<sup>1)</sup> Подробнее об этом—см. в первой части настоящей книги V главу.

тельное отношение, почти презрение Белинского и Бакунина к „добрым людям“ — к массе людей, бессознательно добрых, бессознательно злых; термин „добрый малый“ считался крайне обидным для русских философских романтиков периода фиктианства, и причины этого Белинский объясняет в настоящей статье.

Другая мысль статьи, то же буквально заимствованная от Фихте — определение совести. Согласно Фихте, совесть есть гармония или дисгармония нашего духа, состояние согласованности или несогласованности нас с нами самими, отношение сознания нашего поступка к нашей внутренней свободе (см. его „System der Sittenlehre“, несомненно также известную Бакунину). Белинский в настоящей статье дает такое же определение совести, только попрежнему умалчивает о свободе и попрежнему связывает нравственность с сознанием: злая совесть — по его выражению — „приводит наш дух в неравенство, в дисгармонию с самим собою, вследствие бессознания“; вообще же совесть есть „сознание гармонии или дисгармонии своего духа“. Это не только мысль Фихте, но и подлинное его выражение.

Наконец, не без влияния Фихте написаны и заключительные страницы статьи, содержащие пылкую проповедь целесообразности всего существующего; убеждение это, высказанное в „Литературных Мечтаниях“, позднее получило обоснование в гегелианстве Белинского, как мы это еще увидим (см. ниже № 7). Теперь это было только горячим порывом, вполне в духе учения Фихте.

Но если Белинский вступал теперь в период фиктианства, то это не значит, что он разорвал со своим былым шеллингизмом: следуя за Фихте в области этики, он продолжал проповедывать романтическую эстетику шеллингизма. Снова повторяет он свое прежнее отождествление добра, истины и красоты („науки и искусства суть также служение верховному добру, которое вместе есть верховная истина и красота“), хотя и не провозглашает более примата эстетики, как это он делал в предыдущих статьях и будет делать в последующих. Попрежнему он убежден, что „поэзия есть бессознательное выражение творящего духа“; попрежнему не признает поэзии „ни в чем, что имело цель“, мало того — ни в чем, что было сознательным произведением воли, что не было откровением свыше в моменте поэтического вдохновения, экстаза. В предыдущих статьях Белинского мы часто встречались с этим его основным убеждением и отмечали его в наших заметках.

„Главный отличительный признак творчества состоит в таинственном ясновидении, в поэтическом сомнабуле“ — говорил Белинский в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“; в статье о стихотворениях Бенедиктова Белинский утверждал, что истинный поэт не обдумывает и не обделывает свои произведения. И теперь Белинский снова подчеркивает это свое мнение, признавая „ложными“ все поэтические произведения, которые не подходят под этот закон „необдуманности“ и „необделанности“. Годы два спустя сам Белинский пронычески вспоминал об этом своем мнении: „некогда я думал, — пишет он Бакунину (12 окт. 1838 г.), — что поэт не может переменить ни стиха, ни слова; мне говорили, что черновые тетради Пушкина доказывают противное, а я отвечал: если бы сам Пушкин уверял меня в этом — я бы не поверил“... Вот лучший ответ Белинского Белинскому. В настоящей статье читатель найдет следующий диалог Белинского с воображаемым оппонентом: „...такие-то и такие-то произведения не подходят под этот закон? — Следовательно они ложны, отвечаю я. — Но верно ли ваше начало? — Опровергните его!“ Опровергнуть было бы не трудно той-же ссылкой на Пушкина: либо лучшие его поэтические вдохновения „ложны“, ибо все они „обделаны“ (мы знаем, теперь, какой громадный труд вкладывал Пушкин в свои черновики), либо ложен псевдо-закон немецкой романтической эстетики, воспринятый Белинским. Сделать выбор было не трудно.

Итак, нарождающееся фиктианство в этике, продолжающееся шеллингизм в эстетике — вот течения, отразившиеся в настоящей статье Белинского, первой его статье „фиктианского“ периода. Но этой первой его статье суждено было быть последней статьей в „Телескопе“, который через какой-нибудь месяц после появления этой статьи Белинского подвергся полному разгрому (за помещение „Философического

письма“ Чаадаева). Литературная деятельность Белинского была таким образом насильственно прервана; только полтора года спустя, с весны 1838 года, он снова получил возможность приняться за журнальную работу в реформированном „Московском Наблюдателе“, органе ярого гегелианства Белинского и его друзей. Таким образом период развития фихтианских идей Белинского лежит вне журнальной его деятельности.

## 7. „Гамлет, драма Шекспира“.

Статья о „Гамлете“, появившаяся весной 1838 года в „Московском Наблюдателе“, новом журнале Белинского и его друзей, является первой статьёй „гегелианского периода“ жизни Белинского. Когда Белинский писал эту статью (в декабре—январе 1837—1838 г.), он был еще неопитом гегелианства, в которое его посвящали Бакунин, Катков и Боткин; в настоящей статье Белинский восторженно говорит о „той мирообъемлющей и последней философии нашего века, которая, развернувшись, как величественное дерево из одного зерна, покрыла собою и заключила в себе, по свободной необходимости, все моменты развития духа.“... Но рядом с этой восторженностью неопита идет и робость неопита, „не посвященного в таинства этой философии и приподнявшего только край завесы, скрывающей от глаз конечности мир бесконечного“; Белинский в это время трепетно вступал в царство абсолютной истины, какую ему представлялась гегелевская философия. Он уже усвоил гегелианскую терминологию—следы этого видны и в приведенных выше цитатах—и хотя говорил еще о человеке, как „отблеске Божества“, а об окружающем мире, как „дыхании одной общей жизни“, но эти термины былого шеллингианства появлялись теперь случайно и были, что называется, на исходе. (Мы увидим, впрочем, что в некоторых случаях шеллингианство у Белинского амальгамировалось с гегелианством—и это заметно даже в статьях сороковых годов; см. ниже № 24).

Теперь Белинский переходит к терминологии гегелианства, которая и остается в его статьях почти до самого конца его деятельности, даже после его внутреннего разрыва с гегелианством; в эту терминологию он иногда вкладывает не вполне гегелевское понимание. Так, например, и в настоящей статье и в последующих он считает тождественными часто употребляемые им выражения: „абсолютное“, „абсолютная идея“, „абсолютный дух“, в то время как по Гегелю эти понятия вовсе не тождественны (см. об этом у Куно Фишера, „Ист. нов. филос.“, т. VIII, „Гегель“, ч. I, кн. II, гл. XXII). Часто в настоящей статье встречаются фразы о „моменте истории“ и „моменте развития“, с тех пор твердо установившиеся в русской литературе (см. № 24); впервые высказывается мысль о цепи органического развития, впоследствии подробно разработанная Белинским в „Идее искусства“ и других связанных с нею статьях. Наконец, и к самому Гамлету Белинский подходит с гегелианской меркой, считая его слабость воли антитезисом его диалектического развития от бессознательной гармонии (тезис), через распадение, дисгармонию и борьбу (анти-тезис), к сознательной гармонии духа (синтез). Как видим, Белинский уже и в этой статье стоял на впервые открывшейся ему почве гегелианства.

„Итак, вот идея Гамлета: слабость воли, но только вследствие распада, а не по природе“.—пишет и подчеркивает Белинский, указывая, что первая часть этой формулы была дана еще Гёте. (Приведу, кстати, эту знаменитую в истории „Гамлетиады“ формулу Гёте: „Время вышло из колен своей. Горе мне, рожденному на то, чтобы заставить его войти в прежнюю колею!—В этих словах, мне кажется, мы имеем ключ ко всему образу действий Гамлета, и мне становится ясно, что Шекспир хотел изобразить: великое дело, возложенное на душу, которой оно не по силам. И этот-то именно смысл проникает всю пьесу“. Гёте, „Ученические годы Вильгельма Мейстера“, кн. IV, гл. XIII). Отсюда видна самостоятельность мысли Белинского, который определял Гамлета не только по гегелианской или по гегелианской формуле, но и по терминологии своего кружка, в выработке которой сам он принимал

деятельное участие. Мы знаем, что эта выработка началась еще в эпоху фиктианства, а теперь только продолжалась под эгидою философии Гегеля; мы помним, как еще в начале эпохи фиктианства Белинский презрительно относился к „добрым малым“, не желающим подняться на высшую ступень развития (см. статью № 6). Теперь Белинский применяет этот термин к целому ряду действующих лиц „Гамлета“—к Лаерту, к Полонию, к Гораццо; нельзя не заметить, что это общее определение несколько сглаживает индивидуальности этих лиц. Так, например, „Лаерт, это—добрый малый, больше ничего,—говорит Белинский и продолжает:—теперь обратимся к Полонию. Это уже не отрицательное, но положительное, хотя и гадкое понятие... Что же такое этот Полоний?—да просто добрый малый“...

Гамлет выше этого круга людей, но все-таки еще не представитель высшей „абсолютной жизни“, „полной жизни духа“; нет, он только „прекрасная душа“, но еще не действительный, не конкретный человек. Это буквальное выражение и Гёте и Гегеля, который в своей „Феноменологии Духа“ выводил понятие „прекраснодушия“ (Schönseeligkeit) из понятия совести: „прекрасная душа“, являющаяся воплощением теоретической, недействительной совести, боится деятельности, боится действительности, пребывает на высотах абстрактности, стремится сохранить свою чистоту, а потому при тяжелом столкновении с действительностью оказывается бессильной и предается lamentациям—вот „прекрасная душа“, вот Гамлет (Hegels Sämmtliche Werke, B. II, p. 480—1). Все эти мысли дословно повторяет Белинский и таким образом дополняет гётевское определение Гамлета гегелевским его определением<sup>1)</sup>.

Но в чем же тогда самостоятельность мысли Белинского? И в чем же значение этой статьи о „Гамлете“? Значение ее—в яркой формулировке того мировоззрения, которое на несколько лет крепко утвердилось в душе Белинского; и здесь же—самостоятельность его мысли. Это мировоззрение—примирение с действительностью—не надо понимать в том узком смысле, в каком оно иногда понимается: тут главное не в примирении с русской действительностью, не с действительностью даже вообще, тут главное в принятии мира в его целом, выражаясь современным термином, в признании высшей объективной разумности мира и жизни, в признании объективного смысла существования жизни и мира. Убежденной проповедью такой веры проникнута вся эта статья Белинского, как и все его следующие статьи 1838—1840 гг.; в „Гамлете“, как и во всем Шекспире, Белинский видит лучшее доказательство того, что в жизни нет „ничего случайного, ничего произвольного, но одно необходимое“—после чего зритель или читатель неизбежно „примиряется с действительностью“... „Все благо, все добро!“—неоднократно восклицает в этой статье Белинский; все—даже смерть Офелии—мирит его с жизнью, и из ряда трагических ужасов он выносит чувство примирения с жизнью, просветленный взгляд на нее. Во вдохновенном, пылком проповедании этой веры—все значение настоящей статьи Белинского; принятие мира—вот основной философский смысл проповедуемой им теории „разумной действительности“. Примирение со всякой реальной действительностью—это уже дальнейшее и ошибочное развитие и применение этого основного взгляда, но оно не должно закрывать от нас глубокой важности исходного пункта. Ведь и позднейший разрыв Белинского с действительностью далеко не был разрывом только с „гноусной расейской действительностью“, но был началом цельного мировоззрения и принятия мира, как мы это уже знаем из жизни и творчества Белинского. И тот, и другой взгляд имеют определенное общественное значение; но чтобы понять это значение, надо понимать философский эквивалент этих взглядов. В яркой формулировке первого из этих двух взглядов—принятия мира—главное значение настоящей статьи Белинского; великая трагедия Шекспира была удобным поводом и материалом для уяснения читателям этой горячей веры. И в прежних его статьях, начиная с „Литературных Мечтаний“, всюду звучат эти же мотивы принятия мира,

<sup>1)</sup> Ср. все это с довольно наивной характеристикой Гамлета в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“.

достигая особенной силы в последних страницах статьи о брошюре Дроздова (см. выше № 6); но только в настоящей статье впервые подводится под эту горячую веру фундамент строгой философской системы—системы Гегеля.

Таково значение этой статьи для изучения развития взглядов Белинского, для характеристики его мировоззрения; но не меньшее значение имеет она и для понимания самого Гамлета, самого Шекспира. Белинский был первым русским шекспириологом, тщательно изучившим (во французском, довольно хорошем и близком переводе) произведение этого величайшего гения всемирной литературы; его понимание Гамлета составило эпоху и донныне сохранило всю свою силу. Я не могу останавливаться здесь на русской шекспириологической литературе—отсылаю читателя для этого к сочинениям Шекспира в издании Брокгауз-Ефрона; замечу только, что после статей Белинского лучшей русской книгой о Шекспире является книга Л. Шестова „Шекспир и его критик Бравдес“. И интересно, что в этой книге, написанной через шестьдесят лет после статьи Белинского, мы имеем по существу тот же самый взгляд на Гамлета, на Шекспира, который был впервые высказан Белинским.

В начале настоящей статьи Белинский так вкратце намечал предполагаемое ее содержание: мы поговорим и о самой пьесе, и об игре Мочалова, и о переводе; но публика будет главнейшим вопросом нашего рассуждения“. Но он не выполнил двух пунктов этой программы: почти ничего не сказал о публице, этом якобы „главнейшем предмете“ своей статьи, и ничего не сказал о переводе (Н. Полевого), из которого сделал так много выписок. Последний пропуск был восполнен им в следующем же томе „Московского Наблюдателя“, где была помещена особая статья Белинского о двух переводах „Гамлета“—Н. Полевого и Вронченки. Перевод Полевого Белинский назвал „прекрасным, поэтическим, но не художественным“, „одной из самых блестящих заслуг г. Полевого русской литературе“; но тут же он указал на целый ряд искажений, допущенных Полевым. Одно из них особенно знаменито: „страшно, за человека страшно мне!“—в этом сочиненном Полевым стихе Белинский видит истинно-шекспировское выражение; и оно действительно удержалось до сих пор. Вообще же Белинский слишком переоценил перевод Полевого; несколько лет спустя он впал в противоположную крайность: в одной из статей 1840 года (о третьей книге „Репертуара Русского Театра“) он издевается над этим переводом Полевого и называет „Гамлета“ в его переводе— „водевилем“. Ни то, ни другое не соответствует действительности: перевод Полевого— вполне литературный перевод, но с совершенно произвольными изменениями переводчика, пожелавшего „пригладить“ оригинал; по этой причине он является не столько переводом, сколько переделкой, не имеющей вследствие этого в наше время никакой ценности.

Настоящая статья Белинского о Гамлете послужила началом литературной полемики Белинского с Полевым; в ответ на эту статью Полевой почему-то напечатал в своем журнале („Сыны Отечества“, 1838 г., № 2) враждебный отзыв о ней некоего А. М.; Белинский отвечал статьей „Литературное объяснение“. Это—первые выстрелы в наступающей войне Белинского с Полевым, которого Белинский, с вечно своей „неисговестью“, стал ненавидеть за измену былым литературным убеждениям и за союз с Булгариным и Гречем; ниже придется еще говорить об отношении Белинского к Полевому (см.; напр., № 16).

Возвращаясь к настоящей статье Белинского, резюмирую вкратце ее значение: это первая заслуживающая внимания русская статья о Шекспире и первый классический анализ его трагедии; это первая статья гегельянского периода жизни Белинского, показывающая знакомство его и с общим духом системы Гегеля, и с некоторыми ее частностями; наконец—и это самое главное—это одна из самых блестящих его статей, в которой с громадным подъемом и неизгладимой яркостью обосновывается главное убеждение Белинского этого периода—убеждение в объективной осмысленности жизни и во внутренней целесообразности мира. В последнем—весь смысл, все значение статьи.



## 8. „Литературная хроника“.

Одновременно со статьей о „Гамлете“ появилась и настоящая статейка Белинского; намечающая принципы новой редакции „Московского Наблюдателя“, а потому и очень характерная для понимания настроения Белинского и содержания его статей 1838—1839 г. Белинский отказывается впредь от „полемиических браней и схваток“; он обещает читателям попрежнему „смело называть хорошее хорошим, а дурное дурным“, но останавливаться только на первом, а второе „проходить красноречивым молчанием“. Так начинал понимать Белинский свое „примирение с действительностью“; это настроение, а вместе с тем и начало настоящей статьи получают объяснение из письма Белинского к Бакунину (от 1 ноября 1837 года); в письме этом, говоря о возможном переходе „Московского Наблюдателя“ в руки новой редакции, Белинский замечает: „если это состоится, то ты не узнаешь меня в моих статьях, именно потому, что я разубверился в достоинстве отрицательной любви к добру и чувствую в себе больше снисходительности к подлостям и глупостям литературной братии, но зато и больше ревности противоположным образом действованья доказывать истину. Не велика польза доказать, что Сенковский—подлец, а „Библиотека“—гадкий журнал: публика это давно знает и подписывается на „Библиотеку“ не за то, что она гадкий журнал, а за то, что нет лучшего журнала: так гораздо лучше дать ей хороший журнал, нежели бранить „Библиотеку“. Поэтому полемика решительно изгоняется из нашего журнала. Из этого отнюдь не следует, чтобы и правда изгонялась из него, но дело в манере и тоне... Я имел несчастье обратить на себя внимание правительства не тем, чтобы в моих статьях было что-нибудь противное его видам, но единственно резким тоном, и это очень глупо; вперед буду умнее“...

И действительно, в статьях „Московского Наблюдателя“ Белинский строго выдерживал эту столь несвойственную ему программу полемиической умеренности и аккуратности; мало того, иногда он пытался находить хорошее даже в дурном или посредственном—как можно видеть из его статьи о сочинениях Греча (см. ниже № 9). Поэтому *profession de foi*, высказанное Белинским в приведенном письме и в начале настоящей статьи, является очень характерным для целой полосы деятельности Белинского, как редактора „Московского Наблюдателя“.

Главное значение статьи однако вовсе не в этом, а в новом отношении к Пушкину, так непохожем на бывшее отношение 1834—1836 гг.; настоящая статья является гранью, является первым камнем того памятника Пушкину, который воздвиг ему Белинский в своих позднейших знаменитых „Пушкинских статьях“. Я уже отмечал в предыдущих заметках (№№ 1, 4, 5) двойственное отношение Белинского в первых его статьях к Пушкину: считая Пушкина величайшим русским поэтом-художником, Белинский в то же время говорил о падении его таланта с 1830 года. Причины последнего взгляда намечает сам Белинский в настоящей статье и решительно восстает против подобного „смешного и жалкого“ мнения разных „добрых людей“ о мнимом падении таланта Пушкина; „...да и кто не был, в свою очередь, добрым человеком?..“—с горечью восклицает Белинский, имея в виду самого себя, не так давно восклицавшего: „а кто же, смеем спросить, не сомневался в этом?“ (т. е. в падении таланта Пушкина; см. выше № 5). Мы пойдем смысл этого самобичевания, если вспомним значение термина „добрый человек“, „добрый малый“, употребленного Белинским впервые в статье о книжке Дроздова и повторенного в статье о „Гамлете“ (см. №№ 6 и 7). В связи с этим станет понятно и выражение Белинского о былом своем „жалком воззрении, с каким смотрело на этот предмет (на лучшие произведения Пушкина) детское прекраснóдушное, которое, выглядывая из узкого окошечка своей ограниченной субъективности, мерит действительность своим фальшивым аршином“...

Теперь Белинский понял, кого лишилась в Пушкине Россия. Начиная с этой статьи, преклонение Белинского перед Пушкиным все возрастает вплоть до его „пушкинских статей“; и если в настоящей статье Белинский еще с оговоркой признает ми-

ровое значение Пушкина („как поэт, Пушкин принадлежит, без всякого сомнения, к мировым, хотя и не первостепенным гениям“), то через каких-нибудь два года он уже без всякой оговорки назовет Пушкина „великим мировым поэтом“<sup>1)</sup>). Конечно, в этом преклонении перед Пушкиным главное значение имела эстетическая оценка его произведений; но если в середине сороковых годов Белинский, как мы еще увидим, охладел к Пушкину по причинам общественного характера, то не надо удивляться, что и настоящее его преклонение перед Пушкиным вызвано прежде всего сходством философских взглядов Пушкина и Белинского на мир и на жизнь. Теперь Белинскому было дорого в Пушкине его приятие мира, его „просветленный взгляд“ на жизнь, на мир, на человека. „Чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин,—говорит теперь Белинский о целом ряде произведений Пушкина,—разгадать вполне их тайственный смысл и войти во всю полноту и светозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выйти из борьбы прекрасноты в гармонию просветленного и примиренного с действительностью духа. Повторяем: примирение путем объективного созерцания жизни—вот характер этих последних произведений Пушкина“. Если отвлечься от гегелианской терминологии, то нельзя не видеть в этом вполне верного определения сущности пушкинского творчества и мировоззрения; близость его к настоящему настроению Белинского ясна из всего предыдущего. Даже в самой смерти Пушкина Белинский видел благо, восклицая: „кто дерзнет отрицать, что жизнь человеческая не есть высокая драма во всех ее многообразных проявлениях, и что самое страдание и бедствие не есть в ней благо!“ Это „дерзнул отрицать“ сам Белинский тремя годами позднее, отказавшись от веры во внешнюю целесообразность мира и в Абсолютный Дух, правящий его судьбами.

Итак, настоящая статья может считаться предисловием к будущим статьям Белинского о Пушкине; в ней намечается правильный в общем взгляд на великого поэта, и кладется грань между былым неверным пониманием и будущей блестящей оценкой произведений Пушкина и его значения в русской литературе.

## 9. „Сочинения Николая Греча“.

В предыдущей заметке мы прочли отрывок из письма Белинского, характерный для его „примирительного“ настроения этой эпохи; настоящая статья Белинского является лучшей иллюстрацией к положениям этого письма и к вступительным строкам предыдущей его статьи, в которых развиваются эти „примирительные“ мысли. Белинский теперь не только воздерживается от резких отзывов и полемических выпадов, но даже мирится с самыми отрицательными явлениями литературы, с самыми противоположными его личному убеждению мнениями—и все потому, что, согласно гегелевской триаде, высшая истина есть синтез двух противоположных и доведенных до абсурда низших истин. Так, например, теперь Белинский мирится с „Библиотекой для Чтения“, считая этот журнал „полезным“, „заслуживающим успеха“: „все благо, все добро!“—неоднократно восклицает Белинский. Правда, и в „Литературных Мечтаниях“ Белинский, презирая „Библиотеку для Чтения“ и ее редактора, говорил о них в совершенно гонимых выражениях: „я имею удивительную способность—писал там Белинский—видеть во всем одну хорошую сторону, не замечая дурных, и на что бы ни смотрел, всегда повторяю мой любимый стих:

И все то благо, все добро!

ибо я убежден сердечно и душевно, верю свято и непоколебимо, вопреки г. профессору Сенковскому, что род человеческий, по воле бдящей над ним любви Божией, идет

<sup>1)</sup> См. статью „Русская литература в 1840 году“ (№ 22). Яркое сравнение Пушкина и Шекспира находится в рецензии на третью книжку „Пантеона Русского и всех Иностраных Театров“ (1840 г.). В середине сороковых годов Белинский не много охладил к Пушкину, по причинам, которые будут отмечены в своем месте.

к своему совершенству"... Это повторял Белинский и позднее, в статье „Ничто о ничем“, где так много места посвящено „Библиотеке для Чтения“; это же повторяет и теперь, но с совершенно другой точки зрения—с точки зрения синтеза двух низших истин. „Московский Наблюдатель“ редакции Белинского — журнал „умозрительный“, философский; „Библиотека для Чтения“, журнал Сенковского — „непримиримый враг умозрения, философии, (и) это не порок, а достоинство,—говорит Белинский:—представляя собою в этом отношении диаметрально противоположность редактору „Библиотеки“, мы тем более уважаем этот журнал. Без разности и противоположности во мнениях не было бы ни жизни, ни движения, ни прогресса. Во всякой мысли, во всяком учении есть своя сторона истины, и все благо, все добро!“

Неудивительно, что при таком отношении к мнениям противников Белинский так мягко отнесся и к рецензируемому им собранию сочинений Греча: „Ты не узнаешь меня в моих статьях“—писал Белинский Бакунину, в указанном выше письме; и действительно, трудно узнать в настоящей статье „неистового Виссарiona“, так резко отрицательно относившегося к Гречу и раньше и впоследствии. Это, повторяю, неудивительно; гораздо удивительнее то, как верно сумел охарактеризовать Греча Белинский в этой своей не по заслугам снисходительной статье. Разные романы и повести Греча относились к роду публицистической беллетристики, точно так же, как все его записки, путешествия, письма—к роду беллетристической публицистики, публицистики в том смысле, в каком употребляет это слово Белинский. Слово это не имело еще в то время достаточно установившегося значения, а потому, употребив слово „публицист“ всего один раз, Белинский заменяет его словом „литератор“, говоря о Грече; имея в виду эту замену, мы пойдем настоящий смысл характеристики Греча, которую надо признать блестящей.

Во всем остальном оценка Греча Белинским слишком снисходительна: в настоящее время это по заслугам забытый писатель, от которого осталось одно интересное только для историков литературы произведение („Записки моей жизни“, 1886 г.). Известность Греча в литературе—отрицательная: он запятнал себя дружбой и единомыслием с Булгариным, неприличное предисловие которого к собранию сочинений Греча Белинский приводит в настоящей статье. Через немного лет Белинский воздал должное этим „Братьям-Разбойникам“ русской литературы (ходившую по рукам пародию этой поэмы Пушкина, в применении к Булгарину и Гречу, Белинский в 1842 году прислал в письме к Боткину). 14-го марта 1840 года Белинский писал из Петербурга Боткину: „живя в Москве, я даже стыдился много и говорить о Грече, считал его призраком, но в Питере он авторитет больше Сенковского“. Если иметь в виду, что настоящая статья появилась в сентябре 1838 года, то ясно, что еще в Москве Белинский скоро изменил свое мнение о Грече. А в письме от 30 декабря 1840 г. Белинский уже писал: „о, Боткин, если бы ты знал, хотя приблизительно, что такое Греч: ведь это апотеоз расейской действительности, это литературный Ванька-Каин“... И он начал вести ожесточенную борьбу с Гречем и Булгариным, этими двумя литературными „братьями-разбойниками“, которых обессмертил еще Пушкин в знаменитых статьях Феофилакта Косичкина (1831 г.).

Настоящая статья интересна еще одной очень важной чертой, которая впоследствии получит значительное развитие в статьях Белинского. Именно, подходя к характеристике Греча и указывая на „публицистический“ (в смысле Белинского) род его беллетристики, Белинский, не употребляя этих терминов, ясно разграничивает „публицистику“ от искусства. В художественном романе—творчество, фантазия, идеи, огонь поэзии, вдохновение; в романе „публицистическом“—занимательность, воображение, сентенции, теплота чувства, одушевление. Первый род относится к искусству, и к нему, по мнению Белинского, остается применимым все то, что он раньше говорил об искусстве и что снова высказывает о нем: бессознательность с сознанием, беспечность с целью (см. №№ 1—5); в статье о „Менцеле“ (№ 14) Белинский разовьет это кантовское и шеллинговское положение с новой, гегелианской точки зрения. Но рядом с искусством, рядом с художественным произведением Белинский признает теперь право суще-

ствования и зѣ „публицистической беллетристикой“—взгляд, который впоследствии был высказан им в иной форме, но с тем же смыслом. Уже в статье о „Русской литературе в 1840 году“ Белинский разграничил „литературу“ и „словесность“ и развил это ограничение в статье „Общее значение слова литература“ (которую я отношу к 1843 году,—см. № 25). В статьях 1841 года о русской народной поэзии (см. ниже, № 26) Белинский разграничил „искусство“ и „беллетристику“, заявив, что „в беллетристике внешняя цель может иметь и большую пользу и важное значение, тогда как в искусстве одна цель—само искусство“. В письме к Боткину от 16 апреля 1840 г. Белинский писал: „теперь я вполне сознаю, что слово художественный—великое слово и что с ним надо обращаться осторожно и вежливо, даже в приложении и к Пушкину с Гоголем, и в их творениях отличать поэтического от художественного и даже беллетристического“; подробное развитие этой мысли Белинский дал в одновременной статье о сочинениях Марлинского (см. № 17) и в целом ряде мелких рецензий. Наконец, в статье 1845 года о книге Никитенко „Опыт истории русской литературы“ (см. № 42) Белинский формулировал разделение „литературы“ и „беллетристики“—что удержалось до позднейшего времени. Мы видим теперь, что история развития этих очень важных для понимания Белинского мыслей восходит к настоящей статье о Грече, написанной еще в начальный период гегелианства Белинского.

## 10. [О критике].

### „Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина“. „Юрий Милославский, или русские в 1612 году“.

В статье о сочинениях Греча Белинский признал право существования за целым родом произведений „публицистической беллетристики“; ему оставалось сделать еще один шаг, чтобы объяснить и оправдать существование вообще всех литературных явлений. Этот шаг он и делает в настоящей статье.

Ошибочно было бы объяснять это исключительно „примирительным настроением Белинского этого периода: ведь само „настроение“ явилось только следствием гегелианства Белинского, следствием его знакомства с „диалектическим ходом развития абсолютной идеи“. Диалектический метод, являющийся в своей сущности методом историческим, заставил Белинского оценивать литературные явления с исторической точки зрения—с этого Белинский начинает и этим заканчивает настоящую статью. Прежде, начиная с „Литературных Мечтаний“, он огульно осуждал, за небольшими исключениями, всю русскую литературу XVIII века с своей точки зрения абсолютного искусства, подходил к этой литературе с критерием абсолютной художественности. Теперь он признает значительность таких литературных произведений, „которые могут быть важны, как моменты в развитии не искусства вообще, но искусства у какого-нибудь народа, и сверх того, как моменты исторического развития и развития общественности у народа“. С этой точки зрения Белинский намеревался рассмотреть в настоящей статье комедии Фонвизина и с этой же точки зрения признал „важное значение“ Кантемира, Сумарокова, Хераскова, Богдановича и др. С подобной же точки зрения Белинский хотел разобрать и роман Загоскина, взяв его, как «момент развития» русской литературы, но указывая в то же время „на его отрицательные стороны, которые и открываются именно в историческом развитии“. С этой точки зрения Белинский признавал необходимость даже романов Булгарина, даже повестушек А. Орлова, даже „Георга, милорда Англинского“: все они имеют свою публику, все они важны для понимания общественного развития страны, все они являются определенными моментами исторического развития литературы. Но именно в этом историческом развитии и открываются их отрицательные стороны, путем доведения их до абсурда и путем синтеза двух низших истин в одной высшей.

Все эти взгляды вытекают из основной веры Белинского в „разумную действительность“—в целесообразность и объективную осмысленность мира и жизни, как мы это уже указали выше (см. № 7). „Или мир есть нечто отрывочное, само себе противоречащее,—повторяет Белинский в настоящей статье,—или единое целое, но только в бесконечном разнообразии являющееся; в первом случае он недоступен знанию и не есть проявление вечного разума, который себе не противоречит; во втором случае он должен быть разумным явлением“... Неразумного, объективно нецелесообразного нет и быть не может; применяя это общее положение к литературным явлениям, Белинский неизбежно должен был прийти к исторической точке зрения и даже довести ее до крайнего развития.

Такова основная мысль этой статьи, тесно примыкающей к предыдущим статьям „Московского Наблюдателя“. Приступая к развитию этой мысли, Белинский почувствовал необходимость нового определения понятия критики: раньше, в эпоху своего шеллингианства и фихтианства, он основывал критику исключительно на принципах эстетики (см. № 5 и др.); теперь это основание кажется ему слишком шатким, слишком субъективным. Эту субъективную эстетическую критику Белинский готов оставить условно; в последующей статье о романах Лажечникова он пишет: „пока мы условимся, что дело критики есть отделение красот от недостатков в произведении искусства, а мерка при этом химическом процессе—личное ощущение критика“. Но действительное понимание Белинским критики совсем иное, как сам он это подчеркивает; это понимание он излагает в настоящей статье, следуя за немецким критиком-гегелианцем Ретшером, статью которого он здесь излагает. Он устанавливает понятие философской критики, критики абсолютной, суду которой могут подлежать только высшие художественные произведения. „Нам еще долго ждать такой критики и такого критика“,—прибавляет Белинский, очевидно даже и не предполагая, что сам он был представителем именно такой критики, хотя бы, например, в своей статье о „Гамлете“; так как сущность этой статьи именно заключается в выяснении философской мысли трагедии, а вовсе не в уяснении ее характеров. Последнее является задачей психологической критики, которая должна существовать на ряду с философской. Что же касается до произведений не всецело художественных, то к ним должна прилагаться критика разрушающая, которая указывает на ту высшую истину, одной частью которой является такое произведение. Исходя отсюда, Белинский и говорит об исторической критике, как мы это отметили выше.

Не останавливаясь на частностях, вроде подразделения философской критики на стадии аналитической и синтетической: надо было подчеркнуть только главную мысль Белинского в его изложении Ретшера. Этот второстепенный эстетик-гегелианец был долгое время большим авторитетом для Белинского и его друзей; мы увидим, что уже в сороковых годах Белинский, осуждая Ретшера за его „филистерство“, все же продолжал во многом придерживаться его взглядов. В статье 1841 года „Идея искусства“ (см. ниже № 24) Белинский, определяя искусство, как „непосредственное созерцание истины, или мышление в образах“, прибавил: „это определение еще в первый раз произносится на русском языке“. Говоря так, он очевидно забыл о настоящей статье, где это же определение было выражено им, вслед за Гегелем и Ретшером, почти теми же словами. „Чувство есть непосредственное созерцание истины“, а „поэзия есть мышление в образах“,—говорит Белинский в настоящей статье; тремя годами позднее он буквально повторил это определение, распространив его на искусство вообще. Замечу кстати, что теперь, в начале своего увлечения Гегелем, Белинский более строго следовал за ним, чем впоследствии, три года спустя; в настоящей статье он считает непосредственное низшей ступенью к опосредственному, считает, следуя за Гегелем, чувство „бессознательным разумом“, а разум „сознательным чувством“; а в указанной статье 1841 года он возвышает непосредственное над опосредствованным и тем возвращается к шеллингианской интуиции, интеллектуальному воззрению. (См. об этом № 24).

• Следует остановиться еще на одном характерном пункте настоящей статьи—на подробном сопоставлении немецкой и французской критики, немецкого и французского национального духа. Этот мотив часто впоследствии звучал в статьях Белинского—

укажу хотя бы на статьи №№ 22, 25, 37 и др., — но звучал он в разное время совершенно по разному. В эпоху „телескопских“ статей Белинский защищал французскую мысль, французскую литературу от огульных пападок Шевырева и Сенковского, хотя и не сочувствовал французскому „эмпиризму“ в философии; теперь, вступив в гегелианский период своей жизни, он одновременно вступил в период ожесточенной ненависти к французам. Перечтите начало статьи о „Гамлете“, с обильно рассыпанной бранью против „гнилого, бессильного, бездушного французского классицизма“ и „конвульсий лихорадочного, пьяного французского романтизма“; с какой радостью Белинский приводит выписки из писателей, с той или иной стороны неодобрительно отзывающихся о французах! За что Белинский так ненавидел „французский дух“ — это он достаточно подробно разъясняет в настоящей статье; он чувствовал в французах — антиподов своему пониманию искусства, жизни, вселенной. Оптимистическому признанию разумной действительности мира, свойственному немецкой философии не только с Канта, но даже с Лейбница и вплоть до Гегеля, „французский дух“ противопоставлял пессимистический скептицизм, начиная с эпохи энциклопедистов; это было ненавистно Белинскому, и он ударился в противоположную крайность, в доведение до абсурда теории разумной действительности, в применение ее к самым темным сторонам окружающего его мира. Так с философской почвы вопрос скоро перешел на политическую, на социальную — как мы это увидим ниже на статьях Белинского 1839—1840 гг.; но основание его продолжало лежать на философской почве. До какой степени ненависти доходил Белинский в этом своем „французезде“, говоря словами Берне о Менцеле, видно хотя бы из тех строк настоящей статьи, в которых Белинский говорит о французах: „народ без религиозных убеждений, без веры в таинство жизни — все святое оскверняется от его прикосновения, жизнь мрет от его взгляда...“ Отсюда видно, чем был оскорблен Белинский в святынях своего воззрения на мир и жизнь...

В настоящей статье намечается и другой предмет новой ненависти Белинского — Шиллер, „этот страшный полу-художник и полу-философ“, которого Белинский сравнивает, *toutes proportions gardées*, с автором „Юрия Милославского“, Загоскиным! „С Шиллером я совсем рассорился, — пишет Белинский Станкевичу, 8 ноября 1838 года, т.-е. одновременно с настоящей статьей: — Бог с ним — потешился он надо мной!“ Годом позже Белинский писал Станкевичу: „Шиллер тогда был мой личный враг, и мне стоило труда обуздывать мою к нему ненависть и держаться в пределах возможного для меня приличия. За что эта ненависть? За субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекраснодушную войну с действительностью, за все за это, от чего страдал я во имя его“... В Шиллере он ненавидел самого себя эпохи фиктианства, означенной первой вспышкой политического радикализма Белинского; отношение Белинского к Шиллеру, впервые прорвавшееся в настоящей статье, продолжалось в последующих статьях Белинского до 1839—1840 года.

Настоящая статья должна была составлять вступление к двум следующим статьям о Фонвизине (вторая статья) и Загоскине (третья статья); но эта вторая и третья статьи так и остались ненаписанными. Поэтому настоящая статья носит заглавие совершенно не отвечающее ее содержанию, и я позволил себе, сохранив заглавие Белинского, дать ей (в скобках) более общее и отвечающее ее содержанию заглавие: „О критике“.

## II. „Ледяной дом“. „Басурман“.

На первых страницах статьи „О русской повести и повестях г. Гоголя“, Белинский подробно остановился на вопросе о развитии в западно-европейской и русской литературе формы романа, особенно романа исторического. Действительно, первая половина XIX века была эпохой пышного расцвета исторического романа, в связи с расцветом романтизма; Вальтер-Скотт в этом отношении был родоначальником и главой

целой школы. В предыдущих статьях Белинского и в указанной его статье можно неоднократно встретиться с восторженным отношением Белинского к Вальтер-Скотту, этому „нашему Гомеру“, „выразителю полного духа времени“, „второму Шекспиру“ и т. п.; такие же отзывы о Вальтер-Скотте и Купере читатели найдут и во всех последующих статьях Белинского. В настоящее время, когда Вальтер-Скотт и Купер стали почти исключительно „писателями для юношества“, такое восторженное отношение к ним кажется странным: от Вальтер-Скотта или Купера до Гомера или Шекспира—дистанция громадного размера; но в то время такое восторженное отношение было общераспространенным. Причины этого отчасти разъяснены Белинским на первых страницах его статьи „О русской повести и повестях г. Гоголя“.

К началу тридцатых годов в русской литературе появился ряд исторических повестей и романов: „Юрий Милославский“ Загоскина, „Дмитрий Самозванец“ Булгарина, „Последний Новик“ Лажечникова. Из этих трех писателей Лажечников, несомненно, был наиболее талантливым; хотя никакого художественного значения его романы не имели и не могли иметь, но в них есть известная доля занимательности, и в свое время они читались легко. Несмотря на личные дружеские отношения с Лажечниковым и даже на свои горячие похвалы его романам, Белинский все же понимал, что к ним нельзя предъявлять никаких строгих требований эстетики; в то же время внешняя занимательность этих романов увлекала Белинского. Эта „двойственность“ была необъяснима для Белинского, пока он не пришел к мысли о законности „публицистической беллетристики“ (см. № 9); „только тогда можно вполне насладиться литературным произведением,—говорит Белинский в настоящей статье,—когда поставишь его на свое место и не будешь требовать от него ни больше, ни меньше того, что оно может дать“... И разумеется, только с такой точки зрения и можно подходить к произведениям Лажечникова; несмотря на преувеличенные похвалы ему в „Литературных Мечтаниях“ и в настоящей статье—Белинский в сущности всегда смотрел на Лажечникова именно с этой точки зрения. В статье „Ничто о ничем“ Белинский справедливо отозвался о романах Лажечникова, как о произведениях, конечно, не гениальных, не великих, не бессмертных, но являющихся плодом „искренней, задушевной и образованной мысли“. Романы Лажечникова, действительно, оказались „не бессмертными“: они были забыты уже в сороковых-пятидесятых годах; в начале шестидесятых годов Аполлон Григорьев в своих критических статьях говорил уже о „допотопном значении Лажечникова“, о том, что его романы являются уже „омертвелыми пластами“ русской литературы; а в настоящее время уже мало кто знает о собрании сочинений Лажечникова 1884 года, хотя и до сих пор Лажечников остался „писателем для юношества“. Из литературного наследия Лажечникова гораздо более заслуживают внимания его „Заметки для биографии Белинского“, впервые напечатанные в „Московском Вестнике“ 1859 года (№№ 17 и 32).

Из частных особенностей настоящей статьи следует обратить внимание на отношение Белинского к историческому роману вообще. Еще в одной из самых первых своих рецензий на роман „Посельщик, соч. Н. Щ.“ (в Молве“ 1835 года) Белинский определил цель исторического романа, как художественный синтез былой жизни народа, интуитивное уловление его духа; верность историческим фактам, точное следование за хронологией событий—дело сравнительно второстепенное. Эту мысль Белинский несколько смягчает в настоящей статье, но все-таки требует от исторического романа соблюдения только художественной, а не исторической истины. Это мнение теперь отброшено; от исторического романа мы требуем соединения истины и исторической, и художественной, хотя художнику предоставляется широкая возможность субъективного освещения исторических фактов; „Война и мир“ Толстого является во всех этих отношениях образцом исторического романа. Но и в эпоху Белинского русская литература имела уже великие образцы этого рода творчества: сам Белинский восторженно отзывался о недоконченном пушкинском „Арапе Петра Великого“ и его „Капитанской дочке“, где историческая истина тесно переплетается с истиной художественной (см. ниже, № 45).

Отмечу еще в настоящей статье эпизодическое отступление—сравнение „идеальной“ и „чувственной“ любви, характерное для Белинского 1838—1839 гг.,—когда

Белинский и в этом вопросе стал переходить на точку зрения „действительности“ от бывшего „прекраснодушного идеализма“. В статье о „Римских элегиях“ Гёте (см. ниже, № 27) выяснится последнее отношение Белинского к этому вопросу. Наконец, следует отметить еще тесную связь настоящей статьи со всеми предыдущими, начиная с самых первых, в вопросе об объективности художника и о несовместимости „моральной точки зрения“ с поэзией. В эпоху признания разумной действительности мира, былой объективизм Белинского приобрел новую точку опоры и стал проповедываться им все с большей и большей силою, как мы это еще увидим из статьи о „Менцеле“ (№ 14).

Настоящая статья является последней из более или менее крупных статей Белинского в „Московском Наблюдателе“; хотя издание последнего продолжалось после этого еще полгода (до середины 1839 г.), но Белинский не написал за это время ни одной критической статьи, а только поместил в этом журнале свою очень слабую пятиактную драму „Пятидесятилетний дядюшка“ и с полсотни мелких рецензий. Мелкими же рецензиями он дебютировал со второй половины 1839 года в „Отечественных Записках“ Краевского, продолжая в них ту полосу гегелианства, которая началась в „Московском Наблюдателе“ и которая характеризуется статьями №№ 7—11.

## 12. „Бородинская годовщина“.

Статьей этой Белинский дебютировал (если не считать десятка мелких рецензий) в „Отечественных Записках“ осенью 1839 года. Через два месяца, в декабре этого же года, он поместил большую статью о книге Ф. Глинки „Очерки бородинского сражения“, являющуюся непосредственным развитием и продолжением настоящей статейки. В заметке об этой большой статье (ниже, № 13) одновременно коснусь и настоящей, служащей ей предисловием; здесь же отмечу только, что основной мыслью настоящей статьи является мистичность идеи самодержавия. Мысль эта здесь только высказана; обосновать ее—было задачей статьи об „Очерках бородинского сражения“.

Эти две статьи являются применением к области социальной и политической основного философского убеждения Белинского в объективной целесообразности мира, в разумной действительности: общий философский принцип должен был оправдаться во всех областях жизни и мысли. И Белинский смело приложил этот принцип к самым, казалось бы, отрицательным явлениям действительности и убедил сам себя, что эти явления всеобщимы и разумны; он убедил в этом не только себя, но и своих друзей, которые, по его словам, „все восхитились“ этой его статейкой о „Бородинской Годовщине“ и „больно восхищались“ статьей об „Очерках бородинского сражения“. Однако не прошло и нескольких месяцев, как Белинский, доведя до крайности эту свою мысль, увидел, насколько его теория противоречит „действительности“; увидев это, он сначала робко, а затем резко отказался от своей былой философской веры.

Одновременно с этим он отказался и от этих своих статей. „Что же сказать о моем нелепейшем и натянутом вступлении в разбор брошюрок о бородинской битве, которым все восхитились?—пишет Белинский Боткину (3 февраля 1840 г.):—дорого дал бы я, чтобы истребить его“... Здесь Белинский отказывается только от „вступления“ рецензии, от первой страницы статьи; причина этого в том, что Греч в конце 1839-го и в начале 1840-го года печатно и устно (в публичных лекциях „О русском языке“) высмеивал между прочим это вступление и приводил из него фразы об усвоении „объективной личности в субъективную собственность“, о субстанциональной родственности факта истории с духом созерцающего, о просветлении до прозрачности таинственной сущности факта и т. п. Но уже через два месяца, в письме к тому же Боткину от 16 апреля 1840 г., Белинский начисто отказывается не от одного „вступления“, но от всей статейки: „глупая статейка о брошюрках Жуковского и Глинки, над которою смеялся весь Петер и публично тешился Греч“... Пройдет еще немного времени—и Белинский будет вспоминать об этих статьях, „задыхаясь от негодования“...



### 13. „Очерки бородинского сражения“.

Предыдущая статья о „Бородинской годовщине“ является непосредственным предисловием к настоящей статье об „Очерках бородинского сражения“. Там была высказана мысль о мистичности идеи самодержавия; здесь эта мысль развивается и обосновывается, но кроме того здесь высказывается целый ряд других положений, крайне важных для характеристики взглядов Белинского этой эпохи.

Прежде всего необходимо отметить одно обстоятельство, большей частью недостаточно оттеняемое—именно то, что в этих статьях Белинский по справедливости может считаться одним из родоначальников славянофильства, которое приняло определенные формы два-три года спустя. Даже те исследователи, которые, подобно Пыпину, подчеркивают прежде всего не сходство, а различие этих взглядов Белинского от славянофильства—даже они ищут это различие в динамике, а не в статике этих воззрений, не в сущности установившихся мнений, а в процессе их выработки (см. Пыпин, „Белинский“, стр. 265—266). Сущность же этих воззрений чрезвычайно близка. Вопросы философии истории, вопросы социальные и политические—все это Белинский разрабатывает здесь именно в том направлении, в каком позднее их будут развивать славянофилы.

Он начинает с повторения былых своих шеллингианских взглядов (которые перешли и в гегелианство) на народ, как на личность, как на индивидуальность человечества—о чем он говорил еще в „Литературных Мечтаниях“. Народ есть личность; и подобно тому, как личность человеческая есть в существе своем мистическая тайна, так и народ, и общество—тайна, откровение. Священнейшим и таинственнейшим явлением народной и общественной жизни является царская власть: так в настоящей статье Белинский подходит к теме своей предыдущей статьи, в которой он писал, что „в слове Царь чудно слито сознание русского народа“, что „это слово полно поэзии и таинственного значения“, что „таинственное зерно, корень, сущность и жизненный пульс нашей народной жизни выражается словом царь“. Эти же мысли Белинский почти дословно повторяет и в настоящей статье.

Но не только это явление общественной жизни таинственно и священо: нет, „всякая разумность священна, т. е. имеет свою мистическую, таинственную сторону“... Всякая разумность священна; а так как „что есть, то разумно, необходимо и действительно, а что разумно, необходимо и действительно, то только и есть“ (как писал Белинский в одновременной статье о „Менцеле“), то, следовательно, разумно и священо все существующее. С этой точки зрения Белинский признает разумность даже крепостного права—именно таков смысл одного крайне характерного примечания Белинского в статье о „Бородинской годовщине“: указывая, что на Западе история двигалась борьбою сословий и классов, Белинский восхищается „патриархальностью“ России и „мирным“ сотрудничеством ее сословий... В этом он видит „собственные самобытные формы“ русской жизни и в порыве восторга предсказывает России „великое назначение“—быть „законной наследницей жизни трех периодов человечества“. Все это от слова и до слова повторилось в последующем славянофильстве.

Уже из приведенных цитат можно видеть, как далеко зашел Белинский в своем примирении с „разумной действительностью“ и в своем преклонении перед нею. Это было последовательным применением теории объективной целесообразности мира и жизни к области наиболее острых социальных и политических вопросов. Все благо, все добро, все истина—доказывает Белинский в этих своих статьях (см. особенно статью о „Менцеле“); ложь и зло есть призрак, мираж—доказывал он в статье о Грече. Применяя все это к русской действительности, он должен был или признать ее за ложь и призрак, или признать ее благом, истиною, „разумной действительностью“; он избрал последний путь. Самодержавие—разумно, крепостное право—разумно; но почему же разумно?—потому, что исторически необходимо. Это отождествление „историческая необходимость = разумная действительность“ (отождествление, против которого

особенно восставал сам Гегель) Белинский очень ярко и отчетливо высказал в одной небольшой рецензии конца 1839 г., разбирая „Стихотворения Владислава Горчакова“. „Признак разумности всякого явления есть его необходимость“—вся указанная рецензия составляет развитие этих первых ее строк. Но, конечно, такого отождествления было мало для апологии крепостного права или самодержавия: ведь исторически необходимой была и великая французская революция, которую в это время так ненавидел Белинский. И поэтому Белинский делает следующий шаг: он отождествляет „разумную действительность“ с „реальной действительностью“, с окружающей его действительностью. Если разумно и действительно „все, что есть“, то этим оправдывается раз навсегда всякое зло, несправедливое, насилие, деспотизм,—и не только оправдываются, а даже обращаются в добро, закон и справедливость.

Нечего и говорить, что все это якобы гегелианство было в сущности совершенно произвольным и неверным толкованием основных принципов философии Гегеля; Белинский как будто совершенно упустил из вида сущность хорошо известного ему диалектического процесса развития. Год спустя после настоящей статьи он писал Боткину (11 декабря 1840 г.): „конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки „Очерки бородинского сражения“, верна в своих основаниях; но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото“... Сам Белинский вскрыл здесь свою главную ошибку в понимании Гегеля; но он оставил неисправленными целый ряд мелких ошибок настоящей статьи. Так, например, повторяя аргументы Гегеля против Руссо и его теории общественного договора, Белинский в то же время проповедует свою теорию мистического самодержавия, которая была (как и весь мистицизм) еще более ненавистна Гегелю. Повидимому, Белинский не знал, что в этих своих статьях он повторяет по существу аргументы известного в то время идеолога Священного Союза и реставрации—Галлера, который в своем „Учении о государстве“ пытался восстановить и развить теорию мистичности власти. Гегель в своей „Философии права“ резко полемизировал с Галлером, называя его теорию „бессмысленной“; это, очевидно, не было известно Белинскому. Есть целый ряд других пунктов статьи Белинского, в которых сказалось неверное понимание им философии Гегеля; в виде примера можно указать на первые страницы настоящей статьи Белинского, где он говорит о происхождении государства из семьи, племени, народа и общества. Эта реалистическая точка зрения совершенно противоположна принципу философии Гегеля: хотя у Гегеля понятие государства действительно развивается из понятий семьи и общества, но это развитие не временное, а логическое, не во времени, а в понятии, в действительности же государство является первым началом (Hegels Werke, B. VIII, § 256). Этой основной мысли Гегеля о диалектическом развитии не во времени, а в понятии—никогда не понимал, быть может, даже не знал Белинский; приведенный пример неопровержимо доказывает, что философию Гегеля Белинский понимал реалистически, несмотря на постоянное употребление гегелевской терминологии об „абсолютном духе“, „идее“, и т. п.

До сих пор мы говорили о первой половине настоящей статьи Белинского, о той половине, которая является продолжением и развитием статьи о „Бородинской годовщине“; теперь обратимся ко второй половине, еще более важной для характеристики воззрений Белинского. „Доселе,—начинает эту вторую половину настоящей статьи Белинский,—доселе мы смотрели на общество, как на нечто единое и целое: теперь взглянем на него, как на единство противоположностей“... Иначе говоря, Белинский обращается теперь к анализу понятий личности и общества, к попытке их примирения и синтеза. Вопрос этот, в той или иной его форме, давно уже стоял перед Белинским. Напомню, что в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“ Белинский указал на проявление идеи личности в современной реальной поэзии; в древнем мире, говорил там Белинский, человек „еще не сознал своей индивидуальности, ибо его Я исчезало в Я его народа“; и только в христианстве „родилась идея человека, существа индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений,

в самом себе“... (Эти же мысли читатель найдет и в статье о „Менцеле“, а также и в позднейшей статье „Разделение поэзии на роды и виды“, см. №№ 14 и 23).

Тут-то и возникает вопрос: каким образом примирить с обществом эту сознавшую себя личность? Эту вечную проблему индивидуализма Белинский и пытается решить в настоящей статье; решение его носит двойственный характер. С одной стороны, он признает права личности, права конкретного человека; „всякий человек есть сам себе цель“, говорит Белинский, и эту фразу мы еще неоднократно встретим в его дальнейших статьях; но тут же, в этой же статье Белинский говорит о „случайной личности, до которой никому нет дела и которая сама по себе—очень неважная вещь“... В конце концов Белинский несомненно склоняется к отрицанию прав личности, к ее подавлению „Общим“, хотя и не формулирует это с достаточной резкостью.

Год-другой спустя Белинский диаметрально изменил эти свои взгляды на ценность человеческой личности—и вместе с этим отказался и от своего бывшего воззрения на мир и на жизнь. Теперь, в 1839 году, для Белинского—все благо, все добро, все разумно, все целесообразно само в себе; страдания и гибель человеческой личности—ничтожный „субъективный“ факт, входящий в общую мировую гармонию. В 1841 году этот „ничтожный“ факт расстроит для Белинского всю мировую гармонию, и Белинский откажется от своей оптимистической философии, а вместе с тем откажется и от своего бывшего примирения с действительностью. Единственное, что останется прочным завоеванием и Белинского, и всей последующей истории русской мысли—это то положение настоящей статьи, что общество есть прежде всего не ограничение, а расширение человеческой индивидуальности. Эта мысль ляжет краеугольным камнем деятельности Белинского сороковых годов, когда и человеческая личность, и благо народа будут одинаково для него дороги.

Закрываю эту заметку отзывом самого Белинского об этой своей статье. „Тебе не понравилась моя статья,—пишет Белинский Боткину (18 февраля 1840 г.):—...я это знал. В самом деле, не вытанцовалась. А странное дело, писал с таким увлечением, с такою полнотою, что и сказать нельзя... а как напечаталась, так не мог и перечесть... Признаюсь в грехе—я, было, крепко приуныл. Хотелось мне в ней, главное, намекнуть пояснее на субстанциальное значение идеи общества, но как я писал к сроку и спеху, сочиняя и пиша в одно и то же время, и как хотел непременно сказать и о том, и о другом,—то и не вытанцовалось. Теперь я ту же бы песенку да не так бы спел. Что она тебе не понравилась—это так и должно быть...; но досадно, что и люд-то божий ею недоволен“... Последнее замечание очень интересно: оно показывает, что Белинский, не находивший отпора крайних взглядов этой статьи ни среди своих друзей (Боткин порицал только стиль статьи и ее „апатичность“), ни среди редакции „Отечественных Записок“, нашел отпор среди „люда божьего“—читающей публики. Герцен—единственный из друзей, резко полемизировавший в эту эпоху с Белинским—передает рассказ самого Белинского о встрече его у Краевского с каким-то инженерным офицером: „хозяин спросил его, хочет ли он со мною познакомиться (рассказывал Белинский).—Это автор статьи о бородинском сражении?—спросил его на ухо офицер.—Да.—Нет, благодарю покорно,—сухо отвечал он“... О ссоре из-за этих вопросов Белинского с Герценом—в следующей статье; теперь же укажу только, что год спустя Белинскому было „тяжело и больно вспомнить“ о своих „бородинских“ статьях: „конечно,—писал он Боткину (11 декабря 1840 г.),—наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом, свою историческую законность; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени—фай!—неужели я говорил это?“

## 14. „Менцель, критик Гете“.

Статья о „Менцеле“ написана в тот же период воинствующего гегелианства Белинского, как и две его предыдущие статьи: в тех статьях он развивал идеи мистичности царской власти, „субстанциальности“ народа, синтеза личности и общества, а в настоящей статье он сосредоточил свое внимание на идее искусства. Крайне интересным является поэтому сравнение теперешних мыслей Белинского об искусстве с теми, которые он проповедывал в своих первых статьях эпохи шеллингианства.

Однако прежде надо устранить одно недоразумение, связанное со статьями Белинского этого периода: их считают апогеем „примирительного“ настроения Белинского. Это верно, но в более глубоком значении, чем это понимают обыкновенно—я уже говорил об этом выше (см. № 10). „Примирительное“ отношение Белинского к окружающей действительности есть факт, но факт уже вторичный, производный, в основе которого лежит вера Белинского в объективную целесообразность мира—вот смысл „разумной действительности“. И когда Белинский восхищается тем, что Гёте „принимает“ весь мир в целом и что Пушкин в конце концов „примирился с действительностью“, то это надо понимать прежде всего в философском смысле „приятия мира и жизни“, признания объективной целесообразности всемирной жизни. Примирение с окружающей действительностью есть только следствие такого миропонимания, его практическое приложение—и к тому же следствие далеко не необходимое, не строго логическое: можно принимать мир и в то же время бороться с окружающей действительностью. К такому взгляду Белинский и пришел через немного лет; а теперь из принятия „разумной действительности“ (т.-е. объективной целесообразности) он выводил примирение с окружающей его реальной действительностью; в этом заключается сущность всех его статей этого периода, и в том числе его статьи о „Менцеле“.

В этих его статьях много места занимает ожесточенная полемика против людей, так или иначе восстающих на действительность—либо на окружающую реальную действительность, социальную и политическую, либо на „разумную действительность“ мира. Первые борются с социальными и политическими укладами жизни, вторые отрицают объективную целесообразность мира вообще; и с теми и с другими ожесточенно воюет Белинский. Ему ненавистны „заграничные крикуны“, „кривые толки, бессмысленные возгласы и громкие, но пустые фразы безмозглых преобразователей человеческого рода“; ему ненавистна всякая оппозиция, всякий протест против существующих условий. Отсюда его ненависть к „рефлектированной поэзии“ Шиллера, которому он посвящает страницу в настоящей статье и революционные трагедии которого он признает „решительно безнравственными“; отсюда его презрение к Жорж-Занд, которая пишет романы „один другого нелепее и возмутительнее“, и идеи которой ведут к „уничтожению священных уз брака, родства, семейственности“; отсюда, наконец, и его пренебрежительное отношение к Менцелю, этому „депутату оппозиционной стороны“. Белинский очевидно и не подозревал, что этот некогда оппозиционный деятель еще в начале тридцатых годов обратился в крайнего консерватора и таким образом совершил, *mutatis mutandis*, ту самую эволюцию, которая стала уделом Белинского год спустя. Поэтому ошибочны слова Белинского, что „Менцель родился совершенно готовым“; нет, он настолько изменил своему первоначальному радикализму и так рьяно начал борьбу против либералов и „французских говорунов“, что дождался даже едкого памфлета Бёрне: „Menzel der Franzosenfresser“ („Менцель-Французоед“), появившегося еще в 1837 году. Если бы Белинский знал, какого союзника он имеет в своем „французоедстве“ (о чем см. № 10) и в своей борьбе против „заграничных крикунов“ и „безмозглых преобразователей“! И если бы он мог предчувствовать, что год-другой спустя он сам станет на резко „оппозиционную“ точку зрения!

Еще более ненавистны были Белинскому те „крикуны“, те „маленькие великие люди“, которые не только указывали на возмутительность существующих социально-политических условий, но даже вообще отрицали разумную действительность и объективную целесообразность мира. Из друзей Белинского только один Герцен соединил со-

циально-политический радикализм с философским пессимизмом—и на этой почве между Герценом и Белинским произошел резкий спор и ссора в конце 1839 года. „Знаете ли, что с вашей точки зрения,—сказал я ему (пишет Герцен), думая поразить его моим революционным ультиматумом,—вы можете доказать, что самодержавие, под которым мы живем, разумно?—Без всякого сомнения,—отвечал Белинский, и прочел мне Бородинскую Годовщину Пушкина... Отчаянный бой закинет между нами... Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую назвал Бородинской Годовщиной“ („Вышло и думы“, гл. XXV). В этих словах Герцена важно отметить три неточности: во-первых, Белинский прочел ему, конечно, „Бородинскую Годовщину“ Жуковского, а не Пушкина (в „Бородинской Годовщине“ которого почти нет и упоминания о царе); во-вторых, „яростный залп“ против Герцена был дан Белинским не столько в рецензии на „Бородинскую Годовщину“, сколько в статье об „Очерках бородинского сражения“. Наконец, в-третьих,—и это самое главное,—названные статьи Белинского вовсе не были последним выпадом против Герцена, так как в статье о „Менцеле“ эти выпады продолжаются с еще большей резкостью. Я полагаю, что именно против Герцена направлена та тирада из „Очерков бородинского сражения“, в которой Белинский презрительно говорит о „светских мудрецах, людях, которые легко рассуждают о тяжелых предметах, которым достаточно четверти часа, чтобы, с сигарою во рту, пересудить всех и все и перестроить мир на свой лад“: тут не забыта даже излюбленная герценовская сигара. Я полагаю, что прямо против Герцена направлена обширная выходка первых страниц настоящей статьи о „маленьких великих людях“, для которых „не существует миродержавного Промысла“, которые верят в возможность случайности, и „расстроенному воображению которых представляется, что—вот облака упадут на землю и подавят ее, вот огнедышащее солнце спалит своими лучами все живущее на ней...“ Здесь в умышленно-карикатурном виде выводится постоянная философия Герцена, которую Хомяков называл „свирепейшей имманенцией“ и которую читатели найдут в „Дневнике“ Герцена и в первой главе его „С того берега“ (см. там мысли Герцена о возможности „геологического катаклизма“, о том, что „какая-нибудь перемена в солнце вызовет катаклизм“ и т. п.). Все это позволяет с уверенностью заключить, что отмеченные выше выпады Белинского относятся именно к Герцену, в котором Белинскому был тогда одновременно ненавистен и политический либерализм, и философский пессимизм; и то и другое было резким отрицанием „разумной действительности“.

Обращаясь к главному вопросу настоящей статьи—к вопросу об искусстве, который был главным вопросом также и статей Белинского 1834—1836 годов. Я указывал, что мысль о самоцели искусства, о бесцельности творчества, о всеобъемлемости эстетического чувства, заключающего в себе и истину, и добро—была центральной мыслью статей Белинского в „Телескопе“<sup>1)</sup>. Теперь, в период гегелианства, Белинский повторяет, обосновывает и развивает свое бывшее понимание искусства; настоящая статья является с этой стороны наиболее подробным и наиболее ярким исповеданием веры „пейстерового Виссарьона“. Резко восстает он против двух ненавистных ему взглядов—против „нравственной точки зрения на искусство“ и против мысли, что „искусство должно служить обществу“. Нравственная точка зрения на искусство, по мнению Белинского, ложна потому, что красота, истина и добро—только разные стороны одной и той же сущности: „отделить вопрос о нравственности от вопроса об искусстве также невозможно, как разложить огонь на свет, теплоту и силу горения...“ И Белинский окончательно формулирует свои давние мысли в следующих словах: „что художественно, то уже и нравственно; что не художественно, то уже может быть не безнравственно, но не может быть нравственно. Вследствие этого, вопрос о нравственности поэтического произведения должен быть вопросом вторым и вытекать из ответа на вопрос—действительно ли оно художественно“.

<sup>1)</sup> Вторая главная мысль этого периода деятельности Белинского—мысль о „бессознательной народности“ поэта—вновь была затронута Белинским в статьях сороковых годов; см., напр., № 26.

Все это—старые мысли Белинского; но теперь они строятся им на основе гегелианства и получают твердую точку опоры в понятии объективизма художественного творчества. Мы видели выше, что для Белинского этой эпохи все „необходимое“—разумно, все случайное—бессмысленно; в то же время все объективное—необходимо, все субъективное—случайно; следовательно, все объективное—разумно, все субъективное—бессмысленно. Этот силлогизм является ключом к пониманию эстетических воззрений Белинского этой эпохи. Художественное произведение должно быть „объективным“, даже субъективное должно быть изображено объективно: „вопли самого поэта... не могут быть художественны, ибо кто вопит от страдания, тот не выше своего страдания—следовательно и не может видеть его разумной необходимостью, но видит в нем случайность, а всякая случайность оскорбляет дух и приводит его в раздор с самим собою, следовательно и не может быть предметом искусства“ (намек на трагедии Шиллера).

Вот та философская основа, на которой Белинский строит теперь свое понимание искусства; отсюда вытекает еще один принцип, который примыкает к старым, подводит под них фундамент: „как в природе, так и в искусстве нет прекрасных форм без прекрасного содержания“—говорит Белинский в заключительных строках настоящей статьи. Прекрасная форма—это красота, прекрасное содержание—это добро и истина; триединство их, проповедывавшееся Белинским еще с 1834 года, получает теперь в гегелианстве новую точку опоры. В одном из писем именно этой эпохи к Станкевичу (сентябрь—октябрь 1839 г.) Белинский сам рассказывает о своем восторге, когда ему „открылись“ все эти истины: „Бакунин первый тогда же (1838 г.) провозгласил, что истина только в объективности, и что в поэзии субъективность есть отрицание поэзии; что бесконечного должно искать в каждой точке, что в искусстве оно открывается через форму, а где наоборот—там нет искусства. Я освирепел, ошарашен от этих идей...“ Статья о „Менцеле“ и является пламенным манифестом нового учения, подводящего твердые основания под старые эстетические воззрения эпохи шеллингианства.

Эту статью считают обыкновенно крайним проявлением проповеди „искусства для искусства“; а так как теория „эта с тех пор и почти до конца XIX в. считалась теорией „реакционной“, несовместной с общественными течениями, то и настоящая статья Белинского была отвергнута дальнейшим развитием общественной мысли—а прежде всего была отвергнута самим Белинским, после его душевного перелома 1840—1841 гг. Мы будем следить за развитием эстетических воззрений Белинского и увидим тогда, что в настоящей статье, быть может, больше истины, чем в позднейших взглядах Белинского на искусство. Правда, это истина односторонняя: она впадает в эстетизм и пытается измерять жизнь искусством; недаром год спустя после статьи о „Менцеле“ Белинский с негодованием вспоминал: „искусство задушило, было, меня“ (письмо к Боткину, 16 января 1841 г.). Но не менее ложна и та точка зрения, при которой общественность душит искусство во имя той или иной морализирующей тенденции. Вот почему никогда не потеряет значения горячая борьба Белинского в настоящей статье против морализма вообще и против морализма в искусстве в особенности (различение „правдивости“ и „морали“ проведено Белинским строго по гегелиански). Вот почему Белинский также совершенно прав, когда отказывается подчинить и искусство общественности и общественность искусству. „Один завопил: общество! все погибай, что не служит к пользе общества!—а другой зарычит: искусство! все погибай, что не живет в искусстве“.—так противопоставляет Белинский две крайние точки зрения и тут же высказывает свою точку зрения: „да живет общество и да процветает искусство!“

Это замечательное место почему-то совершенно замалчивается большинством историков литературы, заводящих речь о „Менцеле“. Именно поэтому необходимо особенно подчеркнуть, что Белинский совершенно прав, когда говорит, что „искусство не должно служить обществу иначе, как служа самому себе“; но он ошибочно пытается в то же время ограничить поле деятельности самого художника. Скоро он понял, что идеал художника—быть всечеловеком, откликаться, подобно эхо, на все голоса жизни: и когда он понял это, что снова оценил величие Шиллера, принял Жюль Занд и при-

знал влияние общественности на искусство. Мы еще увидим, что на этом пути он скорее впал в крайность, противоположную прежнему эстетизму; но это не мешает нам признать правильным тот взгляд на искусство и художника, который был впервые ясно высказан еще Пушкиным: цель искусства—в искусстве, но цель художника—в самой жизни: В своем „Менцеле“ Белинский ярко осветил первую половину этой формулы; несколько позднее он пришел ко второй ее половине, между тем как лишь соединение их в одно целое дает возможность широкого воззрения на жизнь и на искусство. Когда Белинский был в первой крайности—он воевал с Менцелем и восхищался политическим индифферентизмом Гете, как признаком „объективности“; перейдя во вторую крайность, он резко провозгласил (в письме к Н. Бакунину, в начале 1841 г.), что „Гете велик, как художник, но отвратителен, как личность“,— вполне примыкая к столь поносимому им раньше Менцелю... „Бог с ним, с этим Гёте,— писал Белинский тому же Бакунину два года спустя:—он великий человек, я благоговею перед его гением, но тем не менее я терпеть его не могу“... И даже в конце 1840 года Белинский уже писал Боткину (30 декабря, 1840 г.): „к Гёте начинаю чувствовать род ненависти, и, ей-Богу, у меня рука не подымется против Менцеля, хотя сей муж и попрежнему остается в глазах моих идиотом... Боже мой, какие прыжки, какие зигзаги в развитии! Страшно думать!“ Мы еще увидим, что впоследствии Белинский пытался синтезировать объективизм и субъективизм в искусстве; в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“ (см. № 55) Белинский попытался сформулировать свой окончательный взгляд на искусство, одинаково далекий от этих двух крайностей.

„Художественная точка зрения довела меня до последней крайности, до нелепости“,— писал Белинский в только-что цитированном письме, через год после появления в печати „гадкой статьи о Менцеле“, как он стал ее называть (см. письмо к Боткину от 11 декабря 1840 г.). Тогда же Белинский увидел и ошибочность своего основного эстетического принципа этого периода: нет прекрасных форм без прекрасного содержания и наоборот; „глуп я был с моею художественностью, из-за которой не понимал, что такое содержание“,—пишет он Боткину еще годом позднее (17 марта 1842 г.). А когда Белинский увидел и понял это, то резко переменял свои былые взгляды на искусство и начал строить новую теорию на новой почве. Не надо только забывать, что в основе всего этого переворота лежит эволюция философских воззрений Белинского, и что эстетические теории являются только производными и вторичными выводами этих воззрений.

Но этот переворот начался годом позднее; теперь же Белинский был очень доволен этой своей статьей о „Менцеле“, был „очень рад“, что она понравилась Боткину, и писал последнему (18 февраля 1840 г.), что „в ней есть целость, и если бы осёл Фрейганг (цензор) не наделал в ней выпусков и не лишил ее смысла на стр. 53—54,—заметь это,—она была бы очень и очень недурна“. В другом письме, от 3 февр., Белинский жаловался Боткину, что в этом месте „недостает почти страницы, и смысл выпущен весь“, и что вообще „статья о Менцеле искажена цензурой“.—В следующих статьях 1840 года продолжается развитие тех же мыслей, которые были высказаны Белинским в этих первых, „дебютных“ статьях его в „Отечественных Записках“.

## 15. „Горе от ума“.

Одновременно со статьей о „Менцеле“ в январском номере „Отечественных Записок“ за 1840 год появилась статья Белинского о „Горе от ума“, писавшаяся одновременно с „Менцелем“ в последние месяцы 1839 года (см. об этом письма Белинского к Краевскому от 5 июля, 19 и 24 августа 1839 г.), т.-е. в период наиболее воинственного гегелианства Белинского, в период его наивысшего „примирения с действительностью“. Разумеется, это не могло не отразиться на отношении Белинского к гениальной

комедии, с ее непримиримым отношением к окружающей действительности; вот почему настоящая статья является только преходящим суждением Белинского о комедии Грибоедова, суждением, вскоре резко измененным.

Прежде всего надо однако отметить, что в этой статье—одной из самых больших статей Белинского—о самой комедии говорится крайне мало: речь о ней занимает менее четверти объема статьи. Тем значительнее богатство содержания непомерно разросшегося вступления: в нем не только детально разбирается главная тема статьи—вопрос о комедии вообще, но и намечается попутно целый ряд новых тем, новых вопросов, которые Белинский будет развивать на страницах „Отечественных Записок“ в течение последующих лет. Так, например, целый ряд начальных страниц настоящей статьи является как бы приготовлением к статье 1841 года „Разделение поэзии на роды и виды“ (см. ниже № 23); можно сказать, что эта последняя статья является сжато изложенной на нескольких страницах настоящей статьи. Та страница настоящей статьи, где речь идет об одухотворяющем значении греческого творчества, была положена в основу другой статьи 1841 года—о „Римских элегиях“ Гете (см. ниже № 27). Наконец, встречающееся в настоящей статье гегелианское определение искусства, как „истины в созерцании“, тождественное с этим определением поэзии и характеристика поэтического творчества, как „мышления образами“—все это впоследствии было подробно развито Белинским в статье об „Идее искусства“ (см. ниже № 24). Таким образом, в настоящей статье были намечены темы для целого ряда позднейших статей Белинского. В то же время, разумеется, настоящая статья была тесно связана и с предыдущими статьями Белинского гегелианского периода; достаточно указать, что только что отмеченное определение искусства и поэзии было высказано Белинским еще в статье 1838 года о критике (см. выше № 10). Из этой же статьи почти буквально заимствована страница о французской и немецкой критике; отсюда же идет крайне пристрастное отрицательное отношение к французской литературе и т. п., и т. п. Но эта связь с предыдущими статьями Белинского доходит и дальше—она восходит до „телескопских“ статей Белинского: в начале настоящей статьи Белинский проводит старую свою мысль, заимствованную еще от Надеждина, о синтезе классицизма и романтизма в современной поэзии, поэзии реальной, „поэзии действительности“. Эта же мысль будет еще развита Белинским в статьях 1841 года о русской народной поэзии (см. ниже № 26). Точно так же и та основная мысль настоящей статьи, что „объективность, как необходимое условие творчества, отрицает всякую моральную цель“—является главной мыслью „телескопских“ статей Белинского, мыслью, подробно развитую теперь в статье о „Менцеле“. Наконец, одно из главных положений этой статьи—определение „трагического“ и „комического“—тоже тесно связывает настоящую статью и с предыдущими, и с последующими. Определяя здесь „смешное и комическое“, как „противоречие явления с его собственной сущностью или идеи с формой“, Белинский только повторял старую формулировку, данную им еще в статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“; также повторял он старую формулировку и в определении трагического, как „столкновения естественного влечения сердца с идеею долга и протекующей из того борьбы“. В статье 1842 года о стихотворениях Майкова (см. ниже № 29) Белинский подробнее развил это свое понимание трагического.

Итак, настоящая статья является тесно связанной и с предыдущими и с последующими статьями Белинского; это важно отметить потому, что слишком часто считают статьи Белинского 1839—1840 гг. каким-то временным недоразумением в его критической деятельности, „черным пятном“, изолированным и от предыдущего и от последующего. Мы уже знаем, что это неверно. Новою была гегелианская форма; но с предыдущим Белинского продолжало соединять его эстетическое воззрение, его взгляд на искусство; с последующим же его соединило реалистическое понимание гегелианской „действительности“. В настоящей статье полнее, чем в других, изложено это понимание „действительности“ Белинским.

Мы знаем, что означало принятие Белинским „разумной действительности“. Это означало принятие им мира, признание объективной разумности и целесообразности



мира и жизни. „Души нормальные и крепкие находят свое блаженство в живом сознании живой действительности, и для них прекрасен Божий мир, и само страдание есть только форма блаженства, а блаженство—жизнь в бесконечном“,—говорит Белинский в настоящей статье. И эту „действительность“ Белинский понимает в реалистическом смысле: он противопоставляет ей всякую „мечтательность“, всякий „романтизм“ и „идеализм“; впоследствии это ярко выразилось в одной из последних статей Белинского, в его критическом разборе „Обыкновенной истории“ Гончарова (см. ниже №№ 18 и 55). При таком реалистическом понимании „действительности“ все гегелианство получало у Белинского окраску реалистической системы; хотя в статье об „Идее искусства“ и в других статьях Белинский и определяет мир и природу, как „мысленные“, однако ясно, что „мыслением“ он называет внутреннюю сущность, а не внешнюю реальность. Если бы Белинскому были хорошо известны те параграфы „Логики“ Гегеля, в которых излагается учение о „сущности“ (о сущности *an sich*, как „рефлексии“; о сущности, как „явлении“; о сущности, как „истинно-действительном“— „Wissenschaft der Logik“, §§ 112—159), то Белинский знал бы, что, по Гегелю, „наличное бытие“, т.-е. чувственный мир, есть мир призрачный, „призрак“ (*Schein*). Но Белинский в гегелианстве искал спасения как-раз от подобной „фихтианской отвлеченности“, а потому и понял гегелианство реалистически, отождествив „наличное бытие“ (*Dasein*) с „истинно-действительным“. Поэтому и в настоящей статье Белинский, вопреки Гегелю, считает „действительным“ все что есть: „мир видимый и мир духовный, мир фактов и мир идей“: в то же время Белинский считает все это действительное—разумным, и, строго по Гегелю, все неразумное—призрачным. Оставался нерешенным вопрос—что же считать „неразумным“? Для Гегеля ответ вытекал из объективно-логических построений, для Белинского—из субъективно-психологических построений: то, что в статьях 1839 года он превозносил, как „разумное“, два года спустя стало для него „гнусным“ и „неразумным“. С этой точки зрения особенно интересны горячие страницы настоящей статьи, посвященные характеристике „действительного“ и „призрачного“.

Еще более интересны они для понимания главной задачи настоящей статьи Белинского—его характеристики комедии вообще и „Горя от ума“ в особенности. „Элементы комического“ Белинский находит „в призрачности, только имеющей объективную действительность, в отрицании жизни“; отсюда и сущность комедии: „она изображает отрицательную сторону жизни, призрачную действительность“. При этом художественная комедия „должна представлять собою особый, замкнутый в самом себе мир“, должна вся развиваться из лежащей в ее основе идеи, должна быть цельной, единой, и в то же время не должна иметь никакой посторонней цели вне себя: мы знаем, что все это—давнишние и постоянные члены эстетического символа веры Белинского. И вот с высоты этих взглядов Белинский приступает к разбору и оценке двух величайших комедий русской литературы: „Горя от ума“ и „Ревизора“. Разбор „Ревизора“, занимающий два десятка страниц, является с первого взгляда только пересказом его; да, это пересказ, но настолько блестяще комментированный пересказ, что стоит всякого критического разбора; следя за развитием основной идеи „Ревизора“, Белинский доказывает, что произведение это является образцом единой, цельной, самодовлеющей художественной комедии.

Все это, однако, является только введением а *contrario* к разбору „Горя от ума“ и к его подробному пересказу. Некоторые из комментаторов недоумевают, для чего Белинский вздумал подробно излагать это слишком известное произведение; они упускают из вида, что, пересказывая комедию Грибоедова, Белинский стремится показать отсутствие единой идеи в этом произведении, отсутствие цельности, а, следовательно, и нехудожественность этой комедии! А произведение не художественное, для Белинского этой эпохи, уже не относилось к искусству, к литературе: оно принадлежало к области „беллетристики“, дидактической поэзии...

Отсюда резко отрицательное отношение Белинского к величайшей русской комедии. В этой комедии „нет целого, потому что нет идеи“,—заявляет Белинский:

„идея Грибоедова была сбивчива и неясна самому ему, а потому и осуществилась каким-то недонеском“. Это произведение не художественное, ибо „художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели“, а Грибоедов „ясно имел внешнюю цель — осмеять современное общество“. А между тем „общество всегда правее и выше частного человека, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество“. Стоя на этой точке зрения признания окружающей действительности, Белинский направляет главные свои удары на Чацкого. Чацкий, это — „комическая фигура“, „как бы вырвавшийся из оумасненного дома“, „полоумный“, „смешное лицо“, „мальчик на палочке верном“, „а потому и вся комедия есть „буря в стакане воды“...

Прежде чем перейти к позднейшим взглядам Белинского на комедию Грибоедова, к которой он так несправедливо пристрастно отнесся в настоящей статье, надо еще раз подчеркнуть причины этой пристрастной ошибки Белинского. Причины эти достаточно ясно вскрыты в первой части настоящей книги, и здесь я ограничусь только цитатой из письма Белинского к М. Бакунину от 26 февраля 1840 года, в которой речь идет как раз об этой статье и о Чацком. М. Бакунин возмущался примирением Белинского с „повилой действительностью“, Белинский принимает вызов: да, — отвечает он, — пошлой, ходульной „идеальности“ я всегда предпочту „самую ограниченную действительность и полезность в обществе“... И в виде примера Белинский берет свое отношение к Чацкому, тем более, что статья его о „Горе от ума“ (напечатанная в январской книжке „Отечественных Записок“ того же 1840 года) привела Бакунина в негодование. Годом позднее сам Белинский с возмущением вспоминал свои былые выходы против „Горя от ума“ вообще и Чацкого в частности; но теперь, в начале 1840 года, Белинский был в этом отношении непримирим и неумолим. „Чацкие, — восклицает он, — всегда будут смешны для меня, и я буду делать их смешными для многих, не заботясь, что мой приятель примет эти нападки за личность и оскорбится ими<sup>1)</sup>. Что такое Чацкий? Человек, который мечтает о высшей любви, а любит б...д, который всех ругает за бездействие, а сам ничего не делает, который сердится на действительность, которая в его глазах сверхна тем, что русские XIX века бреют бороды и ходят во фраках, что они не подражают китайцам в незнании иностранцев, который говорит о прекрасном и высоком со скотами и пр., и пр. Как же на таких шутов не нападать? Они — первые враги всякой разумности, всякой истины“. — Кого это перерет: Чацкого или Бакунина? Ни того, ни другого для нас теперь; и того, и другого для Белинского 1840 года. Но причины пристрастно несправедливого отношения Белинского к Чацкому и ко всей комедии Грибоедова — достаточно ясны.

До такой степени ложно понял и не сумел оценить великую комедию Белинский со своей предвзятой точки зрения. И благодаря громадному критическому авторитету Белинского (особенно после издания его сочинений в 1859 году), этот ошибочный взгляд стал одно время общепринятым и попал даже в учебники словесности. Лишь мало-по-малу, после опубликования Пыпиным писем Белинского, в которых идет речь о негодовании самого Белинского сороковых годов на эту его статью, о которой ему „тяжело вспомнить“, после появления в семидесятых годах знаменитого этюда Гончарова „Миллион терзаний“, после изучения трех периодов деятельности Белинского, после всего этого — стала очевидной ошибочность отношения Белинского к комедии Грибоедова. Еще Чернышевский, в знаменитых своих „Очерках гоголевского периода русской литературы“, заслуженно признавая настоящую статью Белинского „блестящей“, указал, что в ней и разбор „Ревизора“, и разбор „Горя от ума“ сделан исключительно с „художественной точки зрения, а на то, какое значение для

<sup>1)</sup> Этот ясный намек приводит к доселе неотмеченному факту, очень интересному для историков литературы: Белинский в своей статье о „Горе от ума“, говоря о Чацком, метил в Бакунина. Это становится почти несомненным после изучения писем Белинского 1839—1840 гг. к Бакунину и Боткину; в них о Бакуanine говорится то самое, что в указанной статье — о Чацком.

жизни имеет „Ревизор“ и имело „Горе от ума“—не обращено почти никого внимания“ („Современник“, 1856 г., № 10).

Надолго внося в массу читающей публики это свое ошибочное понимание комедии Грибоедова, Белинский сам скоро признал свою ошибку; он признал узость исключительно одного эстетического критерия. Уже в конце 1840 года он, как мы знаем, возненавидел свою „гадкую статью о Менцеле“; после нее ему было „всего тяжелее вспомнить о „Горе от ума“, которое я — писал Белинский Боткину 11-го декабря 1840 г.—осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это—благороднейшее, гуманическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар, развратников, против нашего онанистического светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр.“.

Теперь Белинский, не отказываясь пока от эстетического критерия, понял, что нельзя говорить только об одном художественном значении „Ревизора“ или „Горя от ума“. Уже через несколько месяцев, в конце того же 1840 года, Белинский, в статье о сочинениях Дениса Давыдова, заговорил в совершенно ином тоне о „великом творении Грибоедова“; через два месяца, в статье „Русская литература в 1840 г.“, Белинский называет комедию Грибоедова „благороднейшим созданием гениального человека“. Наконец, еще через два месяца, в начале 1841 года, в статье „Разделение поэзии на роды и виды“, Белинский снова повторяет это свое новое мнение о комедии Грибоедова; наиболее резкое место из этого нового отзыва его было зачеркнуто цензурой. Но все-таки Белинскому удалось достаточно ярко высказать свое новое и окончательное мнение о „Горе от ума“, как о „благороднейшем создании гениального человека“ (ibid); так, в сущности Белинский вернулся к своему прежнему взгляду, высказанному еще в „Литературных Мечтаниях“. Далее, в статье „Русская литература в 1841 году“ Белинский посвятил комедии Грибоедова страницу; отмечая попрежнему отсутствие „полноты художественности“ и определенности идеи и другие погрешности комедии, Белинский в то же время восхищается ею и видит ее „пафос“—в „негодовании на действительность“. Наконец, в восьмой из „пушкинских статей“ (1844 г.) Белинский снова возвращается к этой комедии, заявляя, что она „до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть“; и далее он продолжает речь о „Горе от ума“ в таком же восторженном тоне, тонко отмечая связь Грибоедова с Крыловым и называя комедию Грибоедова „первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова“. И этот последний ряд мнений Белинского, теперь общепризнанных, закрыл собою неудачный приговор Белинского о великой комедии в настоящей статье.

Немедленно вслед за появлением настоящей статьи Боткин писал Белинскому, что „в ней много хорошего, но в целом—урод“, с чем Белинский был „совершенно согласен“ (см. его письмо к Боткину от 18 февраля 1840 г.). В действительности же как раз наоборот: много уродливого и неверного в частностях этой статьи, но в целом—это одна из наиболее стройных, цельных, блестящих статей Белинского.

## 16. „Очерки русской литературы“.

„Нынешний день оканчиваю обширное „похвальное слово“ другу моему, Николаю Алексеевичу Полевому“,—писал Белинский 5-го июля 1839 года Краевскому, имея в виду настоящую статью; напечатана она была полгода спустя, одновременно со статьями о „Менцеле“ и „Горе от ума“, писавшимися тоже одновременно с нею. Статьей этой Белинский был очень доволен, что с ним редко бывало. „Трепещу за участь моей статьи о Полевом, — писал Белинский Краевскому 24 августа 1839 г.:—я писал ее долго и с задором; одна переписка замучила меня: досадно будет, если не пропустят или слишком исказят“... Накануне выхода в свет январьского номера

„Отеч. Зап.“ 1840 г., Белинский писал (10 января) К. Аксакову: „одна из рецензий о Критических очерках Полевого почти 1½ листа. Если пропустят, то уверен, что последняя не только понравится тебе, но и приведет тебя в восторг“... Наконец, в письме к Боткину от 18 февраля 1840 г. Белинский спрашивает: „что же ты не сказал мне ни слова о моей статейке об Очерках Полевого? Юя я больше всех доволен... Поверишь ли, Боткин, что Полевой сделался гнуснее Булгарина“...

В последних словах ясно указана причина возникшей ненависти Белинского к Полевому. Прогрессивный журналист, издатель и главный руководитель либерального „Московского Телеграфа“, разгромленного в 1834 году правительством, Полевой, разоренный и упавший духом, резко изменил направление своей литературной деятельности в „Сыне Отечества“, издававшемся им в Петербурге с 1838 года. Он стал, по выражению Белинского, „действовать новым и особенным против прежнего образом“, стал писать „навыворот по-телеграфски“, начал печатать в своем журнале „умилительные и дружеские послания г. Булгарину“, называя его единственным русским литератором, с которым ему, Полевому, еще можно иметь дело („Сын Отечества“ 1839 г., № 4, стр. 118). Эта перемена фронта, неискренняя и вынужденная куска хлеба ради, приводила в неистовство Белинского, который судил по себе и так высоко ценил свою „литературную совесть“, что заявлял: „во всем Петербурге нет и приблизительно суммы для ее купли“... И с 1838 года начинается постепенная перемена отношения Белинского к Полевому; с этих пор и до самой смерти Полевого Белинский беспощадно его преследует, ненавидит его настолько же, насколько раньше любил. Только смерть Полевого (1846 г.) заставила Белинского беспристрастно оценить большое значение Полевого в истории русской журналистики и воздать должное этому незаурядному человеку. В заметке об этой статье Белинского (см. ниже № 50) мы еще вернемся к вопросу об окончательной оценке Белинским значения Полевого.

Но и сказанного выше достаточно, чтобы заключить, что многие суждения о Полевом настоящей статьи являются недостаточно беспристрастными. Несправедлив отзыв Белинского о „дюсисовской переделке шекспирова Гамлета“ Полевым, перевод которого двумя годами раньше Белинский так высоко оценил (см. выше № 7). Еще менее справедлив отзыв Белинского о Полевом, как о бездарном историке, и об его „Истории русского народа“, как о „безграмотной перифразировке великого труда Карамзина“: вышедшие семь томов этой Истории были большим шагом вперед от Карамзина и были „первой попыткой приложить новый философско-исторический взгляд к объяснению явлений русской истории“ (см. П. Милоков, „Главные течения русской исторической мысли“, изд. 2-ое, стр. 342—357): Наконец, более справедлив Белинский в своей оценке самих „Очерков русской литературы“ Полевого: помещенные в них статьи о Державине, Жуковском и Пушкине были в свое время замечательными образцами блестящих критических статей. В Полевом Белинский мог видеть блестящего представителя „французской критики“, значение которой сам же он признавал в своей статье о „Горе от ума“ и в предыдущих статьях; но и в этой области Белинский недооценил Полевого, отнесся к нему слишком строго. Тем не менее интересны те характеристики Державина, Жуковского и Пушкина, которые Белинский мимоходом дает в настоящей статье в противовес характеристикам Полевого. Не буду однако останавливаться на них, так как коснусь этого вопроса при соответствующих статьях Белинского (см. ниже №№ 37 и 45); замечу только, что многие черты этих своих характеристик Белинский развил два года спустя в статье „Русская литература в 1841 году“. Замечу также, что из-за пристрастного, иногда даже придирчивого отношения к Полевому в настоящей статье всюду проглядывает принципиальная разность эстетических и философских убеждений Полевого и Белинского, а потому эта резко полемическая статья является ценной и для освещения известных уже нам воззрений Белинского. Еще больше значения имеет она, как блестящий литературный памфлет, для характеристики литературных отношений тридцатых-сороковых годов. С этой точки зрения прямым дополнением к настоящей статье являются мелкие полемические заметки Белинского, рассеянные в „Отеч. Зап.“ 1842—1845 гг.

Обращаю, наконец, внимание читателей на одно интересное место в настоящей статье, которое приведу полностью. Говоря о взглядах Полевого на Пушкина, Белинский заявляет в подстрочном примечании:

„О Пушкине надо или все говорить, или ничего не говорить. Читатели „Отечественных Записок“ встречали в них так много и таких резких отзывов о великости Пушкина, как поэта, что в праве требовать от нас доказательной и отчетливой оценки его художнической деятельности, и потому при выходе последних томов посмертных сочинений Пушкина „Отеч. Записки“ представят своим читателям целый ряд статей об этом поэте, в которых мы, разлив значение и основания творчества, перейдем к критическому разбору творений Державина, Жуковского и Батюшкова, как предшественников Пушкина, и заключим подробным разбором творений самого Пушкина, так что эта критика будет вместе и очерком истории русской поэзии“...

Здесь ясно намечена программа будущих „Пушкинских статей“; к осуществлению этой программы Белинский приступил только три года спустя. Если вспомнить, что в статье о „Горе от ума“ Белинский, как мы указали, также наметил темы двух-трех будущих статей, то станет ясно, что, начиная работу в „Отечественных Записках“, Белинский уже имел широко выработанный план и богатый запас тем, из которых, под гнетом журнальной поделки, далеко не все ему удалось обработать.

## 17. „Полное собрание сочинений А. Марлинского“.

Декабрист А. Бестужев, писавший под псевдонимом „Марлинского“, был убит на Кавказе в 1837 году; через год вышло полное собрание его сочинений, пользовавшихся громадным успехом. Еще в середине тридцатых годов, когда шумная известность „Марлинского“ и его эфемерная слава достигали своего зенита, Белинский писал о нем в своих „Литературных Мечтаниях“: „теперь перед ним все на коленях“. И тут же Белинский дал яркую и беспристрастную характеристику этого писателя: он признал его талант „очень примечательным“, указал на его сильные стороны, но вместе с этим указал и на такие „недостатки“ этого таланта, которые неизбежно должны были отодвинуть его во вторые и третьи ряды русской литературы. Претензии на пламень чувства; отсутствие „философии“, глубины, драматизма; замена выражений чувства риторическими возгласами; отсутствие индивидуальности у героинь и героев—все это Белинский проицательно отметил в произведениях Бестужева-Марлинского. „Время и место — прибавил Белинский — не позволяют мне подкрепить выписками из сочинений г. Марлинского мое мнение о его таланте: впрочем это очень легко сделать“. Настоящая статья, написанная почти через шесть лет после „Литературных Мечтаний“, является в сущности только выполнением этого плана, только подкрепленным выписками развитием всех этих положений первой статьи Белинского. Если прибавить к этому, что накануне своей смерти, в 1848 году, Белинский снова повторил и подкрепил свое прежнее мнение о Бестужева-Марлинском (в рецензии на второе полное собрание сочинений Марлинского), то мы будем иметь в этом лишнюю иллюстрацию неоднократно отмечавшегося выше постоянства художественных и литературных взглядов Белинского.

Однако, несмотря на одинаковое содержание этих трех статей 1834, 1840 и 1848 годов, нельзя не отметить некоторого различия в тоне Белинского, в резкости его отношения к повестям Бестужева. В „Литературных Мечтаниях“ Белинский впервые высказал—а в статье следующего года „О русской повести и повестях г. Гоголя“ повторил—отрицательное суждение о повестях Марлинского, отмечая тут же и некоторые положительные их стороны. Мнение Белинского было замечено, возбудило негодование поклонников Бестужева, но во всяком случае не повлияло на восторженное отношение широкой публики к этому блестящему беллетристу. Тогда Белинский, в 1840 году, усиливает нападение: настоящую статью он предназначает именно для самой „широкой публики“. „С статьи о Марлинском — писал Белинский Боткину (3 февр. 1840 г.)—

пишу не для вас и не для себя, а для публики: "... И две недели спустя снова повторяет в письме (от 18 февр.) к тому же Боткину: „статья о Марлинском тебе не понравится, но именно такие-то статьи я и буду отныне писать, потому что только такие статьи и доступны и полезны для нашей публики“... Действительно, настоящая статья написана очень просто, общедоступно, с несложными критическими приемами—в именно потому она и явилась в высшей степени убедительной для самой широкой публики, которой были малодоступны более сложные статьи Белинского: о них эта „публика“ пренебрежительно отзывалась: „там такая все гиль, ничего не разберешь! Все о субъектах, да объектах толкуют. Философия с ума свела!“ (письмо Н. Панаева к Белинскому от 11 окт. 1838 г.). Настоящая статья попала в цель; и сам Белинский, бесконечно далекий от всякого хвастовства, считал ее впоследствии не последней причиной быстрого падения славы Марлинского в сороковых годах. „В конце прошлого и начале нынешнего десятилетия—писал Белинский в указанной выше рецензии 1848 года, намекая на настоящую статью,—новая критика сделала Марлинскому решительный вызов; бой был непродолжителен; колоссальная слава, уже подрытая в основании временем, разлетелась в минуту“...

Только после такой окончательной победы Белинский мог взглянуть на Бестужева-Марлинского с полным беспристрастием. В 1840 году, в эпоху настоящей статьи, Белинский был увлечен борьбой и слишком строго отнесся к Марлинскому, как „вдому петербургских чиновников и образованных лакеев“, как он писал Боткину (30 дек. 1840 г.); поэтому и настоящую статью Белинского впоследствии осуждали за недостаток „исторической точки зрения“ на значение Бестужева в русской литературе. Говорившие так не замечали отсутствия исторической точки зрения у самих себя, в их отношении к настоящей статье Белинского: нельзя исторически оценивать то, что есть, с чем ведешь борьбу. Но даже и в этой статье Белинский подчеркивал необходимость исторической точки зрения на литературу и один из первых оценил громадное значение Бестужева в истории русской критики: „Марлинский немного действовал, как критик, но много сделал,—говорит Белинский:—его заслуги в этом отношении незабвенны и гораздо существеннее, чем достоинство его препрославленных повестей, хотя о первых никто не говорит, а от последних все без ума“. Это основное положение Белинского всецело сохраняет свою силу и для нашего времени, несмотря на строго-историческое отношение к Марлинскому и его повестям. Через несколько месяцев после настоящей статьи Белинский мимоходом (в статье о сочинениях Дениса Давыдова) еще раз коснулся значения Марлинского в русской литературе. Марлинский—говорит он там—„очень примечательное лицо в истории нашей литературы... Его сочинения принесли великую пользу тем, что уничтожили в глазах публики всякую цену прежнего направления в романе и повести, сделав их смешными и пошлыми... Если повести Марлинского теперь, будучи изданы вторично (первое, неполное издание появилось еще в 1832—1834 гг.,—И.-Р.), имели такой блестящий успех, то какой же восторг производили они своею новостью и оригинальностью, какое движение и какую жизнь давали нашей литературе и нашей публике!“ Эта мысль, вместе с постоянным мнением Белинского о псевдо-романтизме произведений Бестужева—исчерпывает, в сущности, всю позднейшую „историческую“ точку зрения на этого писателя.

„Идол петербургских чиновников“—говорит Белинский о Бестужеве; Белинский же, как мы знаем, определял Бенедиктова, как поэта „средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга“. Эти определения тождественны и безусловно справедливы; но тут же надо подчеркнуть и громадную разницу в значении Бенедиктова и Марлинского: первый выступил со своей взвинченной и шумящей поэзией после Пушкина, а второй с такими же внешне блестящими повестями—прежде Гоголя. Оттого-то историческое значение поэзии Бенедиктова совершенно отрицательно и ничтожно, а Марлинский в истории русской повести имеет хотя и небольшое, но положительное значение. Отсылаю читателей к подробной монографии Н. Котляревского „А. А. Бестужев“ (в книге „Декабристы“, стр. 105—416); см. также книгу П. Замотина „Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20—30-х годов

“XIX столетия”, стр. 162—268; подробную библиографию см. в „Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых“ С. А. Венгерова (т. III, стр. 147—177); в указанной монографии читатели найдут между прочим характеристику повестей Бестужева-Марлинского и оценку их исторического значения, как подготовления к повестям Гоголя. Это отметил еще Белинский в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“, называя Марлинского „первым нашим повествователем“, „творцом или, лучше сказать, зачинщиком русской повести“, продолжателем которой был Гоголь. Но Белинский же отметил (в рецензии 1848 года) и то обстоятельство, что именно появление Гоголя нанесло страшный удар всей „марлиовщине“ и что именно с этих пор „Марлинский, доселе шедший, повидимому, впереди всех, вдруг очутился назади“.

Причины этого, помимо размера дарований Гоголя и Марлинского, лежат и в характере их талантов. Гоголь был родоначальником „натуральной школы“, величайшим представителем художественного реализма; Бестужев-Марлинский хотел быть представителем „романтической“ школы, но был только представителем того псевдо-романтизма, по выражению Белинского, который царил в русской литературе двадцатых годов. И в этом—причина художественной второстепенности произведений Бестужева-Марлинского, и это чутко заметил Белинский еще в начале своей критической деятельности. Он заметил в повестях Марлинского зерна реализма, но зерна заглушенные придуманностью, намеренностью, мертвой схематичностью этих повестей; но в то же время произведения Марлинского, по верному замечанию Белинского, вовсе не принадлежали и к области „романтизма“ („идеальной поэзии“—по тогдашнему выражению Белинского). Повести Марлинского,—говорил Белинский,—не романтизм, ибо „в них нет глубокости мысли, пламени чувства, нет лиризма, а если и есть всего этого понемногу, то напряженное и преувеличенное насильственным усилием, что доказывается даже самою чересчур цветистой фразеологиею, которая никогда не бывает следствием глубокого, страдательного и энергического чувства“. Этот псевдо-романтизм Марлинского был крайне характерным и для его творчества, и для всей эпохи двадцатых годов, и Белинский был глубоко прав, заканчивая свою рецензию 1848 года о Марлинском указанием на то, что „его сочинения останутся навсегда любопытным памятником той литературной эпохи, которая так резко отразилась в них“. И в настоящей статье проводится по существу та основная точка зрения на Марлинского, которую мы наметили выше; это делает настоящую статью Белинского сохраняющей все свое значение до наших дней. Не говорю уже о той громадной роли, которую она сыграла в свое время, время преклонения перед Марлинским, и которую с законной гордостью вспоминал впоследствии, как мы видели, сам Белинский.

Настоящая статья, подобно другим статьям Белинского 1839—1840 г. в „Отеч. Записках“, затронула целый ряд вопросов, которые Белинский намерен был развивать в своих дальнейших статьях (ср. нашу заметку № 15). В настоящей статье снова намечается исторический взгляд на литературу, затрагивается вопрос о „мировом“ значении русской литературы, о значении народной поэзии: все это вопросы, которые Белинский будет разрабатывать в последующих статьях 1840—41 года; первые страницы настоящей статьи являются как бы предисловием к написанному через год обзору „Русская литература в 1840 году“, который в свою очередь явился как бы сводкой всех мнений Белинского, напечатанных за этот первый год его сотрудничества в „Отечественных Записках“.

## 18. „Две сказки Гофмана“. „Детские сказки дедушки Иринея“.

С самого начала своей критической деятельности Белинский обращал глубокое внимание на вопросы педагогики в широком смысле, вопросы совершенно неразработанные в то время в русской литературе. Еще в „Молве“ 1835 года он писал о

детских книгах (о географии Гейма); в той же „Молве“ начала 1836 года (№ 5) Белинский поместил коротенькую рецензию на „Детскую книжку“ и в этой рецензии высказал почти все те свои „педагогические“ воззрения, которые развил впоследствии. Еще годом позже, отвечая на предложение К. Аксакова писать детские книги, Белинский (в письме от 14 авг. 1837 г.) отказывается от этой работы, указывая на ее трудность: „как много нужно условий для детской книжки! Целью ее должно быть — возбудить в детях истину не в поучениях, не сознательную, но истину в представлении, в ощущении, и для этого нужно до спокойствие, та гармония духа, которая дается человеку только любовью“... Прибавлю здесь кстати, что впоследствии, в 1841 году, Белинский собирался заняться переделкой для детей „истории Робинзона Крузо“, а также хотел „переделать в книгу“ настоящую статью (см. письмо к Краевскому от 16 июня 1841 г.). Возвращаясь назад, укажу, что в „Московском Наблюдателе“ 1838 года (т. XVI, кн. II, стр. 302—321) Белинский поместил целую статейку о детских книгах, из которой перенес теперь дословно целые страницы в настоящую статью 1840 года, которая и является центральной статьей Белинского по этому вопросу. Но и после настоящей статьи Белинский неоднократно возвращался к вопросу о детских книгах; мы видели, что три года спустя он задумывал даже развить эту свою статью в целую книгу. В 1844 году он снова сражается в рецензиях с различными бездарными составителями детских книжек и продолжает эту борьбу в ряде рецензий следующего года, но при этом во многом изменяет свои прежние взгляды на задачу детских книг; особенно характерны в этом отношении рецензии 1846 года. Наконец, в „Современнике“ 1847 и 1848 годов мы снова встречаем ряд рецензий на детские книги: из общего числа тридцати статей этих годов разбору детских книг посвящено семь; это показывает, как много внимания продолжал обращать Белинский на этот вопрос. И последней его статьей в „Современнике“ 1848 года была рецензия о „Рассказах детям из древнего мира“; Белинский умирал, когда она печаталась...

Итак, с начала и до самого конца своей критической деятельности Белинский упорно разрабатывал вопрос о воспитании — к этому, в сущности сводились все его статьи и рецензии о детских книгах; настоящая статья является, как мы уже заметили, центральной. Но тут же надо отметить, что она стоит на рубеже перелома, каким вообще был для Белинского 1840—1841 год. В настоящей статье мы найдем синтез всех „педагогических“ взглядов Белинского эпохи 1834—1840 годов; в последующие же годы Белинский изменил эти свои взгляды в очень существенном отношении, в вопросе, составляющем одну из главных сторон настоящей статьи: я говорю об отношении Белинского к области фантастического. Белинский был „весь земной“, типичный „реалист“ в своем мировосприятии; философию Гегеля, как мы знаем, он понял реалистически и даже одно время „действительность“ отождествлял с внешним миром. Но несмотря на это, еще сильны были в гегелианце-Белинском отзвуки былого шеллингианства, этого гениального проявления романтизма в философии. Даже теперь, в 1840 году, Белинский не замыкал себя в одном реализме, а стремился синтезировать его с элементами романтизма; „фантастическое — писал он в статье об „Очерках“ Полевого — есть один из романтических элементов духа, который должен быть развит в человеке, чтоб он был человеком“. И это убеждение его было настолько сильно, что он даже Гегеля обвинял в узости за его вражду к таким романтическим элементам духа: „Гегель — писал Белинский Боткину (5 сент. 1840 года) — не благоволил ко всему фантастическому, как прямо противоположному определенно действительному. Катков говорит, что это — ограниченность. Я с ним согласен“... Правда, это писалось уже в начале разрыва с Гегелем, но в настоящей статье (которая писалась в январе—феврале 1840 г.) Белинский еще всецело стоит на своей крайней гегелианской точке зрения — и все-таки ратует за „фантастическое“, восторгается произведениями одного из величайших романтиков всех времен — Гофмана.

Интересно, что в эпоху начала своей ссоры с „фихтианской отвлеченностью“, при первых проблесках гегелианской „действительности“, в 1837 году, Белинский очень не благоволил к фантастике Гофмана. „Мечтай, фантазируй, восхищайся, тро-



гайся,—писал он К. Аксакову (21 июня 1837 г.),—только забудь о двух нелепых вещах, которые тебя губят — магнетизме и фантастизме. Это глупые вещи. Я сильно начинаю разочаровываться в Гофмане, потому что никак не могу объяснить себе этой поэзии, сумасшедшей и болезненной“... Однако уже в своей отмеченной выше статье о детских книгах в „Моск. Наблюдателе“ 1838 года, Белинский подчеркивает, что фантазия, особенно в детстве, есть „преобладающая способность и сила души“, являющаяся проявлением „чувства бесконечного“; эти же мысли Белинский дословно повторяет и в своей настоящей статье. И теперь Белинский снова понял и оценил Гофмана. „Чудный и великий гений этот Гофман!—писал он Воткину (16 апр. 1840 г.), уже после появления настоящей статьи:— в первый еще раз понял я мыслью его фантастическое. Оно — поэтическое олицетворение таинственных враждебных сил, скрывающихся в недрах нашего духа. С этой точки зрения болезненность Гофмана у меня исчезла, осталась одна поэзия“... И в настоящей статье мы находим восторженную оценку Гофмана, как „величайшего поэта“, „высшего идеала писателя для детей“, годного и для людей всех возрастов. „Гофман—поэт фантастический, живописец невидимого внутреннего мира, ясновидящий таинственных сил природы и духа“,— говорит Белинский; в рассказах Гофмана он видит „анофеоз фантастического, как необходимого элемента в духе человека“: „фантастическое есть один из необходимых элементов богатой натуры,... следственно, его развитие необходимо для юной души,—и вот почему называем мы Гофмана воспитателем юношества“. Но тут же Белинский настойчиво указывает, что одностороннее развитие этого элемента увлекает человека „в сферу призраков и мечтаний“, отрывает его „от живой и полной действительности“; одновременно с Гофманом надо давать юношеству и произведения „представителей разумной действительности, поэтически воспроизведенной в великих художественных созданиях“: романы Вальтер-Скотта и Купера, „Юрия Милославского“ („в котором столько душевной теплоты, столько патристического чувства“), басни Крылова, избранные стихотворения Пушкина (даже „Клеветникам России“ и „Бородинскую годовщину“: это мнение связывает настоящую статью с статьями конца 1839 года).

Если исключить кое-какие частности, то все остальное воззрение Белинского всецело сохраняет свою силу и для нашего времени: да, надо развивать все элементы детской души, не сдавливая ее заранее определенными тисками, реалистическими или романтическими—безразлично. Но Белинский не остановился на этой точке зрения. После своего душевного перелома 1840—1 г. после разрыва с „разумной действительностью“, Белинский в то же время еще ближе подошел к строго реалистическому мировоззрению. „Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью!“—воскликнул Белинский через полгода после появления настоящей статьи: он вообще отказался от признания „разумной действительности“, от „приятия мира“; но это не помешало ему продолжать в 1841—1848 гг. борьбу за „действительность“ в совершенно ином смысле, в смысле реализма. Отсюда вражда Белинского сороковых годов ко всему романтическому, под которым он стал теперь понимать и мистицизм, и фантастику, и сентиментальность, и мечтательность и тому подобное; зачатки подобных воззрений были уже в статье о „Горе от ума“.

Очевидно, что вследствие этого Белинский должен был совершенно переменить свои взгляды и на Гофмана, и на значение „романтических элементов“ в воспитании ребенка. Так и случилось. Если в статье „Моск. Наблюдателя“ 1838 года и в настоящей статье Белинский вполне понимал, „как сильно у детей стремление ко всему фантастическому“ и сам указывал, „как жадно слушают дети рассказы о мертвецах, привидениях, волшебствах“, видя в этом „потребность бесконечного, предощущение таинства жизни, начало чувства поэзии“,—то в одной из рецензий начала 1844 года он уже не советует давать детям русские сказки или рассказы о домовых, леших...ч тому подобных вздорах, которыми только засоряют понятие и запугивают воображение детей“; „сказки пусть слушают от старых нянек те бедные дети, которых воспитание невниманием или невежеством родителей поручается сообществу холопов“. — еще определеннее заметил Белинский тремя годами позднее („Современник“

1847 г. № 5). И это Белинский говорит о тех самых русских сказках, о которых Пушкин, слушая сказки „холопки“ Арины Родионовны, еще четвертью века ранее сказал: „... слушаю сказки—и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!“ Кто здесь был прав, Пушкин или Белинский—для нас слишком очевидно. Неудивительно после этого, что и к Гофману Белинский отнесся теперь и строго, и несправедливо: недоброжелательные отзывы о Гофмане мы найдем уже в статьях 1842 года. Позднее Белинский отозвался о Гофмане еще строже: „мы очень уважаем Гофмана,—говорит Белинский в вышеуказанной рецензии 1847 года,—и если видим в нем чудака и безумца, то все же гениального; и однакож считаем его для детей столько же или еще и более вредным, нежели Польде-Кока, хотя и вовсе другим образом. Для детей страшно вредно все, что развивает и возбуждает фантазию на счет других интеллектуальных способностей“... А потому Белинский предлагает даже (в этой же рецензии, а также и в более ранней — см. „Отеч. Зап.“ 1846 г. № 1) совершенно лишить детей художественного чтения до двенадцатилетнего возраста: „до семи лет пусть дитя ест, пьет, спит, играет и говорит, а с семи пусть оно, сверх всего этого, еще и учится“, а в промежутках—занимается гимнастикой, ибо „сказочки и повести... сильно возбуждают в детях самую опасную из душевных способностей—фантазию“... К тому же, участь, ребенок поневоле читает, переводит с иностранных языков, а Корнелий Непот или Саллюстий так же интересны, как любой роман. С двенадцати лет ребенку можно дать первый роман—„Юрия Милославского“ Загоскина (ср. настоящую статью!), а затем понемногу—романы Вальтер-Скотта и Купера. Вообще „детские книги не только бесполезны, но и положительно вредны, и если детям должно читать что-нибудь кроме учебников, так это книги, которые читаются и взрослыми, разумеется при условии строгого выбора“.

Бесполезно было бы доказывать совершенную ложность этих последних взглядов Белинского, объясняющихся отчасти скудостью и убожеством тогдашней детской литературы. „Ты знаешь мою натуру,—писал он Боткину еще в 1841 году:—она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи“... Не даром Герцен называл его „человеком экстремы“. Но если Белинский когда-либо попал в центр идеи, то это именно в настоящей статье 1840 года: в ней он высказал широкий и верный взгляд на детские книги, на необходимость развития всех элементов души ребенка; эти взгляды не могут быть поколеблены ошибочными в данном вопросе воззрениями Белинского сороковых годов. Мы уже видели (в статье № 14), что в иных вопросах Белинский был ближе к истине именно в своих „гнусных“ (по его выражению) статьях 1839—1840 г., которых он впоследствии так стыдился; настоящая статья является новой иллюстрацией этого.

Но вопрос о развитии воспитанием реалистических и романтических элементов души человека не исчерпывает содержания настоящей статьи; я так подробно остановился на нем только в виду его большого значения для характеристики эволюции самого Белинского. Гораздо более важным для „педагогики“ является второй главный и более общий вопрос—о принципах воспитания, и решение этого главного вопроса Белинский не изменял никогда, в течение всей своей критической деятельности; это решение делает Белинского великим родоначальником всей новой русской педагогической школы. „Орудием и посредником воспитания должна быть любовь,—говорит Белинский с настоящей статье,—а целью—человечность... Мы разумеем здесь первоначальное воспитание, которое важнее всего. Всякое частное или исключительное направление, имеющее определенную цель в какой-нибудь стороне общественности, может иметь место только в дальнейшем, окончательном воспитании. Первоначальное же воспитание должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека, который мог бы впоследствии быть тем или другим, не переставая быть человеком“... Это основная, постоянная мысль Белинского, и мы еще не раз встретимся с нею; и когда в 1856 году Пирогов напечатал свои знаменитые „Вопросы жизни“, то в них он только буквально повторил и эту мысль Белинского, и его другие мысли о принципах воспитания. Эти педагогические идеи, по замечанию авторитетного педа-

гога, В. П. Острогорского, „Белинский с такой страстностью провозгласил среди общего мрака, задолго раньше Пирогова и Ушинского. Эти идеи вложил он и в свои разборы детских книг и тем положил основы русской вообще педагогической литературы и критики литературы детской, которые пошли за ним, как пошли за ним вслед и все лучшие наши педагогические деятели“ („Белинский, как педагог“, в сборнике „Памяти Белинского“, М. 1899 г., стр. 71; см. также ряд юбилейных статей 1898 года о Белинском, как педагоге—в журналах „Вестник Воспитания“, „Русская Школа“, „Русская Мысль“ и др.). Пирогов, Ушинский, Стоюнин, Водовозов, Острогорский—все они в этой области были и признавали себя только верными учениками Белинского, и именно Белинского—автора настоящей статьи 1840-го года.

## „19. Басни Ивана Крылова“.

Еще в „Литературных Мечтаниях“ Белинский, отрицая существование русской литературы, признавал в то же время, что она имеет всего четырех случайных, но великих представителей: одним из этих четырех был, по его мнению, Крылов—„гениальный поэт Русский“, который „возвел у нас басню до нес plus ultra совершенства“. После этого Белинский неоднократно возвращался к Крылову и давал ему все ту же прежнюю характеристику. В „Моск. Наблюдателе“ 1838 года (в статье „Литературная хроника“) он мимоходом высказывает о баснях Крылова мысли, повторенные в настоящей статье—о том, что „басня есть поэзия рассудка“, что каждая из басен Крылова есть маленькая цельная драма, что язык Крылова—изумителен, что „сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении“ и т. д. В статье „Разделение поэзии на роды и виды“ Белинский, охарактеризовав басню, назвал Крылова „истинно гениальным творцом народных басен, в которых выразилась вся полнота практического ума, смысленности, повидимому простодушной, но язвительной насмешки русского народа“. Укажу затем на особенно интересную рецензию 1844 года (Отеч. Зап. № 1) по случаю нового издания басен Крылова: в ней Белинский перечисляет лучшие, по его мнению, из этих басен. „Едва ли не лучшей из всех басен Крылова“ он считает басню „Крестьянин и Овца“, а затем считает лучшими—„Совет мышей“, „Мельник“, „Мот и ласточка“, „Свинья под дубом“, „Лисца и Осел“, „Муха и Пчела“, „Волк и Мышонок“, „Два мужика“. „Две собаки“, „Кошка и Соловей“, „Рыбы пляски“, „Прихожанин“, „Воропа“, „Лев состаревшийся“, „Белка“, „Щука“, „Кукушка и Орел“, „Бритвы“, „Бедный богач“, „Булат“, „Купец“, „Пушки и паруса“, „Осел“, „Мирон“, „Волк и кот“, „Три мужика“. Нельзя не отметить, что в этом интересном перечне преобладают басни общественного и политического содержания, что очень характерно для Белинского середины и конца сороковых годов. В этой же рецензии Белинский верно предсказал, что прозвище „дедушки“—„сделается народным именем Крылова во всей Руси“. В последний раз Белинский говорил о Крылове уже в 1848 году („Современник“ № 1), рецензируя „полное“ собрание его сочинений; в этой рецензии он повторил свои прежние суждения о Крылове. Кстати заметить, это „полное“ собрание сочинений 1847 года было совершенно неполным (наиболее полным изданием в настоящее время является четверехтомное издание 1904 г. под редакцией В. Калаша).

Настоящая рецензия 1840 г. является самой подробной из всех о баснях Крылова; в ней соединено все то, что Белинский и раньше говорил и позднее повторял о произведениях этого „истинно-гениального творца народных басен“. Излюбленный метод критики Белинского—исторический; и настоящую статейку он начинает сжатым, по рельефным историческим обзором русской басни, рассыпая мимоходом меткие характеристики Хемницера, Дмитриева, Измайлова. Что же касается Крылова, этого единственного у нас „истинного и великого баснописца“, то лучшую характеристику его басен мы имеем в приведенных выше строках из статьи „Разделение поэзии на роды и виды“; эта общепринятая и лапидарная характеристика („полнота практического ума, смысленности“

и „повидимому простодушная, но язвительная насмешка“) с большою подробностью выражена в настоящей статье. В этих свойствах творчества Крылова Белинский всегда видел — и неустанно это подчеркивал, от „Литературных Мечтаний“ и до рецензии 1847 года — величайшую народность Крылова: в выяснении этого свойства — главная задача настоящей рецензии. Характеристика Крылова — как почти все характеристики Белинского — сделалась классической; повторение ее можно найти в любом курсе русской литературы. Точно так же сделалось классическим и тонкое сопоставление Крылова и Грибоедова (отмеченное уже выше в статье № 15); в настоящей статейке Белинский отмечает это мимоходом, а в 1844 году, в восьмой из „пушкинских статей“ он развил эту мысль подробнее.

Из характерных частных настоящей статьи отмечу снова встречающееся противопоставление Белинским „беллетристики“ и „искусства“; мне уже приходилось говорить об этом (см. выше статью № 9) и еще придется говорить ниже (см. статьи №№ 22, 25 и др.). „Мы должны отложить объяснения по сему предмету до другого времени“, — замечает здесь Белинский; ближайшее выполнение этого обещания мы найдем в статье „Русская литература в 1840 году“.

## 20. „Герой нашего времени“.

„В № 18 Литературных Прибавлений к Русскому Инвалиду (1838 г.) мы прочли прекрасное стихотворение „Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“. Не знаем имени автора этой песни, но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование“, — так писал Белинский еще в „Моск. Наблюдателе“ 1838 года (т. XVI, стр. 621). Через год, отмечая в том же журнале появление в „Отеч. Записках“ „Бэлы“ Лермонтова, Белинский восхищался „необыкновенным талантом“ и „высоким поэтическим дарованием“ этого в то время никому неизвестного поэта (ibid., 1839 г., ч. II, стр. 131 — 136). Читая в середине этого же года в „Отеч. Записках“ стихотворения Лермонтова и отдельные главы из его „Героя нашего времени“, Белинский писал Краевскому (24 авг. 1839 г.): „Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое!“ А месяцем позже (29 сент. 1839 г.) он писал Станкевичу: „на Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов“... И это писалось почти в то самое время, когда Полевой снисходительно замечал, что „г. Лермонтов“ написал „полдюжины пьесок, весьма недурных“, а что все, написанное им в прозе, было-де „очень плохо“ („Сын Отечества“, ноябрь, 1839 г.).

Если бы нужно было доказывать тонкое понимание, чуткую отзывчивость и художественное проникновение Белинского, то одного этого случая было бы достаточно. Но этот факт не нуждается в доказательствах, а потому достаточно только указать, что когда „Герой нашего времени“ вышел в начале 1840 г. отдельным изданием, то Белинский немедленно отозвался на это произведение настоящей громадной статьей — одной из самых больших своих статей после „Литературных Мечтаний“. Когда полгода спустя вышла книжка „Стихотворения М. Лермонтова“, то Белинский и ей тотчас же посвятил обширную статью. Говоря о последней (см. ниже № 21), я подробно остановлюсь и на настоящей статье, так как только тщательно изучив взгляд Белинского на Лермонтова, как поэта, можно приступить к рассмотрению его отношения к „Герою нашего времени“.

Здесь остановлюсь только на внешней форме и на некоторых частных настоящей статьи. Внешняя форма ее — та же самая, какую мы уже отметили в статье о „Горе от ума“, и такая была уже применена Белинским в первой половине его статьи о „Гамлете“: подробное изложение разбираемого произведения: Подробно излагая на полусотне страниц роман Лермонтова, Белинский преследовал ту же цель, как и при

таким же подробном изложении „Ревизора“ в статье о „Горе от ума“ (см. выше № 15): и тут, и там надо было доказать художественное единство произведения, его „замкнутость“, по выражению Белинского в настоящей статье. „Мы должны проследить в его содержании, уже хорошо известном читателям, развитие основной мысли“ для того, чтобы уяснить себе „индивидуальную общность романа“, — говорит Белинский в настоящей статье и дважды подчеркивает „тяжесть“ принятой на себя обязанности — „излагать содержание художественного произведения“; но этот путь — единственный для достижения поставленной критиком цели. Это изложение приводит Белинского к попутным ярким характеристикам Максима Максимыча, Грушницкого, Печорина и других; вообще же это, — как я уже заметил, говоря о „Горе от ума“ и „Ревизоре“ — не простое, рабское изложение, а блестяще комментированный пересказ, сразу бросающий определенный свет на разбираемое произведение.

Доказывая это художественное единство, эту „замкнутость“ произведения, Белинский все время стоит на почве гегелианской эстетики и даже пользуется ее терминологией; но тут же надо отметить и наслоения былого шеллингианства, которое навсегда вошло элементом в философско-эстетические воззрения Белинского. Определяя „замкнутость“, Белинский объясняет ее внутренним созерцанием, внутренним ясновидением истины, в котором не трудно узнать шеллинговский Anschauung, „гениальную интуицию“; в свою очередь объяснение этого „созерцания“ тождеством познающего с познаваемым является тоже основной шеллингианской мыслью, перешедшей и в гегелианство. В написанной годом позднее статье „Идея искусства“ (см. ниже № 24) Белинский, как увидим, в определении искусства соединил именно эти гегелианские и шеллингианские положения; кстати будет поэтому отметить, что целый ряд мест настоящей статьи был дословно перенесен Белинским в статью „Идея искусства“. — Отмечу еще из частных настоящей статьи постоянно подчеркиваемое Белинским разделение беллетристики и искусства: мы следим за этим разделением, начиная со статьи Белинского о сочинениях Греча (№ 9), и будем следить еще долго: вопрос этот важен потому, что сороковые годы были для Белинского эпохой постепенного перехода от „художественности“ к „беллетристике“, как мы это еще увидим.

Настоящая статья писалась летом 1840 г., в эпоху зарождавшегося кризиса в душе Белинского, во время назревавшего разрыва с былой философией „разумной действительности“: Белинский начинал уже думать по-новому, но продолжал писать по-старому; он находился в периоде нерешительности, периоде подготавливающегося кризиса. Вот причина сдержанного тона настоящей статьи и в то же время прежних утверждений, что все благо, все добро, все разумная необходимость, что, например, „нет дурных веков, ни один век не хуже и не лучше другого, потому что он есть необходимый момент в развитии человечества или общества“... Ряд подобных же прежних утверждений мы отметим еще в следующей статье; и все это Белинский печатал тогда же, когда письма его к друзьям были уже переполнены „воплями отчаяния“ и неверия в жизнь. Отрывки из этих писем приведены в первой части настоящей книги, и там же выяснены причины этой „двойственности“ Белинского; здесь достаточно привести несколько слов из письма Белинского к Боткину от 12 августа 1840 г., в котором идет речь как раз об этой статье Белинского. Он сообщает Боткину, что Катков познакомил его со скептической брошюрой Фрауэнштедта, и иронически восклицает: „молодец Фрауэнштедт! После его брошюры пропадет охота не только резонерствовать или мыслить, но и что-нибудь утверждать... Очень рад, что тебе понравилась вторая статья моя о Лермонтове (т.-е. вторая половина настоящей статьи, намечативной в №№ 6 и 7 „Отеч. Записок“, начинающаяся с разбора „Княжны Мери, — И.-Р.); кроткий тон ее — результат моего состояния духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и поневоле стараюсь держаться середины“... Этой „середины“ Белинский однако не держался в своих литературных взглядах и характеристиках: и на „Героя нашего времени“, и на поэзию Лермонтова у него был вполне определенный и несколько не „серединный“ взгляд, о котором я скажу в следующей заметке.

## 21. „Стихотворения М. Лермонтова“.

Несколько нарушая строгую хронологическую последовательность, я говорю о настоящей статье начала 1841 года (она писалась в январе этого года) непосредственно вслед за статьей о „Герое нашего времени“, написанной полугодом ранее—в виду тесной, неразрывной связи этих двух статей, как бы составляющих одно целое. Правда, за эти полгода Белинский пережил самый острый период своего нравственного кризиса—разрыва с былым абсолютным признанием „разумной действительности“; но этот разрыв отразился еще и в первой из двух этих статей, так что тон и настроение и настоящей статьи, и предыдущей вполне гармонируют и соответствуют друг другу.

Но тут же, заходя несколько вперед, следует подчеркнуть, что новый тон и новое настроение состояли почти исключительно из признания права личности, законности „вопля страдания“ ее против тяжелых оков „разумной действительности“; в этом Белинский справедливо увидел также и сущность поэзии Лермонтова. Почти все остальное в воззрениях Белинского осталось на первый взгляд без существенных перемен—особенно его теоретические и философские взгляды на поэзию, на искусство, на их цель, хотя новые взгляды и мысли заметно стали пробиваться сквозь старую формулировку. Попрежнему Белинский остался верен теоретической сущности философии Гегеля, как он ее понимал; попрежнему на первых же страницах настоящей статьи мы встречаемся с целым рядом уже знакомых нам эстетических воззрений Белинского: тут и цитаты из пушкинских „Черни“ и „Поэта“, которые годом раньше Белинский с той же целью приводил в своей статье о „Менцеле“; тут и прежнее утверждение, что „преобладание внутреннего, субъективного элемента в поэтах обыкновенно есть признак ограниченности таланта“,—утверждение, столько раз применявшееся Белинским к Шиллеру. Но зато теперь мы слышим оговорку, которая в корне меняет мысль Белинского: „в таланте великом, — говорит он, — избыток внутреннего, субъективного элемента есть признак гуманности“; и тут же Белинский восхищается „благородным Шиллером“ и как бы вскользь замечает, что „в наше время отсутствие в поэте внутреннего, субъективного элемента есть недостаток. В самом Гёте не без основания порицают отсутствие исторических и общественных элементов, спокойное довольство действительностью, как она есть...“ Этими словами Белинский сам зачеркивает свою статью о „Менцеле“. Но тут же повторяется и подчеркивается постоянная мысль Белинского, что „поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе есть цель, так же, как истина в знании, как благо в действии. Подобно истине и благу, красота есть сама себе цель и по праву царствует над вселенной только властью своего имени...“ Мы знаем, что это было основным убеждением Белинского, начиная с самых первых его статей (см. №№ 1 — 5), с той только разницей, что тогда Белинский высказывал примат эстетического чувства над истиной и нравственностью, а теперь он соединяет их равноправно в триединую группу, что уже сделал и раньше, в статьях 1838 — 1840 г.г., и повторит в статье о „Римских элегиях“ Гёте (см. ниже статью № 27). Тут же Белинский снова повторяет прежнее свои мысли о разделении „разума“ и „рассудка“, о поэтическом вдохновении и экстазе; но тут же он высказывает совершенно новую и смелую мысль о том, что философия и искусство характеризуются отсутствием общеобязательности. Все это достаточно иллюстрирует то положение, что, оставаясь пока в общем при прежних взглядах, Белинский нечувствительно переходит к чему-то новому, иному.

Особенно характерны с этой точки зрения вступительные страницы настоящей статьи, заключающие в себе определение поэзии. На первый взгляд это определение Белинского—„поэзия есть жизнь“—представляется только развитием старого надеждинского тезиса „ubi vita, ibi poësis“, „где жизнь, там и поэзия“,—тезиса, неоднократно повторявшегося Белинским во всех его статьях; но в действительности мы имеем здесь новое понимание, новое толкование старой формулы—стоит только вспомнить то письмо Белинского, отрывком из которого я закончил предыдущую заметку. „Кроткий тон (статьи о Лермонтове, — И.-Р.)—результат моего состояния духа, — пи-

ся Белинский 12 августа 1840 г.,—я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать и поневоле стараюсь держаться середины. Впрочем, будущие мои статьи должны быть лучше прежних: вторая статья о Лермонтове есть начало их. От теорий об искусстве я снова хочу обратиться к жизни и говорить о жизни...“ Вот объяснение начала настоящей статьи, вот значение подробного развития мысли, что „поэзия есть жизнь“. Так незаметно в старые формы вливалось новое содержание<sup>1)</sup>.

Но не в этом была главная перемена в воззрениях Белинского, а в признании законности права личности, о чем уже подробно говорилось выше, в очерке жизни и творчества Белинского. Еще в декабре 1839 года, в эпоху статей об „Очерках Бородинского сражения“ и „Менцеле“, Белинский писал Боткину, сам зачеркивая своими словами эти статьи: „права личного человека так же священны, как и мирового гражданина; кто на вопль и судорожное сжатие личности смотрит свысока, как на отпадение от Общего, тот или мальчик, или эгоист, или дурак,—а мне тот, и другой, и третий равно несносны...“ А\* месяцем позднее все читатели могли узнать из статьи о „Менцеле“, что вопли поэта не могут быть художественны, ибо, „кто вопит от страдания, тот не выше своего страдания, следовательно, и не может видеть его разумной необходимости“; здесь выражен именно столь „несносный“ Белинскому взгляд „свысока“ на „судорожное сжатие личности“. Это самопротиворечие, неизбежное следствие и проявление наступавшего душевного кризиса, уже не имело места в появившейся полугодом позднее статье о „Герое нашего времени“: тут Белинский уже всецело признает право поэта „вопить от страданий“, ибо таким воплем „бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях: это вопль страдания; но вопль, который облегчает страдание...“

Только с этой точки зрения можно было почувствовать и правильно осветить творчество Лермонтова, это воплощенное „судорожное сжатие личности“. Белинский тем более понял теперь этот вопль, что сам безумно „вопил“, как раненый зверь, во всех своих письмах 1839—1841 годов; он потерял почву под ногами, он терял веру в „разумную действительность“, в объективную осмысленность жизни; именно в таком настроении он мог принять и понять Лермонтова, которого еще мало понимал (хотя и высоко ценил) двумя годами ранее, называя „прекраснодушными“ наиболее мучительные вопли Лермонтова, вроде его „Думы“ („Моск. Наблюдатель“, 1839 г., ч. II, стр. 134; см. предыдущую заметку). Двамя-тремя годами ранее Белинский возненавидел бы Печорина, как представителя „умерщвляющей жизнь рефлексии“, неверия, отрицания; теперь он понял его, потому что начинал понимать себя, потому что сам перестал верить в жизнь, утверждать мир. Именно поэтому в настоящей статье Белинский говорил о Лермонтове, что „в его груди всякий узнает свою грусть, в его душе всякий узнает свою“: именно это „заставило нас,—говорит Белинский,—обратить особенное внимание на субъективные стихотворения Лермонтова и даже порадоваться, что их больше, чем чисто художественных. По этому признаку мы узнаем в нем поэта русского, народного...—поэта, в котором выразился исторический момент русского общества“. И то, в чем Белинский увидел „пафос“ поэзии Лермонтова, стало вскоре всеобщим, ходячим определением творчества этого великого поэта. Но это общеизвестное теперь определение верно лишь постольку, поскольку верна была и точка зрения Белинского.

Точка зрения Белинского была та, что его, Белинского, мучительные переживания, искания, отрицания — только переходный момент на пути к некоторому новому

<sup>1)</sup> Интересно подчеркнуть, кстати, до сих пор еще, кажется, недостаточно отмеченную связь этих мыслей Белинского и именно настоящей его статьи с знаменитой диссертацией Чернышевского „Эстетические отношения искусства к действительности“, с ее главным тезисом— „прекрасное есть жизнь“. Но в то время, как для Белинского „искусство выше природы“ (эта мысль доказывается в настоящей статье), для Чернышевского—наоборот, природа выше искусства. Сравнивая настоящую статью Белинского со статьей Чернышевского, не трудно убедиться в сильном понижении уровня философской мысли и эстетического чувства за десятилетие, протекавшее между этими двумя статьями.

синтезу; это же основное свое убеждение он применил и к характеристике творчества Лермонтова. Белинский мучительно хотел верить, что, за периодом ядовитой „рефлексии“, Лермонтова ждет успокоительное „разумное сознание“, вера в мир и жизнь; он хотел верить в это потому, что сам был именно в таком же круге воззрений и мучительно жаждал исхода; он верил, что этим исходом снова будет „приятие мира“—и продолжал исповедывать его в своих статьях, тщательно скрывая от читателей все свои муки, сомнения, проклятия, которые только и звучат в его интимной переписке этого периода. В своих статьях он повторяет восхваление „разумной действительности“, принимает жизнь, оправдывает мир. В статье о „Герое нашего времени“, восхищаясь „Бэлой“, Белинский восклицает: „смерть черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась не страшным скелетом, по произволу автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примирения. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд...“ Несколько страницами ниже Белинский повторяет, что „новейшее искусство, как необходимость, допускает в себя диссонансы, производимые в гармонии нравственного духа, но для того, чтобы показать, как из диссонанса снова возникает гармония — через то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вследствие ее своевольного разлада. Это мировой закон жизни“. И в настоящей статье, говоря о „рефлексии“ Лермонтова, Белинский замечает: „человеку необходимо должно перейти и через это состояние духа. В музыке гармония усложняется диссонансом, в духе — блаженство усложняется страданием...“ Так Белинский продолжал проповедывать в своих статьях „приятие мира“ и возводить „диссонанс“ (т.-е. слезы, злодеяние, горе, смерть) в мировой закон. И в это же самое время, в знаменитом письме к Боткину от 1 марта 1841 года, Белинский вдохновенно выражал резкое „неприятие мира“ и восклицал: „говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить свою участь идею дисгармонии...“ А потому Белинский стал проклинать свое былое примирение с „разумной действительностью“ и стал „на всех вещах видеть хвост диавола“ (из того же письма); но он не мог — нравственно не мог, если бы даже и мог фактически — проповедывать это свое „последнее мировоззрение“ для „малых сих“, какими Белинский считал читающую публику. И он продолжает таить эту „последнюю истину“ для себя, а в статьях продолжает проповедывать „высший синтез“, „разумное сознание“ — приятие мира. Он продолжает повторять в настоящей статье, что „что действительно, то разумно, и что разумно, то и действительно — это великая истина“, хотя и знает теперь, что „не все то действительно, что есть в действительности“ (эту же самую оговорку мы можем найти и в статье о „Горе от ума“, в расчленении „действительности“ и „призрачности“; дословно эту же фразу мы найдем и в статье о „Менцеле“). В статье о „Герое нашего времени“ Белинский сожалеет Печорина, который „не знает“, что в конце концов люди неотвратно приходят к высшему синтезу, „уверяются, что в жизни и зло необходимо, как добро“, и не видя возможности помешать злу, „повторяют про себя, то с радостною, то с грустною улыбкою: и все то благо, все добро! Увы! как дорого достается разумение самых простых истин!“ Наконец, в настоящей статье, говоря о „горестной и страшной участи благородного Калашникова“, Белинский все же по-прежнему восклицает: „...да переменится печаль ваша на радость и да будет эта радость светлым торжеством победы бессмертного над смертным, общего над частным! Благословим непреложные законы бытия и миродержавных судеб...“

Мы уже останавливались на этой двойственности Белинского, ярком проявлении его душевного кризиса, — и в предыдущих заметках, и в очерке жизни и творчества Белинского; здесь мы снова подробно разбираем этот вопрос, так как именно в статьях о Лермонтове резче всего отразился этот кризис Белинского и так как только верное его понимание дает возможность правильно осветить толкование Белинским Лермонтова. Не желая примириться с мыслью о том, что „мучительной рефлексии“ может не быть исхода, Белинский старается видеть и в творчестве Лермонтова, и в своих мучительных философских исканиях, и в типе Печорина — только переход к некото-



рому „высшему синтезу“, „разумному сознанию“. Особенно характерной с этой точки зрения является предыдущая статья Белинского — блестящая критическая характеристика Печорина. Остановимся здесь на этом вопросе, так как намеренно не коснулись его в заметке о предыдущей статье.

„Вышли повести Лермонтова, — писал Белинский Боткину 16 апреля 1840 г.: — дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь“. Но уже через два месяца, отвечая Боткину на его мнение о „натянутости и изысканности“ Печорина, Белинский решительно отстаивал Лермонтова и уже не возражал против его „субъективно-салонного взгляда на жизнь“ (т.-е. против мучительной „рефлексии“ поэта), но заявлял: „Лермонтов — великий поэт: он объективировал современное общество и его представителей“. Это объективирование, по мысли Белинского, заключалось в художественном изображении мучительного распада человеческой мысли на почве отравляющей душу „рефлексии“: в этом состоит сущность понимания Белинским творчества Лермонтова вообще и характера Печорина в частности. „Переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную“: в этих словах Белинского сконцентрирована вся сущность статьи о „Герое нашего времени“. Справедливо указывая в этой своей статье на близкое родство героя романа и самого автора („Печорин — это он сам, как есть“, — писал тогда же Белинский Боткину, рассказывая о своем знакомстве с Лермонтовым), Белинский снова повторяет, что автор „видимо находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса разумного примирения противоположностей в одном и том же предмете“. Печорин — болезнь, и Белинский подчеркивает это неоднократно; но тут же он указывает на те скрытые, потенциальные силы, которые таятся в Печорине, — характеристика, ставшая с тех пор классической. В Печорине, — замечает Белинский, — „есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту“; люди благоразумной середины клеймят его и подхватывают его прямые признания о самом себе, но — „не торопитесь вашим приговором, — возражает Белинский: — он клеветает на себя; поверьте мне, он и даром бы не взял того счастья, которому завидовал у этих других и которого добивался“... „Повторяем: он еще не знает самого себя, и если не должно ему всегда верить, когда он оправдывает себя, то еще менее должно ему верить, когда он обвиняет себя, или приписывает себе разные нечеловеческие свойства или пороки. Но винить ли его за это?..“ Печорина обвиняют в том, что у него нет веры — веры в жизнь: „прекрасно! но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота: он бы и рад иметь его, да оно не дается ему. И при том, разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его?..“ Конечно, не ту обычную веру, которой удовлетворяются „другие“ и которую, по выражению Белинского, Печорин „и даром бы не взял“; в этом Белинский видит проклятие Печорина, „который не знает, чему верить, на чем опереться и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и оправдывали его в собственных глазах“.

Вот глубоко продуманная, яркая характеристика „Героя нашего времени“, вскоре ставшая классической; распад духа в мучительной „рефлексии“, раздвоенность чувства и сознания — вот пронизательное определение Белинским и Лермонтова, и Печорина. Белинский верил в переходность такого состояния, верил в исход, в высший синтез, — а потому усиленно подчеркивал, что Печорин (а значит и Лермонтов, а значит и сам он, Белинский) еще выздоровеет, что его „рефлексия“, его отчаяние — только „острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь“. И в настоящей статье Белинский настойчиво повторяет, что Печорин (так же, как и пушкинский Фауст) есть только „болезненный кризис, за которым должно последовать здоровое состояние лучше и выше прежнего. Та же рефлексия, то же размышление, которое те-

перь отравляет полноту всякой нашей радости, должно быть впоследствии источником высшего, чем когда-либо, блаженства, высшей полноты жизни“. Это настойчивое подчеркивание Белинским, что Печорин есть болезнь, и болезнь, требующая излечения, отразилось, как мне кажется, в полном скрытой и тонкой иронии предисловии Лермонтова ко второму изданию „Героя нашего времени“: „будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить—это уж Бог знает!“ — иронически заключал Лермонтов это свое предисловие. Слишком ясно, что в „болезни“ Печорина он видел не „переход“, как Белинский, а конечный этап пути; эта „болезнь“ для него дороже всякого здоровья, как справедливо замечает один современный писатель, касаясь, хотя и с некоторыми фактическими ошибками, этих мыслей Белинского и Лермонтова (см. Л. Шестов, предисловие к книге „Достоевский и Нитше“). Белинский боялся думать, что его „болезнь“, его отрицание „разумной действительности“, его „неприятие мира“ могут быть не мимолетным и преходящим, а постоянным, „нормальным“ состоянием духа; но иногда и он сознавал, что для некоторых людей этот „преходящий момент“, „минутная дисгармония духа“ могут длиться целую жизнь.

К числу таких людей принадлежал Лермонтов, и сам Белинский высказывал это в те минуты, когда переставал считать такое „дисгармоническое“ состояние духа свое, Лермонтова, Печорина — только „временной болезнью“. Разбирая в настоящей статье некоторые из наиболее горьких стихотворений Лермонтова, Белинский восклицает: „страшен этот глухой, могильный голос подземного страдания, нездешней муки, этот потрясающий душу реквием всех надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний жизни! От него содрогается человеческая природа, стынет кровь в жилах, и прежний светлый образ жизни представляется отвратительным скелетом, который душит нас в своих костяных объятиях, улыбается своими костяными челюстями и прижимается к устам нашим! Это не минута духовной дисгармонии, сердечного отчаяния: это—похоронная песня всей жизни!“ И эта похоронная песня всей жизни тесно переплетается у Лермонтова со страстной любовью к этой самой жизни—это тонко почувствовал и глубоко понял Белинский: он указывает и подчеркивает в настоящей статье, что не одно стихотворение Лермонтова было внушено ему чувством тоски по жизни; он указывает, что это сочетание кажущихся противоположностей есть и в Печорине, „который, с одной стороны, томится жизнью, презирает и ее, и самого себя, не верит ни в нее, ни в самого себя,... а с другой—гонится за жизнью, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями...“ И в самом Лермонтове Белинский с удивительной проницательностью видел такую же раздвоенность, он видел „в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей—семена глубокой веры в достоинство того и другого“ (письмо к Боткину от 16 апреля 1840 г.).

Так понимал Белинский Печорина, так понимал он Лермонтова; и до сих пор такое понимание должно сохранить всю свою силу: в обширной литературе о Лермонтове статьи Белинского до сих пор являются непревзойденными ни по широте и глубине взгляда, ни по тонкости анализа. Из всей этой обширной литературы стоит упомянуть только о трех-четырех произведениях: обширная монография „М. Ю. Лермонтов“ Н. Котляревского, статья Михайловского „Герой безвременья“ (1891 г.) и статья Д. Мережковского „Лермонтов, поэт сверхчеловечества“ (1909 г.)—этим исчерпывается почти все, заслуживающее, по той или иной причине, внимания. Так, например, названная статья Михайловского является анализом творчества Лермонтова с точки зрения „общественной“, что ясно уже и из самого заглавия: Лермонтов изучается в ней, как человек определенной эпохи, давившей личность и принуждавшей ее к невольному бездействию. Эта точка зрения вызвала возражения: как будто Лермонтов перестал бы „вопить“ от внутренней боли во всякую другую эпоху, хотя бы эпоху шестидесятых годов! (см. С. Андреевский „Литературные очерки“). Белинский еще за пол-века до этого спора синтезировал его в своих статьях о Лермонтове, соединяя в своем понимании Лермонтова общественную точку зрения с философской. Почти одновременно с появлением статьи о „Герое нашего времени“ Белинский, цитируя Лермонтова, писал К. Аксакову (23 авг. 1840 г.): „жизнь...—пустая и глупая шутка! Да и какая нам

жизнь-то еще? В чем она, где она? Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество. У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах—вот наша жизнь. Что за жизнь человека вне общества!“ Здесь мы видим первое проявление той мысли, которая скоро стала главной мыслью Белинского и которую, в применении к Лермонтову, повторил Михайловский. Именно к Лермонтову ее применил и Белинский в настоящей статье; выражая надежду, что за „болезненным кризисом“ Печориных общество должно прийти к еще высшему здоровью, Белинский восклицает: „но горе тем, кто является в эпоху общественного недуга! Общество живет не годами—веками, а человеку дан миг жизни; общество выздоровеет, а те люди, в которых выразился кризис его болезни, благороднейшие сосуды духа, навсегда могут остаться в разрушающем элементе жизни!..“ И это оправдалось на всех „героях безвременья“ той эпохи, на всех так называемых „лишних людях“ сороковых годов, не исключая и Печорина, ибо и он вырос на той же отравленной почве.

Но Белинский понимал, что ограничиться такой характеристикой — значит остановиться в самом начале своей критической работы; он понимал, что бессознательные философские воззрения Лермонтова шли неизмеримо глубже этой общественной почвы; он понимал, что „отрицание“ Лермонтова было прежде всего философским, а не общественным, что сущность вопроса не в „бездействии“ Лермонтова, не в его вражде к николаевским жандармам („Прощай, немытая Россия...“), а в его отрицании всего мира, всей жизни, в его „с небом гордой вражде“. Уже в 1842 году, подводя итоги своего отношения к Лермонтову, Белинский писал Боткину (17 марта 1842 г.): „...содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественной природы, исполинский взмах, демонский полет, с небом гордая вражда — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина...“ И далее, сравнивая юношеские произведения Пушкина и Лермонтова, Белинский снова подчеркивает, что произведения Лермонтова „это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это—с небом гордая вражда, это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и в змашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух!“ Вот на что обращал внимание Белинский, изучая Лермонтова, — и был совершенно прав. Необходимо выяснять социальные условия, общественные причины, породившие Онегина и Печорина, Пушкина и Лермонтова, но это только первый шаг на пути к пониманию писателя; определив, так сказать, „социологический эквивалент“ философии и мировоззрения поэта, критик должен дать „философский эквивалент“ выясненных раньше социологических и общественных условий; критика общественная должна быть только введением к критике философской, к проникновению в мировоззрение и мировосчувствование поэта. В своих „лермонтовских статьях“ именно на последнем сосредоточил все свое внимание великий критик—и именно потому эти его статьи навсегда связали имя Белинского с именем Лермонтова.

## 22. „Русская литература в 1840 году“.

Еще в 1836 году Белинский дал „обозрение“ литературы предшествовавшего года в статье „Ничто о ничем, или отчет г. издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы“. Теперь, начиная с 1841 года, Белинский будет давать ежегодно такие литературные обзоры минувшего года, сперва в „Отечественных Записках“ (обзоры за 1840—1845 гг.), а затем в „Современнике“ (обзоры за 1846 и 1847 гг.). Не ограничиваясь сухим перечнем и критической оценкой литературных явлений минувшего года, Белинский всегда дает в этих обзорах синтетический взгляд на всю русскую литературу в ее целом, освещает ее прошлую историю, характеризует ее настоящее, намечает возможное будущее: поэтому эти ежегодные обзоры являются одними из наиболее интересных и ценных статей Белинского.

Настоящий обзор является особенно интересным с самых различных точек зрения; в нем мы имеем, с одной стороны, как бы резюмирование всей предыдущей полосы деятельности Белинского, а с другой — намечающееся новое его направление, сконцентрированное в статьях Белинского второго периода его деятельности (1841—1846 гг.). Заканчивая настоящей статьей свою критическую деятельность тридцатых годов, Белинский, на пороге нового десятилетия, вновь ставит старый вопрос о существовании русской литературы. С этим вопросом Белинский шестью годами ранее впервые выступил в „Литературных Мечтаниях“, о чем сам он упоминает в настоящей статье, в которой обращается к пересмотру этого вопроса. Вопросу этому Белинский придает громадное значение; без ложной скромности он говорит, что с этого вопроса „начинается новая эпоха нашей литературы и нашего общественного образования, потому что он есть живое свидетельство потребности сознания и мысли“.

Как же ставит теперь Белинский этот вопрос и как решает его? Решает он его почти по-старому, но ставит по-новому. Решение прежнее, или почти прежнее: „у нас нет литературы“, ибо „литература есть сознание народа“, а русская литература не является проявлением этого сознания; исключения — Крылов, Грибоедов, Гоголь, и колоссальнейшее исключение — Пушкин, с которого собственно и начинается русская литература и которого Белинский считает теперь „великим мировым поэтом“. Повторяем: у нас еще нет литературы, как выражений духа и жизни народной, но она уже начинается, — а это в такой короткий период времени — успех, и успех великий, который не должен обольщать нас в настоящем, но который должен казаться залогом великих надежд в будущем“, — эти заключительные строки настоящей статьи почти дословно взяты из заключительных слов „Литературных Мечтаний“, с той только разницей, что в настоящем уже признается начало русской литературы. И еще целый ряд отдельных мест настоящей статьи, не говоря уже об основной идее, является буквальным повторением или изложением соответственных мест первой статьи Белинского. Это возвращение ко взглядам „Литературных Мечтаний“ идет так далеко назад, что Белинский забывает даже, что от некоторых взглядов своей „элегии в прозе“ он потом отказался; так, например, в настоящей статье он снова отказывается от исторической точки зрения на русскую литературу: „где ее историческое развитие? — спрашивает он: — скажите, в каком отношении между собою находятся эти поэты — Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков? Докажите, что Жуковский непременно должен был явиться после Карамзина, а не прежде!..“ Эта совершенно неверная точка зрения является утрированным возвращением к взглядам „Литературных Мечтаний“; Белинский как будто забывал, что в своей статье 1838 года о критике (см. выше № 10) он отказался от этого своего прежнего неисторического воззрения на русскую литературу и выдвинул вперед историческое ее понимание. Но, конечно, Белинский не забыл этой своей поправки, а намеренно отказался от нее в настоящей статье. В указанной выше статье о критике, к историческому взгляду его привело „примирение с действительностью“ — и он „принял“ даже Греча и Сенковского, даже Булгарина и Орлова; теперь же, в эпоху своего духовного перелома (настоящая статья писана в декабре 1840 года), в эпоху разрыва с „разумной действительностью“, непримиримое настроение Белинского заставило его временно отринуть некоторые даже и верные свои взгляды эпохи „примирения“. Вскоре Белинский отказался от этой своей ошибочной точки зрения и окончательно пришел к историческому пониманию развития русской литературы.

Итак, в решении вопроса о существовании русской литературы мы имеем почти полное возвращение к основным положениям „Литературных Мечтаний“; но в постановке этого вопроса играют роль причины, совершенно не имевшие места в „элегии в прозе“, и характерные только для Белинского 1840—41 года. Эти причины Белинский намечает еще в том письме к К. Аксакову (от 23 августа 1840 г.), которое я приводил в статье о стихотворениях Лермонтова (№ 21). „Мы люди вне общества, — писал тогда Белинский, — потому что Россия не есть общество! У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни“... Итак, причины отсутствия у нас литературы — социальные: у нас нет общества, а потому нет и литературы.

В этих мыслях сказывается новый Белинский—периода разрыва с „разумной действительностью“, начинающегося периода социальности; и еще долго, вплоть до 1843 года, будут звучать у Белинского ноты отрицания литературы за отсутствием ее питающей почвы—общества. Ограничусь двумя примерами: „увы, друг мой,—пишет Белинский Боткину (27 июня 1841 г.),—без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому... О чем писать?... О движении промышленности, администрации, общественности, о литературе, науке?—но у нас их нет“. Как видим, это все одно и то же прежнее положение—у нас нет литературы; но причины этого лежат теперь уже в социальной почве. И два года спустя в письме к тому же Боткину (от 31 марта 1843 г.) Белинский замечает: „будь литература на Руси выражением общества, а следовательно и потребностью его... ты написал бы горы“... Это является только повторением слов настоящей статьи. Мы видим таким образом в настоящей статье те мотивы „социальности“, которые станут доминирующими в критическом творчестве Белинского сороковых годов.

И в других отношениях настоящая статья является одной из характерных переходных статей Белинского, стоящих на рубеже между периодами его немецкой „умозрительности“ и французской „социальности“. С этой точки зрения особенно характерно то место настоящей статьи, где Белинский дает сравнительную характеристику Германии, Франции и Англии, особенно первых двух. В указанной выше статье 1838 г. о критике Белинский также сопоставлял немцев и французов; конечно, это сопоставление оказалось крайне невыгодным для французов: мы знаем, что Белинский в это время был ожесточенным „французоедом“ и продолжал им быть и в 1839-м и в 1840-м году. Но теперь, в конце 1840 года, в Белинском уже совершался повторный кризис от „умозрительной“ и „художественной“ точки зрения к социальной; и именно в декабре 1840 года, когда писалась настоящая статья, Белинский восклицал в письме к Боткину (от 11 декабря 1840 г.): „тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов—этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества!... Проснулся я—и страшно вспомнить мне о моем сне“... Пройдет еще несколько лет—и Белинский впадает в противоположную крайность „немцеядства“ и будет восклицать: „Аллах, Аллах, зачем ты сотворил Немцев?!“ (1847 г.); но даже и теперь, в начале 1841 года, Белинский выражает надежду, что „Немцам предстоит возможность сделаться людьми, человеками и перестать быть Немцами“ (письмо к Боткину от 1 марта 1841 года). В настоящей статье Белинский стоит еще на рубеже совершающегося кризиса: он по-прежнему отрицает художественное значение „эфемерной“ французской литературы, „восторженные бредни Жоржа Занда“ и т. п., но тут же подчеркивает, как нечто положительное, „социальный характер“ французского искусства и признает „огромное влияние“ французской литературы. С сопоставлением Германии и Франции, почти буквально заимствованным из настоящей статьи, мы еще неоднократно будем встречаться в последующих статьях Белинского (см., например, №№ 25, 37 и др.) и будем отмечать тогда разницу в этих взглядах Белинского; теперь же достаточно отметить, что в настоящей статье мы имеем первое восстание Белинского против своего бывшего „французоедства“ и первое признание им „социальности“, как неизбежного и положительного фактора.

Отрицая художественное значение французской литературы и все же признавая за ней „огромное влияние“, Белинский очевидно стоял все на той же, проводимой им еще со статьи о Грече (№ 9) точке зрения о разграничении „искусства“ и „беллетристики“. Мы знаем, что это разделение настойчиво проводилось Белинским, начиная с вышеуказанной его статьи 1838 года (см., например, первые страницы статьи о сочинениях Марлинского, являющиеся как бы предисловием к настоящей статье); мы еще увидим, что оно не менее настойчиво продолжалось им до конца сороковых годов; мы увидим также, какое большое значение имело это разграничение в развитии позднейших воззрений Белинского. В настоящей статье Белинский подробно развивает эти же мысли, пользуясь терминами „литература“, „письменность“ и „сло-

весность“: определение этих терминов, а также и некоторые мысли настоящей статьи, взяты Белинским из статьи Каткова об „Истории древней русской словесности“ Максимовича; мы увидим, что это влияние отразилось еще и на позднейшей статье Белинского 1843 года — „Общее значение слова литература“ (см. № 25). В заметке об этой статье я покажу, что в нее вошло в переработанном виде настоящее обозрение литературы за 1840 год; там же еще раз коснусь вопроса о разделении Белинским „искусства“ и „беллетристики“, с той или другой терминологией этих понятий; там же, наконец, мы найдем более правильное решение Белинским вопроса о существовании русской литературы. Но уже здесь можно указать, что, отрицая существование русской литературы, Белинский был прав, и неправ. Он был неправ, так как уклонился от исторической точки зрения на русскую литературу; но он был прав, отрицая мировое значение современной ему русской литературы. Только одного Пушкина признал он мировым поэтом, но и то вскоре, как увидим, взял это свое мнение обратно.

Настоящая статья является заключением целого ряда предыдущих статей Белинского и в то же время введением к новому ряду статей сороковых годов; она стоит на рубеже разрыва с северно понятой гегелианской теорией „разумной действительности“ и примирения с идеей „социальности“. Не надо однако думать, что Белинский отныне вообще порвал с гегелианством; наоборот, 1841—1843 гг. ознаменованы усиленным влиянием гегелианства на Белинского, как мы это увидим из первых же его статей этой эпохи, но это влияние будет теперь ограничено главным образом теорией искусства, хотя и в этой области Белинский скоро подвергнется иным влияниям. В области же общественных и политических вопросов Белинский резко перейдет к новой системе — „социальности“ вообще и „социализма“ в частности; вера в социализм скоро займет у него место былой веры в „разумную действительность“.

## 23. „Разделение поэзии на роды и виды“.

В конце тридцатых и начале сороковых годов Белинский задумал написать обширную критическую историю русской литературы и стал готовить материалы, писать отдельные части и печатать их в „Отечественных Записках“. Первой из этих статей была настоящая; редакция журнала сопроводила ее следующим примечанием (несомненно написанным самим Белинским).

„Несмотря на юность нашей литературы и младенчество литературного образования русского общества, — уже лет двадцать тому назад пробудилось у нас сильное критическое движение, усиливающееся с каждым днем более и более. В журналах (прежде даже и в альманахах) постоянно являлись и являются более или менее примечательные статьи в критическом роде, духе и направлении. Можно указать в нашей литературе на несколько имен, приобретших себе известность в качестве критиков. Публика, с своей стороны, читает в журналах критики и рецензии почти с таким же интересом, как повести и другие произведения изящной словесности. Словом, критика составляет жизнь наших журналов и нашей литературы. Факт утешительный: он обнаруживает в обществе живую потребность эстетического образования, живое стремление к разумному сознанию законов изящного, к разумному сознанию ценности произведений отечественной литературы и степени достоинства каждого из ее деятелей. Но все это пока еще не удовлетворение, а только потребность, указывающая на другую, более важную, на потребность систематического знания законов изящного и основанного на нем систематического значения истории отечественной литературы. Между тем, у нас нет ни одной книги, которая хоть сколько-нибудь удовлетворяла бы этой потребности, несмотря на несколько попыток в этом роде. Главные причины неудовлетворительности таких сочинений, доселе являвшихся у нас, кажется, — недостаток мыслительности, отсутствие системы, произвольность и устарелость взглядов и понятий“.

„Желая, по мере сил своих, пополнить этот важный недостаток в русской литературе, один из молодых литераторов, г. Белинский, решился осуществить давно уже занимавшую его мысль—написать критическую историю русской литературы. Любя отечественную словесность, будучи с давних пор внимательным наблюдателем ее хода и имея достаточный запас сведений по этой части,—он может, повидимому, надеяться, что труд его будет не совсем неудачен, хотя и представит собою решительно первый опыт подобного сочинения на русском языке. Сверх изложенных причин, его побудило приступить к этому труду и желание представить публике, в особой книге и в систематическом изложении, свод своих идей об изящном и о русской литературе, рассеянных по статьям его в разных журналах,—идей, по крайней мере оригинальных и совершенно отличных от всех, доселе обращавшихся в нашей литературе. Книга его явится под общим названием „Теоретического и Критического Курса Русской Литературы“ и заключит в себе следующие части, тесно связанные между собою единством основной мысли и систематическим изложением: Общее введение; Эстетику (развитие идеи искусства вообще и теории поэзии в частности); Теорию русского стихосложения; Теорию словесности вообще (теория красноречия и взгляд на так называемые беллетристические, или собственно литературные—а не художественные—и догматические сочинения, не принадлежащие ни к искусству в строгом смысле, ни к ученой литературе); Взгляд на народную поэзию вообще; Критическое рассмотрение памятников русской народной поэзии („Слово о полку Игоревом“ и русские песни эпического и лирического содержания); Историческое обозрение памятников русской письменности от ее начала до времен Петра Великого; Историю книжной русской литературы от Кантемира и Ломоносова до Карамзина, от Карамзина до Пушкина, и от Пушкина до 1841 года включительно; Общий взгляд на русскую литературу, надежды в будущем, заключение. Сверх подробного критического рассмотрения художественных созданий и даже произведений беллетристических, почему бы то ни было примечательных, в „Теоретическом и Критическом Курсе Русской Литературы“ будет обращено полное внимание и на историю всех повременных изданий, имевших большее или меньшее, хорошее или вредное влияние на литературу и пользовавшихся заслуженною или незаслуженною известностью,—от начала журналистики до „Московского Журнала“ и „Вестника Европы“ Карамзина, а от них до настоящего времени включительно“.

„Предлагаемая статья есть отрывок из Эстетики; он может служить в некотором отношении образцом целого сочинения. Из истории литературы тоже будут помещены в „Отечественных Записках“ один или два отрывка“

„Книга выйдет в начале следующего 1842 года и будет состоять более, нежели из тридцати листов компактного издания, в большую осмушку, в два столбца, средним и мелким шрифтом. Издателем вызвался быть один из петербургских книгопродавцев“.

Однако план этот так и не был осуществлен; текущая журнальная работа не давала возможности Белинскому посвятить свое время этому большому задуманному труду, мысль о котором не покидала критика до последних дней его жизни. Кое-что однако он сделал. Кроме настоящей статьи, напечатанной в самом начале 1841 года („Отечественные Записки“, № 3), в конце того же года была напечатана обширная статья о русской народной поэзии (см. ниже № 26), которая несомненно должна была войти в задуманную книгу. Кроме того, в рукописи остались статьи по эстетике (см. ниже №№ 24—25); а что касается до намеченного отдела книги: „История книжной русской литературы от Кантемира и Ломоносова до Карамзина, от Карамзина до Пушкина и от Пушкина до 1841 года“—то эта часть работы была осуществлена Белинским в его „пушкинских статьях“ 1843—1846 гг. и в отдельных этюдах—о Кантемире, Державине и др. Вообще многое из того, что писал Белинский после 1841 года, несомненно было тесно связано с задуманной критической историей литературы или должно было служить ей подготовительными материалами и набросками.

Настоящая статья являлась отрывком из Эстетики, частью главы о теории поэзии, как указано и в приведённом выше примечании. Об этой статье мы находим интересное указание в переписке Белинского; именно, в письме к Боткину от 1 марта 1841 г. Белинский сообщает о появлении в печати этой статьи „Разделение поэзии на роды и виды“ и говорит, что „Катков оставил мне свои тетрадки—я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти все его—слово в слово“. О содержании этих „тетрадок“ не трудно догадаться: известно, как настойчиво штудировал Катков Эстетику Гегеля, как он переводил и комментировал эстетику гегельянца Рётшера, как под несомненным влиянием Каткова Белинский написал о Рётшере чуть ли не целую статью (см. выше № 10). Еще в письме от 1 ноября 1837 года Белинский писал о том, что „Катков читает Эстетику Гегеля и в восторге от нее“... Можно предполагать, что, изучая Эстетику Гегеля, переводя и комментируя статьи Рётшера, Катков составлял небольшие конспекты прочитанного. Что в этих „конспектах“, „тетрадках“ не было мыслей и положений самого Каткова, а было только сокращенное изложение гегельянских эстетических теорий—это совершенно неоспоримо явствует из настоящей статьи Белинского, в которой он воспользовался этими „тетрадками“.

Дело в том, что вся теоретическая основа этой статьи является почти дословным изложением основных положений Эстетики Гегеля о принципах деления поэзии на роды и виды. Приведу вкратце эти положения, чтобы читатели могли сравнить их с главными пунктами статьи Белинского. Поэзия, говорит Гегель, распадается на три и только три вида: эпическую, лирическую и драматическую. Эпическая поэзия имеет своим содержанием духовный мир в его внешней реальности, объективности; содержанием лирической поэзии является субъективный, внутренний мир человека; наконец, драматическая поэзия является синтезом объективного и субъективного моментов. Все это от слова и до слова повторяет в своей статье Белинский. Не буду следить дальше за всеми тремя родами поэзии, а коснусь только эпического рода, как такой области, в которой Белинский, повидимому, меньше всего руководствовался „тетрадками“ Каткова (Белинский сообщает Боткину в указанном письме—мы видели это выше,—что „тетрадки“ эти оказали ему наибольшую помощь в изложении лирической поэзии). Несмотря на это, мы найдем в статье Белинского почти все главные мысли Гегеля об эпической поэзии: таковы мысли о „необходимости“, которая в эпосе является в виде „судьбы“, „рока“; о человеке в лирике и человечестве в эпосе; о сконцентрированности, сжатости лирического произведения и о широте эпического изложения. Даже многие отдельные положения и мнения Гегеля—например, о реальности существования Гомера, о том, что „Илиаду“ и „Одиссею“ мог написать только один человек, отрицательное отношение к Вергилию и к средневековым эпическим поэмам и т. п.—все это было повторено в статье Белинского. Гегель говорит о том, что когда субъект погружается в „созерцание“ и растворяется в нем, забывая себя, то мы имеем в поэзии гимны, дифирамбы, паны, псалмы; Белинский повторяет это дословно: „если субъект погружается в элемент общего созерцания и как бы теряет в этом созерцании свою индивидуальность, то являются гимн, дифирамб, псалмы, паны“. Вслед за Гегелем Белинский главное место в лирике отводит песне и т. д., и т. д.—эти примеры можно было бы еще продолжить и умножить.

Все это показывает, что „тетрадки“ Каткова были простым конспектом Эстетики Гегеля; возможно, что в них входил ряд положений из других книг других авторов (главным образом из статей Рётшера, из „Эстетики“ Ж.-П. Рихтера, из „Писем об эстетическом воспитании человека“ Шиллера: анализ статьи Белинского сравнительно с этими произведениями был бы крайне интересен, но выходит из рамок моей задачи), но все же несомненно, что главную часть этих „тетрадок“ составлял конспект именно гегелевских Лекций об эстетике. Эти мысли Гегеля легли в основу теоретических построений Белинского, который несколько не скрывал заимствованности этих своих мыслей; его целью было не столько дать новую теорию поэзии, сколько разрушить старые: „если я не дам теории поэзии,—писал он Боткину про эту свою статью,—то убью



старые, убою наповал наши реторики, пиитики и эстетики,—а это разве шутка?...“ Можно прибавить к этому, что блестящее применение этих теоретических положений к русской литературе придает статье Белинского большую ценность независимо от правильности или ошибочности исходных пунктов гегельянской эстетики.

## 24. „Идея искусства“.

Статья „Идея искусства“ должна была войти в отдел „Эстетики“ задуманного Белинским „Теоретического и критического курса русской литературы“: она не была закончена Белинским<sup>1)</sup>, а потому не была и напечатана при его жизни, появившись впервые в посмертном собрании сочинений (изд. Солдатенкова, под редакцией Кетчера). В задуманной Белинским книге статья „Идея искусства“ должна была, разумеется, предшествовать статье „Разделение поэзии на роды и виды“, написаны же обе эти статьи в одно и то же время, в 1841 г., как это высказал еще Кетчер и окончательно подтвердил анализом рукописей Белинского С. Венгеров (см. его „Полное собрание сочинений В. Г. Белинского“, т. VI, стр. 630—633).

Своей статьей об „Идее искусства“ Белинский не собирался сказать какого-либо „нового слова“ в области теоретической эстетики: не это было его целью. „Цель русского критика—писал Белинский еще в 1835 году в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“—должна состоять не столько в том, чтобы расширить круг понятий человечества об изящном, сколько в том, чтобы распространять в своем отечестве уже известные, оседлые понятия об этом предмете. Не бойтесь не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего нового... Самое старое будет у вас ново, если вы человек с мнением и глубоко убеждены в том, что говорите: ваша индивидуальность и ваш способ выражения и самому вашему старому должны придать характер новости“. Разумеется, все это прежде всего и от слова до слова применимо к самому Белинскому, который в своих теоретических статьях об эстетике претворял в пылком, новом „способе выражений“—старые гегелианские положения.

Мы уже знаем о „тетрадках“ Каткова (см. предыдущую заметку). Нет сомнения, что и в настоящей статье Белинский пользовался этими „тетрадками“, а быть может и другими, доступными ему источниками при изложении основных начал гегелевской философии и особенно отдельных пунктов ее. Отмечу несколько очень характерных мелочей. Белинский дважды на протяжении статьи отмечает, что „Новая Голландия... представляет собою зрелище недостигшего своего развития материка“: эта фраза буквально взята из гегелевской философии природы (отдел „Органической физики“, в § 339-м VII тома посмертного собрания сочинений Гегеля, а также в краткой „Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften“). Эта интересная мелочь, быть может, гораздо характернее того обстоятельства, что вся статья Белинского является пересказом и популяризацией основных положений философии Гегеля: именно это изучение мелочей показывает, как тщательно изучали друзья Белинского эту философию, не только в ее общих чертах, но и в частности. Другое замечание: Белинский в этой своей статье (и в других статьях гегелианского периода) часто употребляет слово „момент“ в смысле определенного этапа пути; например: „развитие идеи из самой себя есть ее прохождение через собственные моменты“, или „природа есть первый момент духа“ и т. д. Термин этот стал с тех пор общеупотребительным: все мы говорим о тех или иных „моментах развития“, не подозревая даже, что термин этот введен у нас Белинским и еще менее подозревая, что создан этот термин Гегелем (см. его „Wissenschaft der Logik“—в собрании сочинений т. III, стр. 106). Еще пример: Белинский называет диалектическое развитие „единой лестницей с земли на небо, на которой нельзя подняться на высшую ступень, не опершись на ту, которая под нею“; опять-таки это и

<sup>1)</sup> В статье № 26 я покажу, что продолжением и окончанием „Идеи искусства“ была вторая из статей Белинского о русской народной поэзии.

мысль и терминология самого Гегеля (см. его „Phänomenologie des Geistes—в собрании сочинений т. II, стр. 21—23). Привожу эти справки для того, чтобы показать, как близко были знакомы Белинский и его друзья со всеми книгами Гегеля—с его „Феноменологией“, „Логикой“, „Энциклопедией“, не говоря уже об Эстетике.

Но несмотря на такое дегальное знание отдельных частей философии Гегеля, несмотря на верную передачу в этой статье основных начал гегелианства о саморазвитии абсолютного духа—все-таки главный вопрос статьи был решен Белинским далеко не всецело по Гегелю. Что такое искусство?—спрашивает Белинский и отвечает на этот вопрос сравнительным определением религии, искусства и философии. Казалось бы, что он дает эти определения всецело по Гегелю: Гегель определяет религию, как благоговейное представление, искусство, как свободное созерцание, и философию, как познание в мышлении—сущности абсолютного духа самим этим духом (Hegels Sämmtliche Werke b. X. t. I, p. 132). Белинский в настоящей статье почти слово в слово повторяет эти определения: религия, говорит он, есть непосредственное представление истины, искусство—есть непосредственное созерцание истины и философия—чистое мышление. Отсюда и то определение искусства, которым начинается статья: „искусство есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах“. Но именно в подчеркиваемой Белинским непосредственности и лежит пункт его уклонения от Гегеля, не говоря уже о том, что Гегель определяет искусство, как самосозерцание абсолютного духа, а Белинский—как созерцание этого духа эмпирической личностью. Выяснению гегелевского термина „непосредственность“ Белинский посвящает ряд страниц, но не указывает на то, что для Гегеля „непосредственное“ было низшей ступенью к „опосредственному“, и что в этом был один из главных пунктов расхождения между Гегелем и Шеллингом. Определяя искусство, как непосредственное созерцание истины, Белинский удалялся от Гегеля и приближался к Шеллингу, к его учению о „творческой интуиции“ и об интуитивном познании истины: „непосредственный“, в толковании Белинского, и значит в сущности „интуитивный“. Таким образом в определении искусства Белинским мы видим характерную амальгаму гегелианства и шеллингианства, ясный налет шеллингианства на основу гегелевских положений. Эта искусственная амальгама не могла быть долговечной; но во всяком случае она показывает, что Белинский не слепо следовал раз принятой системе, но развивал и дополнял ее положения: принимая ее метод и даже ее частности, он перерабатывал ее выводы в связи с общей концепцией своего мировоззрения.

Определив искусство, как непосредственное созерцание истины“ или „мышление в образах“, Белинский тут же заявил, что это определение „совершенно новое у нас“ и что оно „еще в первый раз произносится на русском языке“. Говоря так, Белинский впал в странную ошибку: он, повидимому, забыл, что определение искусства, как „мышления в образах“, не только „произносилось“, но было даже напечатано им же самим, Белинским, в одной из статей „Московского Наблюдателя“ 1838 года; он это забыл, несмотря на то, что в этой своей статье об „Идее искусства“ он ссылается в примечании на помещенную там же и тогда же статью Ретшера в переводе Каткова („О философской критике художественного произведения“). Популяризируя, объясняя и развивая мысли этого отрывка, Белинский посвятил Ретшеру особую статью (см. выше № 10), в которой и повторил определение Ретшером поэзии, как „мышления в образах“. Теперь Белинский только расширил это определение и применил его не к одной поэзии, а к искусству вообще. Интересно отметить, что это—повидимому ненамеренное—следование по стопам Ретшера Белинский совершил именно тогда, в 1841 году, когда в письмах своих отрекался от бывшего преклонения перед этим последователем Гегеля и резко порицал Ретшера за педантизм и филистерство (в письме к Боткину от 1 марта и от 27 июня 1841 года). „Пигмен все эти гегелята!“—всклицает Белинский говоря о Ретшере. Это не помешало Белинскому развить определение Ретшера—быть может потому, что подобное определение поэзии встречается и у Гегеля, точно так же, как и до него оно встречалось у Шлегеля. В немецкой литературе оно, насколько мне известно, не удержалось.

Зато, благодаря Белинскому, это крайне неудачное определение стало ходячим в русской литературе. Определить поэзию, как „мышление в образах“ — еще возможно, хотя и с некоторой натяжкой; определить же так искусство вообще — совершенно невозможно, так как, например, под это определение нельзя подвести одновременно и архитектуру и музыку. Как бы то ни было, но это неудачное определение привилось и сохранилось до сих пор, несмотря на то, что общая точка зрения Белинского на эстетику давно уже оставлена. Стоявший перед Белинским вопрос — „что такое искусство?“ — получил впоследствии много решений, из которых, конечно, мы до сих пор не имеем и никогда не будем иметь общеобязательного. В русской литературе после статей Белинского мы имели знаменитую диссертацию Чернышевского, не менее знаменитое „разрушение эстетики“ Писаревым, возрождение ее в девяностых годах, известную статью Л. Толстого и т. д.; на Западе же теория эстетики перешла (после трудов Фехнера) с умозрительной на эмпирическую почву.

Возвращаясь к статье Белинского, отмечу в заключение, что, не напечатав ее в журнале, Белинский в то же время отчасти воспользовался ею при работе над своими журнальными статьями. Отрывки из статьи об „Идее искусства“ мы найдем в статьях Белинского о русской народной поэзии, написанных в том же 1841 году (см. ниже № 26). Закончу указанием на письмо Белинского к Боткину (от 11 декабря 1840 года), которое тесно связано со статьей о „Разделении поэзии на роды и виды“, с настоящей статьей Белинского об „Идее искусства“ и с находящимся в ней разделением искусства, религии и философии. „Я решил для себя важный вопрос, — пишет Белинский в этом письме: — есть поэзия художественная (высшая — Гюмер, Шекспир, Вальтер-Скотт, Купер, Байрон, Шиллер, Гете, Пушкин, Гоголь); есть поэзия религиозная (Шиллер, Ж.-П. Рихтер, Гофман, сам Гете); есть поэзия философская („Фауст“, „Прометей“, отчасти „Манфред“ и пр.). Между ними нельзя положить определенных границ, потому что они не пребывают одна к другой в неподвижном равнодушии, но, как элемент, входят одна в другую, взаимно модифицируя друг друга. Слава Богу, наконец все нашлось место! Вот отчего в „Фаусте“ есть дивные вещи (т.-е. даже во второй части), как, например, „Матери“ (в выноске к переводу Каткова статьи Ретнера „Моск. Набл.“) — не могу без священного трепета читать этого места“. Все, сказанное здесь, вошло в известные уже нам статьи Белинского начала 1841 года; как видим еще и еще раз — Белинский долго и упорно работал мыслью, прежде чем „решил для себя“ все эти вопросы и прежде чем закрепил свои мысли в ряде статей. Вот почему, несмотря на их гегелианскую форму, сущность их принадлежит Белинскому и только ему.

## 25. „Общее значение слова „литература“.

Подобно предыдущей статье и настоящая не была напечатана в журнале, но предназначалась для задуманной Белинским истории русской литературы.

Рассматривая внимательно настоящую статью, не трудно убедиться, что она является в сущности переработкой статьи „Русская литература в 1840 г.“, причем некоторые страницы заимствованы дословно — например, место о всемирно-историческом значении Франции, Германии и Англии. Основная тема обеих статей одинакова: определение понятия „литература“ и отграничение этого понятия от соседних. Параллельное сравнение этих двух статей позволяет установить их тождество по существу, несмотря на различие по форме.

Однако и в существе вопроса легко видеть небольшие, но очень характерные изменения; эти изменения важны тем, что дают возможность определить приблизительное время написания настоящей статьи. Так, например, в указанном выше сравнении Франции и Германии, переписанном дословно из статьи о „Русской литературе в 1840 году“, прибавлена характеристика немецкой науки и искусства, как „отвлеченно-ученых“, а немецкого быта, как „пошлого“; наоборот, к характеристике Франции при-

бавлено преклонение перед ее общественной ролью, ролью „Эллады нового мира“. Отсюда видно, что статья эта написана Белинским в тот период его жизни, когда он уже отказался от бывшего „французства“ и, наоборот, увидел в немцах элементы „филистерства“ и „пошлости“. Такие выражения мы находим в переписке Белинского конца 1842 и начала 1843 года (см. напр. письмо к Бакуниной от 8 марта 1843 года). Но даже гораздо раньше этого Белинский признавал Германию „позорным государством“, видел в ней „много гофратов, филистеров... у других гадов“ и с тяжелым сердцем вспоминал „дичь, которую изрыгал в еиствовстве, с пеной во рту, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества“ (письмо к Боткину от 11 декабря 1840 г.). Это он писал в письмах почти одновременно со статьей о „Русской литературе в 1840 году“. Таким образом, судя по этим взглядам, Белинский мог написать статью „Общее значение слова литература“ еще в 1841 году, одновременно со статьей „Идея искусства“.

Из других соображений ясно, однако, что он написал ее несколько позднее — не раньше 1843 года. Начать с того, что указанное выше сравнение Франции, Германии и Англии из статьи „Русская литература в 1840 году“ Белинский подробнее развил во второй статье о Державине (см. ниже № 37), написанной в феврале 1843 года, и уже из этой статьи перенес, слегка переработав, в настоящую статью; таким образом, настоящая статья не могла быть написана раньше начала 1843 года. Далее, в этой статье Белинский называет свою задуманную книгу не „Теоретическим и критическим курсом русской литературы“, как это он делал в 1841 году (см. выше № 23), а „Критической историей русской литературы“, как это он делал позднее — например, в своей статье 1845 года о книге Никитенко „Опыт истории русской литературы“. Но с другой стороны несомненно, что настоящая статья написана раньше только-что указанного отзыва о книге Никитенко. Дело в том, что статья о книге Никитенко написана на ту же самую тему — о значении и определении слова „литература“, но написана совершенно независимо от статьи „Общее значение слова литература“: в этой последней статье Белинский еще держится терминологии Каткова и разграничивает „словесность“ и „литературу“, почти как Катков в своей статье об „Истории древней русской словесности“ („Отеч. Записки“ 1840 г., т. IX; см. об этом в статье „Русская литература в 1840 году“); в статье же о книге Никитенко Белинский уже не держится этой терминологии, а разделяет „литературу“ и „беллетристику“. Если бы статья „Общее значение слова литература“ была написана после статьи о книге Никитенко, то в позднейшей статье не могла бы остаться терминология 1840 года и не могли бы не отразиться мысли одинаковой по существу статьи о книге Никитенко. Из всего этого ясно, что настоящая статья Белинского появилась не раньше 1843 г. и до 1845 года; отсюда можно заключить, что статья эта была написана в 1843—1844 г.

Я склонен остановиться на более раннем годе по целому ряду соображений, из которых приведу здесь только одно — влияние Гегеля и, быть может даже, известных уже нам катковских „тетрадок“. Дело в том, что целый ряд страниц настоящей статьи является только изложением — иногда дословным — ряда глав из философии истории и философии религии Гегеля, чего совершенно нет в произведениях Белинского эпохи 1844—1848 гг. Эти страницы статьи Белинского являются кратким конспектом следующих мест из „Hegels Sämmtliche Werke“: т. IX, 190—200 и т. XI, 340—350 (об Индии); т. IX, 228—243 и т. XI, 400—415 (о Персии и семитах); т. IX, 260—270 и т. XI, 440—455 (об Египте); т. IX, 275 sqq. и т. XII, 100 sqq. (о Греции); т. IX, 340 sqq. (о Римлянах). То, что в философии истории и религии Гегеля занимает сотню страниц, Белинский излагает на 3—4 страницах, но строго следуя за Гегелем: почти все отдельные фразы Белинского на этих страницах можно найти в указанных выше соответственных местах. Два примера: Белинский говорит, что „погружаться в созерцание совершенств Браммы, исчезать в восторженном блаженстве этого пнэтического созерцания и духом и плотью — цель жизни индийца“: это не только мысль, но и дословная фраза Гегеля, точно так же, как о том, что индусы относятся бережно к животным и не-

брежно к людям. Любимая и часто повторявшаяся Гегелем мысль о значении мифа про загадку Сфинкса и про решение ее Эдипом („самопознание человека“) — эта мысль опять-таки с буквальной точностью передается Белинским. Можно было бы вдесятеро увеличить число этих примеров, показывающих, что в указанных выше страницах своей статьи Белинский повторял мысли и фразы из имевшегося у него какого-либо конспекта философии истории или — вероятнее — философии религии Гегеля. Были ли это те же самые катковские „тетрадки“ — неизвестно; но во всяком случае близкое к подлиннику изложение Гегеля — налицо. Мы встретились с таким же изложением в статье об „Идее искусства“ (1841 г.): позднее, в 1844—1848 гг., Белинский уже настолько охладел к Гегелю, что не стал бы излагать страницами его философию, а особенно „Философию религии“. Это заставляет из двух указанных выше возможных годов написания настоящей статьи выбрать более ранний, т.-е. 1843 год.

Во всяком случае несомненно, что статья эта, вопреки господствующему мнению историков литературы, была написана не после пушкинских статей Белинского, а раньше их. Вот почему я говорю об этой статье в настоящем месте, только слегка нарушая этим хронологический порядок разбора статей — в виду тесной связи этой статьи с двумя предыдущими и с последующей.

Белинский сам дал в настоящей статье косвенное указание, позволяющее нам другим путем установить год ее написания. „Лет десять назад тому — говорит Белинский — раздался вопрос: есть ли русская литература?“ Разумеется, он говорит о своих „Литературных Мечтаниях“, поставивших этот вопрос в 1834 году. Замечу кстати, что в статье „Русская литература в 1840 году“ Белинский говорил: „лет шесть тому назад вдруг раздался резко и громко вопрос: есть ли у нас литература?“; из всего этого можно, казалось бы, вывести заключение, что настоящая статья писана в 1844 году. Но тут надо иметь в виду, что журнальные статьи Белинского печатались немедленно по написании (часто даже так, что первые страницы статьи уже набирались, пока последние еще писались), а задуманную книгу Белинский приготавливал исподволь и, разумеется, относил фразу „лет десять назад тому“ ко времени будущего появления этой своей книги в печати. Это является новым подтверждением того, что настоящая статья была написана до 1844 года, хотя и не особенно задолго до него; вот почему 1843 год является еще раз наиболее вероятным.

Я так подробно остановился на выяснении хронологического вопроса в виду того, что вместе с этим пришлось коснуться и содержания настоящей статьи, ее значения для доказательства степени осведомленности Белинского в гегелевской философии. Сущность же этой статьи, ее основная мысль — тождественна, как я уже заметил, со статьей „Русская литература в 1840 году“: и в той и в другой мы имеем пересмотр вопроса, поставленного еще в „Литературных Мечтаниях“, и окончательное его решение. В этой „элегии в прозе“ был ребром поставлен вопрос: существует ли русская литература? Ответ гласил: у нас нет литературы. Шестью годами позднее Белинский иначе ответил на этот вопрос: „русская литература — сказал он — только-что начинается, но ее еще нет“; начинается же она, как литература мировая, с Пушкина, так что хотя литературы еще нет, но в то же время она уже есть. Прошло еще три-четыре года; и в настоящей своей статье Белинский дает уже несколько иной, окончательный ответ на старый вопрос. „Отрицательное решение — говорит Белинский — было ошибочно;... существование русской литературы есть факт, неподверженный никакому сомнению“; и это несмотря на то, что, по теперешнему мнению Белинского, „всемирно-исторического значения русская литература никогда не имела и теперь иметь не может“. Литературу определяет прежде всего „органическая последовательность в развитии“, а такая последовательность, живая связь — несомненно имеется; с исторической точки зрения „между Ломоносовым и Пушкиным есть живая, органическая связь, как между причиной и ее следствием“; поэтому возможна и история русской литературы. Но с другой стороны в литературе общество должно находить свою жизнь, „приведенную в сознание“, ибо литература есть „сознание народа, исторически выразившееся в словесных произведениях его ума и фантазии“; а для того, чтобы литера-

тура была выражением сознания народа—,необходимо, чтобы она была в тесной связи с его историей и могла служить объяснением ей, необходимо, чтобы она развивалась органически и имела свою историю“. Таким образом опять мы приходим к единственно правильной исторической точке зрения—и этим окончательно решается вопрос, поставленный в „Литературных Мечтаниях“. Кратким обзором русской литературы с этой точки зрения заканчивается настоящая статья Белинского, крайне важная для характеристики развития его критических и историко-литературных взглядов.

## 26. „Общая идея народной поэзии“.

Под этим заглавием была напечатана в сентябрьском номере „Отеч. Зап.“ 1841 г. первая из четырех статей Белинского о русской народной поэзии. Первые две из этих статей содержат теоретическое введение, характеристику народной поэзии и т. п.; третья и четвертая статья заключают в себе разбор памятников народной словесности—вернее, не столько разбор, сколько подробный пересказ. Эта громоздкая работа, занимающая более сотни страниц, была необходима и полезна в сороковых годах, когда широкая публика совершенно не была знакома с нашей народной поэзией; в настоящее время такой подробный пересказ общеизвестных былин, песен и сказаний является в значительной степени излишним. Известный интерес представляют только краткие комментарии и замечания Белинского, но интерес, вследствие их ошибочности, только отрицательный: в сороковых годах еще не начиналась критическая разработка памятников нашей древней письменности и народной словесности, возникшая лишь в шестидесятых и семидесятых годах, в работах Буслаева, О. Миллера, Потебни и др. Точка зрения Белинского в настоящее время является совершенно ошибочной. Читатели, желающие подробнее ознакомиться с литературой вопроса об этих статьях Белинского, найдут ее в „Истории русской этнографии“ Пыпина.

Эти статьи Белинского о народной поэзии предназначались им для задуманного в 1840—41 г. „Теоретического и критического курса русской литературы“, а потому и тесно связаны с тремя предыдущими статьями (№№ 23—25), как мы это еще увидим ниже; по этой причине мы, слегка нарушая хронологический порядок, говорим о них непосредственно рядом <sup>1)</sup>.

Внимательно изучая настоящие статьи о народной поэзии, легко заметить тесную связь между второй из этих статей и уже известным нам отрывком об „Идее искусства“: вторая статья о народной поэзии является как бы непосредственным продолжением „Идеи искусства“. Последняя страница „Идеи искусства“ (эпизод о „Матерях“ из „Фауста“) буквально переписана в самом начале второй статьи о народной поэзии: „Идея искусства“ заканчивается тем, чем начинается эта вторая статья. И самый ход мыслей этих двух статей является непрерывным и тесно спаянным: в „Идее искусства“ мы имеем прежде всего определение искусства, затем обоснование его на почве имманентного развития „идеи“ из самой себя, приходящего в конце концов к живой „организации“, результатом которой является „особность, индивидуальность и личность“. Но „особность“ эта является только проявлением „общего“, той „идеи“, к которой нисходит все. Тут Белинский приводит сцену из „Фауста“ о нисхождении его к таинственным „Матерям“ („матерям-идеям“, по толкованию гегелианцев). Именно с этого и начинается вторая статья о народной поэзии—с этой же сцены из „Фауста“, с определения „общего“ и „идеи“, с перехода от царства природы к царству духа в лице человека (последняя фраза буквально повторяется в обеих статьях). Предметом искусства признается „общее“ в его „особном проявлении“—отсюда переход к идее „народности“ в искусстве и к ее противопоставлению „общности в смысле человечества“

<sup>1)</sup> Строго-хронологически статьи о народной поэзии должны были бы идти здесь под № 27, т. е. вслед за статьей о „Римских элегиях“.

(т.-е. „космополитизму“), о чем была речь еще в первой статье о народной поэзии. Переходом от „художественной поэзии“ к „поэзии народной“ заканчивается эта вторая вступительная статья.

Таким образом, отрывок об „Идее искусства“ является и по форме и по содержанию тесно связанным со второй статьей о народной поэзии; настолько же легко проследить его связь и с первой статьей о народной поэзии, которая является как бы историческим предисловием к „Идее искусства“. В этой первой статье идет речь о классицизме, о романтизме, о „народности“ и „простонародности“, о поэзии „безыскусственной“ и об „искусстве“, о художественной поэзии. Отсюда переход к определению искусства—т.-е. к статье об „Идее искусства“, которая, таким образом, является по существу соединительным звеном между первой и второй статьей о народной поэзии. Выбросив это звено (для помещения его особо, в отделе „Эстетики“ своей книги), Белинский связал первую и вторую статью несколькими фразами—и кратким изложением сущности статьи „Идея искусства“ в начале второй из указанных статей. Вот почему и статья об „Идее искусства“ осталась неоконченной: Белинскому незачем было ее кончать, так как окончание ее, тесно связывающее отвлеченные вопросы эстетики с вопросами истории литературы, находится во второй статье о народной поэзии.

Что же касается до сущности взглядов, проводимых Белинским в настоящих статьях, то философским базисом является, как мы знаем, гегелианское воззрение о диалектическом развитии идеи. На этом базисе Белинский строит обычную гегелианскую схему классицизма XVIII века, как тезиса, романтизма XIX века, как антитезиса, синтез их он видит в „истинной идее искусства нашего времени“—т.-е. в поэзии реальной, как скажет Белинский несколько позже и как он уже говорил гораздо раньше, в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“. (Кстати заметить связь этой статьи 1835 года с первой из настоящих статей, в которой снова дается в немногих словах сжатый очерк истории русской повести). Эта мысль о синтезе классицизма, как „искусственности“, и романтизма, как „естественности“, одинаково ложных в своих крайностях—мысль, с которой Белинский познакомился еще десятью годами ранее, в диссертации Надеждина,—теперь дополняется им второй ступенью гегелевской триады, синтезом „народности“ (которая не должна впасть в „простонародность“) и „общечеловечности“ (которая не должна впасть в крайний космополитизм). В этих мыслях слышится уже начало намечающегося спора между западничеством и славянофильством; с развитием этих мыслей мы не один раз встретимся в дальнейшем.

Интересно сопоставить эти мысли Белинского о „народности“ с теми, которые он высказывал в самых первых своих статьях 1834—1836 г. Мы знаем, что через все эти статьи „телескопского“ периода красной нитью проходила основная мысль о бесцельном искусстве и бессознательной народности (см. наши заметки №№ 1—5). Теперь Белинский снова повторяет это положение с небольшой, но характерной оговоркой. Попрежнему он заявляет, что „истинный художник народен и национален без усилия; он чувствует национальность прежде всего в самом себе, и потому невольно налагает ее печать на свои произведения“; попрежнему он утверждает, что „в искусстве одна цель—само искусство“. Но к последнему утверждению он прибавляет оговорку—разделение „искусства“ и „беллетристики“, впоследствии выраженное им в донинѣ сохранившейся формулировке разделения „беллетристики“ и „литературы“ (см. статью Белинского о книге Никитенко „Опыт истории русской литературы“ и нашу заметку № 25). Искусство не имеет цели вне себя, не преследует никаких моральных и утилитарных целей; но кроме искусства, кроме поэзии есть еще „беллетристика“ (так писал Белинский), которая может ставить себе внешнюю цель, имеющую „и большую пользу, и важное значение“. Мы уже видели, что впервые Белинский разграничил эти понятия в статьях 1838 г. о сочинениях Греча и Лажечникова; мы еще увидим, как признание большого значения „беллетристики“ мало-по-малу займет у Белинского место былого преклонения перед „бесцельным с целью“ искусством.

Возвращаясь к вопросу о „народности“, остановимся здесь на отношении Белинского к народной словесности в частности и к народу вообще. Народную поэзию Белин-

ский ценил высоко; в небольшой рецензии 1840 года на книгу Суханова „Древние русские стихотворения“ Белинский говорит про известный сборник Кирши Данилова, что „эта книга драгоценная, истинная сокровищница величайших богатств народной поэзии, которая должна быть коротко знакома всякому русскому человеку, если поэзия не чужда душе его“... Но в то же время Белинский неизмеримо выше „естественной“ народной поэзии ставил поэзию „художественную“; в рецензии того же 1840 года на книгу Боричевского „Повести и предания народов славянского племени“ Белинский пишет: „высокое эстетическое наслаждение доставляют поэтические рассказы, собранные Киршею, Даниловым—об этом нет спора; но что это наслаждение перед тем, которое доставляют создания Пушкина?“—И в настоящей статье Белинский еще более подчеркивает эту свою мысль: „одно небольшое стихотворение истинного художника-поэта неизмеримо выше всех произведений народной поэзии, вместе взятых!“—воскликает он в первой статье и подробно развивает эту мысль во второй из настоящих статей. Четверть века спустя Л. Толстой выскажет диаметрально противоположное мнение, будто возражая на приведенные выше слова Белинского: „лирическое стихотворение, как например, Я помню чудное мгновенье, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о Ваньке Ключнике и напев Вниз по матушке по Волге“ (статья 1862 г.; собр. соч., изд. 9-е, т. IV, стр. 286). Эти крайние мысли, своего рода гегелианский тезис и антитезис, остроумно синтезировал в семидесятых годах Михайловский своей теорией типов и степеней развития: народная песня выше по типу, а художественное творчество выше по степени развития. Иначе говоря—нельзя прилагать один и тот же масштаб для измерения ценности этих двух столь различных явлений; в этом была ошибка и Л. Толстого и Белинского.

Обыкновенно полагают, что эта ошибка Белинского тесно связана с его якобы пренебрежительным отношением к „народу“ в 1834—1841 г.г. Если в этом и есть доля истины, то очень небольшая, тем более, что и „пренебрежительное“ отношение Белинского этой эпохи к „народу“ требует многих и многих оговорок. Действительно, в статьях Белинского указанной выше эпохи часто можно встретить отрицательные отзывы о „черни“, о „простонародности“; в то время Белинский далеко не был демократом, а скорее, выражаясь современными терминами, „идеологом культурного общества“. „Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие составляют народ по преимуществу“,—писал Белинский еще в первой своей статье и вполне отрицательно относился к „черни“. Не надо забывать однако, что, восставая против „черни“, он имел в виду не „мужика“, а все нравственно павшее, низкое в народе; в этом смысле он всегда различал „чернь“ от „народа“. „Разве одна чернь составляет народ?—Ничуть не бывало“,—говорил Белинский в указанном выше месте „Литературных Мечтаний“. В известной уже нам статье „Общее значение слова литература“, написанной десятью годами позднее „Литературных Мечтаний“, Белинский снова говорит о том, что хотя в Афинах не было социального равенства, но зато „в них не было и черни, невежественной, грязной, покрытой лохмотьями, помышляющей только о материальном удовлетворении грубых погрешностей тела, чуждой всякого чувства человеческого достоинства: масса афинского народонаселения состояла не из черни, а из народа“. Это подразделение всегда надо иметь в виду, читая отрицательные выпады Белинского против „черни“, но несмотря на это надо признать, что Белинский в эту эпоху смотрел сверху вниз на „некультурные“ слои населения: ему приятнее было бы встречать в беллетристических произведениях типы „таких мужиков, которые, благодаря своей натуре или случайным обстоятельствам, несколько возвышаются над ограниченною сферою мужицкой жизни“,—пишет Белинский в настоящей статье. И еще: „не должно забывать ни на минуту, что герой искусства и литературы есть человек, а не барин, еще менее мужик“. Через немного лет Белинский увидит в „мужике“ не только „человека“, но даже преимущество человека, на которого вековые страдания наложили печать человечности, часто отсутствующую у „барина“. Таким образом, взгляд настоящей статьи на „народ“, на народность, на народную поэзию является только одной из ступеней на пути развития Белинского; о последующих ступенях мы будем иметь случай говорить ниже.



## 27. „Римские элегии“.

С тех пор, как Белинский задумал составить „Теоретический и критический курс русской литературы“, позднее переименованный им в „Критическую историю русской литературы“, он в целом ряде журнальных статей на самые разнообразные темы мало-по-малу собирал материалы для задуманной книги. Статья о „Римских элегиях“ Гете относится к числу именно таких статей, несмотря на то, что, судя по заглавию, в ней идет речь вовсе не о русской литературе; однако уже на первых страницах статьи Белинский заявляет, что главный предмет ее „не столько „Римские элегии“, сколько род поэзии, к которому принадлежат они“. Да и из краткого содержания статьи, намеченного в ее начале, сразу видно, что „предметом“ статьи является антологическая поэзия вообще и ее история в русской литературе в частности.

Белинский дал слишком широкое определение антологической поэзии, настолько широкое, что антологией могла бы назваться чуть-ли не бо́льшая часть лучшей современной лирики. Антологией Белинский называет вообще все „мелкие лирические пьесы“, отличающиеся простотой и единством мысли, прстодушием и возвышенностью тона, пластичностью и грацией формы; в этом определении не хватает однако главного — указания на содержание антологических пьес: „сущность антологических стихотворений состоит не столько в содержании, сколько в форме и манере“ — так думал Белинский. Эта ошибочная мысль не позволила Белинскому дать более узкое и более верное определение антологической поэзии, в которой возвышенная простота тона и пластичность формы должны объединяться содержанием, взятым из сферы эллино-римского мира. Это скоро призвал и сам Белинский: доказательства этого мы имеем в его статьях 1843—1844 г.

Дело в том, что почти весь материал этой своей статьи о „Римских элегиях“ Белинский внес частями в третью, четвертую и пятую из своих „пушкинских статей“ (а отчасти и в статью о Державине). История русской антологической поэзии обратилась там в историю русской поэзии вообще; антология заняла там скромное место, как один из видов лирики. Целый ряд даже мелких замечаний был перенесен из настоящей статьи в статьи о Пушкине — даже, например, мимолетное замечание о воскрешении Пушкиным шестистопного ямба, — но в то же время было чрезмерно широкое определение антологии было отвергнуто Белинским; если в 1841 году он считал принадлежащими к антологии такие стихотворения Пушкина, как „Безумных лет угасшее веселье“, „Ненастный день потух“, „Я вас любил“, „Простишь ли мне ревнивые мечты“ и т. п., то два-три года спустя он далек от подобной совершенно ошибочной классификации. Большой интерес представляет поэтому сравнение подробного перечня антологических пьес Пушкина в настоящей статье и в пятой из статей о Пушкине. В настоящей статье дан перечень некоторых антологических стихотворений Пушкина: Белинский насчитывает около пятидесяти таких стихотворений и заключает список их неопределенным „и проч.“; а в пятой из своих „пушкинских статей“ Белинский насчитывает их всего тридцать и прибавляет: „вот перечень всех антологических стихотворений Пушкина“. Более близкий сравнительный анализ этих двух списков показывает, какие именно стихотворения Пушкина Белинский перестал считать антологическими и каков характер этих стихотворений, исключенных из перечня; но этот подробный анализ выходит из рамок настоящей заметки. Ограничиваюсь указанием на тесную связь статьи о „Римских элегиях“ с третьей, четвертой и пятой из статей о Пушкине.

Что же касается собственно „Римских элегий“ Гете, то Белинский посвящает им всего только десятую часть своей статьи, несмотря на то, что в эти элегии он был просто „влюблен“. Его отношение к этим элегиям тесно связано с его отношением к вопросу о любви, а потому настоящая статья Белинского может быть правильно понята только в связи с его письмом к Веткину от 10—11 декабря 1840 г., в котором Белинский подробно говорит о своем отношении к женщине и своем понимании

любви. Приблизительно в это же время Белинский впервые познакомился с „Римскими элегиями“ в только-что вышедшем переводе Струговщикова, нашел в них подтверждение своему взгляду на любовь и восторженно отозвался о них (еще в статье о „Менцеле“), как о „дивном апотеозе древней жизни и древнего искусства“. „Римские элегии Гете—самый лучший катехизис любви,—писал Белинский тогда же в указанном письме,—и за них я люблю Гете больше, чем за все остальное, написанное им“... Этот несколько преувеличенный отзыв объясняется тем, что как раз в это время в Белинском произошел окончательный поворот от бывшей романтической теории любви к теории реалистической. Поворот этот намечался уже давно—со времени разрыва Белинского с „фихтианской отвлеченностью“, т.-е. с 1838 года (см., напр., его письмо к М. Бакунину от 10 сент. этого года); но только ко времени окончательного освобождения от уз „отвлеченной философии“, т.-е. к 1840—1841 г., относится яркая формулировка нового взгляда Белинского на любовь. „Довершение переворота“ сам Белинский относит к концу 1840 и началу 1841 года; бывшей романтический взгляд на любовь, как на взаимное тяготение двух извечно предназначенных друг другу душ, заменяется теперь у Белинского реалистическим пониманием: „основа любви—разность полов, а причина выбора—гармония натур и каприз субъективности“... Большая часть письма к Боткину от 10—11 декабря 1840 года состоит из подробного развития этого взгляда на любовь; идеалом для Белинского является эллинское понимание женщины и любви. Отсюда понятно, почему „Римские элегии“, пронизанные античным духом гармоничного наслаждения жизнью, произвели такое впечатление на Белинского именно в эту эпоху его жизни. Правда, статья о „Римских элегиях“ написана им через полтора года после этого письма к Боткину; но, что взгляды Белинского за это время не изменились, ясно хотя бы из его письма от 6 апреля 1841 г. к Н. Бакунину, где он почти повторяет уже известные нам взгляды на женщину и на любовь. Более строгое и глубокое отношение к этому вопросу появилось у Белинского несколько позднее, в эпоху его увлечения Жорж-Занд.

Из частных настоящей статьи следует обратить внимание на продолжающиеся отзвуки мыслей и даже отдельных фраз Гегеля; не менее характерны и те поправки, которые вводит в мысли Гегеля Белинский. Сравнение Греции с океаном, в который, как реки и ручьи, стекались культуры до-греческого мира; сравнение возрастов человечества с возрастами человека; сравнение прогресса не с прямой линией, а с кругом—все это мысли и фразы Гегеля из его Философии Истории. Но в эти мысли Белинский привносит свои варианты: так, например, Гегель называет восточный мир детством, греческий—юностью, римский—возмужалостью и германский мир—старостью человечества (Weilke, В. IX, р. 130); Белинский повторил это сравнение еще в статье об „Идее искусства“ и во многих других статьях 1838—1841 г.г. а теперь он видоизменяет его <sup>1)</sup>. Другой пример: Белинский сравнивает прогресс с движением по кругу, но кругу не замкнутому, а спирально поднимающемуся все выше и выше. Это сравнение с кругом заимствовано от Гегеля, но Гегель никогда не согласился бы считать прогресс такой „дурной бесконечностью“ (schlechte Unendlichkeit): для него прогресс был подобен кругу, но кругу замкнутому, ибо целью прогресса было не вечное развитие, а самопознание абсолютного духа. Эта мелочь лишней раз показывает на частном примере, что Белинский и его друзья не всегда понимали основные мысли Гегеля, зная в то же время до мелочей даже его отдельные фразы.

Интересно также отметить некоторые частности настоящей статьи, связывающие ее с предыдущими статьями Белинского, даже самыми первыми из них. Так, например, интересно сравнить взгляды на народность, проводившиеся Белинским в 1834—

<sup>1)</sup> Впрочем эта мысль о возрастах человечества встречается еще у шеллингианцев и могла быть известна Белинскому из русской журнальной литературы—например, из статей Камашева „Взгляд на историю, как на науку“, в „Вестнике Европы“ 1827 г. Подобные же мысли можно встретить в появившихся в то же время „Исторических очерках“ Погодина и др. книгах.

1836 г. и теперь, пятью годами позднее. В заметке о „Литературных Мечтаниях“ я отметил, что взгляды Белинского на народность были отражением шеллингианской философии истории и притом в окраске, свойственной славянофильству последующего десятилетия. „Народности суть индивидуальности человечества“: развивая это шеллингианское положение, Белинский подчеркивал, что „только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели; только живя самобытной жизнью, может каждый народ принести свою долю в общую сокровищницу“. Мы знаем, что впоследствии эти мысли еще более были оттенены Белинским в его статьях о „Бородинской Годовщине“ и „Очерках бородинского сражения“; но после крутого перелома 1840—41 г. Белинский отказался от этих мыслей, и они стали достоянием возникающего славянофильства, Белинский же начал высказывать эти мысли в совершенно другой окраске, в окраске нарождающегося западничества. Чем самобытнее жизнь народа, тем ценнее его доля во всемирной истории—так думал раньше Белинский; теперь он говорит иначе: „чем одностороннее, исключительнее, ограниченнее идея, выражаемая жизнью народа... тем менее может такой народ назваться представителем человечества“. Конечно, эти два положения не противоречат друг другу; но все-таки первое настолько же близко к славянофильству, насколько второе—к западничеству. Мы уже видели, что в статье „Общая идея народной поэзии“ Белинский искал корректива самобытной народности в „обще-человеческом“. Мы еще увидим, что Белинский никогда не вдавался в крайний космополитизм и в этом отношении никогда не был крайним „западником“.

Другой пример перехода Белинского к новым взглядам: когда-то он провозглашал, как мы знаем, примат эстетики и заявлял, что „эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности“ („Ничто о ничем“); теперь он ограничивается утверждением, что „красота—не истина, не нравственность: но красота—родная сестра истине и нравственности“... Это уже далеко не то, что былой примат эстетики. Вообще настоящая статья Белинского (как и другие его статьи этой эпохи) характерна своей несознаваемой автором двойственностью: намечается постепенный переход от Белинского 1836-го к Белинскому 1846-го года.

## 28. „Русская литература в 1841 году“.

„Литературные Мечтания“ Белинского были напечатаны в мало известной, а в сороковых годах и совершенно позабытой „Молве“; Белинский же, очевидно, настолько дорожил мыслями этой своей первой критической статьи, что захотел повторить их семь лет спустя для более широкой аудитории—читателей „Отечественных Записок“. Воспользовавшись формой воскрешенного им годового литературного обзора, Белинский в настоящей статье снова дал обобщающее обозрение всей русской литературы после-петровского времени. Делая это, он несомненно имел в виду задуманную им историю русской литературы; настоящая статья может считаться кратким конспективным изложением одного из главных отделов этой предполагавшейся книги: развернуть этот конспект в обширную книгу было только делом времени. Мы еще увидим, как несколько страниц о Державине из настоящей статьи разрослись в большую статью „Сочинения Державина“, 1843 года (см. ниже № 37); точно также ряд страниц о Пушкине является как бы предисловием к уже задуманным „пушкинским статьям“ 1843—1846 гг.

Мне часто приходилось уже подчеркивать в этих заметках постоянство литературно-критических взглядов Белинского, столь противоположное изменчивости его философских воззрений; крайне интересным является поэтому детальное сравнение настоящей статьи с „Литературными Мечтаниями“. Даже в мелочах остался верен Белинский своим литературным взглядам „телескопского“ периода: стоит сравнить, например, мимолетную характеристику Языкова и Хомякова в статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“ с такой же характеристикой в настоящей статье. Не имея возможности шаг за шагом сравнить настоящую статью с „Литературными

Мечтаниями“, в виде частного примера остановлюсь только на Карамзине, о котором и выше не приходилось говорить, и ниже не придется. „Карамзин предположил себе целью—приучить, приохотить русскую публику к чтению“, говорил Белинский в первой своей статье; в настоящей статье подробно развивается та главная мысль, что „Карамзин первый родил в обществе потребность чтения, размножил читателей во всех классах общества, создал русскую публику“; и тогда, и теперь Белинский справедливо видел в этом главную литературную заслугу Карамзина, прямое следствие его стилистической реформы. Проследите подробно за этими двумя характеристиками, отделенными одна от другой целым семилетием, и вы увидите, как твердо стоял Белинский на раз выработанной точке зрения; но тут же вы увидите, насколько возмужали и развились воззрения Белинского: это возмужание характеризуется исторической точкой зрения на литературу<sup>1)</sup>. Белинский теперь понимает историческую необходимость и законность сентиментализма, в то время как раньше он считал его только „смешным и жалким детством“, „манией странной и неизъяснимой“. Мы уже знаем, что эта историческая точка зрения была одним из наиболее плодотворных следствий русского гегелианства (см. статью № 10). Правда, Белинский уже миновал тот период принятия „разумной действительности“, когда он готов был дойти до признания А. А. Орлова, о чем шла речь в указанной статье; по крайней мере там он признавал историческое значение Сумарокова и даже его заслуги в деле развития русского театра, а теперь Белинский, изменяя своей исторической точке зрения, снова с презрением относится к этому якобы „бездарному писателю“. Однако, если мы вспомним, что в том же 1841 году издавались С. Глицкою сочинения Сумарокова с восторженными комментариями издателя, то не критическое мнение Белинского окажется достаточно понятным и оправданным.

В дальнейшем еще не раз придется возвращаться к настоящей статье Белинского, к ее литературным характеристикам Державина, Жуковского, Баратынского, Кольцова (см. статьи №№ 35, 37, 45, 49 и др.); здесь же коснусь только одной частности—окончательно установившегося к этому времени отношения Белинского к так называемому „женскому вопросу“,—так как в настоящей статье Белинский впервые (если не считать мелких рецензий 1841 года) высказал свой новый взгляд на назначение женщины и резко разорвал со своим былым отрицательным взглядом на этот вопрос. Этот былой взгляд особенно выпукло был выражен в рецензии 1835 года на переводный роман г-жи Монборн „Жертва“: в этой рецензии Белинский признает только одно назначение женщины—быть „ангелом-хранителем мужчины на всех ступенях его жизни“; самостоятельная же деятельность женщины ему ненавистна. Женщина, стремящаяся к самостоятельности, к „эмансипации“—нравственный урод, воплощение безнравственности; „une femme émancipée—воскликает Белинский—это слово можно-б очень верно перевести одним русским словом, да жаль, что его употребление позволено в одних словарях, да и то не во всех, а только в самых обширных“... Это, кажется, предел, его же не преидеши—ненависти к „женскому вопросу“, к „эмансипации“; естественно, что особенно ненавистна была Белинскому „женщина-писательница“, как представительница типа *femme émancipée*: отсылаю читателя к саркастическому восхвалению „эмансипации“ вообще и женщин-писательниц в особенности в статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“. Естественна также ненависть Белинского к Жорж Занд, которая не только была талантливой писательницей, но сверх того и проповедывала в своих романах столь ненавистную Белинскому „эмансипацию“. Еще в статье о „Менцеле“, т.-е. в 1839—1840 г., Белинский с негодованием говорит о „г-же Дюдеван, или известном, но отнюдь не славном Жорж Занд“, и о проповеди ею „идей сенсимонизма“ о равноправии полов. Но тут подошел гегелианский кризис Белинского и резкая перемена его

<sup>1)</sup> Оценка Белинским историко-литературного значения Карамзина стала вскоре общепризнанной; оценка же его, как историка, нуждается в поправках. См. П. Миллюков, „Главные течения русской исторической мысли“. Литературу о Карамзине см. в статье Пономарева. „Материалы для биографии литературы о Карамзине“ (в „Сборнике отд. русск. яз. и словесн. Акад. Наук“ т. XXXII, 1883 г.); см. также Пыпин, „Обществ. движение в России при Александре I“ и „Ист. русск. лит.“, т. IV.

взглядов на общественные вопросы; резко изменились взгляды Белинского и на женский вопрос. Он становится все более и более восторженным поклонником таланта Жорж Занд: если в одной из рецензий начала 1841 года (на повесть Ж. Занд „Мозаисты“) он еще дипломатично говорит, что „всем известен талант знаменитой повествовательницы, равно как и ее недостатки“, то уже месяц спустя, в рецензии на роман „Мопра“ того же автора, Белинский провозглашает Жорж Занд „гениальной женщиной“ и „адвокатом женщины“. А еще месяцем позже Белинский пишет Боткину: „...надо мне познакомиться с сенсимонистами. Я на женщину смотрю их глазами“ (28 июня 1841 г.; см. также письмо от 8 сент. того же года). Наконец, в настоящей статье Белинский провозглашает необходимость „эмансипации“ женщины и с негодованием восстает против обычного „истинно киргиз-кайсацкого мнения“ о женщинах,—мнения, которое он сам так еще недавно высказывал.

Быть может, в зависимости от этого нового понимания „женского вопроса“ стоит и чрезмерно восторженное отношение Белинского к некоторым русским писательницам того времени, особенно к Ган, писавшей под псевдонимом Зенеида Р—ва. Белинский называет ее в настоящей статье „автором многих превосходных повестей“, считает ее „примечательнейшим талантом современной литературы“ и т. п. Полтора года спустя, после смерти Ган, Белинский написал даже большую статью „Сочинения Зенеиды Р—вой“ (1843 г.), в которой снова повторил свой „сенсимонистский“ взгляд на женщину и дал краткий этюд о женщинах-писательницах в России; тут он более сдержанно относится к „Зенеиде Р—вой“ и подчеркивает многие недостатки ее произведений, хотя и признает в ней „талант замечательный, выходящий из ряда обыкновенных дарований“. Современному читателю не трудно убедиться, что талант был самый посредственный, обыденный, и что оценка его Белинским крайне преувеличена; но это преувеличение было совершенно произвольным, так как Белинский был подкуплен „присутствием живых общественных интересов и идеальным взглядом на достоинство жизни, человека и женщины в особенности“ в произведениях этой писательницы. Ко взглядам Белинского на назначение женщины мы еще вернемся, говоря о разборе им типа пушкинской Татьяны (статья № 45).

Возвращаясь к настоящей статье Белинского, к ее основному тезису: я уже указал на ее связь с „Литературными Мечтаниями“, теперь надо указать, что эта связь доходит почти до тождественности главного тезиса. „У нас нет литературы!“—воскликнул Белинский в своей „элегии в прозе“; и лейтмотивом настоящей статьи является знаменитый пушкинский стих о книгах: „Да где ж они? Давайте их!“ Снова обзревая, как и в „Литературных Мечтаниях“, всю русскую литературу от Ломоносова, Белинский снова находит только нескольких писателей, которых еще продолжают читать. Интересно сравнить эти выводы двух статей: в „Литературных Мечтаниях“ Белинский называл, в конце концов, четырех „бессмертных“ и „гениальных“ русских писателей — Державина, Крылова, Грибоедова и Пушкина; теперь он вычеркивает из этого списка Державина, но зато прибавляет двух-трех новых, называя Крылова, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Он признает теперь, что „какова бы ни была наша литература, но она — огромное явление для каких-нибудь ста лет“; и однако Белинский все-таки еще отказывается признать существование русской литературы. Он стоит еще на той точке зрения, которую высказал годом раньше в своем обзоре литературы за 1840 год: „русская литература только что начинается, но ее еще нет“, писал он там; и теперь он повторяет, что „вся надежда на будущее“. И это несмотря на то, что сам Белинский в настоящей статье указывает на „историчность“ своего взгляда на литературу (подчеркивая „историческое достоинство оригинальных стихотворений Жуковского“); каким же образом он мог настаивать на своем прежнем, отнюдь не историческом взгляде на русскую литературу? Это объясняется тем, что Белинский пожелал сохранить свое прежнее определение литературы, как выражения народного духа. „Литература есть народное самосознание“,—говорил тогда Белинский и находил, что, следовательно, несколько талантов не составляют еще литературы; теперь он неудачно пытается соединить этот взгляд с исторической точкой зрения. „Вы говорите, что

я нашел в нашей литературе даже внутреннюю историческую последовательность— пишет Белинский в настоящей статье:— правда, но все это еще не составляет литературы в полном смысле слова. Литература есть народное сознание, выражение внутренних, духовных интересов общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Несколько человек еще не составляют общества“... Здесь новая „общественная“ точка зрения соединяется с былым не-историческим пониманием литературы; такое сочетание могло быть только переходным. И действительно, мы уже знаем, что в 1843 году, в разобранной выше статье „Общее значение слова литература“, Белинский определяет литературу, как „сознание народа, исторически выразившееся“, и находит в русской литературе „живую, органическую связь“. В том же году, в первой из „пушкинских статей“ Белинский заявил, что „несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое развитие, следовательно, у нее есть история“... Мы увидим, что в своих последних статьях 1848 г. Белинский еще раз вернулся к этому вопросу начала своей литературной деятельности и дал на него ответ, единственно возможный при историческом понимании литературы.

Закрываю двумя мелкими указаниями. Достоевский передает (в „Дневнике писателя“ 1873 г.) разговор между Белинским и Герценом по поводу настоящей статьи и по поводу ее диалогической формы. Другой факт характернее. Боткин в начале 1843 года писал Краевскому, что эта „статья Белинского привела Шевырева в негодование до того, что он посвятил одну целую лекцию на опровержение ее“... Это очень характерно: ученый и не бездарный профессор русской литературы с высоты науки опровергал статью „недоучившегося студента“; но не прошло и четверти века, как почти все положения этой статьи стали основными для всякого, изучающего историю русской литературы.

## 29. „Стихотворения Аполлона Майкова“.

В начале настоящей статьи Белинский сам рассказывает, как он впервые „открыл“ Майкова по одному его не подписанному антологическому стихотворению в „Одесском Альманахе“ 1840 г., и как годом позже он снова с восхищением говорил об этом стихотворении „неизвестного, но даровитого поэта“ в статье о „Римских Элегиях“. Конечно, это является блестящим примером художественного и критического чутья Белинского; но, быть может, еще более заслуживает удивления та пронизательная характеристика поэзии Майкова, которую мы находим в настоящей статье.

Майков занимает одно из первых мест в ряду второстепенных русских поэтов; в этом отношении надежды Белинского на развитие Майкова до звезды первой величины остались неосуществленными. Но сам же Белинский указал в настоящей статье на те стороны дарования этого поэта, которые не позволили ему выйти из второго ряда русских поэтов. Майков—великолепный поэт классической формы; в этой области у него мало соперников, и в ней он достигает порою пушкинских высот: это сразу заметил Белинский и обратил на это особенное внимание. „...Стихотворения в древнем духе и антологическом роде, это — перл поэзии г. Майкова, торжество таланта его“, говорит Белинский и заключает, что „исходный пункт поэзии г. Майкова — природа с ее живыми впечатлениями, так сильными, таинственными и обаятельными для юной души, еще неизведавшей другой сферы жизни“... Но лишь только Майков покидает эту свойственную ему область, лишь только „думает быть современным поэтом“, как сразу падает с достигнутой высоты и в лучшем случае пишет только „хорошие стихи“. „Странное дело!—воскликает Белинский:—в антологических стихотворениях г. Майкова стих—просто пушкинский, нет неточных эпитетов, лишних слов, натянутых или изысканных выражений, нет полутона фальшивого; в них он—истинный, глубокий и притом опытный, и скупенный художник...; но в не-антологических стихотворениях, по крайней мере в большей части их, есть и неточные эпитеты, и неопределенность в идее, и изысканные фразы, и чуждые всякого внутреннего значения слова“...

После этого отзыва Белинского Майков жил и писал еще более полу-века; но если мы возьмем полное собрание его стихотворений, вышедшее через пятьдесят лет после этой статьи Белинского (1893 г.), то мы принуждены будем слово в слово повторить отзыв Белинского о поэзии Майкова. Майков принадлежал к числу тех поэтов, первая книга которых является в то же время и лучшей их книгой; он был лишен того яркого внутреннего развития, которого ждал от него Белинский. И причины этого вполне ясно наметил сам Белинский: эти причины—узость мировоззрения, а значит, и узость таланта поэта, особенно бросающаяся в глаза при сравнении с могучим талантом только что умолкнувшего Лермонтова. Майков в классической форме отражал классический дух; но—замечает Белинский—это отражение далеко не полное: „гармоническое единство с природою, проникнутое разумностию и изяществом, еще далеко не составляет исключительного элемента древнего мирозерцания“. Элемент „наивного“ и „природного“ в древней поэзии был только другой стороной элемента „трагического“, а Майков даже „и не коснулся этого элемента“. Но если уже в древнем мире элемент трагического играл такую роль, то еще большее значение „трагедия“ приобрела в жизни современного человека.

И Белинский посвящает этому вопросу ряд страниц, глубоко важных для характеристики его эволюции—лучших страниц настоящей статьи; в них ясно сказывается новый Белинский сороковых годов, преодолевший свои мучительные сомнения годов духовного кризиса, отразившегося в статьях о Лермонтове (№№ 20—21). На это необходимо обратить внимание.

В 1840—1841 г. Белинский, отказавшись от веры в „разумную действительность“, в объективно-целесообразное устройство мира и жизни, потерял почву под ногами. Он взглянул прямо в глаза жизни и увидел в ней не трагедию, разумно осмысленную, а бессмысленную драму. Он считал эту свою „рефлексию“ временной болезнью духа, но все же он был всецело в ее власти: в статье о стихотворениях Лермонтова это сказалось достаточно ясно, как ни старался Белинский указывать на „вечные истины“, на законы провидения... В письмах он не старался прикрыть несуществующей верой это свое неверие в жизнь: он резко провозглашал это свое неверие в смысл человеческой трагедии. Горе, слезы, гибель, смерть—все это для него перестало оправдываться идеей о „премудрой Благости“, которая царит над миром; в диссонансах жизни он перестал искать гармонию. Когда ему указывали на глубокий внутренний смысл человеческой трагедии, он с негодованием восклицал: „дитя, полно тебе играть в понятия, как в куклы! Твое трагическое—бессмыслица, злая насмешка судьбы над бедным человечеством“... (письмо к Боткину от 12 авг. 1840 года). Здесь достаточно этих немногих указаний; подробности читатель найдет и в первой части настоящей книги, и в статье № 35.

К концу 1841-го и началу 1842-го года острый период кризиса миновал. Белинский „со всем фанатизмом прозелита“ перешел к новой вере—к вере в „социальность“ (письмо к Боткину от 8 сент. 1841 г.), и уже в предыдущей статье (№ 28) стала намечаться эта новая социальная точка зрения Белинского на поэзию, на искусство, вполне проявляющаяся в настоящей статье. Спасение Белинский нашел в идее „человечества“, в идее „прогресса“—и стал прилагать критерий этого „содержания“ к произведениям искусства: от поэта, кроме таланта, он требует в настоящей статье „развития в духе времени“... „Поэт уже не может жить в мечтательном мире: он уже гражданин царства современной ему действительности... Общество хочет в нем видеть уже не потешника, но представителя своей духовной идеальной жизни; оракула, дающего ответ на самые мудреные вопросы; врача, в самом себе, прежде других, отрывающего общие боли и скорби и поэтическим воспроизведением исцеляющего их“... Этот новый взгляд на поэта будет скоро еще громче провозглашен Белинским в статье о „Речи“ Никитенко (№ 34); в настоящей статье взгляд этот высказывается только мимоходом, попутно. Точно так же мимоходом вырисовывается и новое отношение Белинского к вопросу о трагическом—и не трудно было бы предугадать, в чем будет заключаться это новое отношение, новое понимание трагического: придя к новой вере

в человечество, в прогресс, в „социальность“, Белинский должен был снова примириться с трагическим в жизни, как с неизбежным условием развития человечества. И если годом раньше он негодуяше восклицал, что трагическое—бессмыслица, то в настоящей статье он заявляет, что „трагическое—это божия гроза, освежающая сферу жизни после зноя и удушья продолжительной засухи“... А годом позднее он будет оправдывать гибель личностей благом человечества, будет принимать смерть во имя того, что „проходят и меняются личности, а дух человеческий живет вечно“ (№ 37). Восстав во имя личности против идеи разумности мира, Белинский, таким образом, снова подчинил личность идее разумного устройства человечества. В настоящей статье это сказалось в факте примирения Белинского с трагическим; эти страницы являются как бы ответом на указанное выше письмо самого же Белинского от 12 августа 1840 года.

Конечно все это было только своеобразной характеристикой *a contrario* поэзии Майкова: элемента „трагического“ именно и не было в творчестве Майкова, и это особенно подчеркивает Белинский; в этом он видит причину того обстоятельства, что, „когда г. Майков выходит из сферы антологической поэзии—его талант как будто слабеет“... И вся эта блестящая характеристика поэзии Майкова осталась с тех пор непоколебленной: вся последующая полувекковая поэтическая деятельность Майкова была только все более и более полным ее подтверждением; Белинский имел бы полное основание гордиться этой своей статьей. Кстати заметить, он был ею очень доволен: „статьей о Майкове—писал Белинский Боткину в марте 1842 года—я сам доволен, хоть она и никому здесь особенно не нравится; а доволен ею я потому, что в ней сказано (и притом очень просто) все, что надо, и в том именно тоне, в каком надо было сказать“.

## 30. „Педант“.

Эта небольшая статейка требует, в виду своей важности, обширного комментария: с нее ведут начало, как уже отмечено историками литературы, войны Белинского с „москвитянами“, за которыми вскоре установится название „славянофилов“; в частности, с нее начинается жестокая война Белинского с „Москвитянином“, органом формирующегося славянофильства.

В конце своего обзора литературы за 1840 год (см. статью № 22) Белинский писал: „в Москве издается с нынешнего года новый журнал „Москвитянин“. Главный редактор его — г. Погодин, главный сотрудник — г. Шевырев. Не берем пророчить о судьбе нового издания, но смело можем поручиться, что оно есть предприятие честное, добросовестное, благонамеренное, чисто литературное и нисколько не меркантильное; что у него будет своя мысль, свое мнение, с которыми можно будет соглашаться и не соглашаться, но которых нельзя будет не уважать, против которых можно будет спорить, но нельзя будет браниться“... Белинский не предвидел, что через несколько месяцев „Москвитянин“ подымет жестокую „брань“ и в прямом, и в переносном смысле, и что сам он, Белинский, первый сделается предметом этой брани.. Полемизируя с „Отеч. Записками“ по поводу одной рецензии, Шевырев напал прямо на „безыменного критика“—Белинского\*). В номере шестом „Москвитянина“ за 1841 год Шевырев, скрывшись за подписью NN, яростно напал на безыменного „журнального борзописца“, имея в виду Белинского; Шевырев негодовал, „что какой-нибудь журнальный писака, навеселе от немецкой эстетики, которой сам за незнанием немецкого языка не читал, а о которой слышал, и то в искаженном виде, из третьих уст,—что такой непризванный судья, развалившись отчаянно в креслах критика и размахавшись борзым пером своим, всенародно осмеливается... праздновать шабаш поэзии и нравственности“... Возмущенный Белинский немедленно ответил на эту несдержанную выходку резкой от-

\*) Подробнее об этой первой в сороковых годах стычке Шевырева с Белинским см. Барсуков, „Жизнь и труды М. П. Погодина“, т. VI, а также шестой том полного собрания сочинений Белинского редакции С. Венгерова, стр. 236 — 241 и 593 — 596.



поведью („Отеч. Записки“, 1841 г., № 7), что не помешало ему полгода спустя, в обзоре русской литературы за 1841 год, беспристрастно указать, что в „Москвитянин“ этого года „было несколько превосходных оригинальных статей в стихах и в прозе“. Но как раз одновременно с этим, в январьской книге „Москвитянина“ за 1842 год, появилась резкая статья Шевырева „Взгляд на современное направление русской литературы“, в которой характеризовалась „черная сторона“ этой современной литературы. Самыми черными красками был разрисован, разумеется, Белинский, под названием „рыцаря без имени“, прикрывающего свое невежество „цельной, из одного куска литой броней наглости“, „безыменного рыцаря, в маске и забрале, с медным лбом и размашистою рукою“... Намекая на статью „Русская литература в 1840 году“ и на выраженное в ней Белинским сознание собственного значения в литературе, Шевырев восклицает: „бойкий рыцарь, в порыве заносчивости, дошел до того, что однажды уничтожил всю русскую литературу и публику, за исключением двух или трех имен и своего журнала, с которого он полагает настоящее несомненное ее начало“... Далее, называя Белинского „литературным бобылем“, „наемным пером“ и „последним внуком литератора-промышленника“ (намек на Полевого, с которым пятнадцатью годами ранее Шевырев вел такую же ожесточенную войну), Шевырев презрительно замечает, что уважение и похвала этого „безыменного рыцаря“ настолько же оскорбительны, как и его неуважение к авторитетам (очевидно, Шевырев имеет в виду похвалы Белинского Гоголю, особенно в статьях о „Горе от ума“ и „Русской литературе в 1840 году“). Наконец, Шевырев резко нападает на Белинского,—этого „безыменного рыцаря“, на щите которого кривыми буквами написано слово: „убеждение“—за непостоянство его убеждений: „если бы это убеждение было постоянно и верно—...еще можно было бы его уважать. А когда видишь, что оно так часто меняется и падает иногда на предметы, совершенно того недостойные, что рыцарь сегодня скажет одно, а завтра другое, и все противоречия прикрывает одним и тем же щитом своим, то под конец еще более отвращаешься от такой маски“... В таком же тоне продолжалось и дальше это нападение, далеко не безопасное, по тогдашним временам, для Белинского.

Белинский с конца декабря 1841 года по середину января 1842 года гостил в Москве у Боткина, когда появилась январская книга „Москвитянина“ с этой статьей Шевырева. „Идея Педанта мгновенно блеснула у меня в голове еще в Москве, в доме М. С. Щепкина, когда Кетчер прочел там велух статью Шевырки,—писал Белинский Боткину 14 марта 1842 г.:—еще не зная, как и что отвечу я,—я, по впечатлению, произведенному на меня доносом Шевырки, тотчас же понял, что напишу что-то хорошее“... Так появился „Педант“, где в лице „Лиодора Ипполитовича Картофелина“ мы имеем портрет Шевырева во всю его величину. Из всех злобных выходов Шевыреза только одна—о „переменчивости“ убеждений Белинского—имела в то время хоть некоторое внешнее основание (ибо у всех были еще в памяти его столь различные статьи 1839—1840 и 1841 годов); Белинский же, наоборот, дал великолепный и живой портрет Шевырева, не только с темными, но и с его светлыми сторонами. Он указывает на бескорыстность, честность и доверчивость Шевырева, которыми так бесцеремонно пользовался издатель „Москвитянина“ Погодин, выведенный в настоящей статье под именем „литературного циника“, „ловкого промышленника“, „хитрого антрепренера“; Белинский признает и несомненную учепость и эрудицию Шевырева, но тем беспощаднее вскрывает он все „педантство“ этой учености, отсутствие художественного и критического чувства, полное непонимание литературных явлений современности. Как профессор древней русской письменности, Шевырев был на своем месте, но на свою беду он хотел быть еще и критиком, хотел судить и безапелляционно оценивать явления современной литературы. Здесь он, оценив до некоторой степени Гоголя, высказал самые невероятные суждения о Пушкине, о Лермонтове, о Белинском... Достаточно прочесть статью Белинского „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“ (см. выше статью № 5), чтобы иметь полное понятие о Шевыреве; в настоящей статейке Белинский только свел в один яркий фокус все характерные черты этого „педанта“. Удар был тяжелый и попал прямо в цель.

„Спасибо тебе за вести об эффекте Педанта, — писал Белинский Боткину (31 марта 1842 г.):—от них мне некоторое время стало жить легче. Чувствую теперь вполне и живо, что я рожден для печатных битв, и что мое призвание, жизнь, счастье, воздух, пища — полемика“... И пять лет спустя, вспоминая в письме к Боткину (от 26 февраля 1847 г.) о „Педанте“, Белинский говорил: „я не юморист, не остряк; ирония и юмор—не мои оружия. Если мне удалось в жизнь мою написать статей пяток, в которых ирония играет видную роль и с большим или меньшим умением выдержана—это произошло совсем не от спокойствия, а от крайней степени бешенства, породившего своею сосредоточенностью другую крайность — спокойствие. Когда я писал „тип“ на Шевырку... — я был не красен, а бледен, и у меня сохло во рту, от чего на губах и не было пены... Я принужден действовать вне моей природы, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велют мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по лисьи“... Действительно, Белинский был прирожденным полемистом, и таким он обрисовался, несмотря на цензурные „обстоятельства“, с самого начала своей критической дороги; его удары всегда были метки и тяжелы, „сосредоточенное спокойствие“ его иронии—беспощадно. Недаром Панаев сообщает в своих воспоминаниях, что когда Белинский переехал в 1839 г. в Петербург и стал ближайшим сотрудником „Отеч. Записок“, то этот его приезд „наделал большого шума“ в петербургских литературных кружках, в которых Белинского „ненавидели и в то же время страшно боялись“ („Воспоминания о Белинском“). Там же Панаев описывает происшедшую в это же время встречу свою и Белинского на Невском с Булгариным: „извините, почтеннейший (сказал Булгарин, остановив Панаева), извините... Скажите, пожалуйста, кто это с вами идет? — Белинский. — А! а!... Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?“ Я передал эти слова Белинскому,—продолжает Панаев:—это очень забавляло его, и он потом часто повторял, что Булгарин называет его бульдогом“... Об этом рассказывает и сам Белинский (в письме к Боткину от 22 ноября 1839 г.); этим объясняется и псевдоним, которым подписана настоящая статья. И когда Боткин не сумел разгадать псевдонима, то Белинский шутливо писал ему (14 марта 1842 г.): „с чего ты взял смешивать мизерную особу И. П. Ключникова с благородною особю Петра Бульдогова? И как ты в величавом образе сего часто упоминаемого Петра Бульдогова мог не узнать друга твоего Виссариона Белинского, всегда с пеною у рта и поднятым вверх кулаком—для выражения сильных ощущений, волнующих сего достойного человека?“

„Педант“ был оглушительным ответом на злобные инсинуации Шевырева; и если Боткин не сразу узнал в Бульдогове Белинского, то Шевырев „по когтям узнал в минуту“, с кем имеет дело; он заперся дома и с неделю не показывался в обществе. В кругу „москвитян“ статья эта вызвала взрыв негодования, ярко изображенный в письме Боткина к Краевскому (от 14 марта 1842 г.); „Боже мой,—писал Боткин,—как „москвитяне“ поносят... Виссариона, и чем не называют его!!!...“ Таким образом, „Педант“ был последней причиной окончательного разрыва между „москвитянами“, т.-е. славянофилами, и западниками. К Погодину и Шевыреву примкнули Аксаковы, Киреевские, Хомяков и скоро были объединены названием „славянофилов“; уже гораздо позднее увидели необходимость различать — и впервые это отметил Чернышевский—прогрессивное во многом славянофильство от реакционного погодинско-шевыревского национализма, но в эпоху Белинского они были неразличимы и неразлучимы. А между тем именно эти последние черты были особенно ненавистны Белинскому, именно с ними он начал прежде всего борьбу. Когда Шевырев в своей первой статье „Взгляд русского на современное образование Европы“ („Москвитянин“, 1841 г., № 1) торжественно провозгласил как бы от имени „москвитян“, заранее опошляя этим позднейшие глубокие мысли Герцена, что Запад сгнил, что Европа—разлагающийся труп или, в лучшем случае — „человек, носящий в себе злой, заразительный недуг, окруженный атмосферою опасного дыхания“, — когда Шевырев провозгласил все это, а некоторые публицисты подхватили эту благодарную тему, то Белинский, в отмеченной выше заметке середины 1841 года („Отеч. Записки“, № 7), дал резкую отповедь этой гипертрофии национа-

лизм. „Как можно писать и печатать подобные вещи в 1841-м году от Р. X.?—восклидал с негодованием Белинский.—Европа, изволите видеть, окружена атмосферою опасного дыхания, полна скрытого яда; она будущий труп, которым уже и пахнет...?! Помилуйте! Да ведь это хула на науку, на искусство, на все живое, человеческое, на самый прогресс человечества!...“ И в настоящей статье Белинский касается вопроса об отношении „педанта“ к Западу, высмеивая его курьезные сопоставления Европы и России.

Так началась борьба западничества со славянофильством, и вот почему эта маленькая статья Белинского имеет такое большое значение в истории русской мысли. Полгода спустя Белинский вынужден был выступить против своего бывшего близкого друга—К. Аксакова (см. ниже № 32), одного из главных представителей „москвитян“; и чем дальше, тем больше разгорался этот бой, эта борьба двух систем мировоззрений, за которую мы еще будем следить. Мы увидим тогда (см. статьи №№ 53 и 54), что не в одних политических и социальных разногласиях лежали причины борьбы и распада русской интеллигенции на две враждебные группы; причины лежали глубже—в реалистическом миропонимании западников и мистическом мировосприятии представителей славянофильства. Но, разумеется, такие срединные люди, как Погодин и Шевырев, только по недоразумению считались представителями одной из этих враждующих сторон.

Пережив тяжелую духовную ломку в 1839—1841 г.г., Белинский начинал приходить теперь к новой вере, к „социальности“, к социализму; к реалистическому миропониманию он пришел уже давно. Мы подходим теперь к тем статьям Белинского, в которых отразились эти новые его взгляды, уже отразившиеся отчасти и в предыдущих статьях. Настоящая статья, повторяю еще раз, имеет большое значение, как грань, с которой начинается последовательная борьба западничества и славянофильства; не менее интересна она и для характеристики полемической силы „неистового Виссариона“, которого недаром трепетали его противники.

### 31. „Похождения Чичикова или Мертвые Души“.

„Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего!... Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным“... Так писал Белинский еще в 1835 году, в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“; эта глубокая критическая прозорливость вскоре была оправдана появлением „Ревизора“ и окончательно подтверждена после долгого, шестилетнего промежутка появлением „Мертвых Душ“. Гоголь действительно становился главою литературы, зачинателем нового „гоголевского периода“ литературы, родоначальником новой „натуральной школы“.

После появления „Мертвых душ“ Белинскому хотелось написать новую, большую статью о Гоголе; статьей 1835-го года он был не удовлетворен. „Нет ли слухов о Гоголе?—писал он еще до того Панаеву (10 августа 1838 г.):—как я смеялся, прочтя в „Прибавлениях“<sup>1)</sup>, что Гоголь скрепя сердце рисует своих оригиналов. Во время оно я и сам то же врал“... Годом позже Белинскому удалось вновь высказаться о Гоголе вообще и о „Ревизоре“ в частности в большой статье о „Горе от ума“ (см. статью № 15); но после духовного перелома 1839—1841 г.г. и эта статья перестала удовлетворять Белинского. По крайней мере теперь, в 1842 году, он снова стал подумывать о большой статье, посвященной Гоголю. В начале 1842 года Белинский был в Москве (см. об этом нашу предыдущую заметку) и встретился там

<sup>1)</sup> Т.-е. в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду“ Краевского.

с Гоголем, который поручил ему отвезти в Петербург, для представления в цензуру, рукопись первого тома „Мертвых душ“. В письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г. Белинский, „уведомляя о ходе данного поручения“, писал между прочим: „с нетерпением жду выхода ваших Мертвых Душ... Думаю, по случаю выхода Мертвых Душ, написать несколько статей вообще о ваших сочинениях... Вообще, мне страх как хочется написать о ваших сочинениях. Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости; но, слава Богу, я вместе с этим одарен подвижностью вперед и способностью собственные промахи и глупости называть настоящим их именем и с такою же откровенностью, как и чужие грехи. И потому, подумалось во мне много нового с тех пор, как в 1840 году в последний раз врал я о ваших повестях и Ревизоре“. И в статьях Белинский часто стал обещать обширный этюд о Гоголе; еще в начале 1840 г., в статье об „Очерках“ Полевого, Белинский заявлял, что „в нынешнем же году намереваемся оправдать в особой статье наши отзывы о Гоголе“. В настоящей статье Белинский тоже обещает, что „скоро будем мы иметь случай поговорить подробно о всей поэтической деятельности Гоголя, как об одном целом, и обозреть все его творения в их постепенном развитии“; это же обещание Белинский повторяет и через несколько месяцев, в своей полемике с К. Аксаковым (см. ниже статью № 32). И впоследствии, уже перед самой смертью, не оставлял Белинский надежды еще раз высказать в большой статье свои мысли о Гоголе. В первом номере „Современника“ 1847 года, рецензируя второе издание „Мертвых душ“, Белинский обещал „в скором времени“ представить читателям „не одну статью вообще о сочинениях Гоголя и о „Мертвых душах“ в особенности“; это же Белинский повторяет и в своих письмах конца 1847 года (см., напр., письмо к Боткину от 4 ноября).

Но исполнить эту свою заветную мечту Белинскому не удалось: сделать это в „Современнике“ 1847—1848 гг. ему помешала болезнь и смерть, а теперь, в „Отечественных Записках“ 1843—1846 гг., ему не дала времени другая, не менее дорогая для него работа—широко задуманные „пушкинские статьи“. О Гоголе же Белинскому так и не пришлось написать одной цельной статьи; но тем не менее он высказался о нем с исчерпывающей полнотою в целом ряде разрозненных мелких статей, полемических сшибок и мелких журнальных заметок, особенно же в трех статьях о „Мертвых душах“, писанных Белинским на протяжении нескольких месяцев („Отеч. Зап.“, 1842 г., №№ 7—11): первая является краткой рецензией на книгу Гоголя, вторая—разбором брошюры К. Аксакова о „Мертвых душах“ и третья—резкой полемикой по тому же поводу с тем же К. Аксаковым.

Во второй половине 1842 года, когда писались эти статьи, Белинский был уже убежденным сторонником новой веры, новой религии—социальности; в ней он искал спасения от всех мучивших его „проклятых вопросов“ жизни. Он преклонялся теперь перед „гениальной Жорж Занд“, как мы уже видели это в статье о „Русской литературе в 1841 году“; он признавал теперь „всемирно историческое значение“ за французской литературой, как выразительницей этой „социальности“. Во французской повести он видел теперь „дивное искусство рассказа, социальные и нравственные вопросы, вопли и страдания современности“, вообще—проявление действительности; в основу своих статей он клал теперь и обещал класть и впредь „историческую и социальную точку зрения“. Теперь Белинский отказывается от своей былой узко-эстетической точки зрения; попрежнему преклоняясь перед „колоссальным Гёте“, он отрицательно относится к „анти-общественному духу этого поэта“. Теперь Белинский не отождествляет „прекрасной формы“ с „прекрасным содержанием“, как он это делал в статье о „Менцеле“; теперь он настойчиво указывает на то, что „только содержание делает поэта мировым“ и что „это-то содержание и должно быть мерилем при сравнении одного поэта с другим“.

Так радикально изменились взгляды Белинского по сравнению с тем, что он говорил в своих статьях 1839—1840 гг.; очевидно, что и взгляд его на Гоголя должен был измениться настолько же коренным образом. Так и случилось; но тут же нужно подчеркнуть, что это изменение коснулось только формы, а не сущности мне-

ний Белинского о Гоголе. Действительно, вспомним: что „врал“ Белинский (по его выражению) о Гоголе в 1840 году, в своей последней большой статье о нем, составляющей часть статьи о „Горе от ума“? Он говорил, что в Гоголе, авторе „комических“ произведений, мы имеем великого изобразителя призрачности, противопоставляемой „действительности“, что поэт дал объективную действительность миру призраков. Прошло два года—и Белинский увидел „гнусную расейскую действительность“ в том, в чем он раньше видел „разумную действительность“ и с этой „гнусной действительностью“ отождествилась также и бывшая „призрачность“. Став на „историческую и социальную точку зрения“, Белинский увидел теперь в Гоголе именно изобразителя подлинной „действительности“: „Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность“, говорит Белинский в настоящей статье. В „Мертвых душах“ Белинский увидел гениальное произведение, „беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодovitому зерну русской жизни; творение необъятно-художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта—и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое“; он увидел в „Мертвых душах“—„поэму, основанную на пафосе действительности, как она есть“. Итак, раньше Белинский смотрел на Гоголя, как на изобразителя „призрачности“, теперь он видит в нем поэта „действительности, как она есть“; несмотря на видимое различие по форме, эти определения тождественны по существу, так как „неразумная призрачность“ для Белинского 1840-го года тождественна с „гнусной действительностью“ для Белинского 1842 года.

Новая „историческая и социальная точка зрения“ Белинского дала ему возможность глубже проникнуть в смысл творчества Гоголя и правильно оценить значение „Мертвых душ“. В обещанных и неосуществленных статьях о Гоголе Белинский хотел „раскрыть пафос поэмы („Мертвых душ“), который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным“... Но и в настоящих статьях достаточно ясно проведена эта „социальная“ точка зрения; она даже переоценена, так как Белинский всегда был „человеком экстремы“. Белинский ставит Гоголя выше Пушкина—не с точки зрения художественной или философской, но по его значению для современного ему русского общества; и в этом он несомненно был прав, так как настоящее значение Пушкина не было достаточно очевидно для так называемой „широкой публики“. „... Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно более поэт в духе времени; он также менее теряет в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего времени“... Какой решительный переход от былого отрицания „субъективности“, как признака „рефлектированной поэзии“! Вспомним, как ненавидел Белинский, двумя-тремя годами ранее, Шиллера—именно за „субъективность“ и „рефлексию“; но вспомним также, что уже в статьях 1840—1841 гг. о Лермонтове (№№ 20 и 21) Белинский начал приходить к этой новой, противоположной точке зрения. Теперь он заявляет, что „величайшим успехом и шагом вперед“ со стороны Гоголя он считает всюду осязаемо проступающую „субъективность“ его поэмы—„ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, ...которая не допускает (художника) с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живую явления внешнего мира“.

Надо однако тут же заметить, что это последнее мнение Белинского о Гоголе не было ни достаточно характерным, ни достаточно установившимся; выражая его в первой из трех статей 1842 года и повторяя во второй, он отказывается от него в третьей. И это—не самопротиворечие, а просто та „движимость вперед“, о которой писал сам Белинский в своем вышеприведенном письме к Гоголю. Первая статья была напечатана в № 7-м, статья вторая—в № 8-м и третья статья—в № 11-м „Отеч. Записок“ за 1842 г.; за эти несколько месяцев Белинский, не один раз перечитав „Мертвые души“, во многом „двинулся вперед“ в своем понимании этого произведения,

а через него—и самого Гоголя. В первой из этих статей Белинский иронически отозвался о тех людях, которые в названии „Мертвых душ“ поэмой увидят юмор автора; а четырьмя месяцами позднее Белинский говорил: „мы еще не понимаем ясно, почему Гоголь назвал „поэмою“ все произведение, и пока видим в этом названии тот же юмор, каким растворено и проникнуто насквозь это произведение“... Белинский ошибался: Гоголь без всякого юмора говорил о своей „поэме“, имея в виду ее вторую и третью часть, в которых откроется „несметное богатство русского духа“... Но, несмотря на свою ошибку (сведенную на нет подчеркнутым „пока“), Белинский именно теперь глубоко понял намерение Гоголя и подчеркнул его ложность и неисполнимость: „если же сам поэт почитает свое произведение „поэмою“, содержание и герой которой есть субстанция русского народа, то мы не обинуясь скажем, что поэт сделал великую ошибку“—ибо это „субстанциальное начало“ является „доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения“. А между тем „субстанция народа может быть предметом поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть прошедшее и настоящее, а не будущее только“... „И потому—великая ошибка для художника писать поэму, которая может быть возможна в будущем“.

Здесь с удивительной пронизательностью вскрыта та ошибка, которая погубила Гоголя-художника и которой он не сознавал; так „двинулся вперед“ Белинский в понимании этого вопроса за немногие месяцы, отделяющие первую его статью от третьей. В связи с этим находится и другая перемена в его мнениях. В первой из этих статей Белинский восхищался „высоким лирическим пафосом“ многих мест этой поэмы, хотя его и коробили некоторые напыщенные фразы Гоголя, в стиле шевыревско-погодинского национализма; а в третьей Белинский, цитируя эти места, видит в них уже „надутый и напыщенный лиризм“—как он выразился позднее, в рецензии 1847 года. Теперь, в этой третьей статье, Белинский уже вполне определенно выражает свою тревогу по поводу лирического пафоса Гоголя и его обещания показать в последующих частях своей поэмы идеальную русскую девицу, „какой не сыскать нигде в мире“, и русского „мужа, одаренного божественными доблестями“... Перед такими обещаниями Белинский остановился „в тревожном раздумьи“: „нам как-то страшно,—сказал он,—чтоб первая часть, в которой все комическое, не осталась истинною трагедиею, а остальные две, где должны проступить трагические элементы, не сделались комическими—по крайней мере в патетических местах“... Мы знаем, как точно и печально оправдалось это глубокое понимание и гениальное предсказание на типах Улиньки и Костанжогло.

Точно такая же перемена произошла и в отмеченном выше мнении Белинского о „субъективности“ и рефлексированности гоголевского творчества; в третьей своей статье Белинский настойчиво подчеркнул, что творчество Гоголя бесконечно далеко от всякой „рефлексии“ и что именно в этом его величайшая сила; в этом отношении между „субъективистом“ Лермонтовым и „объективистом“ Гоголем—громадное расстояние. Белинский понял теперь, что „удивительная сила непосредственного творчества“ совмещается в Гоголе с „косыми и близорукими взглядами“ на ту же самую жизнь; но тут же он замечает, что „эта удивительная сила непосредственного творчества... много вредит Гоголю“, „отводит ему глаза от идей и нравственных вопросов“ и заставляет его „довольствоваться объективным изображением фактов“... Это уже прямая противоположность тому, что Белинский говорил в первой статье; желая сгладить эту противоположность, Белинский замечает, что все же в „Мертвых душах“ у Гоголя заметно „более ошутительное“, чем раньше, присутствие „субъективного начала“ и „рефлексии“. Эта оговорка не меняет дела: ясно все-таки, что Белинский в этом вопросе тоже сильно „двинулся вперед“ за эти три-четыре месяца. Впрочем, еще 4 апреля этого года он писал Боткину: „страшно подумать о Гоголе: ведь во всем, что он написал—одна натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что он наблевал о Париже-то!...“

Три четверти века прошло после этого резкого отзыва Белинского о Гоголе; мы знаем теперь, что не в „невежестве“ тут было дело, а в коренном расхождении философских взглядов „западников“ и „славянофилов“, о чем уже говорилось в предыдущей заметке; Гоголь несомненно был в этом отношении на стороне „Москвитянина“. Да и не только в этом отношении: он вообще не сочувствовал Белинскому. Так, например, в статье Белинского „Русская литература в 1841 году“ Гоголь находил „неуважение к Державину“, точь-в-точь, как и Шевырев. Белинский, только-что написавший „Педанта“, пришел в негодование от такого плоского непонимания: непростительное Шевыреву было в тысячу раз непростительнее Гоголю. „Не уважение к Державину возмутило мою душу чувством болезненного отвращения к Гоголю,—писал Белинский Воткину 31 марта 1842 года:—...в этом кружке он как-раз делается органом Москвитянина. „Рим“—много хорошего, но есть и фразы; а взгляд на Париж возмутительно гнусен“. После этого дороги Белинского и Гоголя расходились все дальше и дальше; Гоголь пришел к своей „Переписке с друзьями“, а Белинский к знаменитому письму 1847 года к Гоголю по поводу этой книги. Ниже мы подробно остановимся на этом письме и на вопросе о взаимоотношении Белинского и Гоголя; здесь же ограничусь указанием, что наиболее заслуживающими внимания в разных отношениях книгами о Гоголе являются книги: Н. Котляревского „Н. В. Гоголь“ (1908 г.); Д. Овсяннико-Куликовского „Гоголь“ (1907 г.); Д. Мережковского „Гоголь“; интересны небольшие характеристики В. Розанова в книге „Легенда о Великом Инквизиторе“ и В. Брюсова в брошюре „Испепеленный“ (1909 г.). В книгах Пыпина, А. Веселовского, Тихонравова, Венгерова и др. мы найдем отдельные этюды о жизни и творчестве Гоголя; но, разумеется, главными источниками являются сочинения самого Гоголя (лучшее издание—десятое, под ред. Тихонравова), четырехтомное собрание его писем под ред. Шенрока, а также четырехтомные „Материалы для биографии Гоголя“ того же Шенрока.

Об отношении Белинского к Гоголю у нас еще будет; таким образом, речь; кроме того, кое-каких частных коснусь в следующей заметке. Здесь достаточно сказать, что взгляд Белинского на творчество Гоголя вообще и на „Мертвые души“ в частности стал в скором времени господствующим, как большинство и всех других взглядов Белинского. В „Мертвых душах“ Белинский категорически отказался видеть „сатиру“: „нельзя ошибочнее смотреть и грубее понимать их“,—говорил Белинский, являясь в этом отношении выразителем мысли самого Гоголя. „Смысл, содержание и форма „Мертвых душ“—развивает эту мысль Белинский—есть „созерцание данной сферы жизни сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы“. В этом и заключается трагическое значение комического произведения Гоголя, это и выводит его из ряда обыкновенных сатирических сочинений, и этого-то не могут понять ограниченные люди“. Повторяя здесь слова Гоголя, Белинский в то же время повторял и свое собственное определение, с гениальной прозорливостью высказанное им еще в 1835 году, в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“. Не типа прежних „сатирических писателей“ был Гоголь, а родоначальником новой „натуральной школы“, о которой так много будет еще писать впоследствии Белинский, каждый раз возвращаясь при этом к Гоголю. Одно уже это объясняет, почему имена Белинского и Гоголя неразрывно сплетены—как это было для Белинского и с Пушкиным, и с Лермонтовым—в истории русской литературы, несмотря на всю философскую и религиозную пропасть, отделявшую друг от друга этих двух великих страдальцев за землю русскую...

## 32. «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые Души“».

„Моя натура вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи“—говорил сам о себе Белинский. Но это общераспространенное суждение о нем справедливо только в отношении к отвлеченным идеям, к системам мировоззрений; когда же дело касалось живой ткани искусства, вопросов литературно-критических—Белинский как бы

перерожден: почти всегда и сразу попадал он в самый „центр идеи“ и боролся с двумя противоположными крайностями. Отсюда и то постоянство его литературных мнений, которое—я это часто отмечал—так резко контрастирует с изменчивостью его социальных и философских взглядов и убеждений.

Здесь мы имеем характернейший пример борьбы Белинского на два фронта, против двух крайних и одинаково курьезных мнений о „Мертвых Душах“. Белинский сразу и первый поставил Гоголя на громадную высоту, провозгласив его наследником Пушкина и главою русской литературы; ему приходилось не мало сражаться против мнения, согласно которому Гоголь был только мелкий водевилист и последователь Поль-де-Кока. Но вместе с этим Белинскому пришлось не менее резко полемизировать и с другой крайностью—с попыткой поставить Гоголя рядом с Гомером и Шекспиром, как это сделал К. Аксаков.

Мнение это было не внезапным восторженным порывом экспансивного К. Аксакова; оно сложилось у него еще задолго до 1842 года. Еще в конце 1839 года К. Аксаков выражал это мнение в письме к Белинскому, и тогда же Белинский с легкой иронией отвечал К. Аксакову: „радуюсь твоей новой классификации—Гомер, Шекспир и Гоголь,—но и дивлюсь ей. Куда же девался Гёте? О, юноша! пылка душа твоя, и я люблю ее прекрасную пылкость! Вот мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который все поглотил у меня... Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как  $2 \times 2 = 4$ ; но Пушкин... Впрочем, надо еще подождать. Эти вещи трудны для выговаривания“ (письмо от 10 янв. 1840 г.; те же мысли мы найдем и в следующем письме Белинского к К. Аксакову от 14 июня 1840 года).

Так писал Белинский в 1840 году; мы знаем, что в это время он действительно считал Пушкина „мировым“ поэтом. Но уже в следующем году он отказался от этого мнения и высказал это в статье „Русская литература в 1841 году“ и в других статьях этого времени. В предыдущей статье Белинский сам указал на причины перемены своего мнения: только содержание делает поэта мировым, — говорит он там. „Прежде,—говорит Белинский,—смотря на поэта больше со стороны естественного таланта и желая выразить одним словом высшее его значение, мы думали воспользоваться для этого эпитетом „мирового“; но скоро увидев, что через это смешиваются два различные представления, мы оставили безразличное употребление этого слова. Мировой поэт не может не быть великим поэтом; но великий поэт еще может быть и не мировым поэтом“... Эта мысль находится в связи с вновь появившимся у Белинского отрицанием существования русской литературы, ясно выразившимся еще в статье о „Русской литературе в 1840 году“ (№ 22). И теперь, в статье о „Мертвых Душах“ (№ 31), Белинский снова повторял: „мы уже не раз говорили, что не верим существованию русской литературы, как выражению народного сознания“; потому именно, думает Белинский, русская литература и не является литературой „мировою“... Этот отрицательный взгляд на русскую литературу Белинский изменил только к 1843 году, в статье „Общее значение слова литература“ (см. № 25).

Но даже и признав впоследствии „существование“ русской литературы (в смысле исторического развития), Белинский все же остался при прежнем мнении относительно местного значения Пушкина и Гоголя. И если он ошибался в этом—особенно относительно Пушкина, этого величайшего выразителя „субстанционального начала русской жизни“,—то все же он был совершенно прав в своей полемике с К. Аксаковым и с его курьезным сопоставлением Гоголя с Гомером и Шекспиром. Правда, К. Аксаков ставил Гоголя рядом с Гомером и Шекспиром только в отношении к акту творчества; но и с таким ограничением мысль К. Аксакова не становилась более приемлемой. Во-первых, Белинский еще за год до появления брошюры К. Аксакова заметил в своей статье о Лермонтове, что „в отношении к акту творчества... песня Беранже совершенно равна любой драме Шекспира“, так что сопоставление с Шекспиром Гоголя становилось бессодержательным; во-вторых, в настоящей статье Белин-



ский наглядно показал, что стоять рядом с Гомером или Шекспиром у Гоголя нет никакого особого права, сверх указанного выше и объединяющего всех поэтов всего мира. Разумеется, это не только не мешало, но, напротив, особенно побуждало Белинского еще больше подчеркивать все „колоссальное величие“ Гоголя, его „великий талант“ и громадное значение его „гениальных созданий“ для русского общества, для русской литературы. Сравнение же Гоголя в каком бы то ни было отношении с Гомером или Шекспиром могло только повредить правильной его оценке и вызвать ироническое к нему отношение со стороны читающей массы. С этим и боролся Белинский.

Этим объясняется и резкий тон его полемики с К. Аксаковым—одним из близких друзей его юности. Разрыв был неизбежен: по слишком разным путям пошли К. Аксаков и Белинский. Последний еще в середине 1839 года писал из Москвы Панаеву про К. Аксакова: „славный, чудный человек!... В нем есть все—и сила, и энергия, и глубокость духа, но в нем есть один недостаток, который меня глубоко огорчает. Это—...какой-то китайский элемент, который примешался к прекрасным элементам его духа. Коли он во что засядет, так, во-первых, засядет по уши; а, во-вторых, во сто лет не вытащите вы его и за уши из того ошущеньица, или из того понятыица, которое от праздности забредет в его, впрочем, необыкновенно умную голову“ (письмо от 19 августа 1839 г.). Эта блестящая характеристика, повторенная им в заключительных строках второй „гоголевской“ статьи 1842 года, как нельзя лучше подтверждается и всей настоящей полемикой: как засел в 1839 году К. Аксаков в своем приравнивании Гоголя Гомеру и Шекспиру, так и остался в этом „понятыице“ вплоть до 1842-го и следующих годов. И это несмотря на тот „необыкновенный ум“, который справедливо видел в нем Белинский... Для всей деятельности К. Аксакова сохраняет силу эта характеристика; об этой деятельности см. книгу С. Венгерова о К. Аксакове, или статью в первом томе его „критико-биографического словаря“ (стр. 201—318); там же подробный биографический и библиографический указатель.

Настоящая статья знаменует собою окончательный разрыв Белинского со всеми „москвитянами“, неизбежный уже после его „Педанта“. Белинский порывал последние узы личных отношений с бывшими друзьями из „москвитян“; с 1842 года начинается постепенно разгорающаяся полемика Белинского и его новых друзей с формирующимся славянофильством.

### 33. „Руководство к всеобщей истории“.

В конце 1841 года Белинский говорил о себе: „Я теперь в новой крайности, это—идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия“... Он стал проповедывать эту идею социализма „со всем фанатизмом прозелита“ по его же выражению, и проповедью этой заполнены годы 1842—1846. Но, разумеется, это была проповедь только в узком кругу друзей; изредка и в письмах к Боткину Белинский прорывался горячей тирадой в честь социализма, и то, конечно, только в тех письмах, которые шли „оказией“, не по почте, ибо „Шпекины,—писал Белинский,—распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов“... В этих письмах „по-оказии“ Белинский восторженно говорил о грядущем социалистическом хилизме, „тысячелетнем царстве божием на земле“, восклицал что настанет время, и „Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новой землей“, проповедывал единство человечества, как цельной, идеальной личности, и т. д., и т. д.: в очерке жизни и творчества Белинского мы посвятили его „вере в социализме“ целую главу.

В своих журнальных статьях Белинский, разумеется, не мог прямо высказывать свои заветные убеждения: проповедь социализма в тисках николаевской цензуры являлась, конечно, невысказанной. Белинского иногда приводила в отчаяние эта невозможность поделиться с читателями самыми ценными из своих новых убеждений. „Истину я взял себе,—говорил однажды Белинский (в письме к Герцену от 26-го января 1845 года),—но,

ведь, я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризовать и обнародовать?—мертвый капитал“...

И однако такая возможность все-таки была,—и причиной ее была та „глупость цензуры“, которой иногда так восхищался Белинский. Цензура порой не пропускала самых невинных вещей и тут же одобряла вещи, которые никто в то время не мог бы надеяться напечатать. Неудивительно поэтому, что и в статьях Белинского часто проskalзывали выражения его новой веры, его новых убеждений, особенно по целому ряду частных вопросов. Тем интереснее та его статья, в которой мы находим обобщение всех этих его взглядов, поскольку обобщение это было возможно в рамках николаевской цензуры.

1-го года появилась книга „Руководство к всеобщей истории. Сочинение Фридриха Лоренца. Часть первая. Санктпетербург“. Книга эта была составлена из лекций, читанных Лоренцом в историческом институте, и была только простым компилятивным учебником; Белинскому надо было написать статью об этой книге. Повидимому, он хотел уклониться от этой обязанности, считая себя недостаточно подготовленным для критической статьи по такому специальному вопросу; в декабре—январе 1841—1842 года он гостил у Боткина в Москве, и, повидимому, предложил последнему написать статью о книге Лоренца. Боткин, быть может, и пообещал, но обещания своего не исполнил; это видно из следующего начала письма Белинского к Боткину от 17-го марта 1842 г.: „Вот мне и опять пришла чета писать к тебе, Боткин. Но о чем писать?—право не знаю: и хочется, и не о чем. Ну, пока не придумаю лучшего, выругаю тебя хорошенько за то, во-первых, что ты ничего не прислал мне с Кульчиком о Лоренце, и тем вверх меня в бедственное положение писать о том, чего не знаю“... (упоминаемый в письме „Кульчик“—знакомый Белинскому и Боткина, Кульчицкий). Боткин, повидимому, ответил на это письмо, так как мы имеем в свою очередь ответ Белинского в письме от 31-го марта 1842 года: „О Лоренце не хлопочи: преступление совершено, и в 4-м № „Отечественных Записок“ ты прочтешь довольно гнусную статью своего приятеля—ученого последнего десятилетия“... Там иронизировал над собой сам Белинский.

Статья о книге Лоренца оставалась до 1911 г. неизвестной, а между тем статья эта действительно была напечатана в апрельском номере „Отечественных Записок“ за 1842 год (т. XXI, отд. V, стр. 36—45); она представляет большой интерес, как первое печатное проявление идеи социализма в статьях Белинского. Мало этого: статья интересна еще и тем, что в ней мы имеем развитие не какого-нибудь частного вопроса (например, „женской“, с точки зрения „семейного“,—что можно найти в других статьях Белинского), а общее воззрение, обобщение частных вопросов, вопрос о человечестве вообще. Принужденный писать о специальном вопросе,—учебнике по всеобщей истории,—Белинский блестяще вышел из затруднения, сказав о самом учебнике только несколько хвалебных слов, сделав только несколько критических замечаний, а большую часть статьи посвятив восторженному прославлению „прогресса“, который в конце концов приведет человечество к „новой земле и новому небу“. В николаевском цензурном застенке нельзя было яснее высказать в печати верования утопического социализма.

Статья начинается указанием, что век наш—по преимуществу век исторический: „историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собой все сферы современного сознания“. Как известно, историческая точка зрения стала в конце 1841 и начале 1842 года характерной и для литературно-критических суждений Белинского; особенно выразилось это в его статье „Русская литература в 1841 г.“ (см. № 28), написанной месяцами тремя раньше статьи по поводу книги Лоренца. „Историческое созерцание,—продолжает Белинский,—проникло всю современную действительность, даже самый быт наш. Чувство общности теперь везде сильнее, чем когда-либо прежде было. Каждый живет чувствует себя в обществе и общество в себе, и каждый, по крайней мере, претендует служить обществу, служа себе самому“...

И такое „историческое созерцание“ проникло всюду,—в бытовую жизнь, в науку, в искусство. Исторический роман и историческая драма царят в литературе: Вальтер Скотт „был органом и провозвестником века, давши искусству историческое направление“. В науке—то же самое: „давно ли эстетика шла своим особым путем, не спрашиваясь у истории, не соприкасаясь с ней? Еще и теперь многие добрые люди, повторяя чужие зады, пренаивно уверяют, что искусство само по себе, а жизнь сама по себе...“

Здесь Белинский говорит pro domo sua: это он двумя-тремя годами раньше (а также и в течение всей своей московской журнальной деятельности) был проповедником самоцельного искусства, „бесцельного с целью“; в сороковых годах, эти „зады“ стали достоянием „многих добрых людей“,—например, Сенковского-Брамбеуса, Булгарина, отчасти Полевого, которые отстаивали теперь „чистое искусство“, ожесточенно нападая на Гоголя и утверждая, что „искусство само по-себе, а жизнь сама-по-себе“, и что „искусство унизилося бы, снизойдя до современных интересов“... Да,—соглашается Белинский,—если под „современными интересами“ подразумевать моды, сплетни, мелочи света, биржевой курс,—то симпатия ко всему этому была бы упадком искусства; но ведь не это надо понимать под сближением искусства с историей и жизнью. „Нет, не то разумеется под историческим направлением искусства: это—или современный взгляд на прошедшее, или мысль века, скорбная дума или светлая радость времени; это—не интересы сословия, но интересы общества; не интересы государства, но интересы человечества; словом, это общее, в идеальном и возвышенном значении слова“...

Пропускаю развитие ряда интереснейших и характерных для Белинского положений об искусстве, как выражении сознания народа и человечества в определенную эпоху, „как бы биении пульса его жизни“, о связи истории искусства с историей человечества, о синтезе классицизма и романтизма в современном искусстве, о связи между историей и философией. „Философия есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах. По Гегелю, мышление есть как бы историческое движение духа, сознающего себя в своих моментах; и ни один философ не дал истории такого бесконечного и всеобъемлющего значения, как этот величайший и последний представитель философии“... Это место очень ценно для определения отношения Белинского эпохи „социализма“ к Гегелю, с которым он, казалось бы, порвал еще годом раньше („Благодарю покорно, Егор Федотович, кланяюсь вашему философскому колпаку“,—обращался Белинский к „его философскому филистерству“, Гегелю, в знаменитом письме к Боткину от 1 марта 1841 г.). Теперь очевидно,—это, впрочем, было известно историкам литературы и раньше,—что, раскланявшись с Гегелем, Белинский все же продолжал во многом быть последователем этого „величайшего и последнего представителя философии“, как он его здесь называет. Философия Гегеля давала лишнюю опору „истории“ Белинского, и в этом отношении Белинский самостоятельно пошел по пути, прокладываясь в то время в Германии левыми гегельянцами.

Историческая точка зрения неизбежно приводила к понятию „прогресса“ и к определению основной причины его. „Прогресс и движение,—говорит Белинский, сделались теперь словами ежедневными. Новизна никого не пугает; предела усовершенствованиям никто не видит“... Какая же причина этого скорого движения?—задает вопросом Белинский и дает ответ, характерный для „уториста“ того времени: причина интенсивного прогресса—„созревшее историческое сознание вследствие успеха в последнее время истории как науки“... Только история в своем развитии могла создать понятие о человечестве, как единой развивающейся „личности“, прошлое которой определяет ее будущее. „Сущность истории, как науки,—говорит Белинский,—состоит в том, чтобы возвысить понятие о человечестве до идеальной личности; чтобы во внешней судьбе этой „идеальной личности“ показать борьбу необходимого, разумного и вечного со случайным, произвольным и преходящим, а в движении вперед этой „идеальной личности“ показать победу необходимого, разумного и вечного над случайным, произвольным и преходящим. Да, задача истории—представить человечество как индивидуум, как личность и быть биографией этой идеальной личности. Человечество есть именно

„идеальная личность“: личность—потому что у него есть свое я, есть свое сознание, хотя и выговариваемое не одним, а многими лицами; есть свои возрасты, как и у человека, есть развитие, движение вперед; идеальная—потому что нельзя эмпирически доказать ее существования, указав неверующему пальцем и сказав: вот человечество—смотри!...”

Так подходит Белинский к понятию человечества, которое станет основной его мировоззрения эпохи 1842—1846 г.г. Несколько последующих страниц этой статьи он посвящает доказательствам того положения, что „человечество“ действительно можно считать „идеальной личностью“,—мысль, которую—замечает Белинский—„многие весьма умные от природы люди не признают с каким-то упорством и ожесточением“. Это происходит оттого, что „не всякий способен сам собою от людей и народов сделать отвлечение и назвать его человечеством; но еще менее найдется способных одушевить это отвлечение мыслию, дать ему индивидуальность и личность“... И Белинский начинает применять к „человечеству“ те построения, которые раньше, в 1834—1840 г.г., он применял к понятию „народа“, доказывая (от „Литературных Мечтаний“ до „Очерков бородинского сражения“), что народы суть личности человечества. Теперь это шеллингианское положение он заменяет обобщенным: само человечество есть развивающаяся личность. Не всем доступна эта истина. „Сколько этих неверующих,—восклицает Белинский,—которые никогда не признают существования того, на что нельзя указать, чего нельзя увидеть глазами, обонять носом, отвесть языком, услышать ухом, осязать рукою!.. Таково свойство всякой живой истины: сколько громко говорит она живой душе, столько нема для мертвой! Никто не усомнится в существовании человечества, как числительного собрания двуногих тварей, населяющих собою земной шар; но многие ли в состоянии понять, что человечество есть не только собирательное, но еще и личное имя,—название одного лица, которое, прожив несколько тысячелетий, подобно каждому человеку, отдельно взятому, не помнит своего рождения и первых лет своего бессознательного существования; которое, подобно каждому человеку, отдельно взятому, было младенцем, отроком, юношей и теперь стремится к своей полной возмужалости; которое, подобно каждому, отдельно взятому человеку, всегда стремилось к положительному убеждению и знанию и всегда отрицало свое убеждение и знание, чтобы на его развалинах основать более близкое к истине; которое, подобно человеку, заблуждалось и восставало, страдало и блаженствовало, и которого жизнь вечно будет состоять в том, чтобы заблуждаться и восставать, страдать и блаженствовать“...

Но, несмотря на это вечное разрушение и вечное созидание, или, вернее, именно благодаря вечному разрушению и созиданию, человечество идет вперед, движется по пути прогресса. Движение это,—тут Белинский повторяет свою постоянную, излюбленную мысль,—идет „не прямою линиею и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им (человечеством) истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины“... Так идет вперед всемирная история: поколения сменяются поколениями и играют роль плодородной почвы, на которую „семена бросаются гениями, этими избранниками и помазанниками свыше“ (—опять постоянная и излюбленная мысль Белинского о роли гения в историческом процессе). Но гении редки; всякий вообще человек, превышающий окружающую его толпу, „есть движитель в сфере своей деятельности“—так составляется „общее движение масс“. Великую роль в этом движении играет „мрачный дух сомнения и отрицания,...—отрывая отдельные лица и целые массы от непосредственных, и привычных положений и стремя их к новым и сознательным убеждениям“... Этот скрытый намек на эпохи революций не мог быть выражен яснее под бдительным оком цензуры того времени; не мог также цензор прочесть в душе Белинского, что для него „новые и сознательные убеждения“ значило в последнем счете—с о ц и а л и з м.

А между тем это несомненно было так, что особенно ясно из последних, заключительных слов Белинского в этой части статьи. Снова возвращаясь к мысли об историческом созерцании, как основе всякого знания и всякой истины, Белинский повторяет опять-таки постоянное свое положение, усвоенное им от шеллингианства и гегелианства—

об „единой лестнице природы“. „Естествоведение есть история творящей природы, повествование о восходящей лестнице ее явлений, картина развития в немой природе того же духа вечной жизни, который развивается в истории,—что Шеллинг выразил двумя многозначительными словами: Deus fit... Без исторического созерцания, без понятия о прогрессе человечества, без веры в разумный промысел, вечно торжествующий над произволом и случайностью—нет истинного и живого знания в наше время“... И после небольшого полемического выпада (явно направленного против Сенковского) Белинский заключает всю свою аргументацию резюмирующим выводом,—горячей тирадой на ту тему, что „современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу, и будет новая земля и новое небо“... Яснее этого нельзя было высказать свою социалистическую веру,—и Белинский высказал ее теми же самыми словами, которые мы встречаем и в его письмах той же эпохи к Боткину.

Не будем следить за дальнейшим содержанием статьи Белинского, хотя и там мы нашли бы не мало интересных и характерных для Белинского мыслей; но и приведенного выше достаточно, чтобы судить, какой значительный интерес представляет эта доселе неизвестная статья Белинского. Она так характерна для него, что ее необходимо было бы приписать Белинскому даже и в том случае, если бы мы не имели никаких других данных, кроме самого содержания статьи; но, по счастью, мы имеем еще и непосредственное указание в приведенных выше отрывках из писем Белинского к Боткину. О значении этой статьи для истории развития Белинского я уже сказал в очерке жизни и творчества Белинского; здесь достаточно будет еще раз подчеркнуть, что главное значение этой статьи Белинского—в первом печатном выражении идеи социализма, в общем взгляде Белинского эпохи начала социализма на человечество, на степень и причины его прогресса, на светлое будущее его.

Невысоко ценил Белинский эту свою статью („довольно гнусная статья“,—говорил, как мы видели, он); он не придавал ей значения, как бледному выражению в печати тех идей, которые с такой страстностью проповедывались им и устно, в беседах с друзьями, и письменно, в письмах к ним. Но теперь статья эта для нас тем интереснее,—особенно в виду того, что в ней есть развитие положений, только слегка намеченных в других статьях Белинского. В собрании сочинений Белинского эта небольшая статья о книге Лоренца займет одно не из последних мест.

### 34. „Речь о критике“.

Широко задуманная статья об этой брошюре Никитенко представляет значительный интерес в различных отношениях. Во-первых, вторая часть настоящей статьи является непосредственным вступлением в ряд „пушкинских статей“, которые начнут появляться в „Отечественных Записках“ со следующего 1843 года. Во-вторых, мы находим в этой статье ряд ярко выраженных мнений Белинского о критике, о литературе, об искусстве, обозначающих собою новую эпоху его мировоззрения. В-третьих, мы имеем в этой статье первое печатное провозглашение Белинским своей эволюции и перемены своих убеждений со времени 1839—1841 гг.

До сих пор во всех статьях Белинского 1841—1842 гг. пробивались новые мотивы, новые воззрения, но без перестройки фундамента, без прямого отказа от прежних теорий. И только в настоящей статье Белинский резко и определенно заявляет, что основные его воззрения во многом изменились, что он „двинулся вперед“ в своем понимании жизни и искусства, но что это изменение былых мнений не есть измена убеждениям. „Подвинуться вперед в сознании, от низшей его ступени перейти к высшей, не значит изменять своим убеждениям,—говорит Белинский:—убеждение должно

быть дорого потому только, что оно истинно, а совсем не потому, что оно наше. Как скоро убеждение человека перестало быть в его разумении истинным, он уже не должен называть его своим: иначе он принесет истину в жертву пустому, ничтожному самоблюбию, и будет называть „своим“ ложь“... Окончательно изменив свои взгляды, Белинский здесь объявляет об этом впервые во всеуслышание; он скрыл от читателей тот мучительный процесс переработки своих воззрений, который так ярко вырисовывается в его письмах 1840—1842 гг., и сказал только о конечном результате своих исканий. Прежде он верил в „разумную действительность“, в объективный смысл мира и жизни—и горячо исповедывал и проповедывал это; потом настал период мучительных сомнений, отчаяния, потери веры в жизнь,—но и тут, с отчаянием в душе, Белинский восхвалял в своих статьях „единую, вечную истину“, считая это долгом писателя, оставляя про себя свои мучения и поиски и не желая, чтобы, по слову Лермонтова, „тайный яд страницы знойной... сердце слабое увлек в свой необузданный поток“. Наконец настало время новой веры Белинского—веры в „социальность“, веры в прогресс, веры в земное устройство человечества; начиная с 1842 года Белинский все громче и увереннее начинает проповедывать эту новую веру. В настоящей статье он впервые признает печатно факт изменения своих убеждений, но не измены былой вере в истину; прежде он верил в „разумную действительность“ всего мира; теперь он верит в действительность будущего разумного устройства человечества. „Действительность“ попрежнему осталась его девизом, но теперь уже в смысле реализма, в смысле противопоставления всему „романтическому“, „идеальному“—о чем у нас была уже речь в предыдущих заметках. „Действительность—вот лозунг и последнее слово современного мира!—воскликает Белинский в настоящей статье:—действительность в фактах, в знании, в убеждениях чувства, в заключениях ума—во всем и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века“... И во имя этой действительности Белинский восстал против былой „разумной действительности“, против всякой абстракции, оторванной от живой почвы. „Действительность возникает на почве, а почва всякой действительности—общество“,—писал Белинский Боткину 8 сентября 1841 года.

И прежде всего Белинский отказывается от своих былых взглядов на искусство: искусство должно быть тесно связано с „почвой всякой действительности“, с обществом. „Что такое само искусство нашего времени?—спрашивает Белинский, и отвечает:—суждение, анализ общества... Для нашего времени мертво художественное произведение, если оно изображает жизнь только для того, чтобы изображать жизнь, без всякого могучего субъективного побуждения“... Все это Белинский высказывал еще в статьях о Лермонтове, повторил в статьях о Гоголе; здесь он только ставит точки над *i*. Но в той же статье о Лермонтове Белинский в последний раз восклицал, что поэзия, искусство „не имеет никакой цели вне себя“, что „красота есть сама себе цель“ (статья № 21); теперь он резко отказывается от этого своего постоянного убеждения 1834—1841 годов. „Мы сами были некогда—говорит теперь Белинский—жаркими последователями идеи красоты, как не только единого и самостоятельного элемента, но и единой цели искусства. С этого всегда начинается процесс постижения искусства, и красота для красоты, самоцельность искусства бывает всегда первым моментом этого процесса. Миновать этот момент—значит никогда не понять искусства. Остаться при этом моменте—значит односторонне понять искусство“. Теперь Белинский хочет видеть в искусстве еще „нечто“, не отказываясь от красоты; он согласен, что „красота есть необходимое условие искусства“, что „без красоты нет и не может быть искусства“, что это—аксиома; но тут же он напоминает, что красоте, как самоцели, нанесло удар христианство со своей идеей „красоты нравственного мира“, что еще в греческой трагедии „красота“ соединялась с постановкой „нравственного вопроса, эстетически решаемого“, что по глубокому греческому мифу Афродита есть дочь Зевса, т.-е. красота—дочь разума. Итак, вот это „нечто“, необходимое в искусстве рядом с красотой: „разум“, мысль, идея, содержание, неизбежно вырастающее на общественной почве. „Искусство подчинено, как и все живое и абсолютное, процессу истори-

ческого развития,—говорит Белинский:—...искусство нашего времени есть выражение, осуществление в изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия“... А потому только „записные любители художественности“ могут удовлетворяться искусством, не выражающим собою современного сознания; „наш век особенно враждебен такому направлению искусства. Он решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты“.

Таковы новые взгляды Белинского по отношению к искусству; стоит сравнить все это со статьей о „Менцеле“ и даже со статьей о стихотворениях Лермонтова, чтобы увидеть и понять происшедший с Белинским перелом. Мы увидим еще, к чему пришел дальше на этом пути Белинский; теперь достаточно указать, что в настоящее время, в 1842 году, Белинский еще далек от стеснения свободы художественного творчества, от проповеди „тенденциозного“ искусства. Он требует только, чтобы художник был человеком, чтобы он, подобно эхо, откликался на все звуки жизни; в обосновании этой теории он видит задачу критики: „теперь критике предстоит новая задача,—пишет он:—примирить свободу творчества с служением историческому духу времени, с служением истине“. Это примирение, думает Белинский, осуществимо: достаточно художнику быть „сыном своего общества“, и тогда для него „свобода творчества легко согласуется с служением современности“. Все это относится к искусству, но все это справедливо и для критики: критика тоже должна не быть узко эстетической, ибо она тоже дочь своего общества. И критика и искусство—„равно сознание эпохи: но критика есть сознание философское, а искусство—сознание непосредственное“... Идеалом Белинского в это время была именно философская, а не узко-общественная критика, какой она стала в скором времени в русской литературе.

Мы уже знакомы с рассуждениями Белинского о критике в его статье 1838 г. (№ 10); ко многим из них Белинский возвращается в настоящей статье. „Разум разрушает явление для того, чтобы оживить его для себя в новой красоте и новой жизни, если он найдет себя в нем“: эта мысль тождественна с былым пониманием аналитического и синтетического процесса критики и с сравнением убийства Загрея титанами и воскрешения его Зевсом. Таким же возвращением является в сущности принятие исторической точки зрения в критике—к чему Белинский был так близок в статье о критике (№ 10) и от чего он так удалился два года спустя в обзоре литературы за 1840 год (№ 22). Теперь он снова и навсегда приходит к убеждению, что „каждое произведение искусства непременно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности“; теперь он уже признает, что даже поэтические произведения столь ненавистного ему раньше Сумарокова „должны остаться навсегда фактом истории русской литературы“, и дает в настоящей статье интереснейший очерк критических взглядов Сумарокова. Годом позднее в ненапечатанной тогда статье „Общее значение слова литература“ (см. выше № 25) Белинский снова повторил и обосновал эту свою точку зрения; но это не мешало ему отстаивать в настоящей статье прежнюю свою мысль, что „русская поэзия началась собственно с Пушкина“, и даже более того—утверждать, что „первое дело критики“ есть все-таки определение не общественной, а эстетической значимости произведения. Так думает Белинский теперь, но скоро общественный критерий станет для него главным, если не исключительным. Мне не для чего подробно останавливаться на том, что согласен я не с этим критерием крайней „общественности“, а с мнением Белинского настоящей статьи: если произведение искусства „не ознаменовано печатью творчества и свободного вдохновения“, то, каково бы ни было его „животрепещущее историческое содержание“, произведение это—„ни в каком отношении не может иметь никакой ценности“ для искусства.

Возвратясь к историко-критической точке зрения, Белинский вплотную подошел к темам историко-литературным. Начиная с „Литературных Мечтаний“, Белинский постоянно разрабатывал эти темы и недавно еще подробно остановился на них в обзоре литературы 1841 года (выше, статья № 28; кстати заметить, из этой статьи Белинского перенесены в настоящую слегка варьированные на нескольких страницах характе-

ристики Батюшкова, Жуковского, Пушкина); но только в настоящей статье он обратился к детальной разработке богатых историко-литературных материалов русской литературы XVIII века. Он начал с Сумарокова и собирался дать подробную „историю русской критики“, параллельно с историей русской поэзии и литературы; план этой работы набросан Белинским в начале третьей части настоящей статьи. Несомненно, что все это, вместе с настоящей статьей, должно было войти в задуманный Белинским. „Теоретический и критический курс русской литературы“; но книга эта так и осталась неоконченной.

И однако намеченные выше статьи Белинского были им написаны, план его был осуществлен. Настоящую статью Белинский скомкал (третью часть) и обещал читателям развить указанный выше план в особой статье 1843 года. „Тут будет целая история русской литературы, обозренная с новой ее стороны, на которую еще никто не обращал внимания—со стороны развития литературных, нравственных и общественных начал. Статья эта будет помещена в одной из первых книжек „Отечественных Записок“ за 1843 год. Мы не будем в ней повторять уже сказанного в статьях о „Критике“ и начнем прямо с того, что непосредственно должно следовать за Сумароковым, взглядом на которого мы кончили нашу вторую статью о критике“. Что же должно следовать за Сумароковым?—это Белинский наметил уже в начале третьей части настоящей статьи: Фонвизин, „Словарь“ Новикова, Карамзин, война карамзинистов с шишковистами, Жуковский, борьба классицизма и романтизма. Но ведь почти все это мы и найдем в знаменитых „пушкинских статьях“ Белинского, начавшихся печататься в „Отечественных Записках“ 1843 года; таким образом намеченный план был осуществлен Белинским и именно в течение 1843 года. Настоящая статья (вместе со статьей о Державине, как увидим ниже—см. № 37) является прямым введением в ряд „пушкинских статей“, в которых сам Белинский видел „критическую историю“ русской литературы, а не только одну историю поэзии (см. № 45). Оттого-то скомкал и бросил Белинский третью часть настоящей статьи: заготовленные для нее материалы он перенес в три первые „пушкинские статьи“, к писанию которых и приступил после этой своей статьи о речи Никитенко и статьи о поэзии Державина.

### 35. „Стихотворения Евгения Баратынского“.

В предыдущей статье о брошюре Никитенко Белинский открыто провозгласил свое „право на эволюцию“ и наметил некоторые вехи своего нового пути; в статье о Баратынском он продолжает сводить свои счеты со своими же былыми и столь недавними взглядами. Так, например, бросается в глаза окончательная перемена отношения к Гёте—по сравнению с восторженной статьей 1840 года (№ 14); и в предыдущих статьях мы встречали замечания, что Гёте часто изменяла сила непосредственного творчества „вследствие аскетического и анти-общественного духа этого поэта“ и т. п. (в статье № 32, написанной только месяцем раньше настоящей статьи), а теперь Белинский уже категорически провозглашает, что „Гёте, поэт прошедшего, в настоящем умер развенчанным царем“... Теперь Белинский, вспоминая свою былую ненависть к Шиллеру, восклицает: „обидно видеть, как люди, не понимая дела, все отдают Гёте, все отнимая у Шиллера“... Отказавшись в предыдущей статье от теории чистого искусства, Белинский теперь последовательно применяет свой новый общественный критерий, принимает Шиллера, отвергает Гёте. Вообще надо заметить, что настоящая статья тесно связана с предыдущей даже по построению: и в первых страницах настоящей статьи и в начале второй части статьи о „Речи“ Никитенко мы имеем одинаковое изложение главных мыслей статьи № 28; и тут и там мы имеем также совершенно одинаковую характеристику реформы Петра—о чем у нас еще будет речь в одной из следующих заметок. И эта взаимная связь ближайших статей тем резче оттеняет различие



их от статей 1839—1840 и даже 1841-го года. Так, например, крайне интересно следить с первых же строк настоящей статьи, как гегелианство понимается Белинским все реалистичнее и реалистичнее; в этом отношении любопытно сравнить вступительные страницы настоящей статьи со страницами, написанными на ту же тему годом ранее (в статьях №№ 24 и 26): всегдашнее реалистическое понимание гегелианства Белинским стало теперь совершенно неприкрытым даже со стороны терминологической. Настолько же категорическим является и вновь подтверждаемый отказ Белинского от разумной действительности: „надо уметь отличать—говорит он теперь—разумную действительность, которая одна действительна, от неразумной действительности, которая прозрачна и преходяща“. Разойдясь с Гегелем, Белинский пришел, как видим, к более верному пониманию гегелианской „действительности“.

Но все это представляет только побочный интерес; главным и для Белинского и для нас является его общее отношение к миру, к жизни, его мировоззрение, его философия; и именно это с особенной яркостью сказалось в отношении „неистового Виссариона“ к Баратынскому. Этот глубокий поэт горькой тоски и непримиренного отчаяния мог быть близок Белинскому в период его духовного разлада 1840—1841 г., в период его отчаяния и тоски; но в этот период Белинский весь ушел в Лермонтова и вспоминал о Баратынском только мимоходом. В тридцатых же годах, а также и во второй половине сороковых, сущность поэзии Баратынского не могла быть принята Белинским,—сначала потому, что он страстно верил в разумную объективную целесообразность мира, а впоследствии потому, что он страстно уверовал в исторический прогресс человечества: тоска и неверие в жизнь в поэзии Баратынского ни в одном из этих случаев не могли созвучно резонировать в душе Белинского.

В „Литературных Мечтаниях“ Белинский еще не касался сущности творчества Баратынского, но довольно холодно отозвался об этом поэте, указав, что его поэтическое дарование „не подвержено ни малейшему сомнению“ и что его „теперь, кажется, унижают неосновательно“; однако через год сам Белинский неосновательно унизил Баратынского в особой статье, посвященной разбору только-что вышедшего двухтомного сборника его стихотворений („Телескоп“ 1835 г., № 9): он поставил в ней Баратынского ниже Козлова; заявив, что Козлов—„истинный поэт“ и что „поэзия только изредка и слабыми искорками блестит“ в стихотворениях Баратынского. Это крайне несправедливая и ошибочная оценка психологически вполне понятна: на слишком разных языках говорили тогда поэт и критик, слишком по разному они чувствовали и смотрели на мир. А когда пришло тяжелое для Белинского время 1840—1841 г., когда он мог бы понять и почувствовать Баратынского—этот поэт почти совершенно умолк; когда же, наконец, в исходе 1842-го года появились его тоскливые и безнадежные „Сумерки“—Белинский уже справился, худо ли, хорошо ли, со своим тяжелым неверием в жизнь, так что хватающая за душу похоронная песня Баратынского снова не могла найти отклика в его душе. Как-раз в то время, когда печаталась настоящая статья (в декабре 1842 года), Белинский нашел уже новую веру, новое откровение в идее человеческого прогресса, счастья, в идее „социальности“, равенства, справедливости; прочтя жорж-зандовского „Мельхиора“, он „в экстазе, в сумасшествии“ пишет Панаеву (5 дек. 1842 г.): „мы—счастливы: очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою,—мы дождались знамений, и поняли, и уразумели их“... При таком настроении духа мрачные, полные неверия в жизнь „Сумерки“ Баратынского не могли не вызвать горячего отпора Белинского.

Но этого мало: настоящая причина враждебного отношения к Баратынскому лежит глубже—она лежит в неприязни Белинского к самому себе, к своим же аналогическим переживаниям 1840—1842 годов. Белинскому казалось, что он выздоравливает от той болезни „рефлексии“, о которой он писал еще в своих статьях о Лермонтове (№№ 20, 21); ему казалось, что он снова выходит на твердую почву—почву „социальности“—после смертельной опасности духа в безднах отчаяния и неверия в жизнь; ему казалось, что из мрака тоскливых сомнений он снова выходит к яркому

свету уверенности, к солнцу новой веры, нового откровения... И вдруг—„Сумерки“ Баратынского, книга великого сомнения, книга великого неверия; в ней Белинский услышал самого себя—и с тем большей непримиримостью отнесся к ней, а также и к родственным ей по тону более ранним книгам Баратынского. Это „автокритическое“ значение настоящей статьи делает ее крайне ценной для характеристики не поэзии Баратынского, а воззрений самого Белинского этого времени; недаром Белинский так ценил эту статью, считая ее „чуть ли не из лучших своих дараний“ (письмо к Боткину от 9 декабря 1842 г.).

Итак, Белинский выступил непримиримым врагом мировоззрения Баратынского. Тем сильнее надо оттенить перемену взгляда Белинского на степень поэтического дарования этого поэта. Белинский, некогда принижавший Баратынского до Козлова и ниже, находивший в его творчестве только „слабые искорки поэзии“, теперь ставит Баратынского, как поэта, очень высоко—непосредственно вслед за Пушкиным из всех поэтов пушкинской плеяды; он находит в нем „яркий, замечательный талант“, сплошь и рядом восхищается его „чудными, гармоническими стихами“, „удивительными стихотворениями“. Но тем непримиримее и резче относится он не к форме стихотворений, а к содержанию воззрений Баратынского—по намеченным выше причинам. Приводя заключительные строки из великолепного стихотворения Баратынского „Последний поэт“, Белинский по неволе восхищается, но тут же и негодует: „великолепная фантазия, но не более, как фантазия! И главный ее недостаток заключается в том, что она везде является черным демоном поэта. Жизнь, как добыча смерти, разум, как враг чувства, истина, как губитель счастья—вот откуда проистекает элегический тон поэзии г. Баратынского и вот в чем ее величайший недостаток“... В очерке жизни и творчества Белинского приведен выше ряд отрывков из писем Белинского 1840—1842 годов; в них как-раз мы встречаем горестное признание, что жизнь есть добыча смерти, разум—враг чувства и истина—губитель счастья... „Горе! Горе! жизнь разоблачена!“—с отчаянием восклицал Белинский только за полгода до настоящей статьи (письмо к Боткину от 20 апр. 1842 г.), но тут же возобновлял борьбу с самим собою; от демона сомнения и неверия в жизнь „может спасти человека только глубокая и сильная, живая вера“,—говорит Белинский в настоящей статье; эта страница о борьбе с „демоном“ носит, несомненно, автобиографический характер. В чем спасение? „Вера в идею спасает, вера в факты губит“,—говорит тут же Белинский: вот путь его спасения. Этой веры в идею никогда не было у Баратынского—вот путь его расхождения с Белинским.

Баратынский поверил в факт бесцельности, бессмысленности мира и бытия—для него это стало истиной. Эту истину можно принять, ею переболеть, но ее же и преодолеть—так было с Гёте, так было с Пушкиным; против этой истины можно восстать, отвергнуть ее с негодованием—отсюда „с небом гордая вражда“ Байрона или Лермонтова; наконец, от этой истины спасает „вера в идею“—так бывает чаще всего, так было и с Белинским. Баратынский не пошел ни по одному из этих трех путей: он не обладал „верой в идею“: он не был способен восстать против этой ненавистной истины; он не был в силах принять и преодолеть ее. И он остался наедине с своей истиной, нося ее в себе и боясь ее: в этом—все содержание его поэзии, его „Сумерок“. Одно спасение смутно брезжило ему: возможность того, что на философском языке называется интуитивным познанием; только оно может разрешить неразрешимое, осветить новым, неведомым светом страшную истину. Отсюда страстная любовь Баратынского к поэзии, в которой он видел „полное ощущение известной минуты“, своего рода „гениальную интуицию“, по выражению Шеллинга и романтиков. Но, жадно стремясь к полному ощущению минуты, к интуитивному познанию, Баратынский был в то же время под властью „обливающего холодом рассудка“ (по его же собственному признанию и по выражению Белинского),—и в этом была его трагедия; Белинский недаром упорно называл его и в настоящей статье и в предыдущих „поэтом мысли“. „Перед тобой, как пред нами мечом, мысль, острый луч!—бледнеет жизнь земная!“—с тоскою восклицал сам Баратынский, недоуменно вопрошая: „зачем не предадимся снам улыбочивым своим? Жарким сердцем покоримся думам хладным, а не им?“

Вот причина враждебного отношения Баратынского к „науке“, к „познанию“, к „уму“: в этой области рационального перед поэтом стояла несокрушимая истина бессмысленности бытия, которая так томила его; возможное спасение чуть брезжило ему в области иррациональных переживаний. Возмутившее Белинского восхваление „незнанья“ перед „наукой“ имело у Баратынского исключительно смысл противопоставления иррационального рациональному, мистического позитивному—на это не обратил внимания Белинский. Он вступился за „науку“ против „невежества“, не замечая, что борется с воображаемым врагом, что он неверно понял поэта, что мысль последнего гораздо глубже и значительнее. Баратынский жаждет интуитивного познания, а Белинский предлагает ему верить в философию и историю, в науку „развития в мышлении довременных и бесплотных идей“ и в науку „осуществления в фактах, в действительности развития этих довременных идей“... Но именно эти науки поставили перед Баратынским ту страшную „Истину“ беспечности бытия, от которой он искал спасения! И еще в юношеском своем стихотворении под таким заглавием („Истина“, 1824 г.) поэт с достаточной ясностью выразил свою мысль.

Белинский не оценил Баратынского—странно было бы стремиться это заглушить; впервые это было указано С. Андреевским в статье о Баратынском („Литературные Чтения“, Спб. 1891; из других статей о Баратынском укажу на статью Н. Котляревского в книге „Старинные портреты“ и на статьи С. Венгерова: в „Критико-биограф. словаре писат. и ученых“, т. II, стр. 126—144,—там же и библиография,—и в VII томе его „Полн. собр. соч. Белинского“ стр. 626—637). Хотя в настоящей статье Белинский и воздал должное Баратынскому по крайней мере со стороны формы его поэзии, хотя он тонко отметил некоторые главные черты творчества этого поэта и впоследствии сжато повторил свою мысль в обзоре литературы за 1844 год, однако главное в Баратынском все же не было выявлено в критике Белинского. Это—один из тех крайне редких случаев, когда позднейшая оценка значительно не совпала с мнением великого критика. В заключительных строках настоящей статьи Белинский вполне прозрачно называет талант Баратынского „обыкновенным и бедным“ по содержанию; он отводит ему первое место в пушкинской плеяде—т.-е. в ряду второстепенных талантов вроде Языкова, Козлова, Полежаева, Дельвига, Туманского „e tutti quanti“. Это несправедливо: Баратынский, несомненно, один из самых крупных русских поэтов всего XIX века, и если исключить Пушкина и Лермонтова, то Баратынский по праву займет после них первое место не в бледной „пушкинской плеяде“, а во всей русской после-пушкинской поэзии. Его справедливо называют поэтом „для немногих“; это не похвала и не осуждение, а просто факт, с которым надо считаться: немногие сочувственно резонируют и отзываются душой на звуки вопрошающей поэзии Баратынского. В ней все вопрос и нет ответа—и это не под силу большинству. Гораздо легче идти за пушкинским „приятием мира“, за лермонтовским проклятием небу, за „верой в идею“ Белинского, чем оставаться лицом к лицу с „истиной“ Баратынского. В области теоретической мысли впервые осмелился на это Герцен; Белинскому же, как ни бесконечно выше „большинства“ стоял он, нужен был твердый ответ на последние вопросы. Он нашел этот ответ для себя как-раз в то время, когда Баратынский выступил со своей лебединой песнью, со своими „Сумерками“; в этих „Сумерках“ Белинский увидел самого себя последних двух лет, увидел вопросы без ответа, увидел победу смерти над жизнью, увидел неверие в жизнь—и напал на все это во имя новой веры в человечество и прогресс, во имя „науки“, во имя „разума“. Подойти ближе к поэту, понять его до последней глубины Белинский не сумел или не захотел: он искал теперь ответа и спасения в новой позитивной вере, в новом откровении, в рациональном устройении человечества. Вот почему он отождествил иррационализм Баратынского с невежеством и указал на спасение от мучительных вопросов в „вере в идею“; вот почему, наконец, настоящая статья так важна для характеристики настроений Белинского, но не для понимания поэзии Баратынского.

### 36. „Русская литература в 1842 году“.

Небольшой обзор литературы в 1842 г. интересен своим историко-литературным вступлением: в нем Белинский дает краткий очерк истории „литературных обозрений“, начиная с Марлинского, и характеристику той эпохи, когда у нас впервые возникли эти обозрения—эпохи „романтизма“ двадцатых годов. Кое-что в этой характеристике является повторением аналогичных мыслей из статьи о „Горе от ума“.

Из литературных событий 1842 года Белинский подробнее всего останавливается, разумеется, на „Мертвых Душах“, из-за которых ему уже столько пришлось ломать копий в этом 1842 году. И в настоящей статье он не обинуясь называет поэму Гоголя „одним из тех капитальных произведений, которые составляют эпохи в литературах“. Надо ознакомиться с тоном всех—даже наиболее благожелательных—критик 1842 г., чтобы увидеть и оценить степень критической прозорливости Белинского: за исключением К. Аксакова, брошюрка которого была своего рода литературным курьезом, все остальные сочувствующие критики—Плетнев, Шевырев—находили произведение Гоголя талантливым, замечательным, но далеко не понимали его истинного значения, не понимали, что это произведение „составляет эпоху“ в русской литературе. Мало того: восторгавшийся поэмой Плетнев—статью которого Белинский назвал „умной и дельной“—находил все-таки „важный недостаток“ в поэме Гоголя, а именно—отсутствие „серьезного общественного интереса“, „мелочность и ограниченность“... Один Белинский понял и оценил все громадное значение этого произведения, которое действительно составило эпоху во многих и многих отношениях. Великий критик понял великого художника.

Глубоко-верным мнением о Майкове, суровым суждением о Баратынском, беспристрастным отзывом о Кукольник и общим взглядом на сборники и журналы заканчивается настоящая статья. В ней Белинский является почти исключительно критиком и историком литературы, хотя из-под критики чужих произведений и здесь всюду проглядывает проповедник своих убеждений, своей новой веры. В Шиллере Белинский видит теперь „провозвестника двух великих слов великого будущего—разума и человечества“; в Байроне он видит могучего гения, который „на свое горе заглянул вперед; не рассмотрев за мерцающею далью обетованной земли будущего, он проклял настоящее и объявил ему вражду непримиримую и вечную“... Белинский теперь уже верил в обетованную землю: „очи наши узрели спасение наше!“—восклидал он „в экстазе и сумасшествии“ (подробное см. об этом в статье о Баратынском, № 35). И чем дальше, тем больше проникался он этой верой в два великих слова великого будущего—в разум и человечество; вместе с этим он понемногу переходил от неопределенной „социальности“ к начальным формам „социализма“. Интересно следить, как в статьях 1842—1845 годов все определеннее и определеннее звучат эти ноты светлой веры в социальное устройство человечества на началах разума; этой верой Белинский хотел заменить свою былую веру в предвечное разумное устройство всего мира. В настоящей статье рассеяно не мало таких черточек; две из них приведены выше.

В начале этой заметки я назвал настоящую статью Белинского „небольшой“; необходимо прибавить к этому, что статья эта была ровно на целую треть уменьшена цензурою, о чем Белинский упоминает в своих письмах. „Писать ничего и ни о чем со дня на день становится невозможнее и невозможнее,—писал Белинский Боткину 6 февр. 1843 г.:—об искусстве ври что хочешь, а о деле, т.-е. о нравах и нравственности—хоть и не трать труда и времени. Из статьи моей в 1 № „Отеч. Записок“ вырезан целый лист печатный—все лучшее, а я эту статью очень дорожил, ибо она проста и по идее, и по изложению“...

### 37. „Сочинения Державина“.

В начале 1843 года Белинский все ближе и ближе подходил к давно задуманным им статьям о Пушкине: вступительным этюдом к этим статьям была, как я это отметил, вторая часть статьи о „Речи о критике“ Никитенко (№ 34); теперь Белинский делает последний шаг—подробно характеризует поэзию Державина, как непосредственного предшественника Жуковского и Батюшкова, от которых неизбежен переход к Пушкину. Уже несколько раз более или менее подробно останавливался Белинский на характеристике Державина, не считая панегирика Державину в „Литературных Мечтаниях“; укажу прежде всего на несколько страниц о Державине в статье Белинского об „Очерках“ Полевого (№ 16): эти страницы вошли в переработанном и расширенном виде в обзор литературы за 1841 год (№ 28). В этой последней статье содержится в общих чертах почти все то, что Белинский говорит о Державине в настоящей статье, в которую кроме того вошло несколько страниц об антологических стихотворениях Державина из статьи о „Римских элегиях“. Наконец, в статье о „Речи“ Никитенко (№ 34) Белинский мимоходом как бы резюмировал свои мнения о поэзии Державина, имея в виду развить и обосновать их подробно в особой статье. „Мы начали дело, мы должны и кончить его,—писал Белинский в коротенькой библиографической заметке в первом номере „Отечественных Записок“ за 1843 год:—в следующей книжке „Отечественных Записок“ постараемся изложить подробно наше мнение о поэтической деятельности Державина и ее историческом значении. За этою статьею последует ряд обещанных нами статей о Пушкине, Гоголе и Лермонтове<sup>1)</sup>. Статья о Пушкине начнется у нас обзором исторического движения русской поэзии в промежутке времени между Державиным и Пушкиным, и таким образом ряд этих статей, начиная со статьи о Державине, составит целый историко-эстетико-критический курс русской поэзии—разумеется, с нашей точки зрения“.

Итак, настоящая статья, вместе с „пушкинскими статьями“, должна была составить целый „курс русской поэзии“—и это намерение было выполнено Белинским. Несомненно, что Белинский имел в виду ввести этот „курс русской поэзии“, как часть, в задуманный им „курс русской литературы“; особенно ясно видно это из тесной связи настоящей статьи со статьями, предназначенными для этого обширного курса и не напечатанными при жизни Белинского (см. выше №№ 24—25). Основная мысль, основное определение статьи об „Идее искусства“,—„искусство есть мышление в образах“—подробно развивается на первых страницах настоящей статьи. Еще теснее связь настоящей статьи с ненапечатанной тогда статьей „Общее значение слова литература“, написанной, по моему мнению, позднее настоящей статьи о Державине; я уже указывал, что в эту оставшуюся в рукописи статью Белинский перенес из статьи о Державине большой отрывок, еще ранее встречавшийся в обзоре литературы за 1840 год (см. выше № 25). Кроме того, из настоящей статьи в статью „Общее значение слова литература“ перенесен в разработанном виде целый ряд характерных мыслей—о значении индусов, египтян, греков и римлян в философии истории, о таком же значении Испании и Италии эпохи Возрождения. Отсюда виден процесс переработки настоящей статьи при предполагавшемся включении ее в общий „курс русской литературы“; отсюда видно и то значение, которое Белинский справедливо придавал настоящей статье.

Это значение очень велико: Белинский исчерпал этой статьей почти все, что с тех пор было высказано о Державине; фактические поправки к некоторым положениям настоящей статьи были сделаны впоследствии, но сущность взгляда Белинского на по-

<sup>1)</sup> Обещание это было дано Белинским в статье об „Очерках“ Полевого, во второй статье о брошюре К. Аксакова про Гоголя и в ряде других статей; ср. выше № 31.

эзию Державина осталась почти неприкосновенной. В VIII и IX тт. академического собрания сочинений Державина (в девяти томах, изд. 1865—1883 гг.) мы имеем подробную биографию его, написанную Я. Гротом; из нее достаточно ясно вырисовывается нравственный облик Державина, несколько идеализированный Белинским; но, повторяю, критическая оценка поэзии Державина сделана Белинским исчерпывающая. Державин, как поэт русского вельможества екатерининской эпохи, и Державин, как поэт наивного эпикуреизма и страха смерти—вот историко-социологическая и эстетико-философская оценка, проведенная в настоящей статье в двух ее частях.

„Художественная критика“ и „историческая критика“—так сам Белинский разграничил указанные выше точки зрения. Мы знаем из статьи о „Речи“ Никитенко, что Белинский давно уже разорвал с чистой „художественной точкой зрения“, с „умозрительной эстетикой“; теперь, в самом начале настоящей статьи, он еще определеннее оттеняет, что эстетика должна покоиться на эмпирическом основании: „эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории; нет, она должна рассматривать искусство, как предмет, который существовал давно прежде нее и существованию которого она сама обязана своим существованием“... А отсюда неизбежен переход к изучению „исторических и временных влияний“ на искусство; подробному развитию этой идеи посвящены первые страницы второй части настоящей статьи. „Жестоко ошибаются те умозрительные судьи изящного,—говорит Белинский,—которые хотят видеть в искусстве совершенно отдельный мир, существующий независимо от других сфер сознания и от истории“; но не менее ошибаются и те, которые хотели бы ограничиться „историческим“ взглядом на искусство и отвергнуть художественный критерий: „отвлеченный идеализм“ первых настолько же чужд теперь Белинскому, насколько и „узкий эмпиризм“ вторых. Белинский требует синтеза; он думает найти истину в „единстве противоположностей“.

Историческая точка зрения неизбежна,—говорит Белинский,—но она теряет всякий смысл вне эстетической оценки; а потому „прежде, чем определить историческое значение поэта, должно определить его чисто художественное значение“... Эта самостоятельная эстетическая оценка основывается на одном только „философском начале искусства“, здесь она довлеет сама себе, „здесь получает свой великий смысл искусство как искусство, как такая сфера деятельности, которая сама себе цель и вне себя цели не имеет“... После такой эстетической оценки поэта надо обратиться к „исторической“ оценке его поэзии. Вот основные мысли Белинского, которые он повторяет теперь и которые он впервые подробно высказал еще в первой статье о „Речи“ Никитенко; перейдя на „социальную“ точку зрения, Белинский продолжает настойчиво подчеркивать, что „поэзия и красота—одно и то же“, что „поэзия действительно есть провозвестница великих истин, в историческом движении человечества развивающихся, но прежде всего (курс. мой) она—поэзия, свободное творчество, самостоятельная сфера сознания“... Поэтому и Державина Белинский рассматривает сперва с эстетической, а затем уже с исторической точки зрения.

Все эти взгляды Белинского должны быть признаны не только замечательными для своего времени, но даже вполне сохранившими свое значение и теперь, через три четверти века. Правда, теперь „историческая“, социальная характеристика поэта считается—для тех, кто не ограничивается ею—только введением в философскую и эстетическую оценку его поэзии, а не наоборот, как это сделал Белинский в настоящей статье (см. об этом статью № 21); но сущность взглядов Белинского осталась и до сих пор неопровержимой. Позднее Белинский сошел с этого пути на путь более одно-стороннего понимания искусства—мы это еще увидим и уже отметили это в статье о „Менцеле“ (см. № 14). Но и теперь необходимо отметить одну характернейшую черту, являющуюся показателем намечающегося направления Белинского: я говорю об отзывах самого Белинского в его письмах о своей статье про Державина. „Из статьи о Державине (№ 2 „Отечественных Записок“) не вычеркнуто ни одного слова, а я совсем не дорожил ею. Теперь я должен приниматься за вторую статью о Державине,

под влиянием вдохновительной и поощрительной мысли, что ее всю изрежут и исковеркают“, — писал Белинский Боткину 6 февраля 1843 года, а 31 марта сообщал об исполнении этого предсказания: „статья моя (вторая) о Державине страшно искажена, но об этом когда-нибудь после. Чорт возьми все наши статьи, да и всех нас с ними“... Итак, Белинский „не дорожил“ той частью статьи о Державине, где он рассматривал художественное значение этого поэта; наоборот, искажение второй части („исторической“) этой статьи страшно его огорчает, несмотря на то, что, по его же теперешнему критическому кодексу, эстетическая оценка занимает первое место в критике. Эта теория, как видно, начинала у Белинского уже расходиться с ее практическим применением.

Как и в предыдущих своих отзывах 1840—1842 гг. о Державине, так и в настоящей статье Белинский очень строго отнесся к чисто-художественному значению этого поэта: он признал его громадный талант, но доказывал, что „поэтом-художником“ Державин не был никогда. Литературные староверы вознегодовали, что Державин „тронут дерзкою рукой“, и Белинскому разными приемами пришлось защищаться против этих „демонстраций“. Настоящую статью, например, он кончает цитатой из неназванного автора, в которой высказывается тоже не безусловно восторженное мнение о Державине; вся ядовитость такого цитирования станет понятной, если раскрыть, что приведенные Белинским слова принадлежат Шевыреву, главному критику „Москвитянина“, — а ведь в этом журнале и помещались главным образом все негодующие „демонстрации“ на Белинского и в прозе, и в стихах... Месяцем раньше Белинский, приводя эти же слова Шевырева, назвал их умной и верной характеристикой поэзии Державина“. А „Москвитянин“ в это время перепечатывал из петербургского „Маяка“ басню „Крысы“, направленную против Белинского и главным образом против его „дерзкого“ отношения к Державину... В этой басне почти дословно пародировались слова Белинского, мимоходом сказанные им о Державине во второй из статей о „Речи“ Никитенко; Белинский говорил там, что „Державин—великий талант для всякого времени; но великий поэт он—только для своего времени, а для нашего—едва ли он какой-нибудь поэт, потому что для нас мертвы и идеальные мотивы, и самая форма его поэзии. Это уже не наша вина, да и не его, конечно. И мы не виним его, а только судим о нем; пусть же судят и о нас, а не делают без вины виноватыми“... В указанной выше басне речь идет о крысах, которые, заведясь в книгопродавческой кладовой, „поэзию зубами рвали... и на Державина напали“. Одна „бесхвостая“ крыса взобралась на полку и стала поучать:

„Державин был талант для всех времен великий!  
 Великий же поэт—лишь для своей поры,  
 А не для нашей он норы;  
 Для нас певец он полудикий!  
 Для нас—поэзии в нем нет;  
 Для нас едва ли он какой-нибудь поэт;  
 Для нас все мертво в нем, скажу чистосердечно.  
 Не наша то вина и не его, конечно;  
 Мы не виним его, а судим лишь о нем  
 Пусть судят же и нас путем!“  
 Такую крыса речь и долго-б продолжала,  
 Но груды книг, свалясь, бесхвостую прижала;  
 Она пищит, скребет... кот Васька близко был  
 И суд по форме совершил.

Литературных крыс я наглости дивился:  
 Знать, Васька-кот запропастился..

Как видим, эта басня была еще одной „демонстрацией“ в цензуру или повыше— в III отделение собственной его императорского величества канцелярии—с напоминанием о необходимости „совершить суд по форме“ над наглым критиком, который осмелился не безусловно восторгаться поэзией Державина... Эти злобные выходки не удивят

час, если мы вспомним, что даже Гоголь негодовал на Белинского за его „неуважение к Державину“ (о чем см. в статье № 31). И если за это даже к Гоголю Белинский отнесся с „болезненным отвращением“, то нечего и говорить, с каким полным презрением относился он к остальным многочисленным „защитникам“ Державина.

### 38. „Русская литература в 1843 году“.

В каждом годовом „литературном обозрении“ Белинского мы находим ряд интересных историко-литературных сведений с их критической оценкой; настоящий обзор русской литературы за 1843 год особенно богат в этом отношении. Начинается он с характеристики влияния „толстых журналов“ на русскую литературу и с повторения мыслей, высказанных Белинским на эту тему в предыдущем годовом обзоре. Разбирая причины „бедности“ русской литературы, Белинский видит их в исчерпывающем развитии всех родов и форм литературы; доказывая это, он дает превосходные критические очерки развития русской повести и романа—и возвращается этим к теме одной из первых своих статей „О русской повести и повестях г. Гоголя“. Далее он дает мимоходом такой же очерк развития поэзии после Пушкина; более подробно эта тема была разработана Белинским в следующем годовом обозрении литературы за 1844 год. Наконец, он набрасывает очерк истории русской драмы и комедии—и во всех этих областях видит исчерпанные темы, изжитые формы; для нового расцвета русской литературы нужны новые таланты,—говорит Белинский,—которые бы влили вечно-человеческое содержание в новые формы. „Настает время мысли“, „настает эпоха сознания“—повторяет Белинский свою постоянную мысль, провозглашенную им еще четырьмя годами ранее, в начале статьи 1840 года о сочинениях Марлинского; публика перестала детски восторгаться при мысли о том, что и у нас есть литература: теперь только глубокое содержание, соединенное с прекрасною формою, могут обратить внимание публики на писателя. Единственным таким великим писателем современности Белинский считает Гоголя; он довольно много говорит о нем по поводу выхода в свет в начале 1843 года четырехтомного собрания сочинений этого писателя.

Все это естественно снова приводит Белинского к вопросу о существовании русской литературы. Мы уже знаем из одновременной статьи № 25, которую хронологически следовало бы поместить рядом с настоящей статьей, как отвечал Белинский в 1843—1844 гг. на этот вопрос, поставленный им десятью годами ранее. Отрицая „мировое“ значение современной русской литературы, Белинский в то же время заявляет, что „никто не станет сомневаться в существовании русской литературы“, ибо не подлежит сомнению историческая преемственность в развитии этой литературы: „наша юная, возникающая литература имеет уже свою историю, ибо все ее явления тесно сопряжены с развитием общественного образования на Руси, и все находятся в более или менее живом, органически последовательном соотношении между собою“... Такова единственно возможная историческая точка зрения, к какой пришел теперь Белинский. Лучшим доказательством этого взгляда явились знаменитые „пушкинские статьи“ Белинского, четыре первые из которых появились уже в „Отечественных Записках“ этого 1843 года. В них был дан критико-исторический обзор развития русской поэзии от Державина до Пушкина; непосредственным дополнением к этому обзору являются критические очерки развития русской повести, романа, драмы, комедии и после-пушкинской поэзии, которые мы находим в настоящей статье.

### 39. „Сочинения князя В. Ф. Одоевского“.

В 1843-м и особенно в 1844-м году Белинский написал мало крупных критических статей: он с увлечением работал в эти годы над своими статьями о Пушкине и только изредка подробно останавливался на той или иной из вновь выходящих



книг. Самым крупным литературным фактом 1844 года было, несомненно, появление трехтомного собрания сочинений кн. В. Одоевского, и Белинский отметил этот факт критической статьей.

О произведениях Одоевского ему уже не раз приходилось говорить со своими читателями. Не буду останавливаться на восторженном отзыве в „Литературных Мечтаниях“; укажу только на несколько страниц в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“, на большую статью о „Детских сказках дедушки Ириней“ (см. № 18), на отдельные отзывы об Одоевском в различных годовых обзорах Белинского. Во всех этих отзывах Белинский подчеркивал одну черту творчества Одоевского, которая казалась критику наиболее характерной и которую можно определить как лирический дидактизм; страницы настоящей статьи, посвященные развитию этой мысли, являются в сущности только повторением того, что было сказано на эту тему Белинским еще в его статье 1841 года о разделении поэзии на роды и виды. Однако в самом отношении Белинского к „дидактизму“ в художественном творчестве—не могло не произойти в это время значительной перемены. Мы знаем, что в статье о „Речи“ Никитенко Белинский во всеуслышание провозгласил свой отказ от теории чистого искусства, некогда так рьяно им отстаиваемой; после этой статьи (1842 года) Белинский быстро дошел до противоположной крайности, до признания искусства рабом жизни (см. ниже статью № 41). Разумеется, что вместе с этим должно было в корне измениться отношение Белинского ко всяческому „дидактизму“, который ведь и является именно ошибочно понятым служением искусства жизни.

Прежде Белинский требовал присутствия „поэзии“ даже в „аллегории“—и, находя эту поэзию в аллегориях Одоевского, восхищался ими; теперь он, снова указывая, что „дидактизм“ должен быть исполнен пафоса, чтобы быть поэтическим, подчеркивает однако прежде всего общественную пользу дидактической поэзии. „Почему,—спрашивает Белинский,—почему же не быть поэтам, которые служили бы обществу, пробуждая и поддерживая в его членах стремление к сознанию, к жизни умом и сердцем, единой сообразной с человеческим достоинством жизни?“ И хотя тут же Белинский высказал мысль, что круг влияния „дидактического элемента“ поэзии ограничен возрастом читателей, что элемент лирического дидактизма может воздействовать преимущественно на юношество, однако уже и этим устанавливалось признание кн. В. Одоевского Белинским и вместе с тем определялось содержание настоящей статьи.

Но неужели кн. В. Одоевский—писатель только „для юношества“? Разумеется нет; но именно этой стороной его творчества ограничивалось все то, что мог теперь принять, с чем мог теперь согласиться Белинский. Десятью годами ранее, в эпоху своего „шеллингианства“, Белинский мог бы найти с Одоевским много точек соприкосновения; но за эти десять лет Белинский пережил ряд мучительных духовных и идейных кризисов, а Одоевский и в 1844-м году остался в общем тем же, чем он был в 1834-м и в 1824-м году, в эпоху издания „Мнемозины“. Кн. В. Ф. Одоевский—один из первых русских шеллингианцев двадцатых годов, повидимому\*) оставшийся шеллингианцем до самой своей смерти (1869 г.); на фундаменте этой гениальной „романтической“ философской системы он строил и свои социальные теории, близко соприкасавшиеся со славянофильством, и свои исторические взгляды, и веру Абсолютное, и свою „фантастику“.

Все это было совершенно противоположно воззрениям Белинского сороковых годов. Перейдя к „социальности“, Белинский все более и более склонялся теперь к так называемым „левым гегелианцам“ и все презрительнее отзывался о Шеллинге, особенно о Шеллинге сороковых годов („берлинской“ эпохи). Еще в письме от 7-го ноября 1842 года Белинский, говоря о М. Бакуnine, пишет, что он сошелся теперь с ним в одном храме, так как Бакунин „принадлежит к левой стороне гегелианизма, знаком с Р.

\*) Опровержение такого взгляда обещал дать П. Сакулин во втором томе своей монографии об Одоевском; о ней см. ниже, а в книге П. Сакулина см. т. I, ч. II, стр. 448.

(Арнольдом Руге) и понимает жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга“... И в настоящей статье Белинский даже о Гегеле говорит, что философия его „уже совершила свой круг“, что ее „далеко обогнали“ новые поколения, а о Шеллинге отзывается еще резче: „великий Шеллинг, имевший несчастье пережить свой разум“... Несколько позднее (в статье о „Тарантасе“, № 41) Белинский называет Шеллинга сороковых годов „самозванным пророком“ и дон-Кихотом. А кн. Одоевский и в это время все еще продолжал быть романтиком в философии; это отразилось и в его знаменитых „Русских ночах“. Кроме того, в своих произведениях он отводил все больше и больше места фантастическому элементу. Насколько это зависело от влияния Гофмана—вопрос еще до сих пор не решенный; но во всяком случае Белинский сороковых годов мог только вполне враждебно относиться к этому элементу „какого-то странного фантазма“, — что и высказал в настоящей статье (см. статью № 18).

Но, разумеется, еще более неприемлемыми для Белинского были ясно выраженные славянофильские симпатии Одоевского. Убеденный натурфилософ, Одоевский был непримиримым врагом рационалистических и эмпирических методов познания; спасение он видел в области интуитивного познания—и хотел верить, что России в этой области, так же, как и в области социальной, придется сказать свое, быть может, решающее слово. Типичного реалиста Белинского бесконечно раздражали эти „романтические“ чаяния и упования героя „Русских ночей“ Одоевского, Фауста; „неужели согласиться с Фаустом, — в негодовании восклицал Белинский, — что Европа того и гляди прикажет долго жить, а мы, славяне, напечем блинов на весь мир, да и давай поминки творить по покойнице?“ Уже знакомый к этому времени с системами социализма, Белинский не отрицал болезненного социального кризиса Европы, но видел за этим кризисом не смерть, а воскресение европейского общества, видел наступление социалистического царства Божия на земле. „Европа больна, — говорит в настоящей статье Белинский, — это правда; но не бойтесь, чтоб она умерла: ее болезнь от избытка здоровья, от избытка жизненных сил; это болезнь временная, это кризис внутренней подземной борьбы старого с новым; это — усилие отрешиться от общественных оснований средних веков и заменить их основаниями, на разуме и натуре человека основанными“... Нельзя было яснее этого высказать свои социалистические верования перед лицом николаевской цензуры; и в то же время нельзя было яснее выразить свое полное идейное расхождение с кн. В. Одоевским. Последний видел основу объективной целесообразности мира в Абсолютном, познаваемом путем интуиции, а Белинский видел эту основу в человечестве, исторически достигающим великого социального идеала братства и равенства. Вот почему Белинский не мог признавать интуитивного пути познания абсолютной истины; он заявляет в настоящей статье, что истина развивается исторически, что она „сеется, поливается потом и потом жнет, молотится и веется, и что много шелухи должно отвеять, чтоб добраться до зерен“. И одной из таких исторически созревших истин является для Белинского истина о грядущем разумном устройении братского человечества: в этом вся вера, все упование Белинского, заменившие былую веру его в разумную объективную целесообразность всего мира. Вот почему Белинский считает бессмысленной противоположную мысль, высказываемую Одоевским, мысль о будущей смерти всего человечества: то, что в корне противоречит нашей вере, всегда кажется нам совершенно ложным.

Итак, как видим, Белинский расходился с кн. В. Одоевским почти во всем самом глубоком, самом заветном; Одоевский был по своему миросозерцанию романтиком, Белинский — типичнейшим реалистом. Неудивительно поэтому, что Белинский, расхвалив „громадный талант“ разбираемого им автора, отнесся совершенно отрицательно ко всему тому, что заслуживает в произведениях Одоевского наибольшего внимания; а потому и настоящая статья, интересная для характеристики взглядов Белинского, является совершенно недостаточной для характеристики творчества и мышления кн. В. Одоевского. Надо заметить, что такой характеристики не было до последнего времени: были более или менее подробные литературно-биографические очерки, посвященные Одоевскому — А. Пятковского, А. Кони, Н. Сумцова, но все они относились

к началу восьмидесятых годов, значительно устарели и, главное, составлены были без пользования бумагами кн. В. Ф. Одоевского, т.-е. тем богатейшим рукописным материалом, который хранится в Спб. Публичной Библиотеке. Позднее появились две работы, несколько пополняющие этот пробел: „Очерки из жизни и литературной деятельности кн. В. Ф. Одоевского“, Б. Лезина („Зап. Харьк. Универс.“, 1905—1906 г.) и пятая глава из книги И. Змотина „Романтический идеализм“ (Спб., 1907 г.); однако обе эти работы не решали, а только ставили на очередь вопрос об исчерпывающей характеристике мировоззрения и творчества такого интересного и незаслуженно забытого человека и писателя, каким был кн. В. Ф. Одоевский. Такая характеристика появилась в большой двухтомной монографии П. Сакулина: „Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель—писатель“. М., 1913 г. К сожалению, второй том этой исчерпывающей монографии так и не появился в печати. Но читатель и до сих пор не пройдет мимо настоящей статьи Белинского: в ней положительно или, отрицательно, но во всяком случае освещены существеннейшие из взглядов кн. В. Ф. Одоевского.

#### 40. „Русская литература в 1844 году“.

Обозрение русской литературы за 1844 г. Белинский посвятил едкому анализу литературного и художественного значения произведений трех авторов: Полевого, Языкова и Хомякова. Двое последних выпустили как-раз в 1844 году по небольшой книжке своих стихотворений, которые и подверглись теперь разбору Белинского; что же касается до Полевого, то Белинский говорит о нем на протяжении десятка страниц, не называя его ни разу по имени, а говоря вообще о „романтической критике“. Это были как бы последние счёты Белинского с Полевым, начавшиеся еще в 1839 г. (см. ст. № 16); указывая, что Полевой, как критик, пережил самого себя, Белинский однако воздал должное Полевому двадцатых-тридцатых годов, подчеркнув громадное развивающее значение „романтической критики“ той эпохи.

Не буду останавливаться здесь на вопросе об отношении Белинского к Полевому, так как это будет сделано в статье № 50; к тому же в настоящем обзоре Белинский говорит о „романтической критике“ только в виде вступления к разбору поэзии Языкова и Хомякова, в которых он видит характерных эпигонов эпохи господства „романтической критики“.

Не случайно соединил Белинский эти два имени, воспользовавшись одновременным выходом в свет стихотворных сборников Языкова и Хомякова: уже неоднократно он говорил об этих двух поэтах вместе. Еще в статье 1836 года, „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“, Белинский упомянул мимоходом о Языкове и Хомякове, „из которых первый есть неоспоримо поэт, поэт истинный но поэт... изящного материализма, второй же—блистательный поэт выражения и только выражения, подделывающийся под мысль, но сильный одним только выражением“... Эти немногие слова Белинский развил пять лет спустя в своем обзоре литературы за 1841 г.: он говорит там о „внешней поэзии“ Языкова и об отсутствии в его стихах внутреннего содержания, о духовном средстве поэзии Языкова и Хомякова. Наконец, в настоящей статье Белинский подробнее развивает и подтверждает примерами свой взгляд на характер поэзии этих двух поэтов-славянофилов; но кое-что здесь есть и новое, а именно—критика славянофильской тенденции в поэзии Хомякова и Языкова.

Начиная с 1842 года, со статьи о „Педанте“ (№ 30), борьба между „западниками“ и „славянофилами“ все более и более разгоралась; за проявлениями этой борьбы мы внимательно следили по статьям Белинского (ст. №№ 30, 39 и др.), и особенно остановимся на ней в следующей статье (№ 41). Быть может, в пылу борьбы Белинский слишком принижал личность своих противников, особенно Хомякова; еще

в письме от 6 февраля 1843 года к Боткину Белинский крайне резко отзывался о Хомякове, называя его „образованным, умным И. А. Хлестаковым, человеком без убеждения, человеком без царя в голове“, и применяя к нему слова Барбье:

. . . les charlatans qui donnent de la voix,  
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase,  
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase...\*)

Интересно отметить, что в настоящей статье Белинский почти буквально повторяет эти фразы, косвенно, но вполне прозрачно именуя Хомякова „шутом на ходулях“, „жонглером диалектики“ и т. п. Во всем этом много несправедливого, высказанного в пылу полемики: Хомякова невозможно назвать „человеком без убеждений“, хотя он и был действительно „жонглером диалектики“; напротив, диалектика только помогала ему сражаться с идейными противниками и защищать свои убеждения. Несомненно таким образом, что в разгаре борьбы Белинский не мог отнестись вполне беспристрастно к личностям своих противников; да впрочем, как „человек экстремы“, он и не стремился к такому беспристрастию, сознавая свою нетерпимость: „я жид по натуре,—писал он Герцену в начале мая 1844 года,—и с филистимлянами за одним столом есть не могу“.

Но, быть может, эта нетерпимость, это отсутствие беспристрастной оценки личности противников привели Белинского к несправедливой оценке поэтов-славянофилов? На этот вопрос должно ответить категорическим отрицанием. Очень возможно, что тон критики Белинским поэзии Хомякова и Языкова был резким, но сущность этой критики была тем не менее вполне справедливой. Один пример резкости тона: в настоящей статье читателя должно сильно удивить внезапно мягкое отношение Белинского к поэзии Бенедиктова, о которой он всегда был совершенно отрицательного мнения; это объясняется тем, что реторизм поэзии Хомякова показался Белинскому еще анти-поэтичнее такого же реторизма в творчестве Бенедиктова. Не буду отстаивать справедливости этой сравнительной оценки, но скажу, что по существу Белинский как нельзя более прав: поэзия Хомякова была типично головной поэзией, сухой и риторичной; только изредка пробивалось в ней чувство, искры „истинного поэтического одушевления“. Хомяков не был поэтом—Белинский это показал с исчерпывающей убедительностью; после Белинского появилось еще несколько статей о поэзии Хомякова (А. Миллюков, „Поэт славянизма“; Ор. Миллер, „Стихотворения Хомякова“, „Заря“ 1869 г., № 7; М. Лонгинов, „Русск. Вестн.“, 1861 г., № 3 и др.), но все они не внесли ничего нового в решение этого вопроса. То же самое можно повторить об отношении Белинского к Языкову. Языков был действительно поэт, а не только стихотворец, и Белинский не отрицал в нем ни поэтического таланта, ни, главное, большого исторического значения его поэзии, ее значения для двадцатых годов. Но тут же Белинский выяснил совершенную второстепенность этого таланта, являющуюся следствием такой же „надуманности“ стихотворений Языкова, какую Белинский показал и в произведениях Хомякова. Языков—истинный поэт в очень немногих стихотворениях, и все мы знаем их наизусть еще со школьной скамьи: это именно те самые стихотворения, которые и Белинский считает лучшими („Поэту“, „Землетрясение“, „Подражание псалму 136“ и немн. др.); почти все остальное у него—та же самая надуманная, головная версификация, которую мы видим в Хомякове и которую еще за десять лет перед этим Белинский вскрыл в произведениях Бенедиктова.

И вот что интересно: метод критического анализа стихотворений Бенедиктова с одной стороны и Хомякова с Языковым с другой у Белинского один и тот же; это метод тонкого стилистического анализа. Применение такого метода именно в этих трех случаях является лишним доказательством глубокого критического чутья Белинского: стилистический анализ—вернейший путь для разграничения поэзии от стихотворчества,

\*) . . . . . возвышающие голос шарлатаны,  
Торговцы пафосом, напыщенным экстазом,  
Все эти плясуны канатные по фразам..

для определения истинной сущности надевающего маску писателя; вот почему анализ этот Белинский применил не к Майкову, не к Полежаеву, не к Козлову и иным крупным и мелким поэтам, а именно к Бенедиктову, Языкову и Хомякову (а также и к Марлинскому). Стиль—это человек, гласит известное изречение; анализ стиля дает возможность критику снять маску с поэта, который в действительности, быть может, совсем не то, чем он старается себя выставить; содержание может обмануть, но стиль не обманывает. Бенедиктов, судя по содержанию стихов, был человеком необузданных порывов, безмерной шири духа, ярко очерченной личностью; но пришел Белинский со стилистическим анализом его поэзии—и все в конце концов увидели в необузданном романтике смиренного чиновника, увидели позы и ретиорику его „гремучих“ стихотворений. Точно так же этим методом Белинский доказал, что Хомяков вовсе не поэт, а только версификатор, что Языков насильно заставляет себя воспевать вино и любовь, что в поэзии „певца вина и страсти нежной“ нет ни „опьянения“, ни „сладо-страстия“, что они у него напускные. Все это настолько верно, что с тех пор о Языкове никто не сказал чего бы то ни было изменяющего мнение Белинского (см. о Языкове статью Добролюбова, 1858 г.; книгу В. Смирнова „Жизнь и поэзия Н. М. Языкова“, 1900 г.); наоборот, мнение Белинского стало теперь общепринятым. Это является лучшим подтверждением правильности примененного Белинским критического приема; сам Белинский уже подчеркнул законность такого стилистического анализа. „Может быть нам заметят,—говорит он в настоящей статье,—что способ нашего анализа, состоящий в разборе фраз, мелочен. Дело не в способе, а в его результатах; да кроме того, это единственный и превосходный способ для суждения даже и не о таких поэтах, каковы: Марлинский, гг. Языков, Хомяков, Бенедиктов и другие в том же роде“...

Характеристикой Полевого и критическим анализом стихотворений Языкова и Хомякова заполнены три четверти настоящей статьи Белинского; остальную четверть Белинский посвящает быстрому обзору беллетристики и журналистики 1844 года. Попрежнему он подчеркивает бедность и даже „совершенную нищету“ современной литературы, но тут же указывает, что в этой бедности есть своя „прекрасная сторона“, а именно: „потеряв в числительном богатстве, наша литература много выиграла в духе и направлении“, так что „богата нищета современной русской литературы в сравнении с ее нищенским богатством прежнего времени“. Это тот самый взгляд, который Белинский проводил в двух предыдущих годовых обзорах (см. ст. №№ 36., 38 и ср. ст. № 25) и к которому он уже окончательно пришел в начале сороковых годов, отказавшись от своего бывшего неисторического утверждения: „у нас нет литературы“.

Настоящая статья Белинского была, как это уже отмечено, новым ударом по славянофильству и ударом, повидимому, сильным и метким. Когда Герцен сообщил Белинскому из Москвы, что статья эта якобы не произвела на славянофилов впечатления, и что они будто бы „гордятся“ ею, то Белинский в письме от 26 января 1845 г. отвечал на это Герцеву: „вздор! Если ты этому поверишь, значит ты плохо знаешь сердце человеческое и совсем не знаешь сердца литературного... Штуки, судырь ты мой, из которых я вижу ясно, что удар был страшен. Теперь я этих каналов не оставляю в покое“... Да и сам Герцен скоро увидел, как глубоко были задеты славянофилы этой статьей; по крайней мере месяцем позднее он отметил в своем „Дневнике“ (от 14 февраля 1845 г.): „славянофилы жестоко освирепели, Отчественные Записки им пришлись солоня“... Разумеется, он имел в виду при этом именно настоящую статью Белинского.

## 41. „Тарантас“.

В предыдущей статье я указал на обострение борьбы западников и славянофилов в 1844—1845 г. и на впечатление, произведенное статьей Белинского в славянофильских рядах. Но Белинский писал свое обозрение русской литературы за 1844 год еще не зная о появлении в Москве „доносительных“ стихотворений Языкова, напра-

вленных против западников—Белинского, Грановского, Герцена, Чаадаева (которого тогда считали тоже „западником“). Стихотворения эти были сплошным доносительным воплем к николаевским жандармам о пресечении западнического зла; так например, обращаясь к Чаадаеву, поэт восклицал: „ты все свое презрел и выдал—и ты еще не сокрушен!.. Ты цел еще!“ В злобном послании ко всем западникам вообще („К не нашим“) Языков называл их „опрометчивым оплотом ученья богомерзкой школы“, говорил об их „предательских мнениях и святотатственных снах“ и выражал надежду, что раньше или позже „умолкнет ваша злость пустая, замрет проклятый ваш язык!“ Наконец в послании к Шевыреву Языков уже прямо метил в Белинского, который был главным „врагом“ Шевырева:

Твои враги...—они чужбине  
 Отцами проданы с пелен:  
 Русь не угодна их гордыне,  
 Им чужд и дик родной закон,  
 Родной язык им непонятен,  
 Им безответна и смешна  
 Своя земля, их ум развратен,  
 И совесть их прокажена.

Не всеми славянофилами эти стихотворения были встречены так же восторженно, как например Гоголем; но зато все западники отнеслись с одинаковым омерзением к этим злобным выходкам. Разрыв между славянофилами и западниками принял резкие формы: дело чуть не дошло до дуэли между Грановским и Киреевским; Герцен и К. Аксаков прекратили личное знакомство. В „Отеч. Записках“ Герцен немедленно отозвался на стихи Языкова следующей заметкой в одной из своих статей: „Кажется, успокоившаяся от сует муза г. Языкова решительно посвящает некогда забубенное перо свое поэзии исправительной и обличительной. Это истинная цель искусства: пора поэзии сделаться трибуналом de la poésie correctionnelle. Мы имели случай читать еще поэтические произведения того же исправительного направления, ждем их в печати; это гром и молния; озлобленный поэт не остается в абстракциях: он указывает негодующим перстом лица—при полном издании можно приложить адреса!..“ Белинский не отозвался печатно на такие произведения доносительной поэзии; как-раз в это время он, еще ничего не зная об этих стихотворениях Языкова, писал свое обозрение литературы за 1844 год, где нанес не один удар именно Языкову. Получив эти стихи Языкова, Белинский писал Герцену (26 янв. 1845 г.): „Москва сделала, наконец, решительное проунциamento“... И затем, говоря о том ударе, который он нанес славянофилам этой своей статьей о русской литературе в 1844 году, Белинский прибавил: „теперь я этих каналий не оставляю в покое“... Белинский ждал только случая, только повода, чтобы обрушиться на славянофилов всею силою своего беспощадного полемического таланта. Случай тотчас же представился: в самом начале 1845 года вышло произведение гр. Соллогуба—„Тарантас“.

Граф В. Соллогуб, теперь совершенно забытый беллетрист, в сороковых годах был одной из первых литературных знаменитостей; сам Белинский ставил его очень высоко, считая его первым после Гоголя писателем в современной ему русской литературе. Правда, не прошло и года после появления столь расхваленного Белинским „Тарантаса“, как Белинский, в своем обозрении русской литературы за 1845 год, с оговорками расхвалив гр. Соллогуба, назвал „после Гоголя до сих пор решительно первым талантом в русской литературе“—В. И. Даля (Луганского), такого же второстепенного писателя, как и гр. Соллогуб. Мало того, расхвалив в этом своем обозрении „Тарантас“, как „прекрасное литературное произведение“, Белинский тут же оговорился знаменательной фразой: „мы понимаем „Тарантас“ как сатиру (на славянофилов—И.-Р.) и будем его понимать так до тех пор, пока он не изгладится из литературных воспоминаний публики“ (подч. мной). Уже отсюда видно, как в сущности верно оценивал Белинский ничтожное значение „Тарантаса“ для русской литературы; произведение это было для Белинского только поводом нанести тяжелый полемический удар ненавистному славянофильству.

Итак, в этом произведении гр. Соллогуба Белинский якобы хотел видеть сатиру на славянофильство, в то время как другие видели в „Тарантасе“ (по словам самого Белинского) „искреннее profession de foi так называемого славянофильства“. Кто был прав? Во всяком случае не Белинский, хотя и „другие“ были одинаково неправы: они были неправы потому, что в сословной нетерпимости и аристократических тенденциях гр. Соллогуба не было ничего славянофильского—и это блестяще показал годом позднее Ю. Самарин в своей статье о „Тарантасе“ в славянофильском „Московском Сборнике“ (1846 г.); Белинский же—если он действительно видел в „Тарантасе“ сатиру—был неправ потому, что от сатиры на славянофильство гр. Соллогуб был еще в тысячу раз дальше, чем от искреннего исповедания славянофильской веры: десятью годами позднее это неоспоримо доказал Добролюбов в своей статье о собрании сочинений гр. Соллогуба. Добролюбов совершенно верно замечает, что в герое „Тарантаса“, Иване Васильевиче, гр. Соллогуб хотел только подчеркнуть „противоречие слов с поступками“, но вовсе не думал „смеяться над убеждениями своего героя“. Так что когда Белинский издевается над различными мнениями Ивана Васильевича или старается видеть тонкую иронию в словах гр. Соллогуба, то и в том и в другом случае он только иронизирует над самим гр. Соллогубом; вопрос лишь в том—намеренна ли вежливая ирония Белинского? т.-е. иными словами: неужели он bona fide считал „Тарантас“ сатирой на славянофильство?

Ответ очевиден: Белинский прекрасно видел „аристократические замашки“ гр. Соллогуба (см. письмо Белинского к Герцену от 4 июля 1846 года), видел его симпатии к своему герою, Ивану Васильевичу; Белинский не мог не видеть этого, потому что в настоящей статье слишком часто подчеркивает он „странные“ мысли гр. Соллогуба. Несколько примеров: гр. Соллогуб восхищается дедами и прадедами своего поколения за то, что они „крепко хранили... по какому-то странному внушению любовь ко всем нашим отечественным постановлениям“, хотя они—удивляется гр. Соллогуб—„были точно люди неграмотные“... Белинский в ответ на это замечает: „мы не можем прийти в себя от удивления, не понимая, чему же тут автор удивляется“: ведь предки наши именно потому и хранили любовь к „отечественным постановлениям“, что были неграмотны... Другой пример: гр. Соллогуб замечает от своего лица, что „любовь мужика к барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая“, что крестьяне, на колених встречающие с хлебом-солью своего помещика, „тихо и трогательно“ выражают этим свой восторг и свою преданность; а Белинский иронически поддакивает автору: „об этом предмете мы опять думаем точно так же, как сам автор“—и тут же с невинным видом приводит два стиха из басни Крылова („Рыбьи пляски“), в которой идет речь о рыбах, поджаривавшихся лисою и бившихся на сковородке:

„Да отчего же,—лев спросил,—скажи ты мне,  
Хвостами так они и головами машут?“  
—О, мудрый лев!—лиса отвечает—оне  
На радости, тебя увидя, пляшут...

И так далее: целыми страницами продолжается ирония Белинского якобы над героями „Тарантаса“, а в сущности над самим гр. Соллогубом, когда тот занимается проповедью не столько славянофильских, сколько просто помещичьих принципов и идеалов; когда же сам гр. Соллогуб иронизирует над своими героями, то Белинский присоединяется к нему и подчеркивает отрицательное отношение автора к героям его произведения, т.-е. подчеркивает „сатирическую“ струю в „Тарантасе“. Таким образом, иногда ирония автора и ирония критика сливаются, иногда же ирония критика сталкивается с пафосом автора; Белинский хотел сделать вид, что и пафос этот он принимает за иронию... Это ему и удалось. Такой прием позволил ему не разбивать ударов своей статьи на два фронта—против славянофилов с одной стороны, против автора „Тарантаса“ с другой; сделав себе из гр. Соллогуба как бы временного союзника, Белинский с тем большей силой обрушил все удары на голову славянофильства. Ему не удалось однако скрыть иронию своего отношения к гр. Соллогубу; вот что сам он говорит полгода спустя в обзоре литературы за 1845 год: „статья наша (о „Тарантасе“) была понята двояко: одни приняли ее за восторженную

и неумеренную похвалу, другие—за что-то в роде памфлета“... Правы были, несомненно; эти „другие“: статья о „Тарантасе“ действительно была едким памфлетом, таким же памфлетом, как и знаменитый „Педант“ (ст. № 30),—но не столько на гр. Соллогуба, сколько на совсем другое лицо <sup>1)</sup>...

„Я не юморист, не остряк,—писал Белинский несколько позднее (26 февр. 1847 г.) Боткину;—ирония и юмор—не мои оружия. Если мне удалось в жизнь мою написать статей пяток, в которых ирония играет видную роль и с большим или меньшим умением выдержана,—это произошло совсем не от спокойствия, а от крайней степени бешенства, породившего своею сосредоточенностью другую крайность—спокойствие. Когда я писал тип на Шевырку и статью о „Тарантасе“, я был не красен, а бледен, и у меня сохло во рту, отчего на губах и не было пены“... Статья о „Тарантасе“ была в сущности таким же памфлетом, как и „Педант“; она была резким ответом Белинского на то московское „пронунциаменто“, о котором я говорил в начале настоящей заметки. „Педант“ был направлен против Шевырева; статья о „Тарантасе“—против одного из главных вождей славянофильства, против Ивана Васильевича Киреевского.

Главный герой „Тарантаса“ носит имя Ивана Васильевича. Воспользовавшись этим, Белинский мог свободно обойти все цензурные рифы и беспрепятственно дать характеристику Киреевского, якобы говоря только о герое „Тарантаса“; чтобы сделать это однако для всех ясным, Белинский обратился к помощи курсива. Вся статья пестрит курсивом: так, всюду подчеркнуто имя Ивана Васильевича (а заодно уж и его спутника); курсив этот не соблюдался в собраниях сочинений Белинского (за исключением издания С. Венгерова), а между тем это упорное подчеркивание несомненно должно было обратить внимание читателей и навести их мысль на действительного Ивана Васильевича, стоявшего во главе славянофильства—на Киреевского. Что Белинский метил именно в Ивана Васильевича Киреевского—в этом не может быть сомнения; но не менее несомненно и то, что Белинский в то же время расширял личность Киреевского до пределов типа: он хотел одновременно и отождествить „Ивана Васильевича“ с Киреевским, и вообще дать характеристику таких Иванов Васильевичей. „Многим покажется странным,—говорит Белинский,—что мы так вооружились против лица, существующего в книге, а не в действительности. В том-то и дело, что Иванов Васильевичей слишком много в действительности“... И в заключительных строках статьи Белинский восклицает: „прощайте же, Иван Васильевич! Спасибо вам: вы заняли нас, вы и

<sup>1)</sup> Высказанное выше мнение о смысле настоящей статьи Белинского подтверждается, кроме указанных данных, мнением Чернышевского—см. его „Очерки гоголевского периода“, „Современник“, 1856 г., № 11 (в полном собр. сочин. т. II, стр. 242—245). Еще важнее следующий рассказ Панаева, который приведу почти целиком: „Белинский обедал у меня дня через два после напечатания его критической статьи (о „Тарантасе“—И.-Р.). Критика Белинского была написана необыкновенно тонко и ловко, и тем сильнее чувствовалась ее ядовитость... В начале обеда вдруг раздался резкий звонок и вслед затем громкий голос „дома?“—самого автора произведения (гр. Соллогуба). Белинский изменился в лице и приподнялся на стуле: „я уйду“,—прошептал он. Жена моя уговорила его однако остаться. Автор вошел, переваливаясь и волоча ноги.—„Здравствуйте-с“,—сказал он, протянув руку моей жене, потом мне и кивнув головою Белинскому, который отвечал ему на это также легким кивком, закусив нижнюю губу, что выражало у него всегда неудовольствие.—„Я не мешаю вам,—продолжал небрежно автор:—дайте мне последний номер От е ч. За п и с о к. Там, говорят, меня ужасно отделали. Мне хочется пробежать эту статью“... Ему подали От е ч. За п и с к и, и он пошел в другую комнату. Когда мы окончили обед, автор вдруг прямо подошел к Белинскому.—„Что это вы надавали мне оплеух?“—спросил он, полуулыбаясь. Белинский побледнел.—„Если вы называете это оплеухами,—отвечал он смело и глядя ему прямо в глаза,—то должны по крайней мере сознаться, что для этого я надел на руку бархатную перчатку“... („Современник“, 1860 г., т. LXXIX, стр. 363—364). Этот рассказ окончательно решает вопрос: Белинский вовсе не видел в „Тарантасе“ сатиры, хотя и утверждал это иронически в своих статьях; сам гр. Соллогуб сразу понял, что статья Белинского—пощечина ему. Но эту пощечину Белинский смягчил „бархатной перчаткой“; не гр. Соллогубу, а славянофилам (и именно одному из них) эта статья Белинского была резким ударом без всякой перчатки.



посердили, и позабавили нас на свой счет. Прощайте, смешной и жалкий дон-Кихот! Вечное спасибо вам за то, что вы сказали всему свету, как зовутся по имени и по отчеству люди известного разряда: их зовут Иванами Васильевичами... Но из всех этих Иванов Васильевичей Белинский направляет свои удары преимущественно на одного—Ивана Васильевича Киреевского. В самом конце статьи Белинский говорит о „Тарантасе“, что в нем „славянофилы, в лице Ивана Васильевича, получили страшный удар... Как! эти люди... но оставим людей и поговорим об одном человеке—об Иване Васильевиче“... И он обрушивается с резкой филиппикой на этого „одного человека“, доводя до абсурда его славянофильские взгляды и характеризуя его, как „жалкого и смешного героя, маленького дон-Кихота в миньютуре и в карикатуре“. Когда Писарев в 1862 году написал статью об И. Киреевском и озаглавил ее „Русский дон-Кихот“, то в этом заглавии он только повторил слова Белинского о Киреевском из настоящей статьи.

Не буду больше останавливаться на доказательствах того, что Белинский, говоря об „Иване Васильевиче“, имел в виду Киреевского: это слишком бросается в глаза при чтении самой статьи. Гораздо интереснее вопрос—насколько верно охарактеризовал Белинский вообще славянофильство в этом своем „памфлете“? В последнем слове заключается и решение вопроса: памфлет не претендует на спокойную, объективную характеристику; его цель не в этом. Белинский писал эту статью в „крайней степени бешенства“; его цель была—высмеять славянофильство, а не строго и холодно оценить его. Этой своей цели он безусловно достиг: настоящая статья вся пронизана такой беспощадной и выдержанной иронией, какую не часто можно встретить в статьях Белинского; жестоко досталось гр. Соллогубу, но еще хуже пришлось Киреевскому, как представителю славянофильства. В заметке к статье „Русская литература в 1845 году“ (№ 44) я остановлюсь на внутренних причинах той ожесточенной вражды западничества и славянофильства, одним из проявлений которой была и эта статья Белинского о „Тарантасе“.

В статье этой необходимо отметить одно чрезвычайно важное место, касающееся уже не славянофильства, а отношения Белинского к вопросу об искусстве. Мы видели, что в статье о „Речи о критике“ Никитенко (№ 34) Белинский провозгласил подчиненность искусства историческому развитию общества: искусство должно соединять в себе „художественность“ и „социальность“—оно должно быть одновременно и проявлением красоты, и проявлением общественного сознания. В статье о Державине (№ 37) Белинский хотел дать пример соединения эстетической и социальной критики; но уже там последняя заглушила собою первую. В настоящей статье Белинский делает еще один и последний шаг в этом направлении: он заявляет, что чисто художественная критика „никуда не годится“; что художественность, оставаясь „великим качеством“ литературных произведений, уже не может увлекать; что всякое среднее беллетристическое произведение, дающее толчек общественному сознанию, гораздо важнее самого великого чисто-художественного произведения (о разграничении „беллетристики“ и „искусства“ я подробнее говорю в следующей статье—№ 42). „Скажем более,—договаривает свою мысль Белинский:—наш век враждебен чистому искусству, и чистое искусство невозможно в нем. Как во все критические эпохи, эпохи разложения жизни, отрицания старого при одном предчувствии нового—теперь искусство не господин, а раб: оно служит посторонним для него целям“. Искусство не господин, а раб: эта лапидарная формула знаменует собою крайний предел в эволюции взглядов Белинского на искусство; искусство служит посторонним для него целям: это изречение послужило исходным пунктом для построения шестидесятниками своего рода утилитаристической эстетики. Правда, Белинский оговаривается, что эти формулы его относятся только к „критическим эпохам“, но эта оговорка не меняет общего смысла формул: Белинский в развитии своих идей на искусство достиг до крайней возможной точки отрицания самоцельного искусства и утверждения служебной его роли. Два года спустя, в последнем своем обзоре русской литературы (за 1847 год, ст. № 55) Белинский снова вернулся к этому вопросу и сказал о нем свое фактически „последнее слово“; но в настоящей статье он выразился резче, крайнее

и определеннее, чем во всех других своих статьях середины сороковых годов. Взгляды Белинского на искусство в 1845 году и десятью годами раньше—это два полюса, две крайности, на которых только и мог твердо стоять такой „человек экстремы“, каким был Белинский.

## 42. „Опыт истории русской литературы“.

В 1842 году Белинский написал большую статью по поводу „Речи о критике“ Никитенко (№ 34); теперь, три года спустя, он начинает свою статью о книге того же Никитенко кратким очерком истории русской критики: это связывает настоящую статью с указанной выше. Не в этом однако заключается главная черта настоящей статьи, а в том, что статья эта является как бы резюмирующей целого ряда статей 1838—1845 г.г. по вопросу об определении слова литература и о разграничении понятий „искусство“ и „беллетристика“. Мы постоянно обращали внимание на это характерное для Белинского разграничение; не буду поэтому еще раз подробно останавливаться на этом вопросе и ограничусь указанием на статьи №№ 9, 17, 22, 25, 26 и др., в которых этому вопросу посвящено много места. Напомню только, что чем дальше шло время, тем все снисходительнее и одобрительнее относился Белинский к „беллетристике“, противопоставляемой искусству, „художественности“.

Никитенко в своей книге противопоставил понятия „литературы“ и „науки“; Белинский доказал методологическую ошибочность такого разграничения и указал, что наука, как диалектическое, спекулятивное развитие истины, может быть противопоставлена только искусству, как интуитивному, „непосредственному“ развитию истины: говоря так, Белинский только повторил свое определение искусства из статьи „Идея искусства“, написанной еще в 1841 г. (см. № 24). Определив так „искусство“, Белинский тотчас же перешел к своей излюбленной мысли о противопоставлении искусства (т.-е. „художественности“, „поэзии“) и „беллетристики“. Беллетристика, это—искусство, художественность, поэзия, приспособленные для толпы, для массы; а потому и общественное значение „беллетристики“ громадно. Беллетристические произведения необходимы,—говорит Белинский:—„они имеют великое значение, великий смысл. Само искусство так же не заменит их, как и они не заменят искусства... Они—искусство толпы; без них толпа была бы лишена благоденствия искусства. Сверх того в беллетристике выражаются потребности настоящего, дума и вопрос дня... Следовательно, подобные произведения, так же, как и наука и искусство, бывают живыми откровениями действительности, живою почвою истины и зерном будущего“. Таким образом, по мысли Белинского, искусство измеряется эстетическим критерием, а беллетристика—критерием социальной пользы: если иметь в виду ту „социальную“ точку зрения, на которой давно уже стоял Белинский, то станет понятным все более и более сочувственное отношение Белинского к „беллетристике“. Мы еще вернемся к этому вопросу, говоря о самых последних статьях Белинского.

Что же касается настоящей статьи, то нельзя не отметить, что в ней Белинский слишком высоко ценит и разбираемую им книгу Никитенко, и вообще этого писателя; это объясняется отчасти теми „западническими“ воззрениями Никитенко, которые Белинский цитирует в настоящей статье (громадная цитата о Петре Великом и т. п.). В действительности Никитенко был типичным „средним“ профессором и писателем—умеренно талантливым, умеренно либеральным; таким же был он и в жизни—типичным средним человеком толпы, достигшим профессорского звания. Все его писания безнадежно однотонны, прилично серы, совершенно безличны; неудивительно, что все его книги и критические статьи давно уже забыты, за одним исключением: большую ценность имеет и навсегда ее сохранить объемистый дневник Никитенко, опубликованный вскоре его смерти („Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был“; второе двухтомное издание 1905 г., с примечаниями М. Лемке; первое издание — трех-

томное, 1893 г.; впервые опубликовано в „Русской Старине“ 1888—1892 г.г.). Дневник этот представляет собою богатый материал для характеристики главным образом николаевской эпохи.

В начале настоящей статьи Белинский, говоря о различных „опытах“ истории русской литературы Максимовича, Шевырева, Никитенко, намекнул и о своей книге, которую он начал писать в начале сороковых годов и которую собирался выпустить „в начале 1842 года“ под заглавием „Теоретический и критический курс русской литературы“ (см. ст. № 23). Мы знаем, что вскоре он изменил предполагавшееся заглавие, и что целый ряд статей был написан им в связи с этой предполагаемой книгой (см. статьи №№ 23, 24, 25, 26, 27, 34, 37, 45 и др.); из настоящей статьи видно, что и теперь, в 1845 году, Белинский не терял еще надежды написать цельную историю русской литературы, хотя уже и не назначал срока выхода этой книги. „...Готовится сочинение,—пишет Белинский,—...под именем К р и т и ч е с к о й И с т о р и и Р у с с к о й Л и т е р а т у р ы...; впрочем, мы ничего не можем сказать положительного о времени выхода этого сочинения“... Тяжелая журнальная работа и усиливающаяся болезнь не дали возможности Белинскому составить это сочинение; но тем не менее в собрании его сочинений мы имеем лучшую критическую историю русской литературы XVIII и половины XIX в.

### 43. „Петербург и Москва“.

В начале сороковых годов стали пользоваться большою славою так называемые „физиологические очерки“—характеристики различных типов; особенный успех имело издание „Наши, списанные с натуры русскими“, являвшееся сколком с аналогичного парижского издания „Les Français peints par eux mêmes“. Некрасов, познакомившийся около 1843 года с Белинским, задумал выпустить подобного же рода издание под заглавием *Физиология Петербурга*. В первой половине 1845 года вышли одна за другою две части этого сборника „под редакцию Н. Некрасова“; на этом издание и прекратилось. Это был „иллюстрированный альманах или сборник статей, относящихся только до Петербурга“; в сборник этот вошли „физиологические очерки“ Григоровича („Петербургские Шарманщики“), Даля („Петербургский дворник“), Панаева („Петербургский фельетонист“), Некрасова („Чиновник“) и др.

В двух томах этого издания Белинский поместил четыре своих статьи; ему принадлежит прежде всего общее введение к первой части „Физиологии Петербурга“ и затем статьи „Петербург и Москва“, „Петербургская литература“ и „Александринский Театр“. Последние две статьи впервые перепечатаны в IX томе собрания сочинений Белинского редакции С. Венгерова; настоящая статья, „Петербург и Москва“ всегда входила во все собрания сочинений Белинского; что же касается первой статьи—как бы предисловия к „Физиологии Петербурга“—то она до сих пор остается совершенно неизвестной; а между тем она несомненно принадлежит перу Белинского. Это видно хотя бы из одного того, что в статье этой мы снова встречаемся с излюбленной темой Белинского—с разграничением художественных и беллетристических произведений, гениев и талантов; тема эта была, как мы знаем, подробно развита Белинским в статье о книге Никитенко (№ 42); развитие второй ее части мы найдем в статье 1846 года о Кольцове (см. ст. № 49).

Ограничиваюсь указанием на эту неизвестную статью Белинского, впервые открытую П. Н. Сакулиным; она представляет несомненный интерес, так как в ней, по собственным словам Белинского, заключается „критический взгляд на тот род изданий, к которому принадлежит *Физиология Петербурга*“. Но это уже специальный историко-литературный вопрос; две другие статьи представляют общий интерес: „Петербург и Москва“ и „Петербургская Литература“. Это своего рода блестящие „физиологические очерки“, но очерки не отдельных московских и петербургских типов, а всей

Москвы, всего Петербурга. Характеристика Москвы, как города „патриархальной семейственности“—не только литературно блестяща, но и социологически верна: помещики эпохи натурального хозяйства придавали Москве совершенно „особый отпечаток“. Разумеется, Белинский воспользовался случаем кольнуть попутно ненавистных ему москвичей-славянофилов. Говоря о москвиче, который может „много говорить о своих трудах настоящих и будущих, прослыть за деятельнейшего человека в мире, и в то же время ровно ничего не делать“,—Белинский явно целит в Киреевского или Хомякова. Ироническая фраза: „в Москве есть, говорят, даже шапки-мурмолки, вроде той, которую, по уверению москвичей, носил еще Рюрик“,—относится несомненно к К. Аксакову, который как раз в это время (в 1844 году) впервые оделся в столь национальный русский костюм—в мурмолку, терлик, косоворотку,—что народ на улицах принимал его за персианина (эту известную позднейшую насмешку Герцена можно найти еще в сборнике „Первое Апреля“, Спб. 1846 г., направленном против славянофилов).—Петербург Белинский охарактеризовал менее лапидарно; кое-что (например, характеристика петербургского чиновничества) несомненно осталось недосказанным по цензурным условиям. Такою же неполной и по тем же причинам является следующая статья о „Петербургской литературе“; но, несмотря на эту неполноту, обе эти статьи—особенно первая—являются тем не менее интересными сравнительными характеристиками обеих русских столиц, их внешней и умственной жизни.

Обе части „Физиологии Петербурга“ имели большой успех среди читающей публики, хотя и были довольно враждебно встречены почти всей петербургской и московской журналистикой, вооруженной против Белинского. Небезынтересно будет поэтому познакомиться со словами самого Белинского о своей статье „Петербург и Москва“: „ее прочли все, многие оценили выше, нежели чего она стоит в самом деле, а многие не хотели заметить в ней того хорошего, что в ней есть действительно, хотя и видели его: это, по нашему мнению, успех“.

#### 44. „Русская литература в 1845 г.“.

Статья „Русская литература в 1845 году“ была последним годовым „обзрением“ Белинского в „Отечественных Записках“ и вообще одной из последних статей Белинского в этом журнале. Основным мотивом этой статьи по-прежнему является борьба с „славянофильством“, или, говоря более определенно, с романтизмом славянофильства. Вопрос этот, действительно, заслуживал того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Нам уже приходилось встречаться с отношением Белинского к „романтизму“. Мы знаем, как сам Белинский стал относиться к бывшему „романтизму“ тридцатых годов после своего душевного перелома 1840—1841 г., как обрушился он на „романтизм“ в своей статье (еще 1839 года) о „Горе от ума“, как повторил он это свое осуждение в статье о детских книгах (см. ст. №№ 15, 18). Теперь Белинский стал апологетом „действительности“ в смысле реализма, а под „романтизмом“ и „романтическим“ стал понимать все „не-действительное“, мечтательное, сентиментальное, фантастическое,—и все эти глубоко несимпатичные ему свойства и качества приписал славянофильству: в этом заключается смысл резкого выступления Белинского против романтизма в начале настоящей статьи. Высмеяв „романтизм“ двадцатых-тридцатых годов, Белинский видит в славянофилах наследников этого романтизма: „романтики жизни—говорит Белинский—... не перевелись и теперь;... (они), прикинувшись учеными, облекли старые претензии в новые фразы“... Или еще определеннее: „во что бы ни нарядился романтик, он все остается романтиком. Не понимая этого, романтики обеими руками начали хвататься за маски и костюмы... Некоторые, говорят, не шутя надели на себя терлик, охабень и шапку-мурмолку; более благоразумные довольствуются только тем, что ходят дома в татарской ермолке, татарском халате и желтых

сафьянных сапожках—все же исторический костюм! Назвались они партиями и думают, что делать значит—рассуждать на приятельских вечерах о том, что только они—удивительные люди, и что кто думает не по их, тот бродит во тьме“... Во всем этом Белинский видит стремление идти мимо жизни, стремление вложить жизнь в искусственные и надуманные рамки, противоречащие живой „действительности“; а все идущее против действительности—романтизм, с которым надо неустанно бороться.

Не буду останавливаться здесь на этой борьбе Белинского с „романтизмом“, так как придется еще подробно говорить об этом в заметке о последней статье Белинского 1848 года (ст. № 55). Но необходимо здесь же указать на то обстоятельство, что хотя Белинский во многом ошибался, считая все славянофильство в его целом далеким от жизни, искусственным, надуманным (наоборот—славянофильство впервые после декабристов подошло к самой социальной действительности—хотя бы в вопросе об общине), однако, он был глубоко прав—глубже, чем сам он думал,—считая характерным признаком славянофильства романтизм. При этом, конечно, романтизм надо понимать не в смысле „мечтательности“ или „фантастичности“, а гораздо глубже—именно так, как определил его сам же Белинский еще в 1843 году, во второй из своих пушкинских статей; Белинский определил там романтизм, как мировоззрение мистицизма, как внутренний мир души человека. В этом действительно заключалась внутренняя сущность славянофильства и внутренняя причина глубокого расхождения славянофилов и западников. Я уже имел случай указать (см. выше № 30), что причины распада русской интеллигенции на эти две враждебные группы лежали глубже социальных, националистических и политических разногласий; они лежали в реалистическом миропонимании западников и в мистическом (романтическом) мировосчувствовании славянофилов. В статьях №№ 53—54 мне еще придется говорить об этом; здесь ограничиваюсь только указанием, что сущность взгляда Белинского на „романтизм“ славянофильства глубоко верна, несмотря на многие полемические преувеличения и ошибки.

„Романтизму“ славянофилов и их литературных представителей Белинский противопоставил в настоящей статье „новую школу“, которая вскоре получила название „натуральной школы“. И это противопоставление Белинский развил подробнее в своей последней статье 1848 года (№ 55), к которой и отсылаю читателей; здесь замечу только, что реализм этой школы был тем главным ее свойством, которое Белинский противопоставлял и „романтизму“ двадцатых-тридцатых годов, и романтизму славянофилов. „Романтизм“ проявляет „внутренний мир души человека“, единичного я; новая школа обратилась к изучению „толпы“, к реалистическому изображению жизни—и в этом Белинский видит величайшую заслугу „новой школы“ перед русской литературой, русским обществом: „это значило—говорит Белинский—сделать ее (литературу) выражением и зеркалом русского общества, одушевить ее живым национальным интересом“... Критический анализ произведений „натуральной школы“, оценка их с социальной точки зрения и объяснение их значения—все это стало главной задачей критической деятельности Белинского в последние два года его жизни.

## 45. „Сочинения Александра Пушкина“.

Когда Белинский, в начале тридцатых годов, вступал на литературно-критическое поприще—Пушкин подходил уже к концу своего жизненного пути. Это время—начало тридцатых годов—было периодом охлаждения „толпы“ к Пушкину, и Белинский, как мы это видели из его первых статей (ст. №№ 1, 2, 4, 5 и др.), не избег этой общей участи и разделял мнение большинства о „падении таланта“ Пушкина.

Уже в это время Белинский собирался писать о Пушкине статью или ряд статей; первое указание на это мы встречаем еще в 1835 году. Но вскоре после этого погиб

журнал „Телескоп“, в котором работал тогда Белинский, и его литературная деятельность прервалась на полтора года—с осени 1836-го до весны 1838 года, когда вышел первый номер „Московского Наблюдателя“ редакции Белинского и его друзей. Впрочем и в этом промежутке вынужденного перерыва Белинский не оставлял мысли писать о Пушкине; в письме к М. Бакунину от 1 ноября 1837 года он сообщает между прочим: „скоро примусь за статью о Пушкине; это должно быть лучшую мою критическую статью“. Хотя и это намерение осталось невыполненным, но все же в первом же номере „Московского Наблюдателя“ за 1838 г. Белинский действительно поместил статейку о посмертных произведениях Пушкина (см. № 8). Как ни незначительна эта статейка, но в ней уже ясно сказался перелом и философских воззрений Белинского и его взглядов на Пушкина. Ревностный неопит гегелианства, поклонник „разумной действительности“, объективной разумности мира и жизни—Белинский увидел в Пушкине величайшего поэта „действительности“ в этом смысле; кроме того Белинский сумел оценить теперь „художественную“ сторону значения Пушкина. Первая из этих мыслей при дальнейшей эволюции Белинского подверглась значительному изменению, а вторая—о „художественном“ значении Пушкина—стала лейт-мотивом настоящих „пушкинских статей“. В письме к Станкевичу (от сент.—окт. 1839 года) Белинский, как бы резюмируя отдельные места своих статей 1838—1839 гг., особенно подчеркнул и эту „художественность“ Пушкина и его „мировое“ значение: „...Шиллеру до Пушкина—далеко кулику до Петрова дня. Какая полная художественная натура!.. Нет, приятели, убирайтесь к чорту с вашими немцами—тут пахнет Шекспиром нового мира!“

Здесь достигает апогея преклонение Белинского пред Пушкиным. Если в указанной выше статейке 1838 года Белинский еще находил, что „как поэт Пушкин принадлежит к мировым, хотя и не первостепенным гениям“, то в статьях 1839—1841 годов мы уже не находим подобной оговорки. Наоборот, в одной из статей начала 1839 года („Русские журналы“, „Моск. Набл.“ 1839 г., № 4) Белинский восторженно повторяет слова Каткова: „как народ России не ниже ни одного народа в мире, так и Пушкин не ниже ни одного поэта в мире“... „Эти строки — прибавляет Белинский — ...составляют одну из самых основных опор нашей внутренней жизни, одно из самых пламенных верований, которыми живет дух наш“... И это восторженное отношение к Пушкину продолжало быть „основной опорой внутренней жизни“ Белинского вплоть до периода его духовного кризиса 1840—1841 гг., когда все опоры рушились, когда твердая почва веры в объективную разумность мира ушла из-под ног Белинского. Именно к этому времени относится начало охлаждения Белинского к Пушкину: поэзия его перестала „консонировать“ душе Белинского, впервые глубоко пораженной и измученной нестерпимыми диссонансами бытия; „пафос“ поэзии Пушкина—ясное, солнечное художественное „приятие мира“—перестал быть родственным и понятным Белинскому, которому теперь стала ближе, роднее—непримиримая и мучительная поэзия Лермонтова (см. ст. №№ 20—21).

Мы знаем, чем и как разрешился этот духовный кризис: Белинский нашел спасение на почве веры в прогресс, на почве „социальности“, общественности. На этой почве укрепилось то понимание Белинским поэзии Пушкина, которое мы найдем в настоящих „пушкинских статьях“. Мы не увидим в них прежнего пылкого обожания Пушкина, превознесения его выше всех поэтов, наименования его „Шекспиром нового мира“; наоборот, начиная с 1841—1842 года Белинский отказывается от прежней своей мысли, что Пушкин—„мировой“ поэт: впервые это выражено Белинским в обзоре русской литературы за 1841 г. (ст. № 28). „Пушкин обладал мировую творческую силу,—говорит там Белинский:—по форме, он соперник всякому поэту в мире, но по содержанию, разумеется, не сравнится ни с одним из мировых поэтов“... Причину этого Белинский видит в неразвитости исторического и общественного уклада русской жизни, ибо „поэту принадлежит форма, а содержание—истории и действительности его народа“. И в статье 1842 г. о „Речи“ Никитенко (№ 34)

Белинский снова повторяет эти свои мысли; он подчеркивает великое художественное значение Пушкина, заслонившее собою от самого поэта общественное содержание его поэзии. „Пушкин—говорит он—художник в полном значении этого слова; это его преобладающее значение, его высочайшее достоинство, и, быть может, его недостаток, вследствие которого он чем более становился художником, тем более отклонялся от современной жизни и ее интересов и принимал аскетическое направление, наконец охолодившее к нему общество“... Пушкин,—повторяет Белинский несколькими строками ниже,—„был слишком поэт, слишком, художник, может быть, в ущерб своей великости в других значениях“...

Насколько в настоящее время можно согласиться с такими мнениями Белинского— об этом скажу ниже; теперь достаточно только указать на них <sup>1)</sup>. С такими взглядами вплотную подошел, наконец, Белинский к давно задуманным и давно обещанным статьям о Пушкине. Преклоняясь перед художественной мощью этого поэта, Белинский именно эту художественность поставил во главу угла настоящих своих статей, он сделал Пушкина главным выразителем теории „искусства для искусства“ и назвал эту теорию уже миновавшим фазисом развития русской литературы, русского сознания; он связал этот миновавший фазис с условиями социального развития России и увидел в Пушкине „идеолога дворянства“, выражаясь современными терминами. И все это— на фоне восторженного восхищения красотой и художественной мощью поэзии Пушкина; восхищение это оставалось неизменным с начала и до конца этих „пушкинских статей“, с 1843-го до 1846-го года, хотя в других отношениях Белинский за это время все более и более охладевал к Пушкину.

Два-три примера: в начале 1841 года, в статье о стихотворениях Лермонтова (№ 21) Белинский говорил о Пушкине, что „во всех томах его произведений едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное выражение, даже слово“; а три года спустя, в обзоре русской литературы за 1844 год (№ 40), одновременно с восьмой-девятой из настоящих „Пушкинских статей“, Белинский подвергает придирчивому и несправедливому анализу со стороны слога прелестное послание Пушкина к Языкову, находя неточными, слабыми и непонятными такие выражения, как „удалое послание“, „молодое буйство“, „разымчивая, хмельная брага“, „свободная жажда“. Другой пример: прежде Белинский видел в Пушкине не только колоссальный творческий дар, но и великую умственную силу, а под конец своих „пушкинских статей“, в 1846 г., он указывает на Пушкина и на Гоголя, как на пример „художественных натур“, у которых „ум уходит в талант, в творческую фантазию; и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди—ограничены и чуть не глупы“... (письмо к Герцену от 6 апреля 1846 года). Как ни несправедливо подобное отношение к Пушкину— в котором даже мало компетентный в этом Николай I видел „самого умного человека в России“,—однако характерно здесь прежнее преклонение Белинского перед „художественностью“ природы Пушкина: в этом, повторяю, заключается лейт-мотив его настоящих „пушкинских статей“. Я подробно остановлюсь на этих статьях, которыми Белинский навсегда, неразрывно связал свое имя с именем Пушкина.

Непосредственным введением к этим статьям явилась статья о Державине (№ 37). Но это введение было, так сказать, введением „от-противного“: Белинский доказывал, что Державин не был „поэтом-художником“; в Пушкине же, наоборот, Белинский видел по преимуществу поэта-художника. Каким образом стал возможен в русской литературе поэт-художник?—вот вопрос, который Белинский решает в первой, второй и третьей из настоящих статей. Решение это—историко-литературное: Белинский перебрасывает мост от Державина к Пушкину, характеризуя сперва писателей XVIII века,

<sup>1)</sup> Замечу кстати, что этот „общественный критерий“ творчества Пушкина был по существу повторением аналогичных мыслей Полевого, высказанных еще в начале 30-х годов и вызывавших ранее резкий отпор со стороны Белинского. Особенно ясно сказалось влияние мыслей Полевого на понимании Белинским „Бориса Годунова“, как это еще будет отмечено ниже.

одновременных Державину, а затем Карамзина, Жуковского и Батюшкова, как непосредственных предшественников Пушкина в том или ином отношении. Все это вместе должно было составить, по мысли Белинского, обширную „критическую историю русской поэзии“—т.-е. главнейшую часть той „Критической истории русской литературы“, над которой Белинский работал, начиная с 1841 года и которую он так и не написал в виде цельной книги. Но это и не существенно: в ряде разрозненных статей Белинского мы имеем цельную и единственную в своем роде историю русской литературы; в статьях этих (№№ 28, 34, 37, 45) впервые была вскрыта внутренняя связь, внутреннее развитие русской литературы от Кантемира и Ломоносова до Пушкина включительно.

Изучая это развитие, Белинский окончательно отказался от своего ошибочного и не-исторического взгляда на бессвязность явлений русской литературы; еще в 1840 году Белинский настаивал на прежнем своем тезисе—„у нас нет литературы“—и спрашивал: „где ее историческое развитие? Скажите, в каком отношении находятся между собою эти поэты—Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков? Докажите, что Жуковский непременно должен был явиться после Карамзина, а не прежде, Озеров и Батюшков—не прежде их обоих! Нет, каждый из них действовал сам по себе и от себя, независимо от прошедшего, не спрашиваясь у настоящего“... (ст. № 22). Мы знаем, что к 1842—1843 году Белинский отказался от этой ошибочной точки зрения (ст. № 25); он признал, что в русской литературе есть история, есть внутреннее развитие—и подробно остановился на изучении этого развития в настоящих „пушкинских статьях“. Во второй из настоящих статей, как бы отвечая самому себе на приведенное выше мнение 1840 года, Белинский доказывает, что „явление Жуковского вскоре после Карамзина очень понятно и вполне согласно с законами постепенного развития литературы, а через нее и общества“. Еще подробнее и общее говорит об этом Белинский во введении к настоящим статьям: „наблюдая за ходом отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были в прошедшем отыскивать причины настоящего и прозревать в историческую связь явлений. Чем более думали мы о Пушкине, тем глубже прозревали в живую связь его с прошедшим и настоящим русской литературы и убеждались, что писать о Пушкине—значит писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утешительна: она показывает, что, несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое развитие, следственно у нее есть история“... Основные вехи этой истории Белинский и намечает в настоящих статьях, задаваясь целью „проложить другим дорогу там, где еще не протоптано и тропинки“. И несмотря на частичные ошибки и заблуждения, дорога, проложенная Белинским, до сих пор остается и навсегда останется не минуемой для всякого историка русской литературы.

Обратимся к этим главным вехам нашего литературного развития, намечаемым в настоящих статьях Белинским—к Карамзину и Жуковскому, т.-е. сентиментализму и романтизму, которые пришли на смену ложно-классицизму XVIII-го века. О Карамзине и отношении к нему Белинского уже приходилось говорить в предыдущих заметках (см. ст. № 28) и еще придется ниже, когда речь пойдет о понимании Белинским „Боряса Годунова“; во второй из настоящих статей Белинский подробно развивает те мысли о Карамзине, которые он высказал еще в 1834 и 1841 гг. в „Литературных Мечтаниях“ и в обзоре русской литературы за 1841 год. Но теперь Белинский вносит и много нового в свое понимание значения Карамзина: прежде он обращал главное внимание на его стилистическую реформу, теперь же он показывает зависимость этой внешней перемены от более глубоких, внутренних причин; по великолепному слову Белинского, „галлицизм выражений“ Карамзина был только следствием „галлицизма мыслей“ его, ибо „новые идеи—естественно требовали и нового языка“. Эти новые идеи—человечность, „жизнь сердца“, вообще все то, что объединяется термином



„сентиментализм“; сущность этого течения впервые была так подробно исследована Белинским.

Еще подробнее остановился он на Жуковском. Хотя Белинский и считал его первым представителем русского романтизма и даже заявлял, в полемике с Шевыревым свой приоритет в выражении и развитии этой мысли, однако еще настойчивее указывал Белинский на сентиментальные черты романтизма Жуковского. Мысль эта только недавно стала безусловно признанной (после появления в 1904 году монографии А. Н. Веселовского „В. А. Жуковский“); а между тем эту мысль Белинский не уставал твердить с самого начала своей критической деятельности. Еще в „Литературных Мечтаниях“ Белинский указывал на „одностороннюю мечтательность“ Жуковского и на то, что „у него часто под самыми роскошными формами скрываются как будто карамзинские идеи“. По угодью позже, в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“, Белинский еще определеннее подчеркнул, что „Жуковский ввел литературный мистицизм, который состоял в мечтательности, соединенной с ложным фантастическим, но который в самом-то деле был не что иное, как несколько возвышенный, улучшенный и подновленный сентиментализм“. Эта блестящая характеристика остается и до сих пор справедливой, хотя сам Белинский иногда противоречил ей, заявляя, например, что Карамзин никогда не был поэтом „и, следовательно, на Жуковского, как поэта, никакого влияния иметь не мог“ (статья „Литературное объяснение“, в „Моск. Набл.“ 1838 г.) Однако такое утверждение оказалось случайным, высказанным в пылу полемики—и Белинский более к нему не возвращался. Он пришел к мысли видеть в Жуковском представителя русского романтизма и впервые развил эту мысль в начале 1842 года; но при этом он продолжал повторять свою мысль о карамзинских влияниях в поэзии Жуковского. В обзоре русской литературы за 1841 год Белинский подробно остановился на Жуковском; снова подчеркивая там введение им романтизма в русскую литературу, Белинский по-прежнему указывает на „однообразно-унылое чувство“ его поэзии, которое „нередко походит на чувствительность“. Наконец, в статье о Баратынском, написанной уже в конце 1842 года, Белинский опять и опять повторяет эти два своих мнения—о введении Жуковским романтизма и в то же время о сентиментализме его: „Жуковский был не больше, как даровитый ученик Карамзина, шагнувший дальше своего учителя“, говорят там Белинский. Все эти мысли Белинский сконцентрировал и окончательно развил во второй из настоящих „пушкинских статей“. Он указывает здесь, что Жуковский является „одним из знаменитейших“ деятелей карамзинского периода русской литературы, что в своих оригинальных произведениях Жуковский „является писателем, совершенно подчиненным влиянию Карамзина“, что его склад ума, взгляд на предметы, характер слога и языка—чисто карамзинские. Эта глубоко верная мысль Белинского о сентиментализме Жуковского почему-то осталась незамеченной последующими историками русской литературы; во всяком случае на нее до последнего времени не обращали серьезного внимания, усиленно подчеркивая другую указанную Белинским сторону—романтизм поэзии Жуковского.

Начиная с двадцатых годов, не прекращались в русской литературе споры о „романтизме“, и Белинский не один раз возвращался к характеристике этого спора и к выяснению встречающихся в нем понятий и терминов. Но только во второй из настоящих статей, разбирая подробно поэзию Жуковского, Белинский вплотную подошел к вопросу о том, что такое романтизм, и дал решение этого вопроса. Впервые романтизм был определен так глубоко: не как литературное течение, а как психологическая категория и система мировоззрения. Романтизм, по Белинскому, есть „внутренний мир души человека“, в глубине и основе которого неизбежно лежит мистицизм. При таком широком определении <sup>1)</sup> Белинский неизбежно должен был найти

<sup>1)</sup> См. подробное развитие его в моей книге—„Ист. русск. общ. мысли“, т. I, гл. II. О романтизме см. еще указанную выше монографию А. Н. Веселовского, а также статьи С. Аскольдова „О романтизме“ („Вопросы жизни“, 1905 г.) и С. Адрианова „Что такое романтизм“ („Вестник самообразования“, 1904 г.).

романтизм даже в древне-греческом мире, что некоторым казалось странным по причинам чисто-терминологическим; а между тем только именно такое обобщенное определение пропикает в самую глубь вопроса о романтизме. Определение это не было достаточно оценено в свое время, и только сравнительно недавно были сделаны попытки вернуться к точке зрения Белинского.

С этой точки зрения Белинский приступил к характеристике „романтической“ поэзии Жуковского. Он не заметил, что у Жуковского нет главного основного, им же, Белинским, указанного признака романтического миропонимания — мистицизма, что его романтизм есть псевдо-романтизм, что мистицизм заменен у него рассудочным пиегизмом; Белинский недостаточно оценил вес им же самим указанных сентименталистических веяний в якобы „романтическом“ творчестве Жуковского. Но тем характернее резкая отрицательная критика Белинским „фантастических“ баллад этого поэта: Белинский ясно вскрыл всю неубедительность, всю реалистичность этой надуманной фантастики. Однако цель этой критики у него была другая: не „псевдо-романтизм“ Жуковского хотел обрисовать Белинский, но нападал на всякий романтизм вообще, во имя и во славу реалистического миропонимания. Мы уже не один раз видели, что после кризиса 1840—1841 года Белинский стал в резкую оппозицию былым своим романтическим настроениям; во второй из настоящих статей мы находим окончательное сведение счетов Белинского с отныне ненавистным ему „романтизмом“, под которым Белинский будет теперь понимать мистицизм, фантастику, всякую „мечтательность“ и всякого рода попытку уйти чувством или мыслью из окружающего нас мира действительности. Теперь Белинский считает такой романтизм отжившим свое время: „XVIII век — говорит он — дорезал его радикально. Этот умнейший и величайший из всех веков был особенно страшен для средних веков“...

Это восхищение веком рационализма очень характерно для Белинского сороковых годов; в тридцатых годах Белинский, как мы знаем из его статей 1838—1840 гг., ненавидел этот наиболее позитивный из всех веков. Теперь Белинский, восторгаясь Шиллером, отрицательно относится к „романтическим“ сторонам его творчества; повторяя свое прежнее сравнение Гёте с Шиллером, высказанное еще в статье о стихотворениях Баратынского, Белинский провозглашает, что „гений Шиллера ничем не ниже гения Гёте“, что „мысль считать Шиллера ниже Гёте — и нелепа, и устарела“; но тут же он высказывает свое отрицательное отношение к „романтическим“ балладам Шиллера, сожалеет, что столько пушечных зарядов таланта потрачено по воробьям, и объясняет эту сторону творчества Шиллера — „невольной данью своей национальности“, „которой умственную жизнь составляет теория, созерцание, мистицизм и фантазерство“. Это отношение к немцам, к Шиллеру, романтизму — опять-таки крайне характерно для Белинского начала сороковых годов, как мы это уже не один раз отмечали. И чем дальше, тем это отношение Белинского к романтизму становилось все отрицательнее и резче, так что в седьмой из настоящих статей, написанной в 1844 году, Белинский уже определяет романтическое, как „все негочное, неопределенное, сбивчивое, неясное, бедное положительным смыслом при богатстве кажущегося смысла“. Мы увидим еще, как беспощадно расправился Белинский с таким „романтизмом“ в своем обзоре русской литературы за 1847 год. Теперь, в 1843 году, во второй из „пушкинских статей“, он еще не порывает всех связей с „романтизмом“, и хотя резко восстает, во имя реалистического миропонимания, против „мистицизма и фантазерства“, однако признает все-таки желательность синтеза между личным и общим, т.-е. между „романтикой“, внутренней, задушевной стороной сердца, и реалистическим мировоззрением, „выходящим из сферы индивидуальности и личности“. С этой точки зрения Белинский подчеркивает и значение Жуковского, в поэзии которого впервые зазвучали мотивы „романтики сердца“, индивидуального преломления жизни“; это было неизбежной ступенью к поэзии Пушкина. „Жуковский был первым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни“, — резюмирует Белинский и переходит к Батюшкову.

Почти вся третья статья посвящена этому поэту, подробному анализу его творчества; в статью эту и в следующие в переработанном виде вошла значительная часть

из статьи о „Римских элегиях“ Гете. Мы не будем останавливаться подробно на характеристике Белинским Батюшкова; достаточно указать, что в этом поэте он справедливо видит дальнейшую ступень развития русской поэзии, непосредственно ведущую к поэзии Пушкина. „Что Жуковский сделал для содержания русской поэзии, то Батюшков сделал для ее формы: первый вдохнул в нее душу живую, второй дал ей красоту идеальной формы“, — говорит Белинский и видит в Батюшкове непосредственного предшественника Пушкина в этом отношении. Таким образом подходит Белинский к Пушкину и обращается к нему в четвертой из настоящих статей.

С тех пор — с 1843 года — о Пушкине создалась целая литература, стало известным неизвестное Белинскому, а потому неудивительно что целый ряд фактических указаний Белинского о стихотворениях Пушкина является ошибочным. Но, разумеется, дело не в этих неизбежных в то время ошибках, а в общем взгляде Белинского на всю сумму поэтического творчества Пушкина. Прошло три четверти века после этого критического анализа стихотворений Пушкина в четвертой и пятой из настоящих статей Белинского — и до сих пор этот анализ остался единственным, оценивающим и группирующим лирические произведения нашего великого поэта. С тем большим вниманием должны мы отнестись к этим критическим взглядам Белинского и к его пониманию и освещению пушкинского творчества.

В четвертой статье Белинский наскоро группирует и оценивает лицейские стихотворения Пушкина и последующие его стихотворения 1818—1825 гг., большая часть которых отнесена Белинским к числу „переходных“; цель этой четвертой статьи — показать связь поэзии Пушкина с поэзией его предшественников. Только с пятой статьи, появившейся уже в 1844 году, Белинский начинает критический анализ творчества Пушкина эпохи его расцвета; а поэтому статья эта и начинается обширным введением о критике о ее задачах. Мысли эти давно занимали Белинского и иногда он посвящал их развитию обширные статьи (см., напр., ст. № 10, 34); здесь он с особенной яркостью формулирует эти свои мысли в несколько новых формах. Он подробно развивает теорию критического вчувствования — так следует назвать его теорию современными терминами, — теорию необходимости перечувствовать, пережить, перестрадать горести и радости поэта, чтобы понять и оценить его произведения, чтобы уразуметь пафос его поэзии, его творчества. Пафос, это — живой нерв творчества поэта, его преобладающая страсть, его любовь и ненависть, его сознательная или бессознательная святость, его миропонимание, мировосприятие; главная задача всякой критики — определение этого пафоса того или иного писателя, того или другого произведения или суммы их. За несколько лет перед этим Белинский не употреблял этого термина, а просто говорил о содержании творчества: „содержание — писал он в обзоре литературы за 1841 год — есть мирозерцание поэта, его личное ощущение собственного пребывания в лоне мира и присутствие мира во внутреннем святилище его духа“. Но слово „содержание“ имеет уже слишком установившееся значение, так что Белинский заменил его и ранее употреблявшимся им словом „пафос“, употребленным в этом смысле еще Гегелем в его эстетике (Hegels Werke, V. X, T. I, S. 252 sqq.). Однако дело не в терминах: как бы ни называть сущность творчества поэта, несомненно во всяком случае, что именно выяснение этой сущности — основная, главная задача критики. В процессе критики необходим и психологический анализ, и изучение окружающей поэта среды, социальных и классовых влияний и т. п. — но все это только подготовительным материалом для окончательной эстетической и философской оценки поэта, пафоса его творчества.

Что же считает Белинский таким пафосом пушкинского творчества? Я уже говорил об этом в начале настоящей заметки; Белинский дает на это ответ на первых же страницах пятой статьи: „Пушкин был призван — говорит он — быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию, как искусство, как художество“... Вот центральная, основная мысль, которая проходит через все эти „пушкинские статьи“ Белинского и объединяет их в одно целое; мыслью этой Белинский начинает первую из этих статей и кончает последнюю из них, но особенно подробно эта мысль развивается

в пятой статье — мысль „о художественности, как преобладающем пафосе поэзии Пушкина“. Пафос Пушкина, говорят Белинский — поэзия-искусство, искусство, как искусство. Мы знаем, как относился Белинский в сороковых годах к такому взгляду на искусство: еще в статье 1842 года о „Речи“ Никитенко он во всеуслышание отказался от прежних своих эстетических взглядов и теории „искусства для искусства“; он указал, что „наш век особенно враждебен такому направлению искусства“; что искусство должно быть „осуществлением в изящных образах современного сознания, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия“... Такого искусства Белинский не находил, не видел в Пушкине. Но тут же Белинский указывал, что теория самоцельности искусства неизбежна и необходима, как „первый момент“ процесса постижения искусства: „миновать этот момент — значит никогда не понять искусства; остаться при этом моменте — значит односторонне понять искусство“ (см. ст. № 34).

Эти же мысли Белинский повторяет и теперь, в статьях о Пушкине 1843—1846 гг. В начале третьей статьи он указывает, что „искусство, не будучи прежде всего искусством, не может иметь никакого действия на людей, каково бы ни было его содержание“; но тут же он повторяет, что этим не исчерпываются требования, предъявляемые к искусству. Искусство-самоцель есть только „первый момент“; в дальнейшем своем развитии искусство должно встать в тесные соотношения „с жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни“, — говорит Белинский в начале пятой из настоящих статей. Итак, с одной стороны, „поэзия прежде всего должна быть поэзией“, искусство „составляет собою одну из абсолютных сторон духа человеческого“, а с другой — такое понимание есть только первая ступень в эволюции поэзии: все это объясняет отношение Белинского к поэзии Пушкина. В поэзии его Белинский видел только „первый момент“ развития поэзии в России; он видел в ней то самое „искусство для искусства“, которое нельзя миновать, но на котором нельзя и остановиться. Вот почему, разбирая в конце пятой статьи знаменитый пушкинский „Ямб“ („Чернь“), Белинский с полным сочувствием относится к заключающейся там проповеди эстетического индивидуализма, которая, казалось бы, была совершенно неприемлема для Белинского сороковых годов, с его девизом — „социальность“: он принимает этот эстетический индивидуализм только как „первый момент“, только как тезис, неверный без антитезиса и синтеза. Таким тезисом, таким „первым моментом“ была для Белинского поэзия Пушкина — и вот причина, по которой Белинский считал поэзию Пушкина уже прошедшим моментом развития русской литературы: это свое убеждение Белинский высказал на первых же страницах введения к настоящим статьям. Правда, этот прошедший момент развития Белинский признает великим, он „с любовью, но без ослепления“ преклоняется перед Пушкиным, перед всеобъемлемостью его гения (мысль, впоследствии подробно развитая Достоевским в знаменитой пушкинской речи), перед удивительной простотой, пластичностью, мощью и художественностью его стиха; все это так, но несмотря на это Пушкин не современный поэт, — думает Белинский, — ибо пафосом его поэзии является только художественность, только искусство, только красота. А современный поэт должен, кроме всего этого, быть еще и провозвестником „современного сознания, современной думы о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия“...

Так определяет, так понимает Белинский творчество Пушкина, так оценивает великий критик великого поэта. Насколько оценка эта остается в силе до настоящего времени? Или, иными словами: действительно ли Белинскому удалось определить пафос пушкинского творчества? Теперь, на расстоянии трех четвертей века нам, разумеется, многое должно представляться в ином свете, чем в свое время Белинскому, но все таки и до сих пор основная мысль „пушкинских статей“ Белинского остается в силе, хотя и с очень значительным дополнением. Белинский проникательно отметил эстетический индивидуализм Пушкина, указав на художественность, как на пафос его творчества, но он не обратил достаточно внимания на внутренний пафос поэзии Пуш-

жина, он не заметил, что у Пушкина есть свои глубокие и затаенные думы „о значении и цели жизни, о путях человечества, о вечных истинах бытия“. Этим внутренним пафосом поэзии Пушкина является сама жизнь, идея „приятия мира и жизни“, какова бы ни была эта жизнь—и мы знаем, что именно это было особенно дорого Белинскому в Пушкине в эпоху принятия Белинским „разумной действительности“. И в настоящих статьях Белинский не один раз указывает мимоходом на эту сторону пушкинского миропонимания, но не замечает, что в ней-то и скрыт внутренний пафос поэзии Пушкина, делающий эту поэзию великой и „мировой“ не только по форме, но, вопреки мнению Белинского, и по содержанию.

Еще в четвертой из настоящих статей, разбирая одно из „переходных“ стихотворений Пушкина („Друзьям“), Белинский указывает, что грусть Пушкина была грустью души мощной и крепкой и что она всегда сменялась „бодрым и широким размахом проясневшей души“. И эту вполне верную мысль Белинский не устает повторять и подчеркивать. Разбирая в пятой статье стихотворение „19 октября 1825 г.“, Белинский снова замечает: „ве в духе Пушкина остановиться на скорбном чувстве... Пушкин не дает судьбе победы над собою, он вырывает у нее хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на „здесь“ указывал ему как на источник и горя, и утешения и заставлял его искать целение в той же сущности, где постигла его болезнь“... Нельзя лучше вскрыть внутренний пафос поэзии Пушкина, чем это сделано в приведенных словах Белинского, а также и в следующих, десятком страниц ниже: „он—говорит Белинский о Пушкине—ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна; она умирает муки души и целит раны сердца“... Приводя последнее четверостишие из „Брожу ли я вдоль улиц шумных“, Белинский замечает: „из этого, как из многих, особенно больших, пьес Пушкина, видно, что он поставлял выход из диссонансов жизни и примирение с трагическими законами судьбы не в заоблачных мечтаниях, а в опирающейся на самое себя силе духа“... Наконец, говоря о тех стихотворениях Пушкина, в которых слышны муки сомнения или вопль отчаяния, напр., в „Демоне“ или в „26 мая 1828 года“ („Дар напрасный, дар случайный“),—Белинский замечает по поводу последней пьески: она „есть не что иное, как порождение одной из тех тяжелых минут нравственной алатии и душевного отчаяния, которые неизбежны,—как минуты,—для всякой живой и сильной натуры; но она отнюдь не есть выражение пафоса пушкинской поэзии, а скорее—случайное противоречие пафосу его поэзии“ (подч. мной). И в последующих строках Белинский отождествляет этот пафос Пушкина с признанием „разумной действительности“.

Последнее тождество ошибочно, так как пушкинское „приятие мира“ далеко не тождественно былому преклонению Белинского пред „разумной действительностью“. Однако дело не в этом, а в том, что Белинский с удивительной проницательностью определил истинный пафос пушкинской поэзии—его „приятие мира“; повторяю, невозможно лучше и вернее определить „пафос“ пушкинского творчества, чем это сделал Белинский в приведенных выше замечаниях. Но—удивительное дело!—определив так отчетливо пафос, содержание, сущность пушкинской поэзии, Белинский тут же, на тех же страницах отказывается видеть в этой сущности хоть что либо, заслуживающее серьезного внимания, а потому продолжает считать сущностью поэзии Пушкина только художественность, только эстетический индивидуализм поэта. Он указывает, что публика не была в состоянии оценить все совершенство этой художественности пушкинского творчества, но что, с другой стороны, публика эта „в праве была искать в поэзии Пушкина более нравственных и философских вопросов, нежели сколько находила их—и это, конечно, была не ее вина“... Итак, вот в чем дело: глубочайший пафос поэзии Пушкина, его „приятие мира“ и разрешение в этом смысле всех нравственных и философских вопросов—все это не удовлетворяло Белинского, всецело отдавшегося в это время идее „социальности“ и общечеловеческого прогресса; и это помешало Белинскому

оценить всю силу и глубину пушкинского миропонимания. Белинский не мог заметить поэтому, что „художественность“ является только эстетическим эквивалентом пушкинского „приятия мира“, точно так же как „приятие мира“ является только философским эквивалентом „художественности“ Пушкина. Эти два „пафоса“ пушкинского творчества настолько же нераздельно едины, как форма и содержание: они проникают друг друга, они являются телом и душой пушкинской поэзии.

Отчего же однако Белинский, с такой удивительной ясностью вскрывший оба эти „пафоса“ поэзии Пушкина, не увидел их нераздельности и, настойчиво подчеркивая внешний пафос пушкинского творчества, не воздал должного его внутреннему пафосу? Причина очевидна и я на нее указал выше: Белинского не удовлетворяло пушкинское „приятие мира“, строгое и тяжелое миропонимание, оправдывающее жизнь перманентно, ею же самою: Белинский в это время (1843—1846 гг.) был уже верующим „социалистом“, убежденным проповедником теории прогресса, теории, оправдывающей жизнь не ею самою, а бесконечно отдаленными последствиями ее. Обратите внимание на обширные комментарии Белинского к „Теону и Эсхину“ Жуковского, во второй из настоящих статей: ведь это громкий, восторженный гимн трансцендентному оправданию жизни идеей прогресса, идеей „человечества“... Непостижимое там Жуковского Белинский видит здесь, на земле; для него „два противоположные берега—здесь и там—сливаются в одно реальное небо исторического прогресса, исторического бессмертия“... И с восторженной верой предсказывает Белинский „радостные дни нового тысячелетнего царства Божия на земле“; с восторженной верой слышит он голос свыше: „борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты—братья твои наслаются им и восхвалят вечного Бога сил и правды!“ И он готов повиноваться этому голосу: „благо тому,—воскликает он в экстазе,—кто, падая в борьбе за светлое дело совершенствования, с упоением страстного блаженства погружался в успокоительное лоно силы, вызвавшей его на дело жизни, и восклицал в священном восторге: все тебе и для тебя, а моя высшая награда—да святится имя твое и да придет царствие твое“...

Это восторженное исповедание веры проходит через все настоящие статьи; я привел только наиболее яркое место, читатель сам найдет подобные во второй, пятой, шестой и последней из этих статей, т.-е. на всем протяжении от 1843 до 1846 года. Понятно теперь, почему Белинский не мог оценить пушкинское миропонимание, столь далекое от этой горячей веры в прогресс: в этом случае Белинский лишен был возможности критического вчувствования в круг пушкинского переживания, а между тем сам же он объявил такое вчувствование необходимым для понимания и оценки поэта. Это не помешало ему с глубокой проникательностью вскрыть и осветить внутренний пафос пушкинской поэзии, но помешало поставить его на должное место и осветить им—а не одной только „художественностью“—все творчество Пушкина, но помешало увидеть в Пушкине великого „мирового“ поэта с вечно неумирающим содержанием поэзии. Несколько ниже мы увидим, что в последних из настоящих статей (начиная со статьи восьмой) Белинский прибавил еще несколько очень существенных штрихов к своей характеристике Пушкина, но эти новые штрихи только еще сильнее подчеркнули „социальную“ точку зрения Белинского и еще более затушевали значение пушкинского миропонимания и мировосчувствования.

Отлагая общие выводы до конца настоящей заметки, обращаюсь к дальнейшему течению „пушкинских статей“ Белинского; остановившись так долго на главном вопросе об основной точке зрения Белинского на поэзию Пушкина, не буду подробно разбирать отдельные взгляды Белинского на те или иные произведения великого поэта, а ограничусь только наиболее существенным. Шестая статья посвящена разбору юношеских поэм Пушкина. К „Руслану и Людмиле“ Белинский отнесся чрезмерно строго, подчеркивая художественную „незначительность“ этой юношеской поэмы; но тут же Белинский указал на громадное значение этой поэмы для своего времени, а также на элемент отрицательного отношения молодого Пушкина к „псевдо-романтизму“ (пародия на „Две-

надцать спящих дев“ Жуковского в четвертой песне „Руслана и Людмилы“). Переходя к „Кавказскому Пленнику“, Белинский замечает, что герой этой поэмы начнет являться и в следующих пушкинских поэмах: „следя за ним, вы беспрестанно застаёте его в новом моменте развития, и видите, что он движется идет вперед, делается сознательнее, а потому и интереснее для вас“; мысль эта стала вскоре ходячей—и теперь в каждом учебнике можно найти указание на внутреннюю связь Пленника, Алеко, Онегина. Кстати сказать, большинство современных Белинскому критиков считало автора „Кавказского Пленника“ и „Цыган“—байронистом; Белинский тоже признавал несомненное влияние Байрона на Пушкина но в то же время впервые указал (в десятой статье), что „невозможно предположить более анти-байронической... природы, как натура Пушкина“—опять-таки мысль безусловно верная и впоследствии сделавшаяся общепризнанной.

Седьмую статью Белинский начинает с подробного разбора „Цыган“. Свое отношение к этой поэме он вполне выразил еще в 1839 году в письме к Станкевичу; восхищаясь художественностью Пушкина, Белинский писал: „его натура художественная была так полна, что в произведениях искусства казнила беспощадно его же рефлексию: в лице Алеко... Пушкин бессознательно бичевал самого себя, свой образ мыслей и, как поэт, чрез это художественное объективирование освободился от него навсегда“... В настоящей же статье Белинский говорит не столько о „Цыганах“, сколько по поводу „Цыган“: пользуясь случаем, Белинский высказывает свои заветные взгляды на женщину, на любовь, на ревность, на брак. Мы знаем, каковы были эти взгляды Белинского сороковых годов,—знаем по его переписке, знаем по его статьям: это были взгляды „сенсимонистские“. Животная чувственность без любви бывает только в браках,—говорит Белинский и прибавляет: „брак есть обязательство—и может быть оно так там и нужно“... Это презрительное замечание сразу характеризует „сенсимонистский“ взгляд Белинского. Таким же „сенсимонизмом“ проникнуто и обширное рассуждение Белинского о ревности Алеко; впрочем трудно назвать „рассуждением“ пылкую атаку против этого ненавистного, „унижающего человеческое достоинство“ чувства. Решение этого вопроса Белинский дает чисто рационалистическое, обычное для всякой системы утопического социализма: пока есть любовь—не должно быть ревности, когда есть ревность—не должно быть любви; следовательно ревность есть логическая и нравственная бессмыслица...

В восьмой статье (1844 г.) Белинский подходит, наконец, к „Евгению Онегину“ и продолжает разбор этого романа в девятой статье (1845 г.), посвященной Татьяне. В этой последней статье мы имеем дальнейшее развитие „сенсимонистских“ воззрений Белинского на женщину, на любовь, на брак: все это повлияло на обвинительный приговор, вынесенный в конце концов Белинским Татьяне. Белинский был несправедлив в своей оценке этой лучшей „русской женщины“ своего времени, потому что не хотел судить ее с единственно возможной исторической точки зрения; он был настолько несправедлив в своей оценке этого величайшего из пушкинских созданий, что ставил выше Татьяны Марию из „Полтавы“. „Творческая кисть Пушкина—говорит Белинский в конце седьмой из настоящих статей—нарисовала нам не один женский портрет, но ничего лучше не создала она лица Марии. Что перед нею эта препрославленная и столько восхищавшая всех и теперь еще многих восхищающая Татьяна—это смешение деревенской мечтательности с городским благоразумием?...“ Причины такого крайне неверного и пристрастного отзыва очевидны: Мария пожертвовала всем для любимого человека, она пренебрегла пересудами молвы, она отдалась без условий: а Татьяна любит Онегина, но остается верна своему мужу, старому и чванному генералу... Это давно уже заставило Белинского признать Татьяну виновной в профанации чувства любви, в профанации всего того, что должно для женщины быть дороже жизни. Когда невеста Белинского не хотела ехать венчаться к нему в Петербург из боязни „общественного мнения“, то он, возмущенный, писал ей: „о, я понимаю теперь, почему вы так заступаетесь за Татьяну Пушкина и почему меня это всегда так бесило и печаливало, что я не мог говорить с вами порядком и толковать об этом предмете!“ (письмо от 4 окт. 1843 г.). Еще полтора годами ранее Белинский обменялся мнениями о Тать-

яве с Боткиным: Боткин писал ему, что замужняя Татьяна, любящая Онегина и все-таки продолжающая жить с мужем—омерзительное нравственное явление; при этом он характеризовал Татьяну резким термином, который, говоря словами Белинского, позволено употреблять в одних словарях, да и то только в самых обширных... Этим термином Белинский называл когда-то всякую „эмансипированную женщину“; теперь Боткин, с одобрения Белинского, называет этим словом Татьяну...<sup>1)</sup> „О Татьяне... согласен,—отвечает Боткину Белинский (4 апр. 1842 г.):—с тех пор, как она хочет век быть верною своему генералу<sup>2)</sup>...—ее прекрасный образ затемняется“. И в своей девятой статье Белинский всецело повторяет такое суждение о Татьяне, разбирая ее „отповедь“ Онегину: это не разбор, а несправедливый, пристрастный обвинительный акт. В этих горьких и метких словах Татьяны, окончательно вскрывающих сущность характера Онегина, Белинский видит только „месть за оскорбленное самолюбие“, „страх за свою добродетель“, „трепет за свое доброе имя в большом свете“... И эту свою ненависть Белинский переносит даже на Татьяну первых глав романа, обзывая ее „нравственным эмбрионом“...

Все это крайне характерно для „нейстового“ и в любви и в ненависти великого критика. „Сенсимонистский“ взгляд на женщину заставил Белинского подойти к Татьяне—русской девушке начала двадцатых годов—с абсолютным критерием, не обращающим внимания на какую бы то ни было историческую почву. И это помешало Белинскому оценить всю глубину натуры „бедной Тани“, это заставило его вынести ей суровый обвинительный приговор—который почти пол-века держался в русской критической литературе, но который должен быть признан несправедливым и ошибочным<sup>3)</sup>. Но все это не помешало Белинскому оценить поэтическую прелесть образа Татьяны: Белинский дал увлечь себя предвзятому чувству только на нескольких последних, резюмирующих страницах девятой статьи, когда Татьяна предстала перед ним в роли великосветской дамы. Наоборот, в первой, большей части этой статьи Белинский говорит о Татьяне с восторженным сочувствием, превознося „великий подвиг“ Пушкина, заключающийся в том, „что он первый поэтически воспроизвел в лице Татьяны русскую женщину“; Белинский называет здесь Татьяну „гениальной натурой“, „истинно-колоссальным исключением“, и вообще как бы перегибает палку в другую сторону. Это одна из самых блестящих статей Белинского и она никогда не утратит своей ценности; чего стоит хотя бы одна блестящая характеристика типа „уездных барышень“ и „идеальных дев“, служащая вступлением к знакомству с Татьяной! И если резкий заключительный вывод Белинского, как я уже сказал, не может быть принят в настоящее время, то вся его статья в целом до сих пор является одной из наиболее ценных среди многочисленных позднейших характеристик Татьяны.

С еще большим основанием можно повторить это о восьмой статье Белинского, об его характеристике Онегина и Ленского. Если в характеристике Ленского еще проглядывает слишком явная антипатия Белинского сороковых годов к „романтизму“, то характеристика Онегина является образцом тонкого анализа и глубокого понимания намерений автора. Но не буду останавливаться здесь на этом анализе, а скажу только о той общей точке зрения, с которой Белинский рассматривает тип Онегина и с которой он приходит к определенным выводам о самом Пушкине. Подходя к изучению типа Онегина, Белинский прежде всего характеризует ту историческую почву, на которой мог вырасти этот тип—и это, несомненно, единственный возможный путь для правильного понимания Онегина, который был неизбежным результатом строго-определенных социальных условий. Вообще говоря, „социологический метод“ в критике необ-

1) „... Как я высоко ни ставлю „Онегина“..., не могу я примириться с положением Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцию с своим старым генералом“ (письмо к Белинскому от 22 марта 1842 года).

2) Пропускаю четыре слова, неудобных в печати.

3) О Татьяне, Онегине и вообще Пушкине—см. мою статью „Евгений Онегин“ в т. III собр. соч. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрон.



ходим, как одна из ступеней, ведущих к обобщающему, критическому синтезу; Белинский первый положил основание этому методу в русской критике. Но, определив Онегина, как неизбежный продукт русского дворянства начала XIX века, Белинский вполне основательно не остановился на этом выводе, и перенес его на самого творца этого типа. Выражаясь современными терминами, можно сказать, что Белинский увидел в Пушкине „идеолога дворянства“: эту мысль Белинский настойчиво подчеркивает, начиная с восьмой из настоящих статей, и это было тем новым штрихом характеристики Пушкина, о котором у нас была уже речь выше. В „Евгении Онегине“, — говорит Белинский, — особенно ясно отразилась личность поэта и его идеалы: „везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классѣ на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина“... А в десятой статье Белинский даже прибавляет, что Пушкин „в душе был больше помещиком и дворянином, нежели сколько можно ожидать этого от поэта“... Так это или не так, но во всяком случае Белинский отметил этим важный факт для понимания Пушкина: действительно, Пушкин тридцатых годов очень часто был или хотел быть „идеологом дворянства“; без этого штриха будет неполна его характеристика и будут непонятны многие из его литературных и общественных взглядов.

Пушкин — дворянин, Пушкин — помещик: эти штрихи, — сказал выше я, — еще сильнее подчеркнули „социальную“ точку зрения Белинского, но в то же время еще более затушевали безотносительную ценность пушкинского миропонимания. Повторилась та же история, как и при определении внешнего и внутреннего пафоса пушкинского творчества: сосредоточив главное внимание на оценке эстетического значения Пушкина, Белинский недостаточно оценил философскую сущность его поэзии; и теперь также, правильно отметив социологическую подпочву творчества Пушкина, Белинский попрежнему не обратил достаточного внимания на те вечные ценности, которые лежат в основе пушкинского творчества, на его отношение к миру, к жизни, к людям. А между тем именно в „Евгении Онегине“ с удивительной гармоничностью и полнотой выразилась бессознательная философия великого поэта, которая для всех времен сохранит свою вечную, неумиряющую ценность. Белинский не заметил в содержании поэзии Пушкина этой вечной ценности; обратив внимание на „классовые идеалы“ Пушкина, он еще более укрепился в мысли, что время поэзии Пушкина уже прошло, что Пушкин уже устарел настолько же, насколько его „классовые идеалы“ оказались отжившими свой век перед лицом исторического прогресса. Если бы Белинский был в этом прав, то Пушкин не был бы великим поэтом: великие поэты не стареют. Именно в этом и была, как я уж подчеркивал, основная ошибка Белинского: он недостаточно оценил вечные элементы пушкинского творчества.

Перехожу к десятой статье Белинского — к его подробному разбору „Бориса Годунова“. Я уже указал, что в своем отношении к этой трагедии Пушкина Белинский повторял теперь — в 1845 году — сказанное за пятнадцать лет до этого Полевым и вызвавшее резкую критику Белинского. В статье 1840 года об „Очерках“ Полевого Белинский, говоря о „Борисе Годунове“, спрашивал: „как же оценил г. Полевой это великое создание Пушкина? — А вот посмотрите: „прочитав посвящение, знаем наперед, что мы увидим карамзинского Годунова: этим словом решена участь драмы Пушкина. Ему не пособят уже ни его великое дарование, ни сила языка, какую он обладает“. Теперь ясно и понятно ли, что это за сценка?“ — с негодованием заключает Белинский. А теперь посмотрите на оценку „Бориса Годунова“ Белинским в настоящей статье: „Пушкин рабски во всем последовал Карамзину — и из его драмы вышло что-то похожее на мелодраму... Историк сыграл с поэтом плохую шутку. И вольно же было поэту делаться эхом историка, забыв, что их разделяет друг от друга целый век!“... Ведь это та же самая мысль Полевого, только выраженная гораздо резче. И неудивительно, что Белинский в этом случае пришел в конце концов к Полевому: ведь точкой зрения Полевого двадцатых годов была та самая „общественность“, ве-

имя которой ратовал теперь, в сороковых годах, Белинский<sup>1)</sup>, Отсюда одинаково враждебное отношение их к консервативной философии истории Карамзина: когда-то Белинский ломал копья за Карамзина-историка (см. №№ 16 и 28), но уже в конце 1841 года, т.-е. в начале своей „социальности“, он очень охладил к его „Истории“, что и выразил в своем обзоре русской литературы за 1841 год, а несколько позднее — во второй из настоящих статей (1843 г.). А отсюда и его отрицательное отношение к „карамзинским“ элементам пушкинского „Бориса Годунова“.

В настоящее время установлено, что Белинский ошибался, считая Пушкина только перелазгателем карамзинского Годунова в формы трагедии; исследование Жданова „О драме Пушкина Борис Годунов“ показало, что Пушкину материалами для драмы служили первоисточники, а не „История“ Карамзина. Как бы то ни было, но Белинского не удовлетворило то психологическое объяснение личности Бориса, какое дал Пушкин в своей трагедии, и Белинский дал свою удивительную по проницательности характеристику Годунова, свое объяснение причин возвышения и падения этой замечательной личности. Правда, многие исторические факты в то время не могли быть известными Белинскому: так например, вслед за Карамзиным и Пушкиным он полагал, что крепостная неволя была установлена Годуновым, — мнение, которое современная наука относит к числу исторических сказок; опять-таки вслед за Пушкиным он не всегда верно понимал отдельные поступки Годунова — например, его „комедию“ с отказом от царского венца, которая была вовсе не „комедией“, а скрытой борьбой Бориса за самодержавие против „конституционных“ замыслов боярства и т. д. Но тем удивительнее та поистине гениальная проницательность, с которой Белинский яркими, почти художественными штрихами набросал характеристику Бориса Годунова, характеристику, которой удивляются специалисты-историки; отсылаю читателя к ценной статье Павлова-Сильванского „Народ и царь в трагедии Пушкина“ во втором томе „Пушкина“ изд. Брокгауз-Ефрон.

В 1846 году появилась, наконец, одиннадцатая и последняя из „пушкинских статей“ Белинского. Это была вообще последняя статья Белинского в „Отечественных Записках“; бросая этот журнал, Белинский все же хотел закончить в нем цикл своих „пушкинских статей“, продолжавшихся уже четвертый год. Поэтому он принужден был скомкать весь оставшийся громадный материал в одну небольшую главу, поэтому и содержание этой главы является таким пестрым. Остается только удивляться — как сумел Белинский на этих немногих торопливых страницах сказать так много, что до сих пор историки литературы повторяют сказанное Белинским о „Медном Всаднике“, „Моцарте и Сальери“, „Каменном Госте“.

В „Медном Всаднике“ Белинский увидел развитие идеи о столкновении личного и общего. К теме этой Белинский неоднократно подходил в своих „пушкинских“ статьях, и не трудно было бы уже а priori определить, к какой постановке этого вопроса придет Белинский. Мы знаем, что в период своего примирения с „разумной действительностью“ Белинский старался синтезировать личное с общим, но в этом „синтезе“ личность играла подчиненную роль (см. № 13). Мы знаем, что в 1840 — 1841 г., подняв знамя мятежа против „Общего“, Белинский ставил человеческую личность „выше общества, выше человечества“; но мы знаем также, что в следующие годы Белинский нашел точку опоры в „социальности“, а позднее — в социализме, и вместе с этим его горячею верою стала вера в прогресс, в человечество. При этом он попрежнему продолжал горячо любить человеческую личность; в седьмой из настоящих статей, говоря об Алеко, Белинский замечает, что „один из высочайших и священнейших принципов истинной правдивости заключается в религиозном уважении к человеческому достоинству во всяком человеке, без различия лица, прежде всего за то, что он — человек, ... в живом, симпатическом сознании своего братства со всеми, кто называется человеком“. Таким образом идея социалистического братства строилась Белинским на почве этического индивидуализма; права „общего“ он обуславливал пра-

<sup>1)</sup> Подробнее о Полевом и Белинском см. ниже в статье № 50.

зами „личного“. „Общее выше частного, безусловное выше индивидуального, разум выше личности,—говорит Белинский в начале пятой из настоящих статей:— это истина несомненная, против которой нечего сказать; но ведь общее выражается в частном, безусловное — в индивидуальном, а разум — в личности, и без частного, индивидуального и личного общее, безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая действительность“.

Все это, однако, только этическая и философская сторона вопроса; остается еще сторона социологическая; на чью же сторону стать при враждебном столкновении личного с Общим? К кому и к чему склонить слух—к смятленным жалобам бедного безумца Евгения или к всеокрушающему тяжелому топоту Медного Всадника? „Смирненным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданью этого частного“,—отвечает Белинский, и ипаче он не мог ответить, оставаясь верным своему идеалу будущего тысячелетнего царства божия на земле; еще во второй из настоящих статей (1843 г.) Белинский с сочувствием говорил о „греческом романтизме“, что „несчастья и гибель индивидуального не скрывали от его глубокого и широкого взгляда торжественного хода и блаженствующей полноты общего“... Эта же мысль проведена теперь Белинским в его разборе „Медного Всадника“; смысл этой поэмы (точно также как и поэмы „Галуб“) Белинский видел именно в столкновении личного с общим. О других возможных пониманиях читатель может узнать из интересной статьи Валерия Брюсова о „Медном Всаднике“ в третьем томе уже указанного выше издания Пушкина.

С такую же проицательностью определил Белинский основную идею „Моцарта и Сальери“—сущность и взаимоотношение гения и таланта. Этот вопрос всегда интересовал Белинского; одна из самых первых его рецензий (1834 года) о повести некоего К. Баранова „Ночь на Рождество Христово“ начинается решением именно этого вопроса: в таланте Белинский видит эхо гения; эта же мысль подробнее развивается Белинским полугодом позднее в рецензии на „Аббадонну“ Полевого. Еще годом позднее, в статье о Ломоносове, Белинский снова останавливается на вопросе о значении гения—и вообще постоянно затрагивает этот вопрос вплоть до-последней из „пушкинских статей“. Все это тесно связано с несомненной переоценкой Белинским „роли личности в истории“; но при разборе „Моцарта и Сальери“ дело, разумеется, не в этом. Белинский тонко вскрывает сущность пушкинской драмы—психологию сознающего себя таланта и несознающего себя гения; вернее было бы сказать, что это противопоставление непосредственного гения и трудолюбивого ремесленничества. Как бы то ни было, но Белинский глубоко верно оценил мрачную трагичность лица Сальери; он увидел, что на нескольких страничках этого драматического шедевра перед нами проходит глубокая, законченная трагедия человеческой души.

Это же самое видел Белинский и в „Каменном Госте“, в этом „перле созданий Пушкина“, быть может даже чрезмерно высоко ставившемся Белинским по отношению к другим произведениям Пушкина. Еще в письме к Станкевичу от сент.—окт. 1839 г. Белинский называл эту драму „перлом всемирно-человеческой литературы“, а ее автора— „Шекспиром нового мира“. Теперь, в 1846 году, Белинский уже отказался видеть в Пушкине „мирового“ поэта, вследствие отсутствия в его творчестве общественного и философского „пафоса“—и мы знаем, что в этом основная ошибка Белинского; но это не помешало Белинскому ослепнуть при своей прежней, восторженной оценке „Каменного Гостя“. „Для кого существует искусство как искусство, в его идеале, в его отвлеченной сущности,—говорит теперь Белинский,— для того Каменный Гость не может не казаться, без всякого сравнения, лучшим и высшим, в художественном отношении, созданием Пушкина“... И тут же сам Белинский называет эту драму Пушкина „богачейшим, роскошнейшим алмазом в его поэтическом венце“, „перлом созданий“ его; драма эта, говорит Белинский, „в художественном отношении есть лучшее создание Пушкина“. Но так чувствовать, так понимать это произведение мог только тот, „для кого — как мы только-что слышали от Белинского — существует искусство как

искусство, в его идеале, в его отвлеченной сущности“. И следовательно, такое искусство существовало для Белинского в 1846 году.

Этот вывод чрезвычайно важен и мы должны обратить на него особенное внимание. Обыкновенно предполагается—и в следующих статьях мы еще увидим, на чем основывается такое предположение,—что Белинский последних лет своей жизни был ожесточенным и непримиримым противником „искусства в его отвлеченной сущности“, „искусства как искусства“. Общеизвестен рассказ Тургенева о яростном негодовании Белинского этой эпохи на мысли, выраженные Пушкиным в его „Черни“, о резком отрицании Белинским самодовлеющего искусства; некоторые подобные черты мы еще встретим в последующих статьях Белинского. На этом основании сложилась легенда о том, что общественная точка зрения Белинского сороковых годов окончательно устранила собою его бывшее признание „искусства в его отвлеченной сущности“. В действительности дело обстоит далеко не так: из предыдущих страниц ясно, что хотя Белинский и стал признавать теперь теорию самодовлеющего искусства только „первым моментом“ понимания искусства вообще, однако он настойчиво подчеркивал невозможность миновать этот момент, пройти мимо него. Общественные и философские вопросы должны волновать поэтов нашего времени,—говорил Белинский:—но это не отрицает существования искусства в его идеале, искусства как искусства. В начале пятой из настоящих статей Белинский высказал эту мысль (встречавшуюся у него и раньше—см., напр., № 34) с неоставляющей ничего желать определенностью, повторяя свое любимое противопоставление искусства и беллетристики, за которым мы внимательно следили (ст. №№ 9, 22, 25 и мн. др.). „Всякая поэзия—говорит здесь Белинский—должна быть выражением жизни, в обширном значении этого слова, обнимающего собою весь мир, физический и нравственный. До этого ее может довести только мысль. Но чтобы быть выражением жизни, поэзия прежде всего должна быть поэзией. Для искусства нет никакого выигрыша от произведения, о котором можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично... Произведения непозитические бесплодны во всех отношениях, между тем как произведения наполовину прозаические бывают полезны для общества и для частных людей; но они действуют и в этом отношении только наполовину“... И далее Белинский повторяет, что „поэзия прежде всего должна быть поэзией, а потом уже выражать собою то или другое“, что искусство составляет собою „одну из абсолютных сторон духа человеческого“ (—я уже приводил выше эти слова). Так говорил Белинский в 1844 году; и теперь, в 1846 году, для него, как мы видели, продолжает существовать „искусство как искусство, в его идеале, в его отвлеченной сущности“... И что особенно характерно: указывая на чисто „художественную“ тему „Каменного Гостя“, Белинский замечает, что „такая тема не может пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающих она не имеет ровно никакой цены; для понимающих невозможно любить ее без страсти, без энтузиазма. Но первых много, последних мало, и потому она существует для немногих“...<sup>1)</sup>). Как видим, сам Белинский указывал, что „искусство в его отвлеченной сущности“ существует только „для немногих“—и сам причислял себя к числу этих немногих. Все эти взгляды Белинского 1846 года на искусство, повторяю, чрезвычайно важны, и мы еще вернемся к ним в заметке о последней статье Белинского—его обзоре литературы за 1847 год.

После краткого разбора „Каменного Гостя“ Белинский заключает свою статью несколькими словами о сказках и о повестях Пушкина. О сказках Белинский сказал буквально „несколько слов“, заявив, что за исключением „Сказки о Рыбаке и Рыбке“ все остальные пушкинские сказки „были плодом довольно ложного стремления к народности“. Это мнение Белинского не случайное; напротив, он постоянно проводил его с начала и до конца своей критической деятельности. На первых же строках „Литературных Мечтаней“ Белинский отрицательно отзываясь о Пушкине, как авторе „Ан-

<sup>1)</sup> Эта же мысль легла в основу глубоко-верной оценки Белинским пушкинского „Домика в Коломне“ в начале одиннадцатой статьи.

д же л о и других мертвых, безжизненных сказок“; а в конце этой своей „элегии в прозе“ снова возвращается к сказкам Пушкина: „странно видеть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не стоило быть народным, когда он не старался быть народным, теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народным“... Через полтора года в рецензии на вышедшую четвертую часть „Стихотворений Александра Пушкина“ (1836 г.), Белинский называл пушкинские сказки „поддельными цветами“ и категорически заявлял: „они, конечно, решительно дурны, конечно поэзия и не касалась их“; а несколько раньше, рецензируя какую-то сказку неизвестного автора „Царь-Деввица“, Белинский считал одинаковыми по достоинству и „плохенькое произведение“ Карамзина—его сказку „Илья Муромец“,—и сказки Пушкина и Жуковского: „в самом деле, разве Илья Муромец уступит в достоинстве Царю Салтану, Берендею, Коньку-Горбунку и пр., и пр.“ Интересно отметить, что „Копек-Горбунок“ Ершова, ставший в скором времени действительно общенародным, вызвал тогда же очень суровую рецензию Белинского, заметившего, что если сказки Пушкина, „несмотря на всю прелесть стиха“, не имели ни малейшего успеха, „то о сказке г. Ершова—ничего и говорить“... Мнение это—самое неудачное из всех ошибочных суждений, когда-либо высказанных Белинским, и справедливость обязывает указать на него.

Все эти мнения о сказках Пушкина были высказаны Белинским в 1834—1836 гг., т.-е. в то время, когда Белинский, вместе с большинством и критиков и читателей, был уверен в „упадке“ пушкинского таланта. Но и после 1838 года, в период наибольшего преклонения Белинского перед Пушкиным, он не изменил своего мнения о пушкинских сказках: укажу на его первую статью этого нового периода, „Литературную хронику“ (1838 г.), в которой Белинский замечает, что „мнимый период падения таланта Пушкина начался для близорукого прекраснотушия с того времени, как он начал писать свои сказки. В самом деле, эти сказки были неудачными попытками подделаться под русскую народность; но несмотря на то и в них был виден Пушкин“. Через полгода, рецензируя две книжки „Русских сказок“ Бронницына и Ваненко, Белинский писал: „Пушкин обладал гениальной объективностью в высшей степени и потому ему легко было петь на все голоса. Но его гений изнемог, когда захотел, назло законам возможности, субъективно создавать русские народные сказки, беря для этого готовые рисунки и только вышивая их своими шелками“... В настоящих своих „пушкинских статьях“ Белинский только повторяет эти свои постоянные мнения. В конце пятой из этих статей Белинский изумляется, с каким „непостижимым искусством“ умел Пушкин „спрыскивать живую воду своей творческой фантазии немножко дубоватые материалы народных наших песен“; говоря так, Белинский имеет в виду „Бесов“, „Утопленника“, „Зимний вечер“ и „Жениха“ (о последнем он замечает в начале восьмой статьи, что „это—поэма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы, собранные Киршею Даниловым“). „Эти пьесы—продолжает Белинский—в тысячу раз лучше его же так называемых сказок, этих уродливых искажений и без того уродливой поэзии“... И несколько ниже он снова повторяет свое мнение о „бедном мире русских сказок“.

Таков был взгляд Белинского на русские народные сказки, песни, былины и на сказки Пушкина. Что касается первых, то я уже дважды имел случай указать на ошибочность такого взгляда Белинского (см. №№ 21 и 30); поэтому здесь укажу только на несомненную ошибочность отрицательного отношения Белинского и к пушкинским сказкам. Прием „стилизации“—выражаясь современным термином—является в настоящее время настолько общепризнанным, что не может возникнуть спора о его художественной законности. Когда Тургенев писал свою великолепную „Песнь торжествующей любви“, он не подделывал этим средне-вековых хроник и новелл, а художественно воссоздавал их стиль, дух, прием письма. В настоящее время литературные „стилизаторы“ бесконечно расплодились и опошлили этот художественный прием, всегда законный в руках таланта; Пушкин же с „гениальной объективностью“, отмечаемой самим Белинским, применил этот прием к русской сказке и создал образцы намеренно лубочной народной сказки. Это не „поддельные цветы“, а прелестные художественные

лубки, аналогичные тому, что впоследствии дали в живописи Е. Поленова, Малютин, Билибин, а в музыке—Глинка („Камаринская“), Римский-Корсаков („Сказка о Царе Салтане“). Пушкин в своих сказках дал непревзойденный образец такой обработки народной поэзии всею силою художественной техники; отрицательное мнение Белинского должно, в силу всего этого, быть признанным не имеющим достаточных оснований и ошибочным.

Остается сказать об оценке Белинским повестей Пушкина; Белинский имел возможность посвятить им только две-три последние страницы своей последней статьи. Быть может именно вследствие этого Белинский был лишен возможности оценить должным образом такое великое создание Пушкина, как „Капитанскую дочку“. К „Повестям Белкина“ Белинский отнесся даже совершенно отрицательно, назвав их „недостойными ни таланта, ни имени Пушкина“; несколькими годами позднее Аполлон Григорьев перегнул палку в противоположную сторону, безмерно восхищаясь этими повестями и видя в них ключ для понимания всего творчества Пушкина. Что же касается „Капитанской дочки“, то Белинский был несправедлив к этому лучшему русскому роману, только впоследствии превзойденному „Войною и миром“ Л. Толстого. Вообще Белинский недостаточно ценил прозаические произведения Пушкина. Еще в 1840 году он писал Боткину (16 апр.), проводя свою любимую мысль о необходимости различения беллетристики и художественности: „например,—говорил он,—Капитанская Дочка Пушкина, по моему, есть не больше, как беллетристическое произведение, в котором много поэзии и только местами пробивается художественный элемент. Прочие повести его—решительная беллетристика“... И в своих статьях Белинский не раз высказывал такое же мнение. В статье о „Герое нашего времени“ Белинский мимоходом заметил, что „прозаические опыты (Пушкина) далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть, Капитанская Дочка, при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами“. В обзоре русской литературы за 1843 год Белинский поставил эту „лучшую повесть“ Пушкина далеко ниже повестей и рассказов из „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ Гоголя. „В Капитанской Дочке—говорит Белинский—мало творчества и нет художественно очерченных характеров, вместо которых есть мастерские очерки и силуэты“... И теперь, в 1846 году, Белинский хотя и видит в этой повести „одно из замечательных произведений русской литературы“, а во многих ее частностях—„чудо совершенства“, однако тут же находит он и „резкие недостатки“ повести. Вполне оценена была эта вещь Пушкина только через полвека после Белинского, в прекрасной работе Н. Черняева „Капитанская дочка Пушкина, историко-критический этюд“ (1897 г.). Из других повестей Белинский несколько подробнее остановился на „Дубровском“, сумев дать в нескольких строках оригинальную характеристику героини этой повести. Кроме того, и в „Капитанской дочке“, и в „Дубровском“ Белинский увидел преобладание „пафоса помещичьего принципа“, и таким образом в конце своих статей еще раз применил к Пушкину известный уже нам „социальный критерий“. Кстати заметить, в начале одиннадцатой статьи Белинский именно с этой точки зрения черезчур подробно остановился на разборе „Родословной моего героя“; в сущности это не столько разбор, не столько критика, сколько сердитая полемика Белинского, давно уже стоящего на „социальной“ почве демократизма, с аристократическими идеалами Пушкина.

Еще несколько слов об исторических и журнальных статьях Пушкина—и Белинский заканчивает этот свой громадный, затянувшийся на четыре года труд о Пушкине, или, вернее сказать, обширную критическую историю русской поэзии. Я шаг за шагом следовал за Белинским, особенно останавливаясь на тех вопросах, которые в настоящее время должны или решаться, или ставиться иначе, чем это делал в свое время Белинский; но если бы, наоборот, я указывал на те суждения, которые до сих пор сохранили всю свою силу, то эта заметка выросла бы до громадных размеров. Блестящий и глубокий анализ поэзии непосредственных предшественников Пушкина и связи их с Пушкиным; критическая оценка и классификация лирических произведений великого поэта; определение внешнего и внутреннего пафоса его творчества; последовательный разбор всех поэм Пушкина; ряд блестящих и глубоких характеристик героев этих поэм

и вообще общественных типов России первой четверти XIX века,—все это навсегда и неразрывно связало имя Белинского с именем Пушкина. С тех пор прошло три четверти века—и до сих пор эта работа Белинского остается единственной во всей громадной пушкинской литературе.

Но именно поэтому необходимо было с особенным вниманием остановиться на ошибках Белинского—не тех мелких фактических ошибках, которых не мог избежать Белинский, а на тех ошибках основной точки зрения, о которых я уже говорил выше. Главная ошибка—отношение к поэзии Пушкина, как поэзии прошлого, имеющей отныне только историческую ценность по содержанию, хотя и вечно великую по своему художественному значению. Ошибка эта произошла от той общественной точки зрения, на которой стоял Белинский, увидевший идейную сущность пушкинского творчества в его „аристократизме“, в „пафосе помещичьего принципа“. В этом была часть истины, а еще большая часть ее была в определении другого пафоса пушкинского творчества—„пафоса художественности“; но именно эти две истины, социальная и эстетическая, мешали Белинскому поставить на первое место философскую истину творчества Пушкина и оценить главный внутренний пафос пушкинского творчества. Белинский с удивительной пронзительностью и глубиной вскрыл эту сущность пушкинского отношения к миру и жизни, его гениальную бессознательную философию „приятя мира“, которой, как солнечными лучами, пронизано все его творчество; Белинский ясно видел это, но не оценил вечного, неумирающего значения этой стороны пушкинского творчества: в этом его основная и единственная ошибка. Не оценив вечного, типического значения пушкинского миропонимания, Белинский мог считать поэзию Пушкина—поэзией минувшей эпохи, а самого Пушкина—великим, но не „мировым“ поэтом; и в этом была вторая, производная ошибка Белинского. Но вот прошло уже три четверти века, скоро целое столетие—а Пушкин все так же вечно-современен, все так же близок людям одинакового с ним психологического типа; его поэзия не может стать минувшей—это живая, бессмертная, вечно-настоящая поэзия. Социальный „пафос помещичьего принципа“ умер вместе с Пушкиным, умер вместе со всем тем, что было в Пушкине смертного; но эстетический пафос „художественности“ и философский пафос „приятя мира“, взаимно слитые, как форма и содержание, делают пушкинское творчество великим и бессмертным. Для раскрытия этой истины Белинский, не смотря на все свои ошибки, сделал больше, чем после него все критики, вместе взятые, и потому имя его останется навсегда неразрывно связанным с именем Пушкина.

## 46. „Мысли и заметки о русской литературе“.

В 1845 году вышел сборник „Физиология Петербурга“, в двух частях которого Белинский поместил четыре статьи (см. № 43). В следующем 1846 году Некрасов издал громадный „Петербургский Сборник“, в котором Белинский поместил свои „Мысли и заметки о русской литературе“.

Давая отчет читателям „Отеч. Записок“ об этом новом сборнике (см. следующую статью), Белинский вскользь отозвался о своей статье, что вероятно она „не повредила достоинству альманаха“. В этих „мыслях и заметках“ Белинский сконцентрировал почти все то, что ему приходилось в последние годы говорить на страницах „Отечественных Записок“. О литературе, об обществе и их взаимной связи, о беллетристике и художественности, о немецкой философии и французской литературе, о гении и таланте—все эти вопросы Белинский ставит и решает в этих своих „Мыслях и заметках“. Кое-что из этого является только повторением старого, кое-что является новым, впервые высказываемым; однако даже и в повторении старого Белинский всегда дает какой-нибудь новый штрих, новую мысль, или высказывает это старое с особой рельефностью и силой.

Очень характерно, например, мнение Белинского о французском классицизме, некогда столь ему ненавистном: когда-то Белинский видел в Корнеле и Мольере только „поэтических уродов“, а теперь он „за уродливой псевдо-классической формой“ трагедий Корнеля видит „страшную внутреннюю силу пафоса“, а в комедиях Мольера—великую общественную силу: последнее очень характерно для Белинского сороковых годов. Он еще раз подчеркивает здесь ложность исключительно эстетического критерия и служащих ему основанием немецких философских систем: „немецкие эстетические теории—говорит Белинский—так хорошо прижились на восприимчивой почве нашего недавнего образования, что нашли себе таких жарких и фанатических последователей, на которых и в самой Германии, особенно теперь, посмотрели бы как на чудо теоретического иступления“... В этих словах Белинский явно имеет в виду самого себя эпохи былого „французества“, ненависти к Шиллеру и борьбы за исключительность эстетического критерия: тогда, в 1838—1840 гг., Белинский в этом отношении действительно был, как мы знаем, „чудом теоретического иступления“, фанатиком своеобразно понятого гегельянства. В вышеприведенной фразе очень характерно подчеркнутое мною „особенно теперь“ (по отношению к философским течениям в Германии), намекающее на то направление левого гегельянства, к которому теперь примкнул Белинский. Не сделавшись последователем того или иного из левых гегелианцев, Белинский теперь стоял вообще на почве „левого гегелианства“ с его политическим радикализмом и склонностью к материализму; это было для Белинского тем легче, что еще философию Гегеля он пытался понимать реалистически, симпатии же Белинского к французскому социализму прекрасно совмещались с радикализмом левого гегелианства. „Социальность“ и „реализм“ уже давно были девизами Белинского—еще с начала сороковых годов.

С этой общественной точки зрения смотрел теперь Белинский на русскую литературу. В самом начале своей литературной деятельности Белинский наделал шуму своим заявлением, что „у нас нет литературы“; долго отстаивая это положение, он увидел, наконец, его ошибочность с исторической точки зрения: мы подробно следили за развитием этого мнения Белинского (см. ст. №№ 22, 25, 38 и др.). Теперь он снова возвращается к этому вопросу и решает его в том смысле, что признание „случайности“ русской литературы настолько же ошибочно, как и признание ее мирового значения: это две парадоксальные крайности. Русская литература существует как историческое явление, органически развивающееся и чрезвычайно важное для нас, русских; всемирно-исторического значения она пока ее имеет. Но это не мешает Белинскому выражать уверенность, что „в будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль... Тогда будут у нас и поэты, которых мы будем иметь право равнять с европейскими поэтами первой величины“... А пока—„русская литература все еще младенец, положим, младенец-Алкид, но все же младенец“... Справедливость по существу этого мнения Белинского я отметил еще в статье о „Литературных Мечтаниях“ (см. № 1). Это касается мирового значения русской литературы; что-же до ее значения местного, национального, то оно громадно: в русской литературе, „в ней, в одной ней вся наша жизнь и вся поэзия нашей жизни“,—воскликает Белинский. И годом позднее, в своем знаменитом письме к Гоголю, Белинский повторил: „только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед“...

Но если так, то это показывает, что есть еще жизнь и движение в обществе: Белинский не уставал теперь подчеркивать тесную зависимость „литературы“ от „общества“. У нас есть общество—это Белинский доказывает в первой из настоящих заметок; это место представляет особенный интерес, так как здесь Белинский впервые дает определение понятия интеллигенции, разумеется без употребления этого термина. Белинский говорит здесь о существовании чего-то в роде „особенного класса в обществе, который от обыкновенного среднего сословия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе“... Последняя фраза несколько темна, но общий смысл ясен:



Белинский констатирует здесь зарождение и существование той „разночинной интеллигенции“, которая вскоре—в шестидесятых годах—заняла собою первые ряды русской журналистики. Замечу кстати, что не знание, а сознание было для Белинского критерием принадлежности человека к этой „интеллигенции“, по современной терминологии; еще в 1840 году, говоря о необразованном и полуграмотном Кольцове, Белинский восклицал: „какие вопросы тревожат этот заключенный в себе самом дух!... Боже мой! Да много ли на свете профессоров и докторов историн, прав, которые бы хоть подозревали и возможность подобных вопросов!“ (ср. ст. № 49).

Еще две любимых своих мысли высказывает Белинский в этих заметках: сопоставление „художественности“ и „беллетристики“ и сопоставление „гения“ и „таланта“. Что касается первой мысли, то мы следили за развитием ее, начиная со статьи № 9 и кончая статьей № 43; мысль эта настолько часто проводилась Белинским, что Шевырев в своей рецензии на „Петербургский Сборник“ („Москвитянин“ 1846 г., №№ 2 и 3) указывая с осуждением на „филантропическую“, „социальную“ и „цивилизующую“ тенденцию произведений этого сборника и вообще родственной ему литературы, называл все это „беллетристикой, которой так жаждал Белинский“... Отсылаю читателя к ст. № 42; там я подробнее остановился на этом постоянном разграничении Белинским „искусства“ и „беллетристики“.

В тесной связи с этой мыслью стоит теперь у Белинского мысль о разнице между „гением“ и „талантом“. Я уже отметил, что этот вопрос с давних пор интересовал Белинского (см. выше № 45); теперь, в 1846 году, он трижды затронул его: в настоящей заметке, в одиннадцатой из „пушкинских статей“ (по поводу „Моцарта и Сальери“) и в статье о Кольцове (см. ниже ст. № 49). В заметке к последней статье я еще коснусь этого вопроса; укажу только, что Белинский хотел здесь связать „искусство“ и „беллетристику“ с одной стороны с „гением“ и „талантом“—с другой и таким образом соединить два вопроса в один. Вообще необходимо отметить, что отрывочные по форме „мысли и заметки“ Белинского в сущности тесно между собою соединены. Общество, русская литература, ее национальное, а не мировое значение, критика, искусство и беллетристика, гений и талант—все эти темы так тесно связаны у Белинского одна с другой, что его статья „Мысли и заметки о русской литературе“ есть именно цельная статья, а не собрание отдельных независимых мыслей и заметок. Статья эта кое-чему подводит итоги, кое-что намечает вновь—и в общем является одной из важных, для понимания взглядов Белинского, статей.

## 47. „Петербургский сборник“.

В самом начале 1846 года вышел в свет „Петербургский сборник“, в котором поместили свои произведения Белинский, Герцен, Некрасов, А. Майков, кн. В. Одоевский, Тургенев, Достоевский и др. Уже один этот ряд имен показывает значение этого сборника, и Белинский имел право сказать о нем: „такой альманах—еще небывалое явление в нашей литературе“. И на такое „небывалое явление“ Белинский немедленно отозвался обширной статьей.

Большая часть этой статьи посвящена разбору „Бедных Людей“—романа, которым дебютировал в литературе Достоевский. Известно, с каким энтузиазмом встретил Белинский это произведение, познакомившись с ним еще в рукописи (в мае 1845 г.): он был „просто в волнении“, не мог оторваться от романа несколько дней—как рассказывали об этом Некрасов, Анненков и др. Приведу здесь рассказ Достоевского, так как в нем находятся отзывы и слова самого Белинского; дополняющие настоящую рецензию: чего не мог напечатать Белинский в 1846 году, о том мог рассказать Достоевский через тридцать лет. Достоевский рассказывает, что Некрасов, пришедший в восторг от „Бедных Людей“, снес рукопись Белинскому и воскликнул, входя: „новый Гоголь явился!“—„У вас Гоголи-то как грибы растут“,—строго ответил Белинский,

но все-таки взял рукопись, прочел ее в тот же день и сейчас же пожелал познакомиться с автором. Достоевский явился. Белинский встретил его важно и сдержанно, „но не прошло и минуты,—рассказывает Достоевский,—как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, важность из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился он мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: да вы понимаете-ль сами-то,—повторял он мне несколько раз и выкрикивая по своему обыкновению,—что это вы такое написали! (Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве). Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет это уже понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник—ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство почитает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей—он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть „Их Превосходительство“, не „Его Превосходительство“, а „Их Превосходительство“, как он у вас выражается. А эта оторвавшаяся пуговица, эта минута целования генеральской ручки—да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертою, разом в образе выставляете самую суть, чтобы ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена, как художнику,—досталась, как дар; цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!“

С таким вполне понятным энтузиазмом встретил Белинский „Бедных людей“; но он не пожелал обнаружить этого своего энтузиазма и восторга в настоящей статье: „литература наша—замечает по этому поводу Белинский—пережила свою эпоху энтузиастических увлечений, восторженных похвал и безотчетных восклицаний. Теперь от критика требуют, чтоб он спокойно и трезво сказал, как понимает он поэтическое произведение; а до восторгов, в которые привело оно его, до счастья, какое доставило оно ему, никому нет нужды: это его домашнее дело..“ Но несмотря на это, восхищение сквозит, помимо воли Белинского, во всей его „спокойной и трезвой“ оценке произведений Достоевского—„Бедных людей“ и „Двойника“, напечатанного в „Отеч. Записках“ начала 1846 года; и если „Двойником“ Белинский восхищается с оговорками, то к „Бедным людям“ его отношение не изменилось за тот год, который прошел от его первой встречи с Достоевским до настоящей статьи.

Характеризуя сущность таланта этого писателя, Белинский ясно видел, что с каждым новым произведением могут открываться новые стороны этого таланта; так например, прочтя „Бедных людей“, Белинский ошибочно заключил, что „преобладающий характер творчества“ Достоевского—юмор; „но прочтя Двойника,—прибавляет Белинский,—мы увидели, что подобное заключение было бы слишком поспешно... Вообще талант г. Достоевского, при всей его огромности, еще так молод, что не может высказаться и высказаться определенно...“ Это почти пророчество: только двадцать лет после этих слов, после целого ряда самых разнообразных произведений, Достоевский наконец „высказался определенно“ в своих „Записках из подполья“, „Преступления и наказания“ и последующих романах; „Бедные люди“—совсем не характерны для того великого, „мирового“ писателя Достоевского, которого мы знаем теперь. Тем удивительнее, как мог Белинский так проникательно заметить, что талант Достоевского „не описательный, но в высокой степени творческий“; тем удивительнее, что Белинский так ясно указывает „на место, которое современем займет Достоевский в русской литературе“.

Как известно, вскоре Белинский совершенно отказался от подобной высокой оценки Достоевского; не прошло и года, как он стал значительно суше отзываться об этом писателе и находить недостатки не только в его новых, малоудачных произведениях, но и в „Бедных людях“ (см. ниже ст. №№ 51 и 55). Много было причин такого разочарования, но главную из них несомненно была та, что Белинский ждал от Достоевского совсем не того, что хотел и должен был дать этот великий писатель. В „Бедных людях“ Белинский, по словам Анненкова, видел „первую попытку у нас социального романа“, и несомненно, что от Достоевского он ждал именно таких „филантропических“, „социальных“ и „цивилизующих“ произведений (об этих словах Шевырева см. предыдущую статью); в своих разговорах Белинский в 1845—6 гг. усиленно „развивал“ Достоевского именно в этом направлении, проповедывал ему социалистические теории—мы это знаем теперь из воспоминаний самого Достоевского. И хотя Достоевский одно время действительно стал приверженцем социализма, был даже замешан впоследствии в деле петрашевцев, но ко всему этому не лежала душа его: он был не социальный, а религиозный мыслитель и художник. И вот после „Бедных людей“ он вдруг дает „Двойника“—в котором нет ни „социального“, ни „цивилизующего“ элемента, а если и есть „филантропический“, то в слишком широком смысле, в смысле вопроса богу за человека: за что страдает человек? В чем вина сошедшего с ума чиновника Голядкина?

Белинский в 1845—1846 гг. не стоял на этой точке зрения и не желал на нее становиться: давно уже прошло то время, когда он мучительно бился в сети „проклятых вопросов“, боролся с богом за человека, на всех вещах видел „хвост дьявола“; это было в 1840—1841 году. Но уже давно эта борьба в нем закончилась: он пришел к новой вере, к вере в человечество, к вере в социализм; уже давно он начал вести борьбу со всем „мистическим“, „фантастическим“, „романтическим“, уже давно он старался убедить себя в истине рационализма. В настоящей статье, например, он с презрением отзывается о знаменитой фразе Гамлета: „на земле есть много такого, о чем и не бредила ваша философия“; слова эти, которые теперь для всякого—кроме некоторых мистиков позитивизма—кажутся простым трюизмом, для Белинского были только примером „невежества и варварства века Шекспира...“ И тут же он заявляет: „наш век имеет перед XVI-м то важное преимущество, что он заранее знает, в чем последующие века должны увидеть его варварство...“ Это—выражение, в рамках николаевской цензуры, социалистической веры Белинского. Вера эта рушилась у Белинского в 1847—8 г., но теперь он был полон ею и жаждал ее проявления и в жизни и в литературе; недаром на этих же строках он предсказывает: „пройдут еще два века, а может быть и меньше, когда будут дивиться варварству XIX-го столетия, как мы дивимся варварству XVI-го; не найдут в нем Шекспира, но найдут Байрона и Жоржа Занда“...

Шекспир и Жорж Занд: это сопоставление звучит теперь смешно, но оно очень характерно для Белинского той эпохи. Социальные романы Жорж Занд—вот что нужно было Белинскому для русского общества того времени, вот почему отчасти пришел он в такой восторг от „Бедных людей“, вот чего ждал он от художественного таланта Достоевского; но вдруг тот является с „Двойником“, с „Хозяйкой!“

Известен рассказ, как Белинский устроил чтение только-что законченного „Двойника“, и как он хвалил его, хотя, повидимому, совсем не того ждал от нового произведения Достоевского. Но если в настоящей статье он еще хвалит его, хотя и с оговорками, то в своем обзоре литературы за 1846 г. (см. ниже ст. № 51) он уже без обиняков подчеркивает „существенный недостаток“ повести: „это ее фантастический колорит. Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в заведывании врачей, а не поэтов...“ Мы уже знаем об отрицательном отношении Белинского ко всему „фантастическому“ и „романтическому“ (см. №№ 18 и 45); эти ненавистные ему элементы он усмотрел и в новых, действительно мало удачных произведениях Достоевского, о которых он дал очень резкие отзывы в своих обзорах литературы за 1846 и 1847 года. Решающую роль

сыграло появление в 1847 году „Хозяйки“: Белинский назвал эту вещь „нервической челухой“ (письмо к Боткину от 4 ноября 1846 года) и окончательно поставил крест на Достоевском. Месяца три спустя, в письме к Анненкову (от 15 февр. 1848 года) он высказал это вполне определенно: „не знаю, писал ли я вам,—сообщает Белинский,—что Достоевский написал повесть *Х о з я й к а*—ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немного Гоголя. Он и еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о Б е д н ы х л ю д я х. Я трепещу при мысли перечитать их—так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!.. Обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате.“

Белинский напрасно бранил себя; первое чувство его не обмануло—Достоевский действительно был „гением“, был тем гениальным писателем, которому—вместе с другим великим писателем земли русской—суждено было дать русской литературе значение всемирно-историческое. „Бедные люди“ были только пробой пера начинающего автора, а последующие его произведения 1845—1849 гг.—только поисками пути, и поисками в большинстве случаев неудачными Достоевскому надо было еще пройти через тяжелые испытания—приговор к смертной казни, каторгу,—чтобы найти свой истинный путь—путь величайшего религиозного и философского мыслителя под формой романиста. Но Белинскому не было суждено дожить до „Преступления и наказания“, до „Братьев Карамазовых“—он видел перед собою только „Бедных людей“ и „Двойника“, а затем неудачного „Господина Прохарчина“, „Хозяйку“ и другие мелочи. Поэтому отрицательное отношение Белинского к этим произведениям Достоевского 1846—1847 гг. не уничтожает собою того восторженного отзыва о Достоевском, который мы находим в настоящей статье. Приходится только изумляться критическому проникновению Белинского, когда он (в рецензии 1848 года на отдельное издание „Бедных людей“, почти одновременной с цитированным выше письмом к Анненкову) указывает на потрясающие картины в произведениях Достоевского, замечая, что „автор подготавливает своего читателя к этим картинам немножко тяжеловато. Вообще, легкость и тскучесть изложения не в его таланте, что много вредит ему. Но зато самые эти картины, когда дойдешь до них—мастерские художественные произведения, запечатленные глубиной взгляда и силою выполнения. Их впечатление решительно и могущественно, их никогда не забудешь...“ Это можно повторить теперь не только о „Бедных людях“, но и о всех даже самых великих произведениях Достоевского; надо прибавить только, что в этой „тяжеловатости“—вопреки мнению Белинского—вся сила Достоевского, необходимая форма его мыслей.

Свое суждение о Достоевском в настоящей статье Белинский заканчивает знаменитым пророчеством, так буквально исполнившимся; заключу и я этим его пророчеством настоящую заметку. „Его талант—говорит Белинский о Достоевском—принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много в продолжение его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы...“

Так и случилось.

## 48. „Воспоминания Фаддея Булгарина“.

Имя снискавшего себе такое печальное бессмертие Ф. В. Булгарина упоминалось Белинским часто, слишком часто. С самого начала своей литературной деятельности Белинский не уставал бороться с этим фельетонистом „Северной Пчелы“, представителем и вдохновителем мнений читающих низов, воплощением литературной пошлости, верхоглядства и нечестности. В настоящей статье Белинский, воспользовавшись случаем, подводит итог всему раньше сказанному им о Булгарине, соединяет в одно целое то, что раньше

было разбросано на страницах журналов; более того, он дает историю журнальной деятельности Булгарина с самого ее начала и обильно пользуется старыми статьями и отзывами о Булгарине целого ряда литераторов двадцатых-тридцатых годов—Полевого, Надеждина, Погодина, И. Киреевского, Дельвига, Пушкина, кн. Вяземского и др. „...Мы хорошо знаем дела давно минувших дней в области русской литературы и журналистики“,—замечает по этому поводу Белинский; а мы знаем из его же собственных слов, что у него были „тетради литературных материалов“, которые он „сбирал для составления истории русской литературы“. Одну из этих тетрадей, посвященную Булгарину, Белинский и использовал в настоящей статье; он дал портрет Булгарина во весь рост. Собранные воедино черты из жизни и деятельности Булгарина дали в общем такой ароматный букет, что получилась статья прямо-таки убийственная для Булгарина.

Однако, бороться с Булгариным было не легко—и судьба настоящей статьи лучше всего доказывает это. Булгарин находился под покровительством шефа жандармов гр. Бенкендорфа, а после его смерти—под покровительством его преемников гр. Орлова и Дубельта; это объяснялось тем, что Булгарин был в сущности „негласным сотрудником“ пресловутого III отделения собственной его императорского величества канцелярии (впоследствии—департамента полиции). Сообщения о том, „что говорят“, каково „настроение умов“, бесчисленный ряд доносов на врагов-литераторов—все это непрерывно посылалось Булгариным шефу жандармов. Кстати заметить, что в доносах сороковых годов Булгарин особенную ненависть проявляет к „Отечественным Запискам“ и к Белинскому; особенно обрушивается он на них в конфиденциальной записке под заглавием „Социализм, Комунисм и Пантеисм в России в последнее двадцатипятилетие“<sup>1)</sup> Булгарин указывает там, что „огромный класс людей, ежедневно умножающийся, почитает Отеч. Записки своим Евангелием, а Краевского и первого его министра Белинского (выгнанного московского студента)—апостолами“; он доносит, что „Белинский, у которого собиралось юношество, явно называл себя русским Иисусом Христом (чему можно представить свидетелей), а Краевский верит, что ему будут воздвигнуты монументы“... Кое-что в этом нелепом доносе представляет интерес—например, указание на обширность влияния Белинского, на группирующееся около него юношество (вероятно, Кавелин, Тургенев и др.); и даже бессмысленное обвинение, что Белинский называл себя „русским Иисусом Христом“, имеет свое объяснение, если мы вспомним рассказ Достоевского о мнении Белинского, что Христос в XIX веке был бы социальным реформатором и стал бы во главе социализма. Что же касается, наконец, „монументов“, которые будут воздвигнуты Белинскому—то это оказалось самым справедливым пунктом доносительной записки Булгарина.

Как бы то ни было, но факт тот, что Булгарин находился под особым покровительством всевластного III отделения, а потому борьба с ним была очень трудна. В письмах Белинского мы встречаем не мало указаний на то, что цензора, опасаясь доносов и жалоб Булгарина Бенкендорфу и Дубельту, безпощадно вычеркивали из „Отеч. Записок“ нападки на Булгарина. В горьком письме к Кетчеру от 3 авг. 1841 г. Белинский сообщает между прочим, что „Лермонтов убит. Взамен этой потери Булгарин все молодеет и здоровеет. Фаддей Венедиктович ругает Пушкина печатно, доказывает, что Пушкин был подлец, а цензура, верная воле Уварова<sup>2)</sup>, марает в „Отеч. Записках“ все, что пишется в них против Булгарина и Греча. Цензура не пропустила в моей статье о Пушкине<sup>3)</sup> заглавия пушкинской статьи—„О мизинце

<sup>1)</sup> Записка эта напечатана в статье М. Лемке „Фаддей Булгарин и Северная Пчела“—см. его книгу „Николаевские жандармы“, стр. 300—310. Там же в примечаниях (стр. 333—358)—подробные библиографические указания на литературу о Булгарине.

<sup>2)</sup> Белинский ошибался: Уваров (министр народного просвещения) только подчинялся в этом случае воле всемогущего шефа жандармов; см. об этом вышеуказанную книгу М. Лемке.

<sup>3)</sup> В „Отеч. Зап.“ 1841 г. № 8—рецензия на IX—XI тт. собрания сочинений Пушкина.

г. Булгарина и о прочем... Кое-что удавалось все-таки сказать в форме литературной критики статей „Северной Пчелы“ или в виде ответа на нападения самого Булгарина; после же смерти (в 1844 г.) главного покровителя Булгарина, шефа жандармов гр. Бенкендорфа, цензура стала в этом отношении еще мягче и пропускала такие выпады прогив Булгарина, каких нельзя было напечатать при гр. Бенкендорфе. Взбешенный Булгарин написал тогда следующее письмо профессору Никитенко, цензору Отечественных Записок: „Отец и командир Александр Васильевич! Право, не постигаю той удивительной вольности, которою пользуются Отеч. Записки, и той неприкосновенности, которою обеспечен г. Краевский! Я решился перенести суд повыше и всеподданнейше просить моего личного благодетеля, царя православного, разрешить: почему Краевскому позволено печатно поносить меня самым гнусным образом, топтать мое имя в грязь“... и т. д. Письмо это было написано 28 ноября 1845 года, а через три месяца Булгарин подал Дубельту ту самую „записку“, о которой сказано выше—донос на „Отеч. Записки“ и Белинского.

Все это имеет самое близкое отношение к судьбе настоящей статьи Белинского. В начале 1846 года вышли отдельным изданием две первых части „Воспоминаний Фаддея Булгарина“ (третья часть вышла в конце этого же года); Белинский, как указано выше, хотел воспользоваться этим поводом, чтобы дать исчерпывающую статью о Булгарине, документально обрисовать его литературную физиономию. Статью свою он разделил на две части: в первой части он дал свои „литературные воспоминания“ о Булгарине, а во второй части перешел к „Воспоминаниям“ самого Булгарина. „...Мы решились начать с начала,—пишет Белинский:—т.-е. сперва бросить взгляд на все литературное поприще г. Булгарина, а потом уже, как венец дела, как последнее слово длинной речи, как разгадку загадки, рассмотреть Воспоминания“... Но как-раз в то время, когда Белинский писал обе части этой своей статьи, Булгарин подавал Дубельту свой донос на „Отеч. Записки“, одновременно запугивая цензоров письмами, в роде приведенного выше. Все это привело к тому, что первая, наиболее интересная часть статьи Белинского не была пропущена цензурой, за исключением четырех-пяти последних страниц, которые в виде отдельного отрывка удалось поместить в „Смеси“ Отеч. Записок; таким образом Белинскому пришлось ограничиться второй частью статьи, которая и была напечатана в „Отеч. Записках“ 1846 года (т. XLVI, отд. VI, стр. 40—53). Первая же часть статьи пролежала в рукописи до шестидесятых годов, когда и появилась, наконец, в XII томе первого собрания сочинений Белинского. Но зато, по совершенно непонятной причине, в это собрание сочинений (а также и во все последующие) не вошла вторая часть этой статьи Белинского, напечатанная в вышеуказанном томе „Отеч. Записок“<sup>1)</sup>. Доказательством ее принадлежности Белинскому является хотя бы то, что первая страница этой второй части является почти дословным повторением начала не появившейся в журнале первой части этой статьи. Очевидно, что после запрещения первой статьи, Белинский взял первую ее страницу и сделал ее вступительной к оставшейся части.

Теперь, зная полностью всю восстановленную таким образом статью Белинского, мы можем судить о ней не по намерению, а по исполнению. Вряд ли ошибемся, если скажем, что статья эта является одной из самых сильных полемических статей Белинского; впрочем это не только полемическая статья, это—великолепная литературная характеристика, исчерпывающий очерк многолетней литературной деятельности Фаддея Булгарина. И что особенно важно—вся сила этой статьи заключается в ее холодной объективности. Белинскому и раньше случалось наносить тяжелые полемические удары—вспомним „Педанта“ (№ 30), от которого Шевырев заболел и заперся на неделю в своем кабинете; вспомним статью о „Тарантасе“ (№ 41), в которой так беспощадно и зло досталось и славянофильству и самому автору этого произведения. Но в этих беспощадных статьях все пропитано иронией, сарказмом, едкой насмешкой;

<sup>1)</sup> Статья эта помещена в трехтомном собрании сочинений Белинского, вышедшем под моей редакцией в 1911 году.

настоящая же статья о Булгарине — совершенно другого характера. К Булгарину Белинский чувствовал только холодное презрение, и с невозможной объективностью изложил в настоящей статье причины своего презрения. Многого и многого еще не мог сказать Белинский в то время, но и сказанного вполне достаточно. Штрих за штрихом спокойно кладет Белинский — и мы видим перед собой портрет невежественного фельетониста, где можно наглаго, где нужно елейного, бьющего себя в перси и восхваляющего свое „правдолюбие“, свои таланты; вся литературная деятельность Булгарина за четверть века проходит перед нашими глазами. И когда мы после этого переходим ко второй части статьи Белинского, то тут уже автор ставит нас лицом к лицу с самим Булгариным, с его собственными словами, с его „Воспоминаниями“; с прежней холодной объективностью Белинский приводит цитаты, сопоставляет указания, заканчивает портрет Булгарина его же собственной рукой. И мы видим, как поляк-Булгарин подобострастно падает к ногам николаевского правительства, свысока третирует национального польского героя Костюшку; как он, сам того не желая, рисует свой родительский дом каким-то игорным притоном, а свою мать — явной обманщицей: как он нелестно обрисовывает сам себя, желая выставить себя в самом благоприятном свете, и так далее, и так далее... Белинский был прав: „Воспоминания“ объясняют нам литературное поприще Булгарина и являются венцом дела, последним словом длинной речи; а потому и вторая часть статьи Белинского является неразрывно связанной с первой ее частью.

Остается сказать еще об одном обстоятельстве, касающемся настоящей статьи, а именно — о неожиданной перемене отношения Белинского к „Воспоминаниям“ Булгарина. Не прошло и года после появления второй части настоящей статьи в „Отеч. Записках“, как Белинский в своем „Взгляде на русскую литературу 1846 года“ („Современник“ 1847 г., т. I) писал, что „Воспоминания“ Булгарина — „книга во многих отношениях интересная и замечательная“, а потому он поговорит о ней особо. Однако, строки эти, имевшиеся в рукописи Белинского и восстановленные Кетчером в редактированном им собрании сочинений Белинского (1859 г.), почему-то не попали в „Современник“. Это не помешало Белинскому исполнить свое обещание: в том же томе этого журнала он поместил рецензию на вышедшую к этому времени третью часть „Воспоминаний“ Булгарина. В рецензии этой он дает очень лестный отзыв о всех трех частях воспоминаний Булгарина, заявляя, что „первая часть богата самыми живыми подробностями о нравах старой Польши... Ничего подобного нельзя найти ни в какой другой книге“; „во второй части много в высшей степени интересных подробностей о Петербурге того времени... Портреты Клингера и Пурпура, нарисованные с большим умением, драгоценны каждый по своему“ и т. п. Следует заметить, что и эту рецензию Кетчер восстановил по рукописи Белинского, отметив в примечании, что в „Современнике“ вместо этой рецензии Белинского была напечатана „какая-то странная переделка“ ее. Действительно, в „Современнике“ рецензия Белинского появилась совершенно переработанной, вернее даже — написанной заново; сохранилось только несколько выражений, встречающихся в обеих этих рецензиях. Вообще же в журнальном тексте были вставлены некоторые оговорки, показывающие, что по существу Белинский не изменил своего мнения о Булгарине. Так, например, указывая в этой рецензии на отречение Гоголя от своих сочинений, Белинский прибавляет: „этому поспешил поверить только г. Булгарин, да и то бесплодно, потому что от этого сочинения Гоголя несколько не упали ниже, а сочинения г. Булгарина ни на волос не поднялись выше“... („Современник“ 1847 г., т. I, ч. III, стр. 142). И в последующих строках Белинский указывает на „беллетристический“ характер всех произведений Булгарина; но это не мешает ему дать сочувственный отзыв о „Воспоминаниях“ Булгарина, — хотя в журнальном тексте отзыв этот более холоден и гласит только: „книга эта — довольно приятное явление в нашей литературе“... Итак, Белинский переделал эту свою рецензию; во второй (печатной) редакции она менее благоприятна Булгарину. Однако, это не изменяет того факта, что через каких-нибудь полгода после уничтожающей статьи о Булгарине Белинский дал благоприятный отзыв о его „Воспоминаниях“.

Что же все это значит? Как об'яснить такую странную перемену мнений Белинского о книге Булгарина?—Разгадка лежит в отношении Белинского к „Отеч. Запискам“ и их издателю Краевскому. В начале 1846 года Белинский отказался от дальнейшего сотрудничества в журнале Краевского, который бесжалостно эксплуатировал Белинского, не щадил ни его сил, ни его самолюбия; в письмах Белинского 1846—1847 гг. мы встречаем не мало фактов для характеристики этого „либерального“, умного и ловкого литературного предпринимателя. Белинский с горечью признает, что в своих статьях ему не раз приходилось кривить душою—щадить людей важных только для Краевского (например, кн. Вяземского, о чем см. ниже ст. № 53), держаться тона журнала, хвалить „Отеч. Записки“, защищать Краевского от „Северной Пчелы“ и т. п. „В его журнале—писал Белинский 2 янв. 1846 г. Герцену—я играю теперь довольно последнюю роль: ругаю Булгарина и эту самую бранью намекаю, что Краевский—прекрасный человек, герой добродетели. Служить орудием подлецу для достижения его подлых целей и ругать другого подлеца не во имя истины и добра, а в качестве холопа подлеца № 1—это гадко“... И когда Белинский бросил в 1846 году „Отеч. Записки“ и перешел в реформированный для него с 1847 года „Современник“—он решил сразу же отказаться от той затяжной полемики с Булгариным, которая не прерывалась за все время сотрудничества Белинского в „Отеч. Записках“. В цитированной выше рецензии (первой редакции) Белинский, явно целя в Краевского и его журнал, порицает тот „возмутительный“ случай, „когда какой-нибудь журнал изберет какое-нибудь известное лицо в литературе мишенью непрерывной полемической пальбы“... Мнения своего о Булгарине, как человеке, Белинский не переменял, но он пожелал теперь рассматривать „Воспоминания“ Булгарина просто, как литературный факт, как сборник анекдотов, порою довольно интересных. Конечно, это было по существу ошибочной точкой зрения, так как именно „Воспоминания“ человека о самом себе невозможно рассматривать независимо от личности этого человека; но Белинскому надо было разорвать с традицией журнала Краевского и не продолжать писать в „Современнике“ то самое, что он в течение семи лет писал в „Отеч. Записках“.

Была, быть может, и еще одна причина: руководителям молодого „Современника“—а в их числе главным образом Некрасову, большому „дипломату и политику“,—не хотелось, вероятно, с самого же начала подвергать свой неокрепший журнал доносам и ненависти Булгарина, этого негласного сотрудника III отделения; по крайней мере Краевский, еще до выхода в свет первого номера нового „Современника“, поспешил иронически оповестить, что журнал этот будет состоять в дружеском союзе с „Северной Пчелой“ Греча и Булгарина. Этим слухом Краевский хотел повредить молодому журналу; но хотя такое известие было явно нелепым, однако, в нем была и небольшая доля истины: конечно, Белинский и его друзья никогда не вступили бы в союз с „Северной Пчелой“, но повидимому они хотели избежать открытой войны с этим официальным органом... Такая „политика“—мало похожа на действия „неистового Виссариона“, а потому я полагаю все же, что главной причиной перемены отношения Белинского к „Воспоминаниям“ Булгарина явилось желание Белинского порвать с традицией журнала Краевского; мы увидим ниже (см. ст. № 51), что то же самое повторилось и в неизмеримо более важном вопросе—вопросе отношения Белинского к славянофильству.

Итак, вот причины кажущегося противоречия во взгляде Белинского на Булгарина; они об'ясняются чисто внешними условиями и совершенно не затрагивают сущности настоящей статьи Белинского, под каждым словом которой он несомненно подписался бы и в 1847 и в 1848 году. Статья эта является, повторяю еще раз, полной и исчерпывающей характеристикой Булгарина, как литератора; исчерпывающая же характеристика его, как человека, возможна только в наше время, после опубликования целого ряда доносов, конфиденциальных записок и писем Фаддея Булгарина в III отделение собственной его императорского величества канцелярии.



## 49. „О жизни и сочинениях Кольцова“.

В 1835 году вышла изданная Станкевичем книжка стихотворений Кольцова и Белинский тотчас же написал об этом поэте небольшую статью; к стихотворениям этим Белинский отнесся довольно сдержанно, хотя и нашел, что Кольцов „владеет талантом небольшим, но истинным, даром творчества не глубоким и не сильным, но неподдельным и ненатяннутым“... В 1836 году Кольцов впервые приехал в Москву и познакомился с Белинским, который оказал на него впоследствии такое громадное влияние; расцвет своего творчества, относящийся к 1838—1839 гг., сам Кольцов приписывает благотворному влиянию Белинского. И Белинский, ставший близким другом и советником поэта, видел, как могуче рос и развивался талант Кольцова; начиная с 1839 года, Белинский в своих письмах к Боткину не один раз вспоминает о Кольцове и восхищается его растущим талантом. В журнальных своих отзывах Белинский также стал теперь воздавать должное Кольцову; так, например, в своей рецензии 1840 года на книжку стихотворений известного в то время крестьянина Слепушкина, Белинский посвящает несколько страниц восторженному отзыву о поэзии Кольцова, изумляясь „богатырской силе могучего духа“ этого поэта. Одновременно с этой рецензией Белинский писал большую статью о „Герое нашего времени“ (см. № 20); в ней он опять говорит о Кольцове, указывая, что поэт этот „доселе непонят, не оценен“, что „только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта“. Такой же отзыв мы находим и в статье „Русская литература в 1841 году“; тут же высказывается и сожаление о том, что до сих пор нет собрания избранных стихотворений Кольцова.

Друзья Кольцова собирались издать его стихотворения еще в конце тридцатых годов, считая, что брошюрка 1835 года (в ней было только 18 стихотворений) является и слишком краткой и устаревшей, так как лучшие вещи Кольцова были написаны им большею частью после 1836 года. В 1840 году Белинский принялся за редактирование предполагаемого сборника стихотворений Кольцова; в письме из Воронежа от 28 апреля 1840 года Кольцов писал Белинскому, что скоро пошлет ему тетрадь своих пьес: „как вы желаете, напишу все, худые и добрые: они что у меня, что у вас—все равно... Но только буду вас просить при сборе книги выбирать вещи одни добрые... Книга же, думаю, теперь соберется порядочная, листов в пятнадцать печатных“... Однако, при жизни Кольцова Белинскому так и не удалось осуществить это издание; через полтора месяца после смерти Кольцова Белинский писал Боткину (9 декабря 1842 г.), что следует издать сочинения Кольцова,—„но как издать, на что издать и проч. и проч.“; средств не было, издателя не находилось. И только три года спустя удалось устроить это издание, которое взяли на себя Некрасов и Прокопович; весной 1846 года вышла редактированная Белинским книга „Стихотворения Кольцова“, размером ровно в пятнадцать листов, при чем однако пять печатных листов занимала собою вступительная статья Белинского „О жизни и сочинениях Кольцова“. Издание это впоследствии неоднократно повторялось, являясь наиболее полным и лучшим собранием стихотворений Кольцова; в настоящее время лучшим и совершенно полным изданием является Академическое, под редакцией А. Ляценка (1909 г.). В этом издании читатели найдут подробные библиографические указания на неособенно богатую литературу о Кольцове.

Прежде чем говорить о взгляде Белинского на сущность поэзии Кольцова, остановлюсь на тексте настоящей статьи, подвергнувшейся в 1846 году значительным цензурным сокращениям; сокращения и изменения эти коснулись тех мест, в которых Белинский говорил об отношении к Кольцову его отца и вообще его семьи. Отношение это было возмутительное, как об этом впервые рассказал Белинский в настоящей статье и что впоследствии тщетно пытались опровергнуть другие биографы Кольцова; умирающий поэт был обузой для семьи, которая старалась „изводить“ его чем могла. Кольцов обо

всех этих преследованиях с горечью сообщал в дружеских письмах к Белинскому; понятно то негодование, с которым Белинский и его друзья относились к таким известиям. Когда Кольцов умер, Боткин требовал от Белинского, чтобы тот, в журнальной статье о Кольцове, заклеил поведение отца покойного поэта, ускорившее, а может быть и вызвавшее самую смерть. Белинский отвечал (9 декабря 1842 г.): „об отце Кольцова — думать нечего: такой случай мог бы вооружить перо энергическим, громоносным негодованием где-нибудь, а не у нас. Да и чем виноват этот отец, что он — мужик? И что он сделал особенного? Воля твоя, а я не могу питать враждебности против волка, медведя или бешеной собаки, хотя бы кто из них растерзал чудо гения или чудо красоты, так же, как не могу питать враждебности к паровозу, раздавившему на пути своем человека. Поэтому-то Христос, видно, и молился за палачей своих, говоря: не ведят бо, что творят. Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но и не могу питать к тому или другому из них личной ненависти. И что напишешь об отце Кольцова и как напишешь? Во-первых, и написать нельзя; во-вторых, и напиши — он ведь не прочтет, и если и прочтет — не поймет, а если и поймет — не убедится“...

Несмотря на это, Белинский все же попробовал сперва в краткой некрологической заметке („Отеч. Зап.“ 1843 г., т. XXVI), а затем и в настоящей статье обрисовать положение Кольцова в его семье; но он был прав тремя годами ранее, заявляя, что об этом „нельзя писать“. Цензура вычеркнула из его статьи почти все, касающееся этого вопроса, начиная с эпиграфа, из стихотворения Аполлона Григорьева, о „русской семье“. Вычеркнутые места впоследствии были восстановлены по рукописи Белинского в издании Солдатенкова; сравнивая эту восстановленную статью с ее печатным текстом 1846 года, мы можем видеть, что было вычеркнуто цензурой; для характеристики отношения цензуры сороковых годов к Белинскому это представляет значительный интерес <sup>1)</sup>. Как бы то ни было, но даже связанный цензурою Белинский, дал яркую биографию Кольцова, оставшуюся донныне одною из лучших, несмотря на сравнительную устарелость. Появившаяся в 1878 году обширная биография Кольцова, написанная М. де-Пуле, основывалась на более богатых биографических материалах, но не имеет почти никакой литературной цены, являясь в сущности только озлобленным памфлетом против Белинского.

Биографический материал настоящей статьи представляет собою только введение к определению сущности поэтического творчества Кольцова. Переходя к этому определению, Белинский снова ставит свой излюбленный вопрос о разнице между „гением“ и „талантом“ — вопрос, который уже был поставлен им в это же самое время в статье „Мысли и заметки о русской литературе“ (№ 46; см. также № 45); теперь он разрабатывает его подробно, говоря о Кольцове <sup>2)</sup>. Интересно, что в своей первой статье о Кольцове (1835 г.) Белинский стоял совершенно на такой же точке зрения; он начинал ту статью разграничением понятий „гения“ и „таланта“, указывая, что между ними есть постепенная градация, что „есть художники, которых вы не решитесь почтить высоким именем гениев, но которых вы поколеблетесь отнести к талантам“. В настоящей статье Белинский развивает эту мысль, высказанную им десятью годами ранее, называя таких людей, больших, чем талант, но меньших, чем гений, — г е н и а л ь н ы м и т а л а н т а м и. Но тут же необходимо отметить и разницу между этими двумя, разделенными десятилетиями, взглядами Белинского: раньше он видел и „гений“ и „талант“ — в сфере „художественности“, „искусства“; теперь он склонен приписать гению — художественность, а таланту — „беллетристику“ (см. об этом № 46). Прежде Белинский видел между „гением“ и „талантом“ главным образом количественное различие, теперь

<sup>1)</sup> Еще более значительны в этом отношении статьи №№ 51, 54 и 55.

<sup>2)</sup> В этом видны отголоски влияния Шеллинга и Гегеля. Общеизвестно значение „гения“ в эстетической системе Шеллинга; что же касается до Гегеля, то разграничение понятий „гения“ и „таланта“ мы находим в § 395 его „Энциклопедии“ (редакции Баумана).

он видит между ними различие качественное—и в этом лежит возможность существования „гениального таланта“, который от простого таланта отличается свойством, а от гения—объемом содержания. Теперь вопрос о гении и таланте Белинский соединяет с вопросом о личности, указывая, что гений соединяет в себе высочайшее развитие личности с всеобщностью и глубиной своих идей и идеалов; достоинством таланта, напротив, является частность и исключительность. „Гениальный талант“ и здесь оказывается средним между ними, являясь сочетанием глубокой внутренней сущности человека с ограниченным объемом содержания.

Таким „гениальным талантом“ Белинский считал Кольцова. Это определение вызвало довольно резкое возражение со стороны В. Майкова, заменившего собою в 1846 году Белинского в „Отеч. Записках“. В своей статье о Кольцове („Отеч. Зап.“ 1846 г., т. XLIX) Вал. Майков полемизирует с Белинским, называя все эти разграничения—„гений“, „талант“ и „гениальный талант“—чисто словесными и ничего не объясняющими в поэзии Кольцова. Критик Белинского был бы прав, если бы Белинский счел свою задачу выполненной после такого разграничения; но дело в том, что для Белинского это только первый шаг к определению сущности таланта Кольцова. Словами „гениальный талант“ Белинский сразу ярко осветил две главные стороны творчества Кольцова: исчерпывающую глубину художественного содержания при сравнительно узких рамках его. Он указывает, что гений Пушкина был всеобъемлющ, но что даже и Пушкин „не мог бы написать ни одной песни в роде Кольцова, потому что Кольцов один и безраздельно владел тайной этой песни“; в этом узком мире „народной песни“ Кольцов достиг исчерпывающей глубины художественного содержания. В чем же заключалось это содержание?—Тут Белинский подходит к главному вопросу своей статьи и дает решение, которое одно только может объяснить нам значение поэзии Кольцова.

Поэзия Кольцова—поэзия земледельческого быта: „Кольцов знал и любил крестьянский быт так, как он есть на самом деле, не украшая и не поэтизируя его. Поэзию этого быта он нашел в самом этом быте“... „Нельзя было теснее слить своей жизни с жизнью народа, как это само собою сделалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спелым колосом, и на чужую ниву смотрел он с любовью крестьянина, который смотрит на свое поле, орошенное его собственным потом“... „Он был сыном народа в полном значении этого слова... Не на словах, а на деле сочувствовал он простому народу в его горестях, радостях и наслаждениях. Он знал его быт, его нужды, горе и радость, прозу и поэзию его жизни“... Эти слова Белинского интересно сопоставить со следующими бесхитростными словами самого Кольцова, в его письме к Белинскому от 28 сент. 1839 г., где он объясняет причину, почему в этом году мало написал стихотворений: „трудно отвечать, и ответ смешной: не потому, что некогда, что дела были мои дурны, что я был все расстроен; но вся причина—эта суша, это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод. Все это как-то ужасно имело, нынешнее лето, на меня большое влияние—или потому, что мой быт и выгоды тесно связаны с внешнею природою всего народа. Куда ни глянешь—езде унылые лица; поля, горелые степи наводят на душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить ни думать. Какая резкая перемена во всем! Например: и теперь поют русские песни те же люди, что пели прежде, те же песни, так же поют; напев один—а какая в них, не говоря уж грусть—они все грустны,—а какая-то болезнь, слабость, бездушье. А та разгульная энергия, сила, могучесть будто в них никогда не бывали. Я думаю в той же душе, на том же инструменте, на котором народ выражался широко и сильно, при других обстоятельствах может выражаться слабо и бездушно. Особенно в песне это заметно; в ней, кроме ее собственной души, есть еще душа народа в его настоящем моменте жизни“...

Эти слова Кольцова являются лучшим подтверждением приведенного выше мнения Белинского; только с этой точки зрения можно понять ту „поэзию крестьянского быта“, которую мы находим в произведениях Кольцова, а также верно оценить сущность и значение этой поэзии. С давних пор существовала тенденция умалить и принизить зна-

чение Кольцова в русской литературе; первая статья подобного рода, если не считать журнальных отзывов еще при жизни Кольцова и рецензий на книгу 1846 года, явилась впервые в 1852 году (в „Сыне Отечества“) и принадлежала перу В. Стоюнина; подобные же взгляды можно было встретить и в некоторых статьях. 1909-года, появившихся по случаю столетнего юбилея со дня рождения Кольцова. Все эти отрицательные выводы о совершенной второстепенности поэзии Кольцова возможны только в том случае, если упустить из вида единственно объясняющий все дело взгляд Белинского, взгляд, который позднее повторили и развили Чернышевский (в „Очерках гоголевского периода“), Добролюбов (в популярной книге о Кольцове) и целый ряд других писателей.

Из этого ряда писателей нельзя не остановиться на одном, который ярче других развил мысль Белинского. Это—Гл. Успенский, заговоривший о Кольцове в своих изумительных по силе и тонкости очерках „Крестьянин и крестьянский труд“. „Поэзия земледельческого труда—говорит Гл. Успенский—не пустое слово. В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда исключительно. Это—Кольцов“. Мы обратимся к этому произведению Гл. Успенского, в котором о Кольцове на трех страничках сказано больше, чем во многих больших статьях об этом поэте. Эти странички Гл. Успенского являются лучшим развитием основной мысли Белинского о Кольцове.

„Н и к т о,—говорит Гл. Успенский,—не исключая и самого Пушкина, не трогал таких поэтических струн народной души, народного мирозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у поэта-прасола. Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы Пушкина при виде пашущего пашню мужика, его клячи и сохи? Пушкин, как человек иного круга, мог бы только скорбеть, как это и было, об этом труженнике, „влачащемся по браздам“, об ярме, которое он несет, и т. д... А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, хоть и босиком плетется за клячей, находит возможным говорить этой кляче такие речи:

„Весело (!) на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. Весело (!) я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю. Весело гляжу я на гумно (что-ж тут может быть веселого для нас с вами, читатель?), на скирды, молочу и вею... Ну, тащися, сивка!... Пашенку мы рано с сивкою распашем, зернышку сготовим колыбель святую; его вспоит, вскормит мать-земля сырая... Выйдет в поле травка... Ну, тащися, сивка!... Выйдет в поле травка, вырастет и колос, станет спеть, рядиться в золотые ткани“ и т. д. Сколько тут разлито радости, любви, внимания—и к чему? К гумну, к колосу, к траве, к кляче, с которою человек разговаривает, как с понимающим существом, говоря: „мы с сивкою“, „я сам-друг с тобою“ и т. д. Человек, так своеобразно, полно понимающий, живущий непонятными для меня и вас, образованный читатель, вещами, поймет ли он меня, если я к нему подскочу с разговорами о выгоде ссудо-сберегательных товариществ? А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах 50 коп. в сутки, находит возможность говорить такие речи:

„Ах, ты степь моя, степь привольная!.. В гости я к тебе не один пришел, я пришел сам-друг с косою острою. Мне давно гулять (это за 50-то копеек в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней хотелось. Раззудишь плечо, размахнешь рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи коса, засверкай кругом! Зашуми трава подкошенная, поклонись, цветы, головой земле“, и т. д.

„Тут, что ни слово, то тайна крестьянского мирозерцания: раззудишь плечо... засверкай кругом... и т. п.—всё это прелести ни для кого, кроме крестьянина-земледельца, недоступны. Припомним еще поистине великолепное стихотворение того же Кольцова „Урожай“, где и природа, и мирозерцание человека, стоящего с ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое. Чтобы яснее видеть достоинства этого стихотворения, возьмем для сравнения известное стихотворение другого русского поэта, Лермонтова: „Когда волнуется желтеющая нива“.

Тут Гл. Успенский переходит к пристрастному, но ядовито-остроумному разбору этого „перла лермонтовской поэзии“. Созерцание красот природы — иронизирует Гл. Успенский — возбудило в Лермонтове сильные душевные движения: в небесах он увидел бога, стал постигать, что такое счастье, и морщины на челе у него разошлись. Какие же красоты природы так растрогали поэта? О, конечно: „самые лучшие ее сорта“. Поэт „обставил самыми приятными растениями путь, по которому в душу его шествует бог, и разместил эти растения и разные фрукты в таком порядке и виде, что ему не совестно было принять высокопоставленного посетителя. Взята поэтому „желтеющая нива“, зрелище очень приятное для глаз, затем слива, да еще малиновая, да не просто малиновая слива, а слива под тенью, да и тень-то сладостная. Потом ландыш: во-первых, он серебрист, обрызган росой, роса взята душистая, особенная, ради экстренного случая; кроме того, ландыш этот освещен на выбор — и утренней, и вечерней зарей, разноцветными переливами, помещен под кустом, из-под которого уже и кивает с приветливостью. Тут, ради экстренного случая, перемешаны и климаты, и времена года, и все так произвольно выбрано, что невольно рождается сомнение в искренности поэта. Что, — думается, вникая в его произведение: — увидел бы он бога в небесах и разошлись бы его морщины и т. д., если бы природа предстала пред ним не в виде каких-то отборных фруктов, при особом освещении, а в более обыкновенном и простом виде? Что, если бы вместо малиновой сливы, душистой розы, серебристого ландыша, автору предстояло созерцать, например, корявый крыжовник, бруснику, ежевику, горькую ягоду калину, рябину и прочую неблагообразную тварь божью?..“

„Совсем не то в „Урожае“ Кольцова, — продолжает Гл. Успенский. — Здесь все просто, обыкновенно, взята одна только нива желтеющая, на которой сосредоточены все заботы землевладельца, сосредоточены все его думы. Автор подробно излагает эти „три думы“ крестьянские, связанные только с нивой и не разбрасывающиеся по сторонам; с этой же нивой и думами о ней связано совершенно объяснимое внимание к природе, внимание пристальное, жадное (как туман густится в тучу, туча проливается дождем, и т. д.), и как, наконец, глубоко понятны заключительные слова стихотворения: „и жарка свеча поселянина пред иконою божьей матери“. Тут нет пустого места, нет прорех в мирозерцании человека, и само мирозерцание удивительно своеобразно“ (Гл. Успенский, „Крестьянин и крестьянский труд“, гл. III).

Так развил Гл. Успенский основные мысли Белинского о поэзии Кольцова, поэзии крестьянского, поэзии земледельческого быта. Белинский и Гл. Успенский ярко осветили главную сторону творчества Кольцова, до сих пор сохранившую всю свою ценность и создавшую Кольцову его узкое, но высокое место в истории русской литературы. Белинский кроме того останавливается и на известных „Думах“ Кольцова, как на другой стороне творчества этого поэта; Белинский не мог не признать, что эта сторона творчества Кольцова имеет для русской литературы весьма малое значение, будучи очень важной только для характеристики личности самого Кольцова. Начиная с 1836 года Кольцов находился под сильным влиянием Белинского и его друзей; еще в 1835 году Кольцов написал думу „Великая тайна“, вероятно под влиянием Станкевича и его философии той эпохи. С 1836 года у Кольцова идет ряд „дум“, отражающих в себе шеллингианские и гегелианские умозрения Белинского и его друзей; об этом влиянии на Кольцова есть статья В. Ярмерштедта (очень устаревшая с фактической стороны): „Мирозерцание кружка Станкевича и поэзия Кольцова“ („Вопр. философ. и психологии“, 1894 г., кн. I). Белинский старался передать Кольцову основные положения философии Гегеля; Кольцов пробовал читать философские книги, но безрезультатно, о чем и горевал, сообщая Белинскому: „субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта — ни крошечки“ (письмо от 28 окт. 1838 г.); в другом письме еще яснее: „я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполне этого бесконечного игранья жизни, этой великой природы во всех ее проявлениях“... (письмо от 15 июня 1838 года). Но то, чего Кольцов не понимал умом, он хотел высказать в поэтических образах в своих „думах“, темами которых как-раз являются

вопросы о великой природе во всех ее проявлениях, о бесконечном игрании жизни... Попытки были мало удачные, так как Кольцов, подобно Белинскому, был типичный реалист по своему психологическому типу; он это и сам призвал (как указывает Белинский) в своем стихотворении „Не время-ль нам оставить“ (1841 г.). „Мистическое направление Кольцова, обнаруженное им в думах,—говорит Белинский,—не могло бы у него долго продолжаться, еслиб он остался жив. Этот простой, ясный и смелый ум не мог бы долго плавать в туманах неопределенных представлений“... Думы Кольцова были именно слишком „надуманы“ и, за немногими исключениями, шли не от сердца, не от души поэта; значение их для характеристики Кольцова велико, но другого значения они не имеют.

Но мы уже видели, что вовсе не здесь лежит сущность поэзии Кольцова, ее безотносительное значение; сущность эта заключена в „песнях“ Кольцова, являющихся единственным в своем роде проявлением в поэтическом творчестве эстетической стороны земледельческого быта. Белинский ошибался в частностях своей критики произведений Кольцова; так например, он преувеличенно оценивал довольно посредственную „Ночь“, почему-то относя ее „к капитальным произведениям русской поэзии“; напротив того, он недооценил такие вещи, как „Песня пахаря“, „Крестьянская пирушка“ и т. п., поставив их ниже „Расчета с жизнью“ и других более слабых стихотворений Кольцова. Но все это дело субъективной оценки, всегда очень спорной; что же касается до сущности настоящей статьи Белинского, то она до сих пор остается в полной силе. Белинский показал, что „поэзия земледельческого быта“ есть та сторона поэзии Кольцова, которая на вечные времена сохранит ему высокое место в истории русской литературы.

## 50. „Николай Алексеевич Полевой“.

В начале 1846 года Белинский перестал быть сотрудником „Отеч. Записок“; одной из последних его заметок в этом журнале был некролог Н. Полевого, умершего 22 февраля 1846 года. „Полевой еще ждет и, быть может, не скоро дождет истинной оценки“,—писал в этой заметке Белинский; но в ожидании такой „истинной оценки“ Белинскому хотелось высказать свое мнение о значении и месте Полевого в истории русской литературы. Он и сделал это в настоящей статье, которую он, за неимением в своем распоряжении страниц журнала, выпустил в свет в виде отдельной брошюры. Брошюра эта—„Николай Алексеевич Полевой: Сочинение В. Белинского. Спб. 1846“, которая является в настоящее время библиографической редкостью—была „последним словом“ Белинского о Полевом, столько лет беспощадно преследовавшемся им в „Отеч. Записках“.

Десятью годами ранее, еще в „телескопском“ периоде своей литературной деятельности, Белинский склонен был видеть в Полевом чуть ли не истинного „художника“; в статье „О русской повести и повестях г. Гоголя“ Белинский отзывался почти что восторженно о повестях и романах Полевого. Вскоре Белинский довольно близко познакомился с Полевым и даже собирался в конце 1837 и начале 1838 года ехать в Петербург, чтобы принять участие в перешедшем к Полевому журнале „Сын Отечества“; для этого журнала Белинским была написана статья о Гамлете (см. № 7). Однако, дело это расстроилось<sup>1)</sup>; и Полевой даже напал в своем журнале на эту статью Белинского, полностью напечатанную уже в „Московском Наблюдателе“. Белинский ответил довольно сдержанной полемической статьей, но уже независимо от этой полемики он стал ясно видеть, что ни журнал Полевого, ни сам Полевой не отвечают более текущей литературной потребности. „Литература наша—писал Белинский как-раз в это время Панаеву (26 апр. 1838 г.)—теперь хромает, как никогда не хро-

<sup>1)</sup> Подробное изложение этого дела, интересного для выяснения отношений Белинского и Полевого, мы находим в письмах Кольцова к Белинскому за февраль-март 1838 г.

жала; сам Полевой, этот богатырь журналистики, сам он только портит дело и добросовестно вредит ему хуже Сенковского“... А через три месяца, в письме к тому же Панаеву (от 10 авг. 1838 года), Белинский выражается еще резче: жаль Полевого, но вольно-ж ему на старости из ума выжить! Что там за гадость такую он издает“... Но в это же время Белинский помещает в своем журнале хвалебную рецензию на перевод Полевым „Гамлета“ („Моск. Набл.“, 1838 г., т. XV.I); в рецензии этой есть, однако, одно место, выпущенное Белинским в журнальном тексте и впервые восстановленное только через шестьдесят лет в книге П. Ефремова и В. Якушкина: „Семь статей В. Г. Белинского“ (М. 1898 г.). Место это является почти буквальным предвосхищением того, что Белинский сказал о Полевом в настоящей статье 1846 года; в этой рецензии 1838 г. Белинский беспристрастно и верно намечает в общих чертах значение Полевого для русской литературы: он относит его к такого рода деятелям, которые „имеют бесконечное влияние на свое время и не производят ничего, что бы пережило даже их самих“... Далее Белинский указывает на „многостороннюю и разнообразную деятельность“ этих людей вообще и Полевого в частности, на то, что люди эти берутся за все роды деятельности—и во всех успевают. Так и Полевой—критик, драматург, беллетрист—в свое время пользовался громадной славой, и по заслугам. „Его имя—говорит Белинский—впишется в историю литературы и общественного образования, получит в ней свое место;... но его произведения, эти чада его фантазии, недолго будут наслаждаться здоровьем и жизнью по смерти своего родителя“... Часто случается даже,—продолжает Белинский, говоря о Полевом, но не называя его имени,—что такой писатель переживает свои литературные произведения и кончает свое поприще „оглушаемый ропотом и нападками молодых поколений“... Но если даже и так, то все же ему остается „отрадная мысль, что придет время, когда ему воздастся должное, когда оценятся его труды, его заслуги“...

В пылу журнальной полемики нельзя было, однако, ограничиваться признанием прошлых заслуг Полевого, когда настоящая его деятельность вызвала резкий протест. Союз Полевого с Булгариным и Гречем был тем фактом, которого Белинский не мог простить Полевому; к тому же Белинский все более и более становился ярким последователем гегелианства, которое высмеивал Полевой, нападая на „Московский Наблюдатель“ Белинского и насмешливо желая, чтобы „интеллектуальный конкретизм вывел индивидуальное Я „Наблюдателя“ в реальное Я=не Я из безусловного абсолютизма, в каком находился он в прошедшем году. Даруй, Гегель, успеха!“ („Сын Отечества“, 1838 г.). Но всего этого мало: не только союзом с Булгариным и Гречем запятнал себя Полевой, не только не был он в состоянии оценить значения немецкой философии, но и в своих чисто литературных суждениях он показал свою отсталость, не понимая Гоголя, считая его только автором „пятиактного фарса и водевиля“ („Ревизор“!) и забавных повестушек в жанре „малороссийского жарта“... Всего этого было больше, чем достаточно, чтобы привести в величайшее негодование Белинского; и вот, начиная с 1839 года Белинский жестоко обрушивается на Полевого—сперва в „Московском Наблюдателе“, а затем в „Отечественных Записках“.

„Если я буду крепко участвовать в „Отеч. Зап.“,—писал Белинский 22 февр. 1839 года Панаеву,—то уговор лучше денег: Полевой—да не прикоснется к нему никто, кроме меня! Это моя собственность, собственность по праву. Я, и никто другой, должен спихнуть его с синтеза и анализа и со всего этого хламу пошлых, устарелых мнений и чувствований, на которых он думает выезжать и которыми думает запутать новое поколение. Люблю и уважаю Полевого, высоко ценю заслуги его, почитаю его лицом историческим, но тем не менее постараюсь сказать и доказать, что он отстал от века, не понимает современности... Ужасное несчастье пережить самого себя“... И вскоре Белинский пишет статью об „Очерках“ Полевого; к статье этой и отсылаю читателей (см. № 16).

К этому времени относится переезд Белинского в Петербург, где он мог больше слышать и узнать о Полевом в литературных кругах. То, что он услышал—еще более

привело его в негодование: „поверишь ли, Боткин, что Полевой сделался гнуснее Булгарина!“—восклидал Белинский в письме к своему другу (от 18 февр. 1840 г.) и после этого повел еще более яростную атаку на Полевого, пользуясь для этого всяким удобным случаем. Умеренный и сдержанный Василий Боткин указывал в письме к своему „неистовому“ другу на чрезмерность этих нападений; Белинский горячо оспаривал это, отстаивая свою точку зрения. „Нет,—воскликает он в письме к Боткину (от 30 дек. 1840 г.),—нет, никогда не раскаюсь я в моих нападениях на Полевого, никогда не признаю их ни несправедливыми, ни даже преувеличенными! Если бы я мог раздавить моею ногою Полевого, как гадину,—я не сделал бы этого только потому, что не захотелось бы замачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, protégé Греча (слышишь ли, не покровитель, а protégé Греча!), приятель Кукольника; бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливое. Знаю, что когда-то он имел значение, уважаю его за прежнее, но теперь—что он делает теперь?—пишет навыворот по-телеграфски, проповедует ту расейскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, которой нанес первые сильные удары. Я могу простить ему отсутствие эстетического чувства (которое не всем же дается), могу простить искажение Гамлета, ведь-с Ромео-то и Юлия из слабых произведений Шекспира, грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского (идола петербургских чиновников и образованных лакеев), глупое благоговение к риторической музе Державина и пр., и пр.; но для меня уже смешно, жалко, позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные (Иголкина и т. п.), его пошлые комедии и прочую сценическую дрянь, цену, которую он дает вниманию и вызову ерыжной публики Александр-ы-инского театра, составленной из офицеров и чиновников. Положим, что и это можно извинить отсталостью, старостью, слабостью преклонных лет и пр.; но его дружба с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страдают истинные таланты и лишено силы все благородное и честное—нет, брат, если я встречу с Полевым на том свете—и там отворочусь от него, если только не наплюю ему в рожу. Личных врагов прошу, с Булгариным скорее обнимусь, чем подам ему руку от души“...

Я намеренно привел эту крайне резкую выходку Белинского, чтобы показать, до каких пределов дошла ненависть „неистового Виссарiona“ к Полевому, как деятелю журналистики сороковых годов. Но, беспощадно бичуя нового Полевого—друга Булгарина, врага Гоголя и автора „фарисейско-патриотических“ драм, Белинский в это же время продолжал воздавать должное старому Полевому—руководителю „Московского Телеграфа“ и передовому бойцу двадцатых-тридцатых годов. В ответ на новое письмо Боткина, Белинский снова пишет ему (1 марта 1841 г.): „что до Полевого—согласен с тобою; но откуда же были у него во время оно энергия характера, сила воли? В прошедшем я высоко ценю этого человека. Он сделал великое дело—он лицо историческое“... И несколько месяцев спустя Белинский, быть может не без влияния Боткина, подчеркнул эту мысль в своей рецензии на четвертую часть „Русской истории для первоначального чтения“ Полевого („Отеч. Зап.“ 1841 г., т. XVIII). Белинский заявляет в этой рецензии, что „жалкое драматическое поприще“ Полевого заслуживает самых резких отзывов, но что „Отеч. Записки“—„чужды низкой вражды к лицу, мимо его произведений“; а потому Белинский „поставляет себе за особенное удовольствие и за честь признавать в г. Полевом человека необыкновенно умного и даровитого, литератора деятельного, оказавшего, в качестве журналиста, важные услуги русской литературе и русскому образованию“... Однако, прибавляет тотчас же Белинский—„отдавать должное не значит приписывать излишнее, и заслуга не защищает от порицаний в ошибках“... И он продолжал бороться с Полевым до самой его смерти, признавая его большое значение в прошлом, но считая еще большим его вред в настоящем, из-за его союза с Булгариным. Когда союз этот прерывался временными размолвками, то никто злее и ядовитее не комментировал



все эти истории, чем Белинский. Но с другой стороны, никто постояннее Белинского не подчеркивал положительное значение Полевого; в одной из рецензий 1845-го года (на первую часть книги Полевого „Столетие России с 1745 до 1845 г.“) Белинский, снова развивая свое излюбленное прогивопоставление „художника“ и „беллетриста“, признает большое значение даже за повестями и драмами Полевого, как произведениями типично-„беллетристическими“ в смысле Белинского.

В начале 1846 года Полевой умер, физически измученный непосильной десятилетней борьбой из-за куска хлеба, нравственно-измученный своей вынужденной „дружбой“ с Булгариным и его присными. Смерть—великая примирительница; и Белинский тотчас же забыл свою былую неистовую ненависть к Полевому, помня только былые заслуги этого крупного писателя и человека двадцатых годов. Вместо рецензии на вторую часть книги Полевого „Столетие России“, Белинскому пришлось писать краткий некролог, о котором я упоминал в начале настоящей заметки. В немногих строках он воздал Полевому должное. „Каков бы ни был характер его литературной деятельности за последние десять лет,—писал Белинский,—в нем многое объясняется стесненными обстоятельствами. . . Во всяком случае, забывая о недавнем, мы тем живее вспоминаем о первом блестящем периоде литературной деятельности этого необыкновенного человека, который. . . можно сказать, создал журнал в России. Этим он сделал гораздо больше, нежели как теперь думают,—и вообще Полевой еще ждет и, может быть, не скоро дождетя истинной оценки; но он дождетя ее и имя его навсегда останется и в истории русской литературы и в признательной памяти общества“. Я уже указал, что начало такой оценки положил сам Белинский в настоящей статье; в ней он выяснил свои постоянные утверждения, что Полевой — „лицо историческое“. В чем это историческое значение Полевого, какова его роль в русской литературе—эти вопросы Белинский ставит и решает в настоящей статье.

Решение это ставит Полевого на очень высокое место в истории русской литературы. Ломоносов, Карамзин, Полевой—вот формула, которую Белинский характеризует вековое развитие литературы и три последовательные эпохи ее. Ломоносов—родоначальник новейшей русской литературы; Карамзин—реформатор и создатель нового, многочисленного класса читателей; наконец, Полевой—журналист и главный борец за „романтизм“: вот эти три эпохи и вот значение Полевого. Белинский показал, что Полевой был по времени первым нашим „журналистом“ в современном значении этого слова; Белинский оценил „журнальную деятельность Полевого и ее огромное влияние на русскую литературу“—в этом заключается все содержание настоящей статьи.

И в этом, действительно—почти все значение Полевого в русской литературе. Белинский прав, что даже в своих драмах и романах Полевой оставался все тем же „необыкновенно умным“ журналистом; даже в своей неоконченной истории Полевой—все тот же публицист, полемист, журналист, что не мешало этой его „Истории русского народа“ быть „первой попыткой приложить новый философско-исторический взгляд к объяснению явлений русской истории“ (П. Миллюков, „Главные течения русской исторической мысли“, стр. 342—357). В настоящее время историки русской литературы склонны недооценивать выдающегося значения Полевого в русской литературе и общественности; литература о Полевом крайне скудна—можно указать только на книгу Н. Козмина: „Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой, как выразитель литературных направлений современной ему эпохи“ (Спб., 1903; в этой же книге—библиография вопроса). Тем более ценной является настоящая статья Белинского, воздавшего должное своему выдающемуся предшественнику, которого он ожесточенно преследовал при жизни, и с которым его, наконец, примирила смерть.

## 51., Взгляд на русскую литературу 1846 года“.

С 1-го апреля 1846 года Белинский перестал быть сотрудником „Отечественных Записок“, хотя некоторые его статьи продолжали появляться в этом журнале и после его ухода. Сам же он задумал целый ряд работ, которые должны были дать ему возможность существования: в начале мая он напечатал свою брошюру о Полевом; к этому же времени собирался закончить I-ую часть своей „Истории русской литературы“—проект, так и оставшийся невыполненным (см. письмо к Герцену от 2 января 1846 г.); наконец, к этому же самому времени Белинский собирался выпустить колоссальный сборник „Левиафан“,—название, данное повидимому Герценом (см. письмо к Герцену от 19 февраля 1846 г.). Для этого предполагавшегося сборника Белинский усиленно собирал материалы и получил такие вещи, как „Сороку-Воровку“ Герцена, „Обыкновенную историю“ Гончарова, „Взгляд на юридический быт древней России“ Кавелина и т. п. Замечу кстати, что еще в 1839 году Белинский собирался выпустить „Альманах“ из произведений своих, Кольцова, Панаева, К. Аксакова, Каткова, Струговщикова, Ключникова, Красова и др. Однако и тогда и теперь планы эти так и остались неосуществленными. Весною 1846 г. Белинский не успел издать свой сборник, а осенью, вернувшись со своей поездки по России, он узнал о намерении его друзей—Некрасова, Панаева и др.—издавать журнал „Современник“; все это подробно рассказано в „Воспоминаниях“ Головачевой-Панаевой. Одним из главных руководителей этого журнала (хотя и очень ограниченным в правах—см. № 54) стал Белинский и передал в этот журнал все собранное им для „Левиафана“; говоря в одном из примечаний к настоящей статье об этом предполагавшемся сборнике, Белинский заявляет, что „по случаю Современника литератор, предпринимавший издание этого сборника, счел за лучшее оставить свое предприятие и передать Современнику собранные им статьи“.

Примечание это не появилось в журнале, а вошло впервые в собрание сочинений Белинского 1859 года, редакции Кетчера; очевидно таким образом, что Кетчер имел в своем распоряжении подлинную рукопись настоящей статьи Белинского. Сверяя журнальный текст настоящей статьи с текстом редакции Кетчера, я установил в последнем тексте целый ряд изменений и дополнений; причина таких журнальных сокращений и изменений—двойкая: кое-что вычеркивала цензура, кое-что изменил сам Белинский; очень поучительно следить за всеми этими разночтениями. Цензура вычеркивает фразы вроде того, что в XVIII-ом веке в России „не было общества, а был только двор“, запрещает говорить о „физическом процессе нравственного развития“, о „варварских“ обычаях и нравах старины и т. п.; что же касается до изменений, сделанных для печати самим Белинским, то они особенно интересны, так как большая часть их относится к Достоевскому и его произведениям. В статье № 47 я говорил об охлаждении Белинского к галанту Достоевского в 1846—1848 г.г.; быстрый процесс этого охлаждения мы можем наблюдать в характерных изменениях Белинского в настоящей статье. Написав сперва о „силе, глубине и оригинальности таланта г. Достоевского“, Белинский вычеркивает для печати „силу и глубину“; сказав сперва, что в „Бедных Людях“ Достоевский обнаружил „огромную“ силу творчества и „художественного мастерства“, Белинский затем совершенно зачеркивает последнее выражение, а вместо „огромный“ ставит „замечательный“; говоря сначала о возможной „безукоризненной художественности“ романа Достоевского, Белинский заменяет это выражение словами „более художественный“; вместо „богатый силами талант“ Белинский просто ставит—„автор“; говоря о том, что „характер героя („Двойника“) концентрирован глубоко и смело, ума и истины в этом произведении много, художественного мастерства тоже“, Белинский вычеркивает из этой фразы слова „глубоко“, „ума“, „художественного мастерства“; слова о том, что „Двойник“ только не многие оценили, Белинский заменяет фразой, что „Двойник“ только немногих мог заинтересовать—и так далее, и так далее... Изменения эти, повторяю, очень интересны, наглядно

иллюстрируя процесс перемены мнения Белинского о Достоевском.—Чтобы не повторять несколько раз одного и того же указания, отмечу здесь, что и в следующих статьях Белинского из „Современника“ (№№ 54, 55) мы встречаемся с такими же—еще более значительными—изменениями и сокращениями (цензурой) подлинного текста, восстановленного только Кетчером, в руках которого несомненно были рукописи Белинского. По этим примерам мы имеем возможность судить о том, как вообще искажались цензурой статьи Белинского в „Телескопе“, „Московском Наблюдателе“, „Отечественных Записках“.

С „Современника“ начинается последний период деятельности Белинского; предисловием к этому периоду являются предыдущие статьи Белинского за 1846 год. Конечно, Белинский не изменился, перейдя в новый журнал—он остался все тем же Белинским, каким он был уже с начала сороковых годов; однако, при более внимательном изучении статей и писем Белинского 1846—1848 гг. не трудно заметить и некоторые новые струи в его взглядах и мнениях, являющиеся или усилением, или ослаблением старых. Вера в социализм становится, например, значительно менее сильной и почти сходит на нет к последнему году жизни Белинского; и хотя Белинский попрежнему видит оправдание жизни и цель бытия в человечестве, однако он теперь, воскрешая свою веру 1840—1 г., не мало внимания уделяет и личности. Обо всем этом я подробно говорил в очерке жизни и творчества Белинского. Другая черта: в этом периоде 1846—1848 г. Белинский, начиная со статьи о „Бедных людях“ (№ 47), особенно усиливает свою защиту так называемой „натуральной школы“, реализма; особенно подробно говорит он об этом в своем громадном последнем годовом обозрении (№ 55). Наконец, нельзя не отметить в настоящей статье попытки объективной оценки славянофильства, так не похожей на недавнюю ожесточенную войну Белинского против славянофилов на страницах „Отечественных Записок“; я уже имел случай подчеркнуть (в статье № 48), что Белинский в ряде вопросов пожелал разорвать с традицией журнала Краевского и что к числу таких вопросов принадлежал и вопрос о славянофильстве. В настоящей статье—первой статье Белинского в „Современнике“—затронуты все эти проблемы, отмеченные выше; на вопросе о славянофильстве Белинский не останавливается особенно тщательно и подробно.

Белинский в настоящей статье попрежнему восстает против славянофильских принципов „любви“ и „смирения“, как основных свойств славянских народов вообще и русского в особенности; попрежнему Белинский ополчается против отрицательного отношения славянофилов к Петру и его реформе—и вообще сохраняет в существенном свою старую позицию; однако, во многом есть и перемены, не говоря уже о том, что и отношения Белинского в настоящей статье к славянофильству уже совсем иной. Еще в середине 1846 года, в письме к Герцену из Одессы (от 4 июля), Белинский сообщал, что намерен писать под формою своих путевых впечатлений „журнально-фельетонную болтовню о всякой всячине, одобренную полемическим задором“, и что часть статьи он уже пишет или будет писать: „в Харькове я прочел Московский Сборник: луплю и наяриваю об нем“. Далее Белинский восхищается статьей Ю. Самарина о „Тарангасе“ (см. № 41): „статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения, и, подлец, зацепляет меня в лице Отечественных Записок. Как умно и зло казнит он аристократические замашки Соллогуба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом<sup>1)</sup>. Зато Хомяков—я-ж его, ракалию! Дам я ему зацеплять меня, узнает он мои крючки! Ну, уж статья! Вот бесталаный ерник! Потешусь, чувствую, что потешусь“... — Статьи

<sup>1)</sup> В этом же письме дальше есть следующая полу-шутливая фраза: „в Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!“

этой („путевых впечатлений“ вообще и о „Московском Сборнике“ в частности) Белинский не написал; но несомненно, что материал из этой предполагавшейся статьи вошел в настоящую статью Белинского: в ней мы находим и сочувственный отзыв о статье Ю. Самарина („особенно замечательна умным содержанием и мастерским изложением статья о Тарантасе, подписанная буквами М...З...К...“) и полемику со славянофилами о „неблагоприятном“ принципе кротости и смирения. Но форма статьи — совершенно изменилась: вместо предполагавшейся резкой полемики с Хомяковым („узнает он мои крючки!“) мы находим в настоящей статье только спокойное оспаривание принципа кротости и смирения, причем Хомяков даже и не назван, а обозначен общей фразой — „кто-то из“... и т. д. Белинский, повторяю это еще раз, хотел порвать с традициями „Отечественных Записок“, в которых он же сам так резко полемизировал со славянофилами; в своем новом журнале он хотел держаться спокойного тона, хотя бы это и не нравилось читающей публике, любящей журнальные шпильки и ссватки. А потому, явно имея в виду „Отечественные Записки“, Белинский заявлял в настоящей статье, что „имея свое определенное направление, свои горячие убеждения, которые нам дороже всего на свете, мы готовы защищать их всеми силами нашими и вместе с тем противоборствовать всякому противоположному направлению и убеждению; но мы хотели бы защищать наши мнения с достоинством, а противоположным — противоборствовать с твердостью и спокойствием, без всякой вражды. К чему вражда? Кто враждует, тот сердится, а кто сердится, тот чувствует, что он неправ. Мы имеем самолюбие до того считать себя правыми в главных основаниях наших убеждений, что не имеем никакой нужды враждовать и сердиться, смешивать идеи с лицами, и вместо благородной и позволенной борьбы мнений заводить бесполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбий“.

Однако, не в одной разнице тона было тут дело; сущность вопроса лежит глубже. Попытавшись беспристрастно подойти к славянофильству, Белинский не только проанализировал его мистическую подпочву, которой он сам был так чужд по своей натуре (обо всем этом я буду еще говорить в статье № 54), но ясно увидел также и те стороны славянофильства, которые ему были очень близки. Белинский увидел, что, например, в вопросе о национальности и ее значении он во многом сходится со славянофилами — во всяком случае сходится с ними ближе, чем с теми „гуманистическими космополитами“, о которых Белинский с явным раздражением говорит и в этой и в следующих своих статьях. И прежде чем говорить о сущности взгляда Белинского на национальность, мы должны уяснить себе причины этого раздражения. Кого имеет в виду Белинский, когда довольно сердито осуждает тех, которые бросились „в фантастический космополитизм во имя человечества“? Кого упрекает он за „абстрактный и книжный дуализм“ в построении понятия „народности“?

Все это относится к молодому критику Валериану Майкову, заменившему собою с 1846 года Белинского в „Отечественных Записках“. Я уже указал, что критик этот затрол Белинского в своей статье о Кольцове (см. № 49); и в других своих статьях Валериан Майков не один раз задевал Белинского, иронически замечая, что Белинский умеет только восторгаться теми или иными произведениями, а объяснить и доказать своего восторга не умеет. Все эти нападения почему-то особенно раздражали Белинского — быть может потому, что они исходили от симпатичного ему по направлению писателя; сам он годом позднее и уже после смерти даровитого юноши (Валериан Майков утонул летом 1847 года) писал 4 ноября 1847 года В. Боткину: „вспомни или, лучше сказать, пойми, что прошлою зимою я был на волос от смерти... Вот отчего на меня так болезненно подействовала выходка покойного Майкова, а теперь я совершенно с тобою согласен, что не на что было сердиться“... Так или иначе, но факт тот, что Белинский в настоящей статье довольно сердито полемизирует с Валерианом Майковым по поводу его взгляда на „народность“. Валериан Майков разделял народ на большинство, зависящее от условий среды и места, и на меньшинство, являющееся отрицанием основных свойств большинства; говоря современными терминами, он грубо подразделял всю массу народонаселения на „интеллигенцию“ и „народ“, — неизбежный

дуализм, особенно им подчеркивавшийся. Белинский решительно восстал против такого дуализма, против попытки расколоть надвое „неделимую личность народа“; этой попытке он противопоставил утверждение, что „народность“, „национальность“ есть первичный фактор, что народности суть личности человечества.

Теперь понятно, что приблизило Белинского этой эпохи к славянофильству: это была идея национальности. Давно, еще в самом начале своей критической деятельности, Белинский исповедывал и проповедывал основное положение русского шеллингианства, что народности суть индивидуальности человечества — мы следили за развитием этой идеи в самых первых статьях Белинского (см. №№ 1, 2, 4, 5, 13, 26 и др.; см. особенно № 27). Мы отметили тогда же, что Белинский в то время был очень близок по духу славянофильству и может даже считаться одним из родоначальников его (см. № 13). Но в то же время Белинский стоял тогда на точке зрения, за которую он теперь так напал на Валериана Майкова: ведь через все „Литературные Мечтания“, через все „телескопские“ статьи Белинского красной нитью проходит мысль, что реформа Петра вогнала клин между „обществом“ и „народом“, расщепила их на две чуждые друг другу и взаимно противоположные части—а оттого „у нас нет литературы!“ (см. № 1). Теперь, через двенадцать лет, Белинский не повторяет более этого парадокса и особенно подчеркивает этот свой новый взгляд в настоящей статье. Мы знаем, что уже не раз Белинский снова поднимал этот вопрос, все более и более укрепляясь в чисто-историческом решении его (см. ст. №№ 22, 25, 38 и др.); в настоящей статье он повторяет это решение, придавая своим доказательствам несколько „славянофильскую“ окраску: у нас есть своеобразная история литературы потому, что у нас есть история русского общества, совершенно не похожая на историю европейских обществ. Реформа Петра поставила наше „общество“ выше „народа“ в культурном отношении, но это вовсе не значит, чтобы это „общество“ можно было считать космополитичным,—нет, общество не может существовать без „внутренней, непосредственной, органической связи — национальности“.

Вот к чему пришел теперь Белинский в своей полемике с „дуализмом“ и „космополитизмом“ Вал. Майкова. Он признал теперь „общество“ выражением „народа“: „меньшинство всегда выражает собою большинство, в хорошем или в дурном смысле“—заявляет теперь Белинский и прибавляет, что если это меньшинство противопоставляет себя большинству, то в таком случае оно, меньшинство, чаще всего выражает собою дурные стороны национальности; примеры, очень характерные для демократа Белинского, — „развратное дворянство“ эпохи Людовика XV-го и французская буржуазия современной Белинскому эпохи. Но несмотря на эти уродливые явления социальной жизни, „личность народа“—неделима, и личность эта носит название национальности: вот пункт, в котором Белинский теперь готов был согласиться со славянофильством. „Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества, — заявляет в настоящей статье Белинский; — другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому“...

Итак, мы видим, что в настоящей статье Белинский изменил не только тон своего отношения к славянофильству; нет, он высказался по одному из существенных пунктов разногласия крайнего западничества со славянофильством—и оказался во всяком случае ближе к славянофильству, чем к „гуманическому космополитизму“<sup>1)</sup>; обо

<sup>1)</sup> Замечу между прочим, что говоря о „гуманических космополитах“, Белинский имеет в виду не одного В. Майкова, а намекает также на эпиграф к сборнику стихотворений А. Плещеева (*Homo sum et nihil humani a me alienum puto*); В. Майков написал сочувственную рецензию на этот сборник, подчеркнув в ней смысл выбранного Плещеевым эпиграфа.

всем этом я еще буду говорить в статье № 54. Теперь же замечу только, что отрицая такой „космополитизм“ с точки зрения национальной, Белинский тут же подчеркивал первенство „обще-человеческого“ с точки зрения социальной — и в этом не было никакого противоречия. Здесь мы переходим к вопросу о социализме Белинского, поскольку, конечно, этот „социализм“ мог проявляться в печати при николаевском режиме. Я уже отметил, что и в этом вопросе Белинский в 1846—1848 гг. кое на что стал смотреть иначе, чем в предыдущее пятилетие, в эпоху своей пламенной „веры в социализм“. И теперь Белинский жадно стремится к осуществлению обще-человеческих идеалов, стоящих гораздо выше форм современной ему европейской жизни: в европейской — замечает Белинский — мы должны любить только человеческое „и на этом основании все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого“. Если раскрыть скобки в этих словах, то в них мы увидим не только осуждение крайнего русского западничества (представителя которого Белинский хотел видеть в В. Майкове), но и осуждение тех буржуазных форм европейской жизни, о которых Белинский говорит и в другом месте настоящей статьи. Однако, тут же начинают звучать первые ноты разочарования Белинского в его вере в социализм, скептического отношения к практической осуществимости этого учения. „Теперь Европу занимают — вышег он — новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы, как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам... У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов, и их решения“... В этих словах уже сквозит то охлаждение к утопическому социализму, которое годом позднее ясно выразилось в предсмертном письме Белинского к Анненкову; об этом я говорил подробно в первой части настоящей книги.

Здесь следует отметить одно интересное обстоятельство, касающееся социально-философских взглядов Белинского. Мы знаем, что, пережив полосу увлечения гегелианским „Общим“, Белинский одно время (1840—1841 г.) стал вдохновенным проповедником прав и значения личности; прошел еще год-другой — Белинский нашел опору этой проповеди в своей „вере в социализм“. Однако, при этой вере центр внимания Белинского вскоре был перенесен с личности на человечество; в этой идее видел Белинский опору всей своей веры, оправдание и смысл всякой жизни. И хотя самый социализм Белинского был стремлением к благу „личности“, однако и здесь идея „человечества“ стояла на первом месте; это наглядно выясняется между прочим и из того факта, что, постоянно говоря в своих статьях 1842—1845 гг. о „человечестве“, Белинский очень редко вспоминает о „личности“. Но вот что интересно: лишь только вера Белинского в социализм ослабела, как мы это видим и из настоящей статьи, как немедленно он поднимает вопрос о личности и ее значении. В прежнее время он ставил вопрос о личности на почве метафизическую; теперь он исходит из физиологических аналогий, ибо по его мнению „психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии“. Эта фраза и целый ряд соседних являются отголоском учения не Фейербаха, как это полагают некоторые, а Огюста Конта. Хотя к этому философу Белинский и не благоволил, пронизательно подчеркивая все его недостатки (в замечательном письме к Боткину от 17 февраля 1847 года), хотя он и считал его только предшественником будущего призванного гения, хотя и в указанном письме есть черты знакомства с левой гегелианской школой, однако, несомненно, что в цитированном месте статьи Белинский только повторял мысли Конта, или, вернее, его ученика Литтре, статья которого „Важность и успехи физиологии“ была напечатана в том же томе „Современника“ рядом с настоящей статьей Белинского. „Статья о физиологии Литтре — прелесть! — писал Белинский 6-го февраля 1847 г. Боткину, и я уже раз привел эти слова: — вот человек!... От него морщится *Revue des Deux Mondes*, хотя и печатает его статьи; а социальные и добродетельные ослы (—так стал выражаться

теперь Белинский о французских утопических социалистах!—) не в состоянии и понять его. Я без ума от Литтре; именно потому, что он равно не принадлежит ни к издраченным подлецам и вора-умникам *Journal des Debats* и *Revus des Deux Mondes*, ни к вздраченным социалистам, этим насекомым, вылупившимся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо“... Все это может служить лучшим комментарием к разочарованию Белинского в социализме.

Возвращаюсь, однако, к вопросу о личности. В настоящей статье Белинский во многом повторил те мысли о личности и обществе, которые были высказаны им еще в статье об „Очерках бородинского сражения“ (№ 13): и там и здесь он выдвигает основное положение, что общество есть не ограничение, а восполнение и расширение человеческой индивидуальности. Но разница в том, что семью годами раньше „личность“ была для Белинского „сама по себе — очень неважная вещь“; теперь же она для него есть великая „тайна“, но в то же время и великая ценность, какой она была для него уже с 1840—1 г. Ценность эта становилась для него теперь тем большей, чем сильнее разочаровывался он в своей вере в человечество, в объективную целесообразность жизни его. В статьях и письмах 1846—1848 гг. Белинский неоднократно возвращается к вопросу о личности, снова воскрешая этим свои былые запросы, сомнения, убеждения и надежды начала сороковых годов.

Так начал Белинский свою деятельность в новом журнале, деятельность, которой суждено было так скоро прекратиться: только полтора года, даже менее того, работал Белинский в новом „Современнике“. Но уже по первой его статье мы можем вывести заключение о тех новых струях мировоззрения Белинского, которые не проявлялись им в „Отечественных Записках“ и которые образовались или проявились в душе Белинского только в период его полугодового журнального молчания в 1846 году. Именно в это время в душе Белинского происходил какой-то новый перелом, новая переоценка ценностей; в чем она заключалась—я старался выяснить в настоящей заметке. Перемена тона по отношению к славянофилам, даже идейное сближение с ними—все это сравнительно мелочи, явления производные; по крайней мере даже за раздраженным оспариванием идей „гуманических космополитов“ я вижу не столько сближение со славянофильством, не столько полемику с В. Майковым, сколько выпад против „гуманического“ и „космополитического“ социализма, против социальных и добродетельных ослов—как резко обозвал Белинский утопических социалистов. В основе всего этого лежит потеря Белинским веры в социализм, а потому и переоценка целого ряда старых верований и мнений. Только этот факт позволяет нам понять общее воззрение Белинского последних двух лет его жизни, отразившиеся и в его статьях

## 52. „Выбранные места из переписки с друзьями, Николая Гоголя“.

Книга Гоголя, по поводу которой написана настоящая статья, не была неожиданностью для Белинского; еще пятью годами ранее он видел, что Гоголь все более и более склоняется на сторону „принципа смирения“, на сторону „преклонения пред авторитетом“—и тогда уже Белинский говорил по этому поводу о чувстве своего „возмущения“, о чувстве своего „болезненного отвращения к Гоголю“ (письмо к Бст-кину от 31 марта 1842 года). Продолжая видеть и ценить в нем гениального художника, Белинский стал относиться все отрицательнее к Гоголю-человеку; в настоящее время известно, что Белинский был в очень многом прав и что даже близкие друзья Гоголя относились к нему приблизительно так же. „Для меня не существует личность Гоголя... я благоговейно, с любовью смотрю на тот драгоценный сосуд, в котором заключен великий дар творчества, хотя форма этого сосуда мне совсем не нравится“,—говаривал такой близкий друг Гоголя, как С. Т. Аксаков.

А между тем Гоголь переживал тяжелую душевную драму (о которой еще будет речь в следующей статье); плодом тяжелых и мучительных исканий за целое пятилетие явилась его книга „Выбранные места из переписки с друзьями“, вышедшая в свет в самом начале 1847-го года. Нам не для чего останавливаться на содержании этой книги: оно слишком известно; надо заметить только одно, — что какова бы ни была теория Гоголя, но она была несомненно искренней, мучительно выработанной: Большой художник, громадный синтетический, но слабый аналитический ум, Гоголь пытался дать свое решение тем „проклятым вопросам“ русской общественности, которые мучили не его одного; свое решение (в чем оно заключалось мы увидим в следующей статье) он и изложил в настоящей книге. Решение это, казавшееся в социальном и политическом отношении совершенно „реакционным“, более всего возмутило Белинского, заподозревшего в книге Гоголя тайную цель — казнение правительству, стремление сохранить за собою „великие и богатые милости“ Николая I, неоднократно оказывавшего Гоголю денежную помощь. Это было несправедливо; несправедливо было и то, что книга Гоголя была „реакционной“ по намерению: она просто отрицала социально-политические решения общественных проблем, давая решения нравственно-религиозные, подобно тому, как полвека спустя это стал делать Л. Толстой в своем учении. Но эта нравственно-религиозная проповедь Гоголя отличалась таким тоном, что даже многие друзья Гоголя были возмущены ею; они забыли, что проповедь только и может быть резкой, властной, что проповедник должен быть всезнающим, решительным, ибо он верит, что устами его говорит Истина.

Но истина Гоголя была ложью для Белинского — и он резко восстал против этой вредной, по его мнению, лжи. В настоящей статье он мог сделать это только в больших ограничениях, так как цензура стояла на страже „священных основ“, защищаемых Гоголем. „Критика Белинского самая пустая, — писала Гоголю про настоящую статью Белинского известная фрейлина-губернаторша Россети-Смирнова, — и легко понятно почему. Ему хотелось вас бранить за направление, а направление он не осмелился обругать, да и цензура не пропустила бы тогда его статью“... И без того уже действительно цензура выбросила из настоящей статьи Белинского целую ее третью часть, как это сообщает сам Белинский. Однако, и напечатанное в журнале достаточно характеризует мысль Белинского и делает настоящую его статью вполне определенной по направлению и ядовитой по сдержанному едкому тону. Эта вызванная необходимостью сдержанность показалась московскому другу Белинского, Боткину, сухостью; да и вообще Боткин нашел настоящую статью неудачной, написанной сплеча, без обдуманности, недостаточно иронической. Белинский ответил на это письмом, из которого я приведу замечательное место, отчасти уже приводившееся мною раньше (см. №№ 30 и 41), характеризующее самого Белинского и уясняющее в то же время его отношение к Гоголю.

„Ты решительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно, — пишет Белинский 28 февраля 1847 г. — Я не юморист, не остряк; ирония и юмор — не мои оружия. Если мне удалось в жизнь мою написать статей пяток, в которых ирония играет видную роль и с большим или меньшим умением выдержана, — это произошло совсем не от снокоиствия, а от крайней степени бешенства, породившего свою сосредоточенностью другую крайность — спокойствие. Когда я писал „тип“ на Швырку и статью о „Тарантасе“ — я был не красен, а бледен, и у меня сохло во рту, от чего на губах и не было пены. Я могу писать порядочно только на основании моей натуры, моих естественных средств. Выходя из них по расчету или по необходимости, я делаюсь ни то, ни сё, ни рак, ни рыба. Теперь слушай: кроме того, что я болен и что мне опротивела и литература и критика, так что не только писать, читать ничего не хотелось бы, — я еще принужден действовать вне моей натуры, вне моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и быть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи. Ты говоришь, что статья написана „без довольной обдуманности и несколько сплеча, тогда как за дело надо было взяться с тонкостью“. Друг ты мой, потому-то, напротив, моя статья и не могла



никак своею замечательностью соответствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумал. Как ты меня мало знаешь! Все лучшие мои статьи несколько не обдуманы. Это импровизации; садясь за вих, я не знал, что я буду писать. Если первая строка хватит издали — статья болтлива, о деле мало сказано; если первая строка ближе к делу — статья хороша. И чем больше я ее запущу, чем меньше мне времени писать ее, тем она энергичнее и горячее. Вот как я пишу!.. Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошою, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству... Но мою статью я обдумал и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился из того только, чтобы она была дельна и показала гнусность подлеца. И она такую и вышла у меня, а не такую, какую ты прочел ее. Вы живете в деревне <sup>1)</sup> и ничего не знаете. Эффект этой книги был таков, что Никитенко, ее пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье <sup>2)</sup>. Моего он и цензора вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной пометка слова — важное дело. Ты упрекаешь меня, что я рассердился и не совладел с моим гневом? Да этого я и не хотел! Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если не в себе, но терпимость к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней только заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости. Гоголь — совсем не К. С. Аксаков. Это — Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану... Повторяю тебе: умею вчуже понимать и ценить терпимость, но останусь гордо и убежденно нетерпимым. И если сделаюсь терпимым — знай, что с той минуты я — кастрат, и что во мне умерло то прекрасное человеческое, за которое столько хороших людей (а в числе их и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоил того“...

Уже по этому письму можно судить о той, буквально, ненависти, которую стал чувствовать к Гоголю Белинский за его книгу. Полгода спустя Белинский получил возможность высказать непосредственно самому Гоголю свои чувства, объяснить ему причины этой ненависти: он сделал это в своем знаменитом письме к Гоголю от 15 июля 1847 года из Зальцбрунна. Только ознакомившись с этим письмом и с ответами Гоголя, можно выяснить сущность того столкновения идей, которое проходит перед нами в этом споре. В заметке об этом письме — статье (см. № 53) я закончу рассмотрение этого спора идей, имеющего такое громадное значение в истории русской общественности.

### 53. Письмо к Гоголю.

Почти всеобщий взрыв негодования, последовавший в ответ на появление „Выбранных мест из переписки с друзьями“, крайне тяжело подействовал на Гоголя; и, быть может, тяжелее всего ему было от статьи Белинского, — по крайней мере только на одну эту статью из вражеского лагеря Гоголь решил возразить, хотя и не статью, а письмом. Не понимая истинного положения дела, он был уверен, что Белинский был раздражен не сущностью его книги, а теми „щелчками“ по адресу поклонников и хвалителей Гоголя, какие были рассыпаны в его книге. „Вероятно, — писал Гоголь 20 июня 1847 года Прокоповичу про Белинского, — он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздражение не по причине жестокости слов..., но потому что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет; человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо однакож на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разума“

<sup>1)</sup> Так теперь Белинский иронически называет Москву.

<sup>2)</sup> Цензор и профессор Никитенко был официальным редактором „Современника“.

перед ним "... Одновременно с этим Гоголь написал письмо Белинскому с „искренним изложением своих чувств“ и с полным недоумением об истинной причине „раздражения“ Белинского. „Я прочитал с прискорбием статью вашу обо мне во втором номере Современника, — писал Гоголь: — не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотите меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося... Я вовсе не имел в виду огорчать вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные — все огорчились... Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека и потому почти все приняли в дурном виде"... Далее Гоголь заявляет, в обычном для него полу-тайнственном тоне, что целый ряд мест в его книге „покамест еще загадка для многих, если не для всех“, что надо пропускать их, обращая внимание только на те места, „которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку“; что в его книге „замешалась собственная душевная история человека, непохожего на других“; что ему, Гоголю, „не легко было решиться на подвиг выставить себя на всеобщий позор и посмеяние, вскрывши часть той внутренней своей клетки, настоящий смысл которой не скоро почувствуется“; что он, Гоголь, не имел намерения оскорбить в своей книге доброжелательных ему критиков, а напротив, собирался современем воздать им должное. Все это письмо Гоголь заканчивает следующими словами: „пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унижить человека, способствуйте осмеянию меня в глазах читателей, не пожалейте самых чувствительных струн, может быть, вежнейшего сердца — все это вынесет моя душа, хотя и не без боли, и не без скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считаю за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих“...

Личное озлобление — вот к чему сводилась, по мнению Гоголя, вся суть статьи Белинского. Это письмо Гоголя Белинский получил во время своей летней поездки 1847 года по Германии и Франции; он находился в это время в силезском курорте Зальцбрунне, где „вовсе раскис и изнемог душевно, — пишет он: — вспомнилось и то, и другое — насилу отчитался Мертвыми душами“ (письмо к жене от 5 июня нов. ст. 1847 г.) Этому глухому силезскому местечку суждено было стать знаменитым в истории русской литературы: отсюда послал Гоголю Белинский свой „громовый ответ“ на его письмо. Слишком известно, какое громадное значение имело и до сих пор сохраняет это письмо Белинского к Гоголю; еще Герцен назвал это письмо „завещанием Белинского“, и даже враги Белинского видели и видят в этом письме „манифест“ западничества, „исторический акт“; этих причин достаточно для того, чтобы мы за форму письма видели одну из замечательнейших статей Белинского, в которой он смело и свободно высказался на всю Россию, стряхнув с себя оковы цензуры.

Теперь мы можем подойти к вопросу о самой сущности спора и коренного разногласия между Белинским и Гоголем. Мне уже приходилось указывать, что великий раскол русской интеллигенции сороковых годов — западничество и славянофильство — возник прежде всего на почве диаметральной противоположности психологических типов познания их представителей. Славянофильство было в своей основе религиозным романтизмом, западничество — философским реализмом; мистицизм славянофильства настолько же очевиден, как и рационализм западничества. „Этический индивидуализм на почве религиозного романтизма — вот основной пункт воззрения славянофилов; социологический индивидуализм на почве реализма — вот основной пункт мировоззрения западников“ (См. мою „Ист. русск. общ. мысли“, через которую с начала и до конца проходит эта мысль о двух типах миропознания; ср. настоящую книгу, ст. № 30). Таким образом романтическая и реалистическая, мистическая и рационалистическая точка зрения — вот основное, коренное расхождение западничества и славянофильства, а значит Белинского и Гоголя, поскольку они были близки к этим двум течениям русской мысли. Белинский действительно был самым ярким представителем

телем западничества и реализма; что же касается до славянофильства и мистицизма Гоголя, то их можно принять только условно—об этом еще будет речь ниже. Несомненно пока одно: Гоголь во многом был близок к славянофильству и страстно хотел быть мистиком; во всяком случае вся книга его явно построена на мистической основе. В качестве панацеи от всех общественных зол Гоголь рекомендует самоусовершенствование на религиозной почве,—этим определяется характер всей его жизни <sup>1)</sup>.

Бороться с общественными социально-политическими несовершенствами нужно путем личного религиозного совершенствования—вот основная мысль всей книги Гоголя, как я на это указывал в другом месте („Ист. русск. общ. мысли“, т. I). Эта проповедь личного совершенствования, как пути решения общественных вопросов, была не только совсем чужда, но даже враждебна взглядам Белинского, настолько враждебна, что спорить с нею он не мог: для возможности спора необходима хоть пядь общей почвы, а здесь ее не было ни пяди. Спор невозможен, если один из спорящих всецело отвергает основные взгляды второго—эта истина была сформулирована еще в схоластической логике: *contra negantem principia disputari non potest*. Эту истину знал и Белинский, а потому и сосредоточил свои удары не на общем принципе, а на частных его применениях, говоря о которых он выяснял Гоголю свой взгляд на эти вопросы. „Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме“,—говорит Белинский, и сразу переводит вопрос на социальную почву. Гоголь учил в своей книге хозяина-помещика патриархальному обращению с крепостными, давал советы как сделаться миллионером, будучи в то же время добродетельным и продолжая свое личное усовершенствование (типы Констанжогло и Муразова во второй части „Мертвых душ“); это, по мнению Гоголя, было путем решения социального вопроса. Белинский с негодованием восстал против такой елейно-наивной мысли—решить социальный вопрос, обходя его. „Нет!—обращается он к Гоголю:—если бы вы действительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволова учения—совсем не то написали бы вы в нашей новой книге. Вы сказали бы помещику, что так как его крестьяне его братья о Христе, и как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться трудами крестьян как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним“...

Здесь Белинский подошел, на частном примере, к самой сердцевине вопроса. Или прав Гоголь—и социальный вопрос об отношении помещика к крепостным решается путем нравственного самосовершенствования помещика и крестьянина; либо прав Белинский—и вопрос этот решается путем социальной реформы: „самые живые, современные, национальные вопросы в России теперь—уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть“,—заявляет тут же Белинский. Кто из них прав—не в этом дело, да к тому же ответ на этот вопрос для нас слишком очевиден; интереснее отметить другое, а именно, что Белинский ясно видел религиозно-нравственную почву рассуждений Гоголя и ясно определил свое положение на почве социально-политической: в этом все содержание его ответа Гоголю. Это не значит, чтобы Белин-

<sup>1)</sup> Мысль о рационализме западничества и мистицизме славянофильства развил впоследствии М. Гершензон в своей книге „Исторические записки о русском обществе“ (1910 г.); с этой же точки зрения он разбирает там книгу Гоголя, и ответ Белинского, доказывая, что по существу Гоголь был вполне прав, что его основная точка зрения—внутреннее устройство личности, как панацея от всех зол—является абсолютной истиной, что взгляд западников и Белинского на решение социального вопроса путем усовершенствования общественных форм—абсолютно ложен по существу; что Белинский совершенно не понял смысла решения Гоголя, и что до сих пор историки его не понимают. Мы увидим ниже, что Белинский хорошо понимал сущность и основу взглядов Гоголя; вообще же об идеях, проповедывавшихся М. Гершензоном и его единомышленниками—см. вторую часть моей книги „Об интеллигенции“ (1910 г.).

скому не было дорого личное совершенствование, развитие личности—мы только-что видели, как высоко ставил „личность“ Белинский (см. статью № 51); но это значит, что Белинский хорошо понимал всю невозможность решения общественных вопросов путем личного совершенствования. Для него это был *popseps* (каким он является по существу и для нас); и Белинский обратил главное внимание на целый ряд частных вопросов, в которых взгляды и мнения Гоголя слишком уж возмущали „неистового“ Белинского. Советы помещику—как разбогатеть и как обращаться с крестьянами; благоговейное отношение к носителям высшей власти; надменный и самоуверенный пророческий тон—все это одинаково возмущало Белинского, и свое возмущение он с громадной силой высказал в своем письме.

Письмо это окончательно, что называется, добило Гоголя. Попытавшись сперва ответить на него по существу, Гоголь сам убедился в слабости своего ответа и не послал его Белинскому; уже после смерти Гоголя оно было найдено в разорванном виде и восстановлено редактором собрания сочинений Гоголя, П. Кулишем. В этом непсланном письме Гоголь защищает принцип самосовершенствования, осуждает мысль, будто „преобразованиями и реформами можно поправить мир“, защищается от нападений Белинского. Но письмо это проникнуто до того растерянным тоном, что становится понятною его участь в руках Гоголя. Белинскому он послал другое короткое письмо (от 10 авг. 1847 г.). „Я не мог—писал Гоголь—отвечать скоро на письмо ваше. Душа моя изнемогла; все во мне потрясено... Что мне отвечать! Бог весть, может быть, в словах ваших есть часть правды“... Что же такое случилось? Неужели письмо Белинского убедило Гоголя? Конечно, письмо это потрясло Гоголя; оно, вместе с целым рядом других негодующих статей и писем, если и не убедило автора „Выбранных мест из переписки с друзьями“, то по крайней мере пошатнуло веру Гоголя в свое пророческое предназначение. Гоголь не был „пророком“ по своему душевному складу, таким „пророком“, каким был, например, в свое время пророк Аввакум или вообще люди его типа. Пророк погибает и все-таки верит в себя, лже-пророк побеждает и все же не верит в себя; пророк побеждает, хотя бы и погиб, лже-пророк гибнет, хотя бы и победил. Гоголь и не победил и погиб. Он увидел, что он был только „лже-пророком“; в глубине своей души он сознал, что нет у него той власти, которую он попытался взять на себя в своей переписке с друзьями. И от этого сознания, от этого удара Гоголь уже никогда не оправился. К тому же он вскоре подпал под власть настоящего „пророка“, каким был невежественный фанатик, сельский поп Матвей; борьба с влиянием этого прямолинейного и тупого изувера была не под силу Гоголю.

Трагическая судьба Гоголя выходит за пределы нашей темы; нельзя однако не указать, в чем был узел этой трагедии: Гоголь был по существу своему рационалистом, страстно желавшим быть мистиком (см. мою „Ист. русск. общ. мысли“, т. I). Вот почему он стоит в стороне от славянофильства, этого подлинного мистического течения; вот почему он так скоро пал духом под ударами своих врагов: неосознанная двойственность есть худший внутренний враг человека. И здесь же—причина силы Белинского: реалист и рационалист, он твердо верил в истину своего воззрения; стоит только перечитать его настоящее письмо к Гоголю, которое с тех пор и до настоящего дня остается вдохновенным манифестом цельного и определенного мировоззрения.

## 54. Ответ „Москвитянину“.

Вернувшись в Петербург (24 сентября 1847 г.) из своей заграничной поездки, Белинский тотчас же ознакомился с вышедшей к тому времени книжкой „Москвитянина“, в которой была между прочим напечатана статья—„О мнениях Современника,

исторических и литературных“. Автором этой статьи был Ю. Самарин, скрывшийся за подписью „М... З... К...“; в статье своей он умно и корректно указал на некоторые действительные и мнимые промахи и самопротиворечия „Современника“, на слишком упрощенное трактование славянофильства Белинским и его идейными друзьями. Кое-что в этих указаниях заслуживало внимания, кое-что было совершенно несправедливо, как мы это увидим ниже; но во всяком случае это была серьезная статья, заслуживавшая серьезного ответа. Таким ответом и явился со стороны Белинского настоящий „Ответ Москвитянину“.

Однако, Белинский не мог и не хотел выдержать свою статью в холодном „академическом“ стиле; он был раздражен статьей Самарина и намеренно отвечал ему в полемическом тоне, сильно обездвеченном, однако, цензурой. И действительно, Белинский имел основание считать себя задетым статьей Самарина: не говоря уже о том, что в статье этой дана вообще несправедливо пристрастная отрицательная характеристика Белинского, еще более могло быть неприятным Белинскому отношение Самарина к его статье „Взгляд на русскую литературу в 1846 году“ (см. № 51). Я указал, что в этой первой статье „Современника“ Белинский разорвал с традициями „Отеч. Записок“ и, сохранив до известной степени свою прежнюю позицию по отношению к славянофилам, совершенно изменил тон полемики с ними; он признал славянофильство замечательным фактом русской жизни, с которым надо считаться и мимо которого во всяком случае нельзя пройти с пренебрежением. Это мнение славянофилы вообще и Самарин в частности сочли полной сдачей Белинского на капитуляцию и, не приняв протянутой руки, продолжали свои нападения. „Как люди, не привыкшие к благосклонным о себе отзывам со стороны не принадлежащих к ним литературных партий,—отмечает Белинский в настоящей статье,—они до того обрадовались отзыву г. Белинского, что начали смотреть на всех своих противников, как на разбитое в прах войско, а на себя, как на великих победителей. Вот что называется—не давши сражения, торжествовать победу!“ Вероятно по этой причине Белинский вернулся в настоящей статье к прежнему своему полемическому тону. Была и еще одна причина—чисто внешняя: Белинский вернулся из своей заграничной поездки попрежнему измученный смертельной болезнью, нервный, раздражительный; немедленно на его голову свалилась куча неприятностей—московские друзья его, Боткин, Кавелин и др., поддерживали Краевского, „Современник“ давал дефицит и т. п. И Белинский поневоле слишком раздраженно отнесся к статье Самарина. „Самарин—писал Белинский 20 ноября 1847 г. Анненкову—тиснул в Москвитянине статью, весьма пошлую и подлую, о Современнике; мне надо было ответить ему. Взаясь-было за работу; не могу: лихорадочный жар, изнеможение...“ Только через несколько дней Белинский несколько оправился, „принялся за работу и в шесть дней намахал три с половиною листа“... Он не старался щадить Самарина и впоследствии даже упрекал Кавелина (в свою очередь отвечавшего Самарину) за слишком мягкий тон ответа: „катать их (славянофилов), мерзавцев!.. И Бог вам судья, что отпустили живым одного из них, имея его под пятою своею!“ (письмо к Кавелину от 7 дек. 1847 г.). Замечу здесь, что ответ самого Белинского Самарину произвел большое впечатление, был признан очень удачным; тот же Кавелин написал Белинскому восторженное письмо по поводу его „Ответа Москвитянину“ (см. письмо Белинского к Кавелину от 22 ноября 1847 года).

В настоящее время такое мнение может быть принято только с оговорками. Конечно, нечего и говорить, что собственно полемическая сторона статьи Белинского могла быть только блестящей: мы уже не раз видели, с какой силой проявлялся этот талант Белинского, какие тяжелые удары умел он наносить (см. напр., №№ 30, 41, 48 и др.). Так и теперь, в своем ответе Самарину Белинский нанес противнику не один тяжелый удар; „барич, который изучал народ через своего камердинера и который между служебными и светскими обязанностями из году в год высиживает по стайке, имея вдоволь времени показаться в ней умным, ученым и, пожалуй, талантливым“: в этой ядовитой характеристике кое-что бьет прямо в цель. Но, разумеется, не

только этой полемической стороной сильна и ценна настоящая статья Белинского; в ней мы находим ряд интересных и важных экскурсов в область вопросов об искусстве, о „натуральной школе“, о Гоголе—обо всем этом будет идти речь в следующей статье. Все это так; однако, что касается самого главного пункта статьи, возражения на славянофильские положения, то тут Белинский во многих случаях слишком поверхностно попял славянофильство и смешал его с явлениями, не имеющими со славянофильством почти ничего общего.

В этом не было вины Белинского. Только впоследствии, когда и славянофильство и западничество стали уже пройденным этапом русской мысли, возможно было отграничить славянофильство от совершенно чуждых ему наслоений. Надо помнить, что Белинский считал типичными славянофилами (и имел основание на это) таких людей, как Погодин и Шевырев; только впоследствии стало ясно, что консервативный национализм „Москвитянина“ имеет мало общего с подлинным „славянофильством“ Хомякова, Киреевского, Аксакова. Сами славянофилы не всегда умели проводить границы между собою и консервативно-националистическими течениями; и хотя Хомяков в частных разговорах отзывался о Погодине—„не наш“, однако, органом славянофильства, даже в глазах Хомякова и его друзей, продолжал оставаться „Москвитянин“; попытка чисто „славянофильского“ издания, „Московского Сборника“, потерпела неудачу в эпоху цензурного террора 1848—1855 гг. Белинский под „славянофильством“ имел основание понимать и подлинное славянофильство, и присосавшийся к нему консервативный национализм; мало того, Белинский, как „человек экстремы“, шел дальше в этом направлении: он приписал к славянофильству и откровенно-реакционный „Маяк“. „Маяк“ был самым крайним и самым последовательным органом славянофильства“,—говорит Белинский в настоящей статье; в эту добросовестную ошибку он впал именно потому, что преувеличил консервативные элементы славянофильства и в то же время недооценил его демократичности, не обратил достаточного внимания на внутреннюю сущность славянофильства.

Было время, когда Белинский менее всего мог назваться демократом (см. № 26); теперь наоборот, он возмущается тем, что славянофилы „объявляют в пользу своего литературного прихода монополию на симпатию к простому народу. Откуда взялись у этих господ притязания на исключительное обладание всеми этими добродетелями? Где, когда, какими книгами, сочинениями, статьями доказали они, что они больше других знают и любят русский народ?“ В „народности“ славянофильства Белинский видит теперь простое повторение положений французского социализма. В письме к Кавелину от 22 ноября 1847 г. Белинский между прочим говорит: „вам, милый мой юноша, понравилось то, что Самарин говорит о народе. Перечтите-ка да переведите эти фразы на простые понятия, так и увидите, что это целиком взятые у французских социалистов и плохо понятые понятия о народе, абстрактно применимые к нашему народу. Если-б об этом можно было писать, не рискуя впасть в тон доноса, я бы потешился над ним за эту страницу“... Надо вспомнить, как относился теперь Белинский к французским социалистам, этим „социальным и добродетельным ослам“ (см. № 51), чтобы понять все презрение, вложенное в эту фразу. Характерно между прочим, что Белинский одновременно указывал на родство славянофилов и с реакционным „Маяком“ и с утопическим социализмом: очевидно, по его мнению, одно другого стоило... Это дает лишний штрих к той потере Белинским „веры в социализм“, о которой выше у нас была речь. Конечно, в таком отношении к славянофильству Белинский был вполне неправ: вовсе не конкретные понятия французских социалистов абстрактно применяли славянофилы к русскому народу, а как раз наоборот—абстрактные построения утопического социализма были конкретно применимы ими к вопросу о русской общине. Тут верно было только одно: что славянофилы многое взяли и переработали из западно-европейской мысли, что „они высосали эти понятия (о народе) из социалистов и в статьях своих цитируют Жоржа Занда и Луи Блана“,—как писал Белинский Анненкову 15 февр. 1848 г. Но именно потому понятия и мнения эти были неприемлемы для Белинского,

особенно после его потери „веры в социализм“; Белинский теперь, отказавшись от „абстрактных построений“, весь был поглощен вопросами реальной политики—главным образом об освобождении крестьян, о чем мы говорили в первой части. Поэтому его одинаково отталкивали обе стороны, которые он находил в славянофильстве—и патриархальная и социалистическая; обе эти стороны он преувеличивал, а потому и был лишен возможности заглянуть в славянофильство так глубоко, как десятью годами позднее это сделал Герцен.

Все это, однако, частные вопросы славянофильства, в понимании которых Белинский мог во многом ошибаться; гораздо интереснее узнать, видел ли Белинский, в чем заключена внутренняя сущность славянофильства. Несомненно видел; но эта первооснова славянофильства показалась ему до того чуждой, им уже отброшенной и не стоящей опровержения, что он только мимоходом и презрительно говорил о ней в своих статьях. Эта внутренняя сущность славянофильства—то, что можно назвать мистическим восприятием мира, „романтическим миропониманием“; реализм западников и „романтизм“ славянофилов—это были два полюса, между которыми не могло быть примирения, это два противоположных психологических типа миропознания, которые навсегда останутся враждебными друг другу (см. выше статьи №№ 52—53). Белинский прекрасно видел эту внутреннюю сущность славянофильства: и в настоящей статье и предыдущих (см. особенно ст. № 44) он не один раз ставит на вид славянофильские „мистические предчувствия“, „мистические фразы“, „мистическое воззрение“, „мистическую теорию“; но при этом сам Белинский был до того глубоким реалистом по натуре, что ему и в голову не могло прийти отнестись серьезно к этим хотя бы чуждым и враждебным воззрениям. Мистицизм был для него только пережитком детства и юношества; Белинский не мог предполагать, что реализм и романтизм, рационализм и мистицизм—два равноправных психологических типа миропонимания. Мы не удивимся этому, если вспомним, что для многих и до сих пор истина эта является совершенно недоступной. Белинский, повторяю, был глубокий реалист по своему психологическому типу; недаром он любил применять к себе слова: „я весь земной!“ В интуитивное познание он не верил; „в небесах“ ему было „и пусто и холодно“... „То ли дело земля!—воскликает Белинский:—на ней нам и светло и тепло, на ней все наше, все близко и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия“... Прекрасно видя сущность мистического миропонимания, Белинский относился к нему с явно подчеркнутым презрением; в этом случае он и славянофилы говорили на различных языках.

И однако, друзья Белинского „обвиняли“ его, после появления настоящей статьи, в славянофильстве—в чем и были отчасти правы; сам Белинский признавал это: „вы обвиняете меня в славянофильстве; это не совсем неосновательно“,—писал Белинский Кавелину в письме от 22 ноября 1847 года. Мы уже видели, что в статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“ Белинский обрушился на „гуманических космополитов“ и в этом отношении приблизился к славянофильству; мы видели, что именно в вопросе о народности и национальности Белинский был гораздо ближе к „славянофилам, чем к „гуманическим космополитам“, хотя желал отграничиться и от тех и от других. „Терпеть не могу я,—говорит Белинский в том же письме к Кавелину,—восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да на каше; ожесточенные скептики для меня в тысячу раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве“... Эти гуманические космополиты не видят, что каждый народ имеет свою „основную субстанциальную стихию“, что „все народы потому только и образуют своею жизнью один общий аккорд всемирно-исторической жизни человечества, что каждый из них представляет собою особенный звук в этом аккорде“. Так говорил Белинский в 1844 году, в пятой из „пушкинских статей“; мы знаем, что эту же типично шеллингианскую мысль высказывал Белинский и десятью годами ранее, в „Литературных Мечтаниях“. Теперь, в самом конце своей литературной деятельности, Белинский, давно уже отказавшийся и от шеллингианства и от гегелианства, снова возвращается к этой мысли

в своих статьях в Современнике“. И это сближает его со славянофильством: воюя с квасным патриотизмом, Белинский далек от ненавистного ему космополитизма и от высокомерного презрения к русскому народу; Белинский верит, что у народа этого есть своя „основная субстанциальная стихия“, что в общую всемирно-историческую гармонию народ русский внесет собою свою особую ноту. И вот что интересно: эту дорогу для него веру—быть может заменившую теперь потерянную „веру в социализм“—Белинский не хотел высказывать полностью в своих статьях; он знал, как легко могут опошлить эту веру разные восторженные патриоты, выезжающие на квасу да на каше... Вот почему только в письмах Белинского двух последних лет его жизни мы найдем эту веру, ярко и с убеждением выраженную; письма эти—особенно к Боткину от 8 марта 1847 г. и к Кавелину от 22 ноября 1847 г.—прямое дополнение настоящей статьи. „Я,—пишет Белинский в первом из этих писем,—я натура русская... Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока—эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость!... Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания. Не думай, чтобы я со всеми об этом говорил так: нет, в глазах наших квасных патриотов, славянопердов, витязей прошедшего и обожателей настоящего, я всегда останусь тем, чем они до сих пор считали меня“...

Но тут же надо указать, что и в этой точке кажущегося соприкосновения со славянофилами Белинский по существу стоял на совершенно иной почве, совсем на другое возлагал свои надежды: это достаточно ясно видно и из приведенных выше слов. Славянофилы верили в „субстанциальную стихию“ народной жизни, Белинский все возлагал на личность. „Вы пустили в ход идею развития личного начала, как содержание истории русского народа“,—писал Белинский Кавелину в указанном выше письме, говоря о знаменитой статье Кавелина „Взгляд на юридический быт древней России“; со всеми положениями этой, столь враждебно принятой славянофилами статьи Белинский был всецело согласен. Несколькими месяцами позднее Белинский еще резче отнесся к славянофильскому взгляду на народ. В своем предсмертном письме к Анненкову (от 15 февр. 1848 г.) Белинский между прочим говорит: „наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности... Странный человек! Когда в мою голову забьется какой-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удастся выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пизтистами и фантазерами, помешанными на той же мысли,—тут я и назад“... И как бы подчеркивая свою диаметрально противоположность со славянофилами, Белинский высказывает мысль, что „для России теперь нужен новый Петр Великий“... Замечу кстати, что в этом пункте Белинский всегда резко расходился со славянофилами. Не говоря уже о восхвалении Петра в письме Белинского к Д. Иванову (от 7 августа 1837 г.), достаточно указать на несколько страниц из статьи 1842 года о „Речи“ Никитенко и на целый ряд восторженных мест из статей следующих годов. И теперь, в письме к Кавелину Белинский восклицает: „для меня Петр—моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России“... Если вспомнить, что почти в это самое время К. Аксаков написал свое сердитое обращение „Петру“ (1845 г.), то уже одно это может иллюстрировать всю глубину пропасти между Белинским и славянофилами.

Итак, и в частных вопросах и в общем воззрении Белинский резко расходился со славянофильством; если он кое в чем подходил ближе к славянофилам, чем к умеренным западникам, „гуманическим космополитам“, то сближение это было очень условным. Белинский любил русский народ, верил в его силы и в его грядущую свободу—вот в сущности то крайне неопределенное общее, на чем могли сойтись и славянофилы и Белинский; на этом свободно могли сойтись решительно все, кроме горсти „спокойных скептиков“, „гуманических космополитов“. Но даже и здесь Белинский разошелся со славянофилами, чем дальше, тем больше возлагая свои надежды не на на-



род, а на личность. Я уже указал (см. № 51), что с потерей былой „веры в социализм“ Белинский вновь вернулся к вопросу о личности; приведенные выше выдержки из его писем лишней раз подтверждают это. И в этом был опять-таки пункт расхождения Белинского со славянофильством.

Много верного в ответе Белинского „Москвитянину“ и славянофилам, — но есть и ошибки, отмеченные выше: нельзя было, например, отождествлять славянофильство с консервативным национализмом „Москвитянина“ или с патриархальной реакционностью „Маяка“. Впрочем эта ошибка была в то время исторически почти-что неизбежна, как я это уже заметил выше; гораздо важнее была другая ошибка Белинского — его презрение к основной духовной сущности славянофильства, но мы знаем, что и эта ошибка была психологически неизбежна для Белинского, глубокого и последовательного реалиста. Вот почему в настоящую его статью должны быть внесены и исторические и психологические поправки; во и без них статья эта остается крайне важной для характеристики того, как вожди западничества понимали славянофильство.

Но и обратно: из этой же статьи можно убедиться, насколько лучшие из славянофилов плохо понимали западничество; Белинский приводит не один пример этого в настоящей статье. Выясняется также, как мало знали они Белинского, как ошибочно смотрели на главного из своих противников; достаточно прочесть хотя бы то, что пишет о Белинском такой добросовестный противник, каким был Самарин. „Белинский почти никогда не является самим собою и редко пишет по свободному внушению... С тех пор, как он явился на поприще критики, он был всегда под влиянием чужой мысли. Несчастная восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отречься скоро и решительно от вчерашнего образа мыслей“... — и т. п., и т. п.: вот характеристика Белинского Самариним; она поистине может считаться классической в смысле полной противоположности с действительностью. Мы знаем, как глубоко самостоятелен был всегда Белинский, как строго критически относился он всегда к „чужой мысли“, как всегда и всюду был он самим собою, с какой болью и трудом порывал он со „вчерашним образом мыслей“; поэтому вся характеристика Самарина становится только забавной, как попадающая, что называется, пальцем в небо. Но Белинского она своей несправедливостью задела за живое, и он дал на нее великолепный ответ, как бы подводя им итоги всей своей литературной деятельности:

„Белинский не видит никакой нужды горячо спорить за себя с такими противниками или прибегать в споре к их средствам. Да и к чему? Публика и сама сумеет увидеть разницу между человеком, у которого литературная деятельность была призванием, страстию, который никогда не отделял своего убеждения от своих интересов, который, руководствуясь врожденным инстинктом истины, имел больше влияния на общественное мнение, чем многие из его действительно ученых противников—и между каким-нибудь баричем, который изучал народ через своего камердинера и думает, что любит его больше других, потому что сочинил или принял на веру готовую о нем мистическую теорию, который между служебными и светскими обязанностями занимается также и литературой, в качестве дилетанта, и из году в год высиживает по статейке, имея вдоволь времени показаться в ней умным, ученым и, пожалуй, талантливым... В наше время талант сам по себе не редкость; но он всегда был и будет редкостью в соединении с страстным убеждением, с страстною деятельностью, потому что только тогда может он быть действительно полезен обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли с способностью страстного, глубокого убеждения способность изменять его, он давно решен для всех тех, кто любит истину больше себя и всегда готов пожертвовать ей своим самолюбием, откровенно признаваясь, что он, как и другие, может ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобы верно судить, легко ли отделялся такой человек от убеждений, которые уже не удовлетворяли его, и переходил к новым, или это всегда бывало для него болезненным процессом, стоило ему горьких разочарований, тяжелых сомнений, мучительной тоски,—для того, чтобы судить об этом, прежде всего надо быть уверенным в своем беспристрастии и добросовестности“...

Осталось еще сказать несколько слов о тексте настоящей статьи Белинского. Я уже указывал, что рукопись этой статьи несомненно была в руках Кетчера и что в журнале статья эта обезображена многочисленными цензурными сокращениями. „Мою статью—писал Белинский Боткину—страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевиче, о шапке-мурмолке, а мелких фраз, строк—без числа. Но об этом я не буду писать к тебе, потому что это довело меня до отчаяния и я выдержал несколько тяжелых дней“ (письмо от 4—5 ноября 1847 г.). То же самое повторял он и в письме к Кавелину: „статья искажена цензурою варварски... Ну, да чорт с ней! Мне об этом и вспоминать—нож вострый!“.—Внимательно рассматривая эти места, невольно задаешься, однако, вопросом: действительно ли все это только одни цензурные сокращения? Отрицательный ответ на этот вопрос неизбежен: слишком ясно, что среди этих сокращений есть несколько мест совершенно безразличных даже для самой варварской и произвольной цензуры. Повидимому это редактор „Современника“, Никитенко, счел необходимым приложить и свою руку к статье великого критика; по крайней мере ничем другим нельзя объяснить громадного выпуска в две страницы в том месте, где говорится о постоянной мысли Белинского, что у нас нет великих талантов, но это есть литература: повидимому Никитенко было неприятно, что приоритет этого высказываемого и им положения Белинский (совершенно основательно) приписывает себе... Таких мест найдется еще несколько. А что такое предположение имеет основание—это как нельзя лучше подтверждает другой случай, когда Никитенко так поправил одно место в статье Белинского, что последний чувствовал себя „как человек, получивший в обществе оплеуху“. Сообщая Боткину об этом и о цензурских сокращениях, Белинский горько восклицает: „вот они—поощрения к труду!“ (письмо к Боткину от 6 февраля 1847 г.). Все это проливает свет на положение Белинского в „Современнике“: считаясь и будучи главным идейным руководителем этого журнала, Белинский в то же время зависел от такой посредственности, как Никитенко. Как видим теперь, этот официальный редактор „Современника“ и ординарнейший профессор университета смело марал и „поправлял“ статьи Белинского...

## 55. „Взгляд на русскую литературу 1847 года“.

Последней большой статьей Белинского был его „Взгляд на русскую литературу 1847 года“. Статья эта состоит из двух частей: первая была написана в декабре 1847 г. и появилась в первой книге „Современника“ за 1848 год; вторая должна была появиться в следующей книжке „Современника“. Но Белинский уже не мог работать, — болезнь истощала его, смерть надвигалась. В своем предсмертном письме к Анненкову (от 15 февраля 1848 г.), Белинский между прочим писал: „истощение сил страшное, еле двигаюсь по комнате; второй номер „Современника“ вышел без моей статьи, теперь диктую её через силу для третьего“... И вот в этой последней своей статье, в статье „через силу“ диктованной, Белинский проявил такую зоркость, такую тонкость анализа, такую упорную работу мысли, „вечную подвижность“, что вся статья эта является одной из замечательнейших его статей последних годов деятельности. В ней как бы подведен итог всему, о чем Белинский говорил и на страницах „Современника“, и в статьях „Отеч. Записок“: тут и последнее решение вопроса об искусстве; тут и разбор значения Гоголя; оценка „натуральной школы“ и ее представителей; общий взгляд на русскую литературу—и так далее, и так далее. На всех этих вопросах мы подробно остановимся и закончим этим наше следование за Белинским, который сам настоящей своей статьей закончил свое и литературное и земное странствие...

Мы знаем уже, что в „Современнике“ Белинский в целом ряде частных и общих вопросов занял иную позицию, чем в былое время в „Отеч. Записках“ (см. № 51); к числу таких вопросов мы можем прибавить теперь и вопрос об искусстве, решению которого Белинский посвящает не мало страниц в настоящей статье. Решение

это является по существу синтезом двух былых противоположных взглядов Белинского, синтезом былого об'ективизма и суб'ективизма в понимании искусства (см. № 14). Нам не для чего останавливаться подробно на этих прежних взглядах Белинского: в статьях о „Менцеле“ и „Горе от ума“ мы тщательно проследили за воззрениями Белинского на самодовлеющее значение искусства, точно так же, как в статьях о „Речи“ Никитенко и последующих статьях Белинского в „Отеч. Записках“ мы внимательно отмечали противоположные взгляды Белинского на служебную роль искусства в обществе. Последние взгляды стали высказываться Белинским все резче и резче к концу его сотрудничества в „Отеч. Записках“; и если в статье 1842 года о „Речи“ Никитенко и в статье 1843 года о Державине Белинский теоретически еще признавал большое значение чисто „художественной“ стороны искусства, то практически он уже далеко отошел от такого воззрения, как это я уже имел случай подчеркнуть в своем месте (см. № 37). А в статье 1845 года о „Тарантасе“ Белинский дошел уже до крайних пределов отрицания самодовлеющего значения искусства и признания его служебной, подчиненной роли: „наш век враждебен чистому искусству,—говорил тогда Белинский,—и чистое искусство невозможно в нем... Теперь искусство—не господин, а раб: оно служит посторонним для него целям“ (№ 41). Это было крайним проявлением „социального“ отношения и социальных требований Белинского к искусству; перейдя в „Современник“, Белинский отказался от этой своей лапидарной формулы („искусство—не господин, а раб“) и попытался еще раз синтезировать два эти противоположные суждения. Сделал он это мимоходом—в своем „Ответе Москвитянину“, и более подробно—в первой части настоящей статьи.

Целый ряд страниц посвящает Белинский в настоящей статье вопросу об искусстве и значении его. Указывая на мысль о самодовлеющем значении искусства, „которое само себе цель и вне себя не признает никаких целей“, Белинский соглашается, что „в этой мысли есть основание“. „Без всякого сомнения, — говорит Белинский,—искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху...“ И далее: „какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение (несколькими строками ниже Белинский повторяет то же самое и о повести, и о романе), как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но, если в нем нет поэзии—в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, это—разве прекрасное намерение, дурно выполненное...“ Обращаю внимание на это теоретическое положение; мы скоро увидим, как далеко расходился с ним Белинский на деле. Во всяком случае он готов был „вполне признать“, что „искусство прежде всего должно быть искусством“; но отсюда далеко до признания самодовлеющего значения искусства, до признания „абсолютного искусства“: такого искусства,—замечает Белинский,—„никогда и нигде не бывало“... Такое искусство, намеренно отрезанное от всечеловеческой жизни, от всечеловеческой мысли, было бы только „предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев“ (обращаю внимание читателей и на эти слова, с видоизменением которых мы тоже скоро встретимся). В действительности же, продолжает Белинский, искусство и литература неизбежно являются выражением общественных вопросов и философской мысли своей эпохи, ибо поэт — „прежде всего человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени“; и именно потому „поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе“...

Таков был теперь синтез Белинского, такова его новая попытка примирить об'ективное значение творчества с суб'ективной свободой художника. Если мы вспомним статью Белинского о „Менцеле“, то увидим, что и тогда Белинский предъявлял к поэту то же самое требование — быть выражением не частного и случайного, но общего и необходимого (см. № 14). Но какая громадная разница в том смысле, который вкладывался в это требование Белинским 1839 — 1840-го и Белинским 1847 — 1848 г.г.! Тогда „частным и случайным“ были для Белинского общественные воззрения и настроения, а „общим и необходимым“ — законы творческого духа художника; теперь же для Бе-

линского художественное творчество само по себе есть нечто „частное и случайное“, приобретающее значение „общего и необходимого“ только от соприкосновения общественного элемента. Как видим — это два диаметрально-противоположных воззрения; общим является только стремление Белинского синтезировать эстетическую и социологическую точку зрения на искусство. Отказавшись от своего былого порабощения искусства обществу, Белинский настаивает, однако, на неизбежной тесной связи искусства с общественной жизнью: „цель искусства—в искусстве, но цель художника — в самой жизни“—вот та формула, которой мы уже выражали выше синтетическую точку зрения Белинского (№ 14). Таково было последнее слово Белинского в этом вопросе, которому, конечно, никогда не придется иметь общеобязательного решения. Решение Белинского было широким и синтетическим, примиряющим социальные и эстетические воззрения на искусство; остается только посмотреть, насколько сам Белинский следовал на деле этим своим теоретическим построениям и рассуждениям.

Ответ на этот вопрос можно получить из следующего интересного сопоставления. В конце октября 1847 года Белинский написал известную уже нам статью „Ответ Москвитянину“; в статье этой он категорически заявляет: „если произведение, претендующее принадлежать к области искусства, не заслуживает никакого внимания по выполнению, то оно не стоит никакого внимания и по намерению, как бы ни было оно похвально, потому что такое произведение уже несколько не будет принадлежать к области искусства“. Это, как видим, достаточно определенно сказано. Мы отметили также аналогичные мнения, твердо высказанные Белинским в первой части настоящей статьи, написанной в декабре того же 1847 года; мы знаем, как категорически заявляет в этой статье Белинский, что, „прекрасное намерение, дурно выполненное“, не придает цены произведению искусства, и что какими бы прекрасными мыслями и современными вопросами ни было оно наполнено, но, „если в нем нет поэзии — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов“; такое произведение, чуждое художественности, может удовлетворить только лишенных художественного чутья людей, точно так же, как произведение „чистого искусства“, чуждое жизни, может служить только „предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев“ (см. выше). Все это, повторяю, достаточно определенно сказано. А теперь прочтем следующий отрывок из письма Белинского к Боткину, написанного в том же декабре того же 1847 года: „будь повесть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное хоть сколько-нибудь делъ на — я не читаю, а пожираю... Ты — сибарит, сластена...—тебе, вишь, давай поэзии да художества—тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, чтобы повесть была исгинна, т.-е. не впадала в аллегорю, или не отзывалась диссертациею. Для меня—дело в деле. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление. Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества—она для меня тем не менее интересна... Я с удовольствием прочел, например, повесть не повесть, даже рассказ не рассказ и рассуждение не рассуждение—З а п и с к и человека Галахова (в 12 № „Отеч. Записок“), да еще с каким удовольствием! Разуме тся, если повесть возбуждает вопросы и производит нравственное впечатление на общество, при высокой художественности—тем она для меня лучше; но главное у меня всетаки в деле, а не в щегольстве. Будь повесть хоть расхудожественна, да если в ней нет дела-то, братец, дела-то: je m'en fous... Я знаю,—заканчивает свое признание Белинский,—что сижу в односторонности, но не хочу выходить из нее, и жалею, и болею о тех, кто не сидит в ней“...

Это поразительное на первый взгляд противоречие между тем, что Белинский писал в своей статье, и тем, что он писал в своем письме того же месяца того же года—нельзя обойти молчанием. Перед нами два положения, два утверждения, высказанных в одно и то же время Белинским. Первое: если произведение, претендующее принадлежать к области искусства, не заслуживает никакого внимания по выполнению, то оно не стоит никакого внимания и по намерению, как бы ни было оно похвально, потому что такое произведение уже

нисколько не будет принадлежать к области искусства“. Второе: если произведение „дельно“ и заслуживает внимания по намерению, то не стоит и говорить про выполнение, про художественную сторону произведения; есть в нем художественность — тем лучше, нет — и без нее сойдет, ибо „главное в деле, а не в щегольстве“... Казалось бы, трудно найти большее противоречие; и однако я надеюсь, что внимательному читателю вполне ясно, что по существу здесь ни малейшего противоречия нет.

Действительно, это становится совершенно ясным, если в приведенном выше первом положении Белинского обратить внимание не на подчеркнутые мною фразы, а на стоящее рядом и обыкновенно мало замечаемое. О каких произведениях говорит в этом положении Белинский? О произведениях „претендующих принадлежать к области искусства“ и в то же время не художественных, слабых по выполнению; такие произведения, говорит Белинский, „уже нисколько не будут принадлежать к области искусства“. Во втором же своем положении Белинский говорит о других произведениях, которые именно и не претендуют принадлежать к области искусства, а которые просто „дельны“, стремятся „вызвать вопросы“, „произвести на общество нравственное впечатление“. В этом подразделении мы без труда узнаем постоянное и излюбленное противопоставление искусства и беллетристики, за которым мы следили почти с самого начала критической деятельности Белинского.

Итак, вот в чем здесь дело, вот в чем разрешение своего рода „эстетической антиномии“, высказанной Белинским. Вполне признавая теоретически великое значение „искусства“, практически Белинский все более и более тяготел к „беллетристике“; в статье № 42 Белинский уже достаточно ясно выразил это свое настроение. Стоя на почве „социальности“, Белинский не мог, конечно, не ценить несомненного общественного, развивающего, „педагогического“ значения того, что он называл беллетристикой; но он прекрасно видел всю громадную разницу между этой прикладной беллетристикой и произведениями подлинного искусства. И все же, сознавая это, Белинский, не колеблясь, отдавал предпочтение произведениям первого рода — по причинам, указанным выше; он сам признавал, как мы видели, „односторонность“ такого взгляда, и в то же время „жалел и болел о тех“, кто не сидит в этой односторонности... Разумеется, весь „синтез“, о котором мы говорили выше, оказывался при этом чисто теоретическим; признавая в теории великое значение художественного творчества, на деле Белинский — мы это видели — считал такое художественное творчество только „щегольством“, без которого можно прекрасно обойтись... Взгляды эти теперь не нуждаются в опровержении; но это не мешает признавать в общем правильным основное теоретическое решение Белинским проблемы об искусстве. Этого мало; не меньшего внимания заслуживает и практическое решение Белинским этого вопроса: Белинский вполне сознательно („я знаю, что сижу в односторонности“) отдал свои симпатии произведениям, „не претендующим принадлежать к области искусства“, если эти произведения „дельны“. Этим самым дано оправдание и открыта широкая дорога произведениям так называемой „тенденциозной беллетристике“: их социальная роль иногда бывает очень велика, но тем не менее они не имеют никакого отношения к художественному творчеству, эстетический критерий к ним неприменим; это — произведения полезные, ремесленные, почтенные, приносящие иной раз большую общественную пользу...

И вот на стороне таких-то произведений все симпатии Белинского; и хотя мы еще увидим ниже, что в этом случае у Белинского был ум с сердцем не в ладу, однако нельзя не видеть в этой симпатии предвестия грядущего утилитаризма шестидесятых годов. Но и разница между эстетическим утилитаризмом шестидесятых годов и воззрениями Белинского — очень велика, и всецело в пользу Белинского, который, отстаивая социальное значение „беллетристики“, ясно понимал, что „искусство“ — нечто совсем другое, эстетически несоизмеримое; характерно, что в настоящей статье он вскрывает только свое понимание искусства, а свою „апологию беллетристики“ запрятывает в частное письмо к Боткину... Но так или иначе, в этом последнем воззрении Белинского

мы имеем окончательное решение им вопроса о „беллетристике“ и „искусстве“. Мы следили за этим вопросом, начиная со статьи № 9; мы видели, что подразделение это проходит буквально через всю критическую деятельность Белинского; мы видели, как от былого презрения к „беллетристике“ Белинский мало-по-малу переходил к признанию ее практического значения. Теперь, в последней статье Белинского, мысль эта формулируется с наибольшей яркостью и полнотой.

Но, разумеется, ошибочно было понимать эту мысль в том смысле, будто Белинский теперь окончательно отрекся от искусства, чтобы предаться тенденциозной беллетристике—и доказательство этого мы еще найдем ниже... Достаточно вспомнить пока возмущенное отношение Белинского к Гоголю, особенно ярко проявляющееся в этой и предыдущей статье, чтобы увидеть, как дорого было Белинскому подлинное искусство. Но и в этом подлинном искусстве особенно дорого было Белинскому реальное воспроизведение окружающей жизни со всеми ее сторонами; само искусство Белинский дважды определяет в настоящей статье, как „воспроизведение действительности во всей ее истине“... Целый ряд страниц в настоящей и предыдущей статье посвящены обоснованию этого художественного реализма или, как тогда говорили, натурализма. Термин „натуральная школа“ был пущен в оборот Булгариным <sup>1)</sup>, как на это указывает Белинский; литературные враги Гоголя и молодого русского реализма поспешили ухватиться за это якобы порочащее название... Но Белинский поднял перчатку, поблагодарив Булгарина за удачно найденный эпитет; в настоящей статье он подробнее, чем когда-либо, говорит о натуральной школе и ее значении. Истоки реализма Белинский находит в самом начале русской литературы: „она началась натурализмом,—заявляет он:—первый светский писатель был сатирик Кантемир“... И начиная с этого времени в русской литературе, говорит Белинский, постоянно шли двумя параллельными руслами реализм и идеализм; с этой точки зрения Белинский смотрит теперь на всю русскую литературу: „стремление к идеалу“ он видит в Ломоносове, Озерове, Жуковском, Батюшкове (крайне пестрое сочетание имен!), а стремление к реализму—в Хемницере, Фонвизине, Крылове. Оба эти направления иногда сливались в одном поэте—например, в Державине; а в поэзии Пушкина „слились в один широкий поток оба, до того текшие отдельно, ручья русской поэзии“... Наконец явился Гоголь и окончательно определил своим влиянием направление русской литературы; стремление к идеалу, выраженное в формах яркого реализма. В этом, по мнению Белинского, вся сущность „натуральной школы“; стремление к натурализму, говорит Белинский, „составляет смысл и душу истории нашей литературы“... (Последняя фраза была почему-то пропущена в журнале). Все это мысли, с которыми мы уже не раз встречались у Белинского, хотя и в несколько иной форме; достаточно вспомнить, что в одной из самых первых своих статей, и именно в статье о том же Гоголе (№ 2), Белинский с совершенно иной точки зрения высказывал по существу те же мысли. В настоящей статье Белинский говорит о Гоголе только как о признанном родоначальнике натуральной школы; главное внимание он обращает на различных представителей этой последней.

Герцен, Гончаров, Тургенев, Даль, Григорович, Достоевский—все это для Белинского писатели школы Гоголя, представители „натуральной школы“. Уже одно это сопоставление имен показывает, каким неопределенным, расплывчатым понятием являлся „натурализм“, как был смутен критерий принадлежности к „натуральной школе“. Поэтому-то и термин этот впоследствии не удержался, не говоря уже о том, что из перечисленных выше писателей далеко не всех можно причислить к писателям школы Гоголя. Мы остановимся последовательно на каждом из них, чтобы выяснить отношение к каждому из них Белинского.

Отношение Белинского к Герцену—автору знаменитого тогда романа „Кто виноват?“ и других более мелких повестей и рассказов—как нельзя более характерно; оно может служить лучшей иллюстрацией к прослеженному нами выше разграничению Бе-

<sup>1)</sup> Этот термин в двадцатых-тридцатых годах применяли во Франции к молодой романтической школе;—ср. „Гюго с товарищи, друзья природы“ (Пушкин).

линским „искусства“ и „беллетристики“. Еще в статье „Русская литература в 1845 г.“ Белинский с большой похвалой отозвался о первой части романа „Кто виноват?“, указывая, что эта вещь „не принадлежит к числу произведений, запечатленных высокою художественностию“, но что в ней ум доведен до поэзии, мысль обращена в живые лица. „Если это не случайный опыт,—заканчивает Белинский,—не неожиданная удача в чуждом автору роде литературы, а залог целого ряда таких произведений в будущем, то мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта в совершенно новом роде“... Месяца четыре спустя, получив от Герцена продолжение романа, Белинский писал ему: „ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермессо к „Кто виноват?“ Я из него окончателью убедился, что ты—большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт не только в Генриаде, но и в Кандиде, однако его Кандид потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие невеликие уже пережил и еще больше переживет их... И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных“...

Именно эту знакомую нам мысль Белинский развивает подробно в настоящей статье, говоря о Герцене и разбирая его роман. „Видеть в авторе „Кто виноват?“ необыкновенного художника,—говорит Белинский,—значит вовсе не понимать его таланта.. Главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанный и развитой“... „Какая же это мысль? Это — страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла; это—то, что немцы называют гуманностью, Humanität“... Но, как ни дорога, как ни близка сердцу Белинского эта мысль, она все же не может закрыть ему глаза на отсутствие художественности в романе Герцена—и это опять-таки очень характерно. „Мысль была прекрасная, исполненная глубокого трагического значения,—говорит Белинский:—она-то и увлекла большинство читателей и помешала им заметить, что вся история... рассказана умно, очень умно, даже ловко, но зато уж насколько не художественно. Тут мастерский рассказ, но нет и следа живой поэтической картины... — и зритель не вдруг догадывается, что он был только увлечен, а совсем не удовлетворен“...

Это место крайне ценно для понимания взглядов и настроений Белинского. Только что мы видели, как в письме к Боткину он изрек хулу на художественное творчество („щегольство“!), как он принял под свою защиту „дельные“ беллетристические произведения; и тут же, в критической статье, с похвалою разбирая умное и дельное беллетристическое произведение, Белинский заявляет, что он им „только увлечен, а совсем не удовлетворен“—именно в виду отсутствия в нем художественности! И в этом случае, как видим, теория расходилась у Белинского с практикой, ум с сердцем был не в ладу: признавая умом всю пользу дельной беллетристики, Белинский не мог удовлетвориться ею—для этого он был и оставался слишком тонкою художественно-восприимчивою натурою. Он был в восторге от романа Герцена, как от прекрасного беллетристического произведения, он понимал, что публика нашла в этом романе много „ближайших к ней и потому нужнейших и полезнейших ей истин“,—и в то же время он чувствовал всю художественную слабость этого произведения. Теория говорила, что это—пустяк, „щегольство“; а на деле Белинский не мог закрыть на это глаза<sup>1)</sup>.

Так боролась в нем теория социальной пользы с теорией эстетической значимости, сознание общественного блага с чувством художественного восприятия; в декабрьском письме 1847 года к Боткину победили первые, в одновременной письму настоящей статье—вторые. И именно потому Белинский сумел дать верную оценку беллетристиче-

<sup>1)</sup> Напомню кстати про отношение Белинского (в 1846 году) к „Каменному Гостю“: говоря о нем, я отметил, что для Белинского всегда существовало, по его словам,—„искусство в его идеале, в его отвлеченной сущности“ (см. выше, № 45).

скому таланту Герцена. Оказался он прав и в своем знаменитом пророчестве, которое мы находим в цитированном выше письме его (от 6 апреля 1846 года) к Герцену: „если ты лет в десять напишешь три-четыре томика поплотнее и порядочного размера, ты—большое имя в нашей литературе, и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина“... И Герцен действительно попал в „историю Карамзича“,—но только благодаря своей политической деятельности, благодаря своим публицистическим и философским произведениям, а не своей „беллетристике“, о которой так верно и с таким тонким пониманием отзывался Белинский в настоящей статье.

Другое дело Гончаров. В его „Обыкновенной истории“ Белинский увидел соединение яркой художественности с животрепещущей, современной темой—и восторг Белинского не имеет границ. „Читаешь—словно ешь холодный, полу-пудовый, сахаристый арбуз в знойный день“,—так определял Белинский свое художественное удовлетворение от этой повести; и в то же время он восклицал: „а какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму“... Совершенно справедливо указывая, что талант Гончарова—„не перво-степенный, но сильный, замечательный“, Белинский тут же подчеркивает характерную сторону творчества Гончарова—объективизм его художественного творчества. „Он поэт, художник, и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто и беде, тот и в ответе, а мое дело сторона“... И снова проводя параллель между Герценом и Гончаровым, Белинский заключает: „в таланте Искандера (Герцена) поэзия—агент второстепенный, а главный—мысль; в таланте г. Гончарова поэзия—агент первый, главный и единственный“... И, быть может, именно потому, вопреки всем доводам рассудка, Белинский отдал явное предпочтение роману Гончарова. Интересно привести несколько строк из воспоминаний самого Гончарова о Белинском: „на меня он иногда как будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздражения, субъективности. «Вам все равно, попадается мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура—всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!» И это скажет (и не раз говорил) с какою-то доброю злостью, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечо и прибавил почти шопотом: «а это хорошо, это и нужно, это—признак художника!»—как будто боялся, что его услышат и обвинят за сочувствие к бестенденциозному писателю“... (Гончаров, „Заметки о личности Белинского“). К этому надо только прибавить, что если Белинский и боялся „обвинений за сочувствие к бестенденциозному писателю“, то „обвинителем“ мог быть только сам же он, Белинский, колебавшийся между двумя истинами, двумя критериями, двумя мерилami. К „Обыкновенной истории“ можно было приложить оба эти критерия—и общественной пользы, и художественной ценности,—и этим объясняется тот восторг, с каким Белинский отнесся к роману Гончарова.

Но если Гончарова Белинский „обвинял“ за отсутствие „злости, раздражения“ и вообще оценки действующих лиц романа, то в настоящей статье сам он дал пример как раз обратного отношения: он напал на молодого Адуева, как на своего личного врага, в нем он видел „страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму“... В предыдущей статье я говорил о реализме Белинского, как о психологическом типе его мироощущения; мы знаем, как сурово относился теперь Белинский ко всякому „романтизму“, в чем бы он ни выражался—и особенно к тому поверхностному, напускному романтизму, который был своего рода модой молодых поколений русского общества двадцатых-сороковых годов. Сам Белинский в свое время заплатил дань этому увлечению, в котором видел теперь только первую ступень к „славянофильству“; он уже давно разделался со всяческой кружковщиной (о которой см. выше пятую главу очерка жизни и творчества Белинского) и в настоящей последней своей статье свел только последние счеты с самим собой давно минувших лет. Нет сомнения, что при этом он целил и во многих из славянофилов—в К. Аксакова, в И. Киревского,—видя в молодом мечтателе и „романтике“ Адуеве как бы типичное



предисловие к славянофильству; но главное — это была расплата со своим собственным „романтизмом“ эпохи кружковщины. Этого мало: можно предполагать, что Белинский сводил здесь последние счеты и со своей недавней верой в социализм, в которой были налицо все элементы „романтизма“, „кружковщины“, мечтательности, фантазии. Так или иначе, но Белинский, уже давно начавший борьбу с „романтизмом“ (см. №№ 15, 44 и др.), заканчивает ее в настоящей статье, резко обрушиваясь на молодого Адуева, точно на своего личного врага. И одна эта резкость явно показывает нам, что Белинский в этом случае многое говорил pro domo sua: Белинский пожелал окончательно разорвать со всякими своими былыми „фантазиями“, будь то философские или социальные „романтические“ теории. И этим самым он наносил косвенный удар славянофилам, в которых он видел дальнейшее развитие типа молодого Адуева. Правильно указывая, что Гончаров в конце романа испортил цельность этого типа, Белинский ядовито прибавляет, что всего лучше и естественнее было бы автору сделать в конце концов молодого Адуева славянофилом: „тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют“...

Ненависть к такому „современному романтику“ заставила Белинского отнестись сочувственно к противоположному типу, к деловому, положительному и размеренному дяде-Адуеву: „это — в полном смысле порядочный человек, каких дай бог, чтоб было больше“... Правда, сочувствие это далеко не безусловное, но все же в нем ясно видно стремление противопоставить нечто положительное, „индустриальное“, всем мечтаньям славянофильства, а быть может, и утопического социализма. Об этом я еще скажу несколько слов ниже; но и здесь нельзя не заметить, что сочувствие Белинского к Адуеву-старшему могло быть только условным и относительным: слишком далек был от этого типа неистовый Виссарион, вечно кипящий и волнующийся, вечно „человек экстремы“. И неужели же только адуевщину мог противопоставить Белинский своему былому „романтизму“, своей изжитой „вере в социализм“? Насколько далек он был от Адуева-старшего, можно судить хотя бы по следующим его словам из письма к Боткину от 8 марта 1847 года: „уважаю практические натуры в *hommes d'action*, но, если вкушение сладости их роли непременно должно быть основано на условии безвыходной ограниченности, душевной узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человеком просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко“... Развитие личности Белинский противопоставил своей былой „вере в социализм“, на что я уже имел случай указывать выше.

Возвращаясь однако к настоящей статье Белинского, который от Гончарова переходит к Тургеневу. Было время, когда Белинский был в восторге от Тургенева и даже от слабых сторон его таланта; познакомившись в 1843 году с Тургеневым, Белинский ценил в нем именно вражду к „романтизму“. „Во всех его суждениях — писал Белинский Боткину 31-го марта 1843 года — виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к чему я, по слабости характера, неопределенности натуры и дурного развития, довольно падок“... Вскоре Белинский разочаровался в поэтическом даровании Тургенева, да у сам Тургенев признал справедливость такого о себе мнения и перешел к „смирненной прозе“. После ряда рассказов, мало замеченных читающей публикой, хотя и дружелюбно приветствованных Белинским, Тургенев задумал ряд „рассказов охотника“. Первый из этих рассказов, „Хорь и Калиныч“, был признан Белинским „резко замечательным“ (письмо к Боткину от 22 апреля 1847 г.); даже славянофилы, недолюбливавшие Тургенева, назвали этот рассказ „превосходным“. Поощренный успехом Тургенев стал писать целый ряд таких „рассказов охотника“ — за один 1847 год он напечатал в „Современнике“ семь таких рассказов; Белинскому показалось, что Тургенев нашел, наконец, свою настоящую дорогу, что сфера его таланта — мелкие физиологические очерки. Вот почему Белинский в настоящей статье приравнивает Тургенева — Далю („Казаку Луганскому“); это несправедливое сопоставление нельзя обойти молчанием. Одно время Белинский преувеличенно высоко ценил Даля, совершенно третьестепенного беллетриста, считая его „после Гоголя пер-

вым талантом в русской литературе“ (см. № 41). Правда, годом позднее, в рецензии на четыре тома „Повестей, сказок и рассказов“ Даля („Современник“ 1847 г., т. I), Белинский уже не повторяет этого курьезного мнения<sup>1)</sup>, признавая все же за Далем „богатый и сильный талант“, но в то же время советует ему обратиться преимущественно к мелким физиологическим очеркам, „не теряя более времени на сказки, повести и рассказы“... Еще более прав был Белинский в своей первой рецензии (в „Молве“ 1835 года) о произведениях Даля: „это—просто балагур, иногда довольно забавный, иногда слишком скучный, нередко уморительно веселый и часто приторно натянутый“... И вот рядом с таким-то писателем Белинский захотел поставить Тургенева; неудивительно поэтому, что его отзыв о Тургеневе является совершенно несправедливым. Вообще надо заметить, в что 1847—1848 г. Белинский сильно охладел к Тургеневу—не как к человеку, а как к писателю; в письме к Анненкову (15 февраля 1848 г.) Белинский, сурово отзываясь о ряде новых рассказов Тургенева („Лебедянь“, „Малиновая вода“, „Уездный лекарь“), тут же рядом восторгается новой повестью Дружинина; о Тургеневе он добродушно отзывается, как о „милом младенце“, и замечает, что его рассказы могут нравиться дамам, ибо „ведь и Иван-то Сергеевич—бабье порядочное!“ Все это освещает ту ошибку, в которую впал Белинский и в настоящей статье, категорически заявляя, „что у Тургенева нет таланта чистого творчества, что он не может создавать характеров, ставить их в такие отношения между собою, из каких образуются сами собою романы или повести“... Не говорю уже о двух-трех менее общих суждениях Белинского о Тургеневе, суждениях настолько же ошибочных. Мы слишком часто отмечали почти гениальные критические прозрения Белинского, чтобы замалчивать на этот раз очевидную его ошибку; остается только указать, что в своей первой статье 1843-го года о Тургеневе Белинский гораздо вернее и провицательнее охарактеризовал сущность таланта этого писателя.

То, что Белинский говорит в настоящей статье о Тургеневе, с гораздо бдльшим основанием можно было бы применить к Григоровичу, о котором тут же идет речь. Еще в своей статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“ Белинский говорил о Григоровиче, прошумевшем тогда повестью „Деревня“, как о писателе, у которого „нет ни малейшего таланта к повести, но есть замечательный талант для тех очерков общественного быта, которые теперь получили в литературе название физиологических“... И этот отзыв как нельзя более справедлив. В 1847 году Григорович еще более наделал шума своей повестью „Антон-Горемыка“; в ней он как нельзя более удачно попал в тон смутно бродивших в обществе и уже назревших социальных и этических вопросов о крепостном праве. „Вероятно, ты уже получил одиннадцатый номер Современника,—писал Белинский Боткину 5 ноября 1847 г.:—там повесть Григоровича, которая измучила меня; читая ее, я все думал, что присутствую на экзекуциях... страшно! Вот поди ты: дурак пошлый<sup>2)</sup>, а талант! Цензура чуть ее не прихлопнула“... И месяцем позднее Белинский писал тому же Боткину: „ни одна русская повесть не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину—законное наследие его благородных предков“... Высказаться подробно об этой повести—нечего было и думать: цензура не пропустила бы ни слова по существу; Белинский принужден был ограничиться намекающей фразой, что по прочтении этой повести „в голову невольно теснятся мысли грустные и важные“... Интересно при этом то обстоятельство, что Белинский ясно видел отсутствие художественности в этой повести и справедливо причислял ее к произведениям „беллетристики“. Когда Кавелин в полном восторге, назвал эту повесть

1) Однако еще и в настоящей статье Белинский говорит о некоторых лицах из повести Даля, как о „созданиях гениальных“!...

2) Белинский был не высокого мнения о глубине ума и натуры Григоровича; в письме к Кавелину от 7 декабря 1847 г. Белинский пишет: „пример поразительный замечательного таланта, как талант Григоровича; если бы вы увидели этого доброго, но пустейшего малого, вашему удивлению не было бы конца“...

„божественной“, Белинский ответил ему: „повесть прекрасна, хотя и не божественна, как вы говорите; читать ее—пытка: точно присутствуешь на экзекуции“ (письмо от 22 ноября 1847 года). В известном уже нам письме к Боткину от начала декабря 1847 года Белинский, заступаясь за „беллетристику“, приводит в пример не-художественной, но „дельной“ повести именно „Антон-Горемыку“: „вот почему—говорит Белинский—в Антоне я не заметил длинот или, лучше сказать, упивался длиннотами“... Белинский был прав: повесть Григоровича—произведение типично „беллетристическое“, в смысле Белинского; Григорович вообще был типичным „беллетристом“, очень похожим на Даля и по размеру и по направлению таланта. Только однажды удалось Григоровичу попасть в струю напряженной общественной мысли эпохи своим „Антоном-Горемыкой“; эта повесть доставила ему место в первых рядах русской литературы—место, на котором он был не в силах удержаться. Вот почему Григорович является в истории русской литературы совершенно второстепенным „беллетристом“, одно из произведений которого имеет, однако, первостепенное историко-литературное значение.

Не буду более останавливаться на писателях „натуральной школы“, о которых еще говорит Белинский в настоящей статье: сером и скучном Дружинине, с его повестью „Полинька Сакс“; Достоевском, об отношении к которому Белинского я уже говорил выше (см. №№ 47 и 51). Вернемся теперь к началу—к общему суждению Белинского о Гоголе и всей „натуральной школе“, которая понимает искусство, как „воспроизведение действительности во всей ее истине“... В настоящей и предыдущей своей статье Белинский слишком настойчиво подчеркивал тождество Гоголя и „натуральной школы“ по существу и направлению; необходимо указать, что такое утверждение далеко от истины, и что гораздо ближе к последней стоял Ю. Самарин, отмечавший не сходство, а различие между Гоголем и „натуральной школой“. В предыдущей статье Белинский издевался над мыслью Самарина, будто Гоголь спустился в мир пошлости не только благодаря счастливому внушению художественного инстинкта, но и вследствие „личной потребности внутреннего очищения“; между тем несомненно истина была в этом случае на стороне Самарина. Несомненно, с другой стороны, что „натуральная школа“ вся вышла из Гоголя—об этом еще Достоевский заявил во всеуслышание; и Белинскому необходимо было особенно подчеркнуть эту истину, тем более, что славянофилы, принимая Гоголя, желали совершенно отвергнуть „натуральную школу“. В своем „Ответе Москвитянину“ Белинский вполне сознательно и намеренно перегнул палку в другую сторону: он заявил, что между „натуральной школой“ и Гоголем нет разницы, что их можно объединить формулой—„Гоголь и его литературная школа“; эти же мысли Белинский высказывает и в настоящей статье. Но все это со стороны Белинского было только, повторяю еще раз, вполне намеренным перегибанием палки в другую сторону; о причинах этого мы узнаем из письма Белинского от 22 ноября 1847 года к Кавелину, который не был согласен с указанной мыслью Белинского. „Насчет вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы,—пишет Белинский,—я вполне с вами согласен, да и прежде думал таким же образом. Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дело в том, что писана она не для нас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от фискальных обвинений. Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, какой мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, все, что вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по моему, совершенно справедливо; но сказать это печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы проговорились. Вы, юный друг мой,—хороший ученый, но плохой политик, как следует быть истому москвичу. Поверьте, что в моих глазах г. Самарин не лучше г. Булгарина по его отношению к натуральной школе, а с этими господами надобно быть осторожному“... Можно быть разного мнения об этой „политике“ Белинского, но во всяком случае ясно, что сам Белинский хорошо видел разницу между

Гоголем и „натуральной школой“. Вопрос этот имеет теперь целую литературу (см. вообще о Гоголе статью П. Заболотского „Н. В. Гоголь в русской литературе“—в „Гоголевском Сборнике“, Киев, 1902 г.) и в общем решается согласно со словами Самарина и с мыслью Белинского.

Но Белинскому важнее было подчеркнуть не разницу, а преемственную связь в русской литературе; с этого он и начинает настоящую статью. Подробно останавливаясь на определении понятия „прогресс“, под которым Белинский в сущности понимает „эволюцию“ (о разнице между этими двумя понятиями впоследствии много писал Михайловский), Белинский все эти теоретические рассуждения строит только для того, чтобы приложить их к истории русской литературы. „Всякое органическое развитие—говорит он—совершается через прогресс, развивается же органически только то, что имеет свою историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется“... А что натуральная школа была „необходимым результатом“ творчества Гоголя—в этом, разумеется, не могло быть сомнения. Но тут дело было не в одной натуральной школе, не в одном Гоголе, а во всей русской литературе: связано ли в ней последующее с предыдущим, подвержена ли она закону „прогресса“, органического развития? „Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости...—у такой литературы не может быть истории. Ее история—каталог книг“... Но ведь это как раз то, что говорил Белинский в „Литературных Мечтаниях“! „У нас нет литературы“—с доказательства этого положения начал Белинский свою критическую деятельность, доказывая, что у нас есть несколько гениальных писателей, но нет внутренней литературной преемственности—а значит нет и литературы. Мы внимательно следили за развитием и изменением этой мысли в статьях Белинского (см. особенно №№ 22, 25, 38, 46, 51 и др.); мы видели, что в конце концов Белинский признал свою ошибку, стал на историческую точку зрения и увидел в русской литературе преемственность органического развития. И теперь, в последней своей статье, Белинский возвращается все к тому же вопросу первой своей статьи, только решая его в противоположном смысле указанием на постоянный „прогресс“ в русской литературе, на ее историческое развитие. Так сам Белинский связал начало своей деятельности с ее концом.

Но литература является только проявлением жизни народа, и „органическое развитие“ литературы может иметь место только на почве социального прогресса народа,—таково было убеждение Белинского. Говоря о литературном прогрессе, он не мог не иметь в виду прогресса социального, но где и в чем видел он этот „прогресс“ теперь, после потери былой веры в социализм? Мы останавливались на этом вопросе в первой части настоящей книги, но и здесь не лишнее сформулировать еще раз, чем заменяет свою былую „веру в социализм“ Белинский в настоящей статье. Я уже указывал, что у Белинского теперь снова появилась вера в личность; к этому можно прибавить, что былой утопический социализм его заменился к 1848-му году неопределенным либерализмом и радикализмом. Прежде Белинский ненавидел „буржуазию“—и высказывал это еще в 1846—47 г.г.; теперь же, в настоящей статье, он отрицательно относится к нападкам на „буржуазию“ Герцена в его „Письмах из Avenue Marigny“. А в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г. Белинский писал: „Когда я, в спорах с вами о буржуазии, называл вас консерватором—я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной“. Все это как нельзя лучше объясняет то сочувственное отношение Белинского к Адуеву-старшему, которое мы находим в настоящей статье: в этом герое Гончарова Белинский справедливо увидел представителя нарождающейся русской буржуазии. „Внутренний процесс гражданского развития в России—читаем мы в том же письме Белинского—начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию“... Но если Белинский и жаждал теперь развития русской буржуазии, то только как средства для гражданского развития России—т.-е. раскрепощения „мужика“, о котором Белинский горячо говорит в ряде страниц настоящей статьи (ср. № 26).

Но Белинский сам признавал, что развитие русской буржуазии—дело далекое: а потому надежды свои он возлагает пока на „реформы свыше“; с симпатией также относится Белинский и к общественной благотворительности, вопрос о которой дебатировался в журналах 1847 года, и против которой восставали славянофилы. Вообще надо сказать, что от былого воинствующего социализма Белинский несомненно перешел в 1847—1848 г.г. к некоторому оппортунизму, что можно заметить и в настоящей статье. Разочарование в социализме не прошло даром и окрасило собою последние два года жизни и деятельности Белинского.

В настоящей статье мы имеем как бы итог всей этой деятельности Белинского эпохи „Современника“; мало того, в ней мы находим итог и многим из вопросов, разрабатывавшихся Белинским с самого начала его литературной деятельности. Вопрос об искусстве и вопрос о народе—с этого начал Белинский в „Литературных Мечтаниях“, и этим он кончил во „Взгляде на русскую литературу 1847 года“.

---

Когда оглядываешься на тринадцатилетний литературный путь Белинского, то невольно преклоняешься перед величием этих страстных, мучительных поисков истины; пройдя шаг за шагом вслед за Белинским этот путь, отдаешь себе отчет во всем значении Белинского для русской мысли, для русской жизни. „Великий критик земли русской“; первый и гениальный историк русской литературы; борец за великие общественные идеалы; „гениальная философская организация“; непримиримый искатель бога, искатель правды жизни и правды мира,—все это совмещалось в личности Белинского, все это является вечной ценностью в истории русской жизни и литературы. Пусть многое из этого является теперь только исторической ценностью, пусть отвергнуты некоторые критические и историко-литературные суждения Белинского, пусть превзойдены его социальные и философские воззрения; но духовные искания Белинского, его душевные муки, его нравственные, философские и религиозные скитания в поисках смысла бытия—все это не только ценно до настоящего времени, но и останется таким навсегда. „Белинский умер—жив Белинский!“—со злобою восклицал когда-то кн. П. Вяземский, воюя с движением шестидесятых годов; он и не подозревал, какая истина им сказана! И мы, кончая свое следование за Белинским, можем только заключить наш путь этими же словами: Белинский умер—жив Белинский—и будет жить вечно!

1909—1911 г.г.

---

# Содержание

СТР.

7

В. Г. Белинский .

## I. Жизнь и творчество.

|  |          |
|--|----------|
| I. Детство и юность . . . . .  | 11       |
| II. „Дмитрий Калинин“ . . . . .  | 17       |
| III. В поисках пути . . . . .  | 22       |
| IV. Вера в „Премудрую Благость“ . . . . .                              | 28       |
| V. „Философия“ и „кружковщина“ . . . . .                               | 33       |
| VI. Восстание против „Разума“ . . . . .                                | 41       |
| VII. Потеря путей. Отчаяние . . . . .                                  | 48       |
| VIII. Религия жизни и человека. „Социальность“ . . . . .               | 54       |
| IX. Вера в Человечество. Социализм . . . . .                           | 61       |
| X. Личная жизнь . . . . .  | 65       |
| XI. Журнальная работа . . . . .  | 75       |
| XII. Кризис „веры в социализм“. Последние годы<br>Заключение . . . . . | 83<br>93 |

## II. Сочинения.

|   | СТР. |  | СТР. |
|---|------|--|------|
| - 1. Литературные мечтания . . . . .  | 99   | 30. Педант . . . . .   | 173  |
| 2. О русской повести и повестях<br>г. Гоголя . . . . .                          | 104  | 31. Похождения Чичикова или<br>Мертвые души . . . . .                                | 176  |
| 3. Стихотворения Владимира<br>Бенедиктова . . . . .                             | 106  | 32. Объяснение на объяснение по<br>поводу поэмы Гоголя „Мерт-<br>вые души“ . . . . . | 180  |
| 4. Ничто о ничем . . . . .  | 108  | 33. Руководство к всеобщей исто-<br>рии . . . . .                                    | 182  |
| 5. О критике и литературных<br>мнениях „Московского На-<br>блюдателя“ . . . . . | 111  | 34. Речь о критике . . . . .   | 186  |
| - 6. Опыт системы нравственной<br>философии . . . . .                           | 113  | 35. Стихотворения Евгения Бара-<br>тынского . . . . .                                | 189  |
| - 7. Гамлет, драма Шекспира . . . . .   | 115  | 36. Русская литература в 1842 г. . . . .   | 193  |
| 8. Литературная хроника . . . . .   | 118  | 37. Сочинения Державина . . . . .  | 194  |
| 9. Сочинения Николая Греча . . . . .  | 119  | 38. Русская литература в 1843 г. . . . .   | 197  |
| 10. [О критике] . . . . .   | 121  | 39. Сочинения князя В. Ф. Одоев-<br>ского . . . . .                                  | 197  |
| 11. Ледяной Дом. Басурман . . . . .   | 123  | 40. Русская литература в 1844 г. . . . .   | 200  |
| 12. Бородинская годовщина . . . . .   | 125  | 41. Тарантас . . . . .   | 202  |
| 13. Очерки бородинского сраже-<br>ния . . . . .                                 | 126  | 42. Опыт истории русской лите-<br>ратуры . . . . .                                   | 207  |
| 14. Менцель, критик Гете . . . . .  | 129  | 43. Петербург и Москва . . . . .   | 208  |
| 15. Горе от ума . . . . .   | 132  | 44. Русская литература в 1845 г. . . . .   | 209  |
| 16. Очерки русской литературы . . . . .   | 136  | 45. Сочинения Александра Пуш-<br>кина . . . . .                                      | 210  |
| 17. Полное собрание сочинений<br>А. Марлинского . . . . .                       | 138  | 46. Мысли и заметки о русской<br>литературе . . . . .                                | 228  |
| 18. Две сказки Гофмана. Детские<br>сказки дедушки Ирины . . . . .               | 140  | 47. Петербургский сборник . . . . .  | 230  |
| 19. Басни Ивана Крылова . . . . .   | 144  | 48. Воспоминания Фаддея Булга-<br>рина . . . . .                                     | 233  |
| 20. Герой нашего времени . . . . .  | 145  | 49. О жизни и сочинениях Коль-<br>цова . . . . .                                     | 238  |
| 21. Стихотворения М. Лермон-<br>това . . . . .                                  | 147  | 50. Николай Алексеевич Полевой . . . . .   | 243  |
| 22. Русская литература в 1840 г. . . . .  | 152  | 51. Взгляд на русскую литера-<br>туру 1846 года . . . . .                            | 247  |
| 23. Разделение поэзии на роды и<br>виды . . . . .                               | 155  | 52. Выбранные места из пере-<br>писки с друзьями Николая<br>Гоголя . . . . .         | 252  |
| 24. Идея искусства . . . . .  | 158  | 53. Письмо к Гоголю . . . . .  | 254  |
| 25. Общее значение слова лите-<br>ратура . . . . .                              | 160  | 54. Ответ „Москвитянину“ . . . . .   | 258  |
| 26. Общая идея народной поэзии . . . . .  | 163  | 55. Взгляд на русскую литера-<br>туру 1847 года . . . . .                            | 263  |
| 27. Римские элегии . . . . .  | 166  |  |      |
| 28. Русская литература в 1841 г. . . . .  | 168  |  |      |
| 29. Стихотворения Аполлона Май-<br>кова . . . . .                               | 171  |  |      |

# Книги Иванова-Разумника:

- 1. История русской общественной мысли.**  
В двух томах, 1906 г.; изд. 5-е, в восьми частях, изд. „Колос“, 1918—1920 г.г.; готовится 6-е дополненное изд. в двух томах, изд. „Мысль“.
- 2. Русская литература XX века.**  
Глава из 5-го изд. „Истории русской общественной мысли“. Изд. „Колос“, 1920 г.
- 3. Об интеллигенции.**  
1907 г.; 2-е изд. — 1908 г. (В первом издании носило заглавие: „Что такое махаевщина?“).
- 4. О смысле жизни.**  
1908 г.; 2-е дополненное изд.—1910 г.
- 5. Великие искания.**  
Изд. „Прометей“, 1912 г.—(Вошло полностью в „Книгу о Белинском“, изд. „Мысль“, 1923 г.).
- 6. Лев Толстой.**  
Изд. „Прометей“, 1913 г.—Готовится 2-е изд.
- 7. Литература и общественность.**  
Статьи публицистические, 1910 г.; 2-е изд., „Прометей“, 1912 г.
- 8. Творчество и критика.**  
Статьи критические, 1912 г., изд. „Прометей“; 2-е дополненное изд. „Колос“, 1922 г.
- 9. Пушкин и Белинский.**  
Статьи историко-литературные, 1916 г.
- 10. Перед грозой.**  
Статьи 1916—1917 г.; изд. „Колос“, 1923 г.
- 11. Год революции.**  
Статьи 1917—1918 г.г.; изд. „Революционный Социализм“, 1918 г.
- 12. Александр Блок. Андрей Белый.**  
Сборник статей 1913—1918 г.г.; изд. „Алконост“, 1919 г.—(Вошло полностью в книгу „Вершины“, изд. „Колос“, 1923 г.).
- 13. А. И. Герцен.**  
Сборник статей 1912—1920 г.г.; изд. „Колос“, 1920 г.
- 14. Заветное.**  
Статьи (1912—1914 г.г.) о культурной традиции (Готовится).
- 15. Скифское.**  
Статьи (1914—1918 г.г.) о духовном максимализме (Готовится).
- 16. Вершины.**  
Статьи (1913—1923 г.г.) об Александре Блоке и Андрее Белом; изд. „Колос“, 1923 г. (Печатается).
- 17. Книга о Белинском.**  
Изд. „Мысль“, 1923 г.
- 18. Оправдание человека.**  
(Готовится).